



Я. А. Сосновских

ПО САМОЙ КРОМКЕ БЫТИЯ

Я. А. Сосновских

ПО САМОЙ КРОМКЕ БЫТИЯ

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2019

УДК 94(470)
ББК ТЗ(2)6—8
С665

Под редакцией
В. Я. Сосновских

Сосновских, Я. А.

С665 По самой кромке бытия / Я. А. Сосновских ; под ред. В. Я. Сосновских. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 406 с. : ил. — 100 экз. — ISBN 978-5-7996-2728-7. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7996-2728-7

В этой книге Яков Андреевич Сосновских (1919–1999) рассказывает о своей удивительной судьбе, полной контрастов и остросюжетных ситуаций. Он оказался в водовороте событий Второй мировой войны, бежал из фашистского плена, пройдя пешком около тысячи километров по странам Европы. На страницах книги разворачивается множество сюжетов: зауральская деревня в годы нэпа и коллективизации, трагедия первых месяцев войны на западной границе СССР, жизнь пленных в фашистских лагерях, будни интернированных в Швейцарии советских солдат, перипетии возвращения на Родину. Вместе с автором читатель побывает и во дворце короля государства Лихтенштейн, и в недрах египетских пирамид, и в каторжных лагерях заполярной Воркуты. Эта книга не только воспоминания, но и размышления, наблюдения, оценка многообразных исторических событий, портретные зарисовки. Это рассказ о судьбе целого поколения, на долю которого выпали тяжелые испытания.

Для читателей, интересующихся историей России, страноведческими вопросами, проблемами школьного образования, а также всех, кто ценит увлекательное чтение.

УДК 94(470)
ББК ТЗ(2)6—8

ISBN 978-5-7996-2728-7

© Сосновских В. Я., 2019
© Нефедов С. А., предисловие, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
От автора	9

Глава 1. Довоенное время

Моя деревня	10
У озера	12
Мой дед Филипп Петрович	13
Усадьба	14
Игры и забавы	15
Начальная школа	18
Ночное	19
Школа колхозной молодежи	21
Раскулачивание	24
Учеба в техникуме	26
Друзья по техникуму	30
Друзья по общежитию	33
Практика	37
Каргапольская школа	41
Скоробогатовская школа	43
Школа в Андриановичах	46
Призыв	49
Старая и новая границы	51
Застава № 5	53
Школа погранвойск	56
Гарнизонная жизнь	62

Глава 2. Война, плен, побег

Начало войны	67
Отступление	71
В окружении	80
Лагерь под Минском	83
Лагерь № 306	87
Первый побег	95
Штрафной карьер	98
Второй побег	101
Третий побег	103

Глава 3. Пешком по Европе

Германия	105
Голландия	106
Бельгия	129
Франция	136

Глава 4. Швейцарский период

Тюрьма в свободном мире	152
Карантинный лагерь	155
В статусе интернированного	161
Базель	169
Лихтенштейн	178
Швейцарские будни	182
Пора домой	186

Глава 5. Возвращение на Родину

Опять Франция	186
Италия	199
Египет	204
Суэц — Одесса	220

Глава 6. Родные лагеря

Карантинный лагерь в Одессе	229
Фильтрационный лагерь в Алкино	232
Коломенский лагерь	246
Дорога на Воркуту	254

Глава 7. Воркута

Шахта № 7, лесозавод	259
Повышение по службе	262
Переезд в Воркуту	271
Домой в отпуск	277
Возвращение в Воркуту	291
Дорога домой	299

Глава 8. Мирная жизнь

Неласковая встреча	303
Серов, деревня Филькино	307
Переезд в Свердловск	309
Учебный 1950/51 год	313
Учебный 1951/52 год	317
Аттестат зрелости	325
Учебный 1952/53 год, студент-заочник	328
Учебный 1953/54 год, переход в ШРМ	333
Окончание института	338
Будни второй половины 50-х	341

Дополнение к сказанному

Детство и юность	373
Друзья моего детства	392

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это удивительная книга — воспоминания школьного учителя Якова Андреевича Сосновских. Ее название — «По самой кромке бытия» — предваряет рассказ о непростой судьбе этого человека, который действительно много раз прошел по самой кромке между жизнью и смертью и лишь чудом остался в живых. Первые главы книги, казалось бы, не предвещают бурного приключенческого сюжета; это размеренный рассказ о детстве автора, о жизни в уральской деревне 1920—1930-х годов. Это описание жизни на природе, детских игр, хождений в «ночное» — современному человеку все это кажется давно ушедшим, забытым, как будто воспоминания о другом мире, а ведь это было еще на памяти наших отцов и матерей. С некоторым удивлением узнаешь, что эпоха нэпа была для уральских крестьян благополучным временем, у них было много земли и скота, а гуляния по праздникам продолжались по многу дней. Все изменилось с коллективизацией, когда у крестьян отняли землю и хлеб и настали скудные времена. Но не все было так плохо: в соседней деревне открылась школа колхозной молодежи, а по окончании ее Яков смог поступить в техникум. Он вспоминает эти годы как одни из лучших в его жизни и рассказывает о судьбах своих друзей по школе и техникуму, трагических судьбах, потому что «завтра была война».

На четвертом курсе, незадолго до окончания техникума, случился первый конфликт 18-летнего Якова с советской властью. В библиотеку поступило распоряжение сжечь все книги Есенина, и он уговорил истопника отдать ему шесть экземпляров. Не понимая, к чему это может привести, Яков раздал книги своим друзьям, и вскоре четыре студента были арестованы. Для одного из них дело

кончилось пятилетним сроком, а остальных (Якова в том числе) отчислили из техникума.

После отчисления Яков пошел работать сельским учителем, окончил курсы повышения квалификации и преподавал анатомию и физиологию человека, а также химию, зоологию и ботанику. Он вспоминает, что знания у учеников были хорошими, «не в пример некоторым нынешним оболтусам» (нужно добавить, что некоторые предметы, изучавшиеся в то время в восьмилетней школе, сейчас вовсе не преподаются).

Необходимо отметить характерную черту этих воспоминаний: автор рассказывает не только о себе, но и о своих знакомых, стараясь проследить их судьбу, а друзей и знакомых у него было много. Яков был компанейским парнем, память у него была превосходной, и спустя сорок лет он помнил всех людей, с которыми когда-либо сталкивался. Однажды ему случилось продемонстрировать эту память на экзамене: за два дня он проштудировал 300-страничный учебник по физиологии растений, по предмету, о котором он раньше не имел никакого представления — и, единственный на курсе, получил отличную оценку.

Помимо того, Яков отличался незаурядной физической силой и выносливостью. Однажды (уже в армии) команде из двухсот человек пришлось совершить переход в 90 километров по снежной целине; в итоге до места назначения дошло семь человек, остальных, обессиленных и замерзающих, разыскивали спасатели на санях. Яков был в числе тех семи.

После призыва в армию осенью 1939 года сержант Сосновских служил в погранвойсках на западной границе и встретил войну 22 июня. С началом войны началось балансирование «на кромке бытия», между жизнью и смертью. Сначала отступление по дорогам, над которыми постоянно висели «мессеры», арьергардные бои, переходящие в рукопашную: «Описать, что тут было, дело для меня безнадежное. Разве что перо Толстого или Достоевского могло бы воссоздать картину, близкую к происходящему <...> Спали на ходу, натываясь иногда на телеграфные столбы, на деревья или чаще всего друг на друга. Раньше я не поверил бы, что можно спать на ходу, но теперь я уже точно знал, что можно».

Воспоминания сержанта Сосновских дают впечатляющую картину катастрофы, которая постигла Красную армию летом 1941 года: окружение, бесплодные попытки прорваться, заканчиваются боеприпасы, решено выходить из окружения мелкими группами. Голодные и изнемогающие от усталости солдаты ночами пробираются по лесам, пытаясь найти какую-то лазейку в линии фронта. И в конце концов плен.

Впереди следующий круг ада. Лагерь военнопленных — просто поле, по краям которого стоят автоматчики, 70 тысяч человек сидят на земле среди нечистот и умирают от голода и дизентерии. Потом другой лагерь, уже в Германии, где тоже голая земля, разделенная на клетки колючей проволокой, в каждой клетке по 6 тысяч человек. Пленные котелками и кружками роют ямы, в которых пытаются укрыться от непогоды. В следующем лагере Якову повезло, это был рабочий лагерь с бараками. Но тут его застигла дизентерия и в придачу куриная слепота: «Освобождения от работы не давали никакого, а работать я совершенно не мог. Близкие мне ребята брали меня под руки и вели к месту работы. Там клали на берегу канала, а вечером так же вели обратно в барак». Якова спасло то, что среди пленных только он немного знал немецкий язык и мог переводить приказы охранников. Охранники дали ему какие-то таблетки, и он постепенно встал на ноги.

Потом был побег, поимка, карцер, штрафная команда, в которой обычный человек не выдерживал больше месяца. Яков выдержал 14 месяцев: ему опять помогло знание языка и его не избивали, как других штрафников. Еще одна попытка побега закончилась гибелью почти всех участников, но Якову опять повезло: расстрел был заменен пыткой холодной водой. Третья попытка побега оказалась удачной: Яков обманул преследователей, спрятавшись в озере и дыша через камышовую трубочку.

После этого началось то, что можно было бы назвать приключенческим сериалом: «До границы с Голландией предстояло пройти около 120 километров. Шел очень осторожно, только ночью, днем залегал где-нибудь в густом кустарнике, в борозде картофельного поля или на пшеничном поле». Несколько раз он натыкался на посты охраны, но в темноте удавалось скрыться. Яков раньше не

верил в Бога, однако в этой ситуации он сам придумал какую-то нехитрую молитву и постоянно ее повторял. Должно быть, Господь помогал Якову: однажды ночью на дороге в Голландии его остановил полицейский и хотел было арестовать, но после беседы по душам отпустил и дал на дорогу круг сыра. Дальше нужно было переплыть Рейн с его сильным течением — задача непростая даже для хорошего спортсмена, и Яков едва не утонул; ему пришлось бросить узел с одеждой, и он уже распрощался с жизнью, когда почувствовал отмель под ногами. И тут ему снова помог Господь, на этот раз в виде голландского крестьянина, который накормил его и дал рабочую одежду. Теперь Яков из беглеца превратился в путешественника: «В типично крестьянской одежде и с вилами на плечах я почти свободно двигался по второстепенным дорогам, почти не опасаясь встречи с людьми». Он с интересом рассматривал незнакомую страну: каналы, дамбы, ухоженные деревни. Если его о чем-то спрашивали, то он представлялся поляком, работающим на одной из местных ферм. Ему предстояло пройти пол-Европы — через Голландию, Бельгию, Францию до границы со Швейцарией, преодолеть много опасностей, благополучно уходить от врагов и встречать неожиданных друзей... Мы не будем здесь пересказывать эту остросюжетную повесть, чтобы не лишить читателя удовольствия прочитать ее самому.

Самое поразительное — это то, что написал эту повесть не профессиональный писатель, который мог бы что-то приукрасить. Это удивительная реальность, «очевидное-невероятное» в бесхитростной передаче главного героя, человека, без сомнения, умного и сильного, настолько сильного, что он смог все это перенести. «Да, были люди в наше время...»

*С. А. Нефедов,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института истории и археологии УрО РАН,
профессор Уральского федерального
университета*

Я доживаю полстолетия,
И на события все ясней
Могу со стороны смотреть я,
Свидетель отошедших дней.
В. Брюсов

ОТ АВТОРА

Не для широкого круга читателей и не на большой срок написаны эти воспоминания. Их прочтут только немногие из моих друзей и знакомых, а также мои дети и внуки.

Я хорошо понимаю, что литературные достоинства этих записок невелики, а на каждой странице вместо отточенных фраз и образных сравнений читатель встретит кучу неотесанных словесных глыб и неуклюжих предложений, но все это я попытаюсь компенсировать правдой и точностью изложения, которые не часто встречаются на страницах книг современных маститых писателей.

Поскольку мои мемуары не предназначены для широкого круга читателей, это дает мне большую свободу — я могу описать здесь все, что я видел, слышал, о чем думал во время странствий по Европе и Африке, не опасаясь, что цензорская или редакторская дубина ударит меня по темени.

Раскрыв эти записки, читатель последует за мной по дорогам войны и окажется в концлагере. Темными ночами он будет пробираться по глухим тропам Германии, по задворкам голландских и бельгийских городов, по лесам и горам Франции. Ему не раз придется переходить границы, переплывать реки и каналы, убежать от полиции. И если он проследит мой путь хотя бы до Воркуты, не бросив книгу раньше, это будет мне лучшей наградой за те сотни часов, которые я потратил на ее написание.

Глава 1

ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Моя деревня

На берегу Миасса, самого крупного притока Исети, раскинулась старая русская деревня Тамакулье. Это моя родина. Первыми поселенцами в этих местах были выходцы из Каргополя, прибывшие в Зауралье еще в XVII веке и основавшие село Каргаполье и несколько деревень. В то время здесь был простор: обилие земли, сенокосных угодий, пастбищ, богатых рыбой озер, а в лесах и на лугах множество птицы и прочей живности. Крепостного права здесь не знали, и даже пресловутый всероссийский лапотъ не перешагнул за Урал.

Во времена моего детства в деревне было две улицы. Одна из них тянулась вдоль Старого Миасса километра на полтора, а другая была много короче. В доколхозное время на этой малой улице жили в основном двоеданы, представители какой-то христианской секты старообрядческого толка. В большинстве своем это были «крепкие хозяйственники», состоятельные или даже зажиточные мужики. В годы коллективизации почти все они были раскулачены, сосланы куда-то на север, многие из них потом погибли, а другие, выжившие, рассеялись по стране.

Наш родовой дом стоял и сейчас еще стоит на большой улице. Он был построен в 1904—1905 годах моим дедом по отцу Филиппом Петровичем Сосновских. Рядом, на том же дворе, стоял старинный дом, принадлежавший отцу моего деда — Петру. В деревне его звали Петруней. Он жил со своим старшим сыном Иваном Петровичем, братом моего деда. Это был мой прадед, самый последний в моем роду, о котором я еще хоть что-то могу сказать. Умирал Петруня глубоким стариком в 1925 году. Помню, что летом он лежал на дворе под крышей и я часто приходил его проведать.

Рядом с нашей деревней проходит гряда невысоких гор, вернее возвышенностей, изрезанных глубокими оврагами. Весной, во время таяния снега, в этих оврагах шумели бурные ручьи. Возвышенности слагаются из мощных пластов глины и песка. Здесь были построены сарай, в которых летом делали кирпичи, а зимой или поздней осенью обжигали их в вырытых в земле ямах-печах. Работа эта была тяжелой, но она приносила хороший доход. Спрос на кирпич был устойчивый, и сбыть его можно было всегда.

Когда мне было семь-восемь лет, «кирпичное производство» уже не давало мне покоя. Я должен был катать комки, глиняные заготовки для кирпичей, и таскать воду из колодца. Колодец этот существует еще и сегодня. Вода в нем очень приятная на вкус, и многие берут ее для пищевых целей. И сейчас, на седьмом десятке лет своей жизни, приезжая летом в деревню, я обязательно прихожу к этому колодцу, чтобы глотнуть воды из источника моего детства.

Между селом Каргапольем и нашей деревней протекают Большой Миасс, Малый Миасс и еще одна речка с поэтическим названием Маряновка, а между ними протянулась широкая полоса лугов — колыбель наших детских забав, игр и непритязательных развлечений. В годы детства моего отца ребятишки купались только в Маряновке, в годы моего детства — в Малом Миассе, а мои дети, изредка приезжая в деревню, могли искупаться только в Большом Миассе, при этом рискуя вымазаться в зеленой тине реки или даже в зловонных стоках маслодельного завода. Маряновка уже давно обмелела, заросла травой и завалена мусором, Малый Миасс постигла та же участь, а теперь уже и Большой Миасс умирает. Рыбы в нем нет, сбрасывается много отходов, иногда даже запрещают в нем поить скот.

По другую сторону деревни, «на горе», были пастбища. Скот там гулял свободно, пастухи не требовались, так как посевы были отгорожены от пастбища изгородью — «поскотиной», которая тянулась на многие километры. Каждый двор имел свой участок изгороди, за которым хозяева должны были следить и, по мере надобности, ремонтировать. Осенью, когда хлеб с полей был убран, ворота «поскотины» открывались и коровы получали выход в поле, но уже с пастухом. Пасли обычно мы — мальчишки.

На каждого приходилось пять-восемь животных, и справляться со стадом было нетрудно. Занятие это нам нравилось.

Когда коровы наедятся, они ложатся отдыхать, а это часа два или более. В это время мы затевали игры, борьбу, бег наперегонки или собирали поблизости грибы, ягоды боярышника. Часто в такие «перемены» мы вырезали из дерева мутовки, шарики и прочее. За плечами каждого из нас был пастушеский мешок с провизией и бутылкой воды. Вечером стадо возвращалось домой, а за ним с чувством исполненного долга топали и мы.

У озера

Большая часть нашей пашни находилась у озера Стрелкового, это примерно 10—12 километров от деревни. Озеро довольно большое, поросшее камышом и затянута местами «лабзей». Только кое-где видны на нем участки чистой воды, а основная часть покрыта водяными лилиями, камышом и ряской. В озере уйма рыбы, в основном карась, другие виды рыб почти не водятся, хотя запускали их туда не раз. Берега озера покрыты лесом, березой, частично осиной и различными кустарниками: черемухой, боярышником, вишней и смородиной. На берегу озера у всех были построены заимки — теплые избышки, крыши, стойла для лошадей и прочего скота. Летом в доколхозную пору много времени мы проводили у озера. Весной, как только немного просохнет земля, взрослые снаряжали обоз к озеру. Для нас, ребяташек, это было самое счастливое время. Березовый сок, медуница, яйца диких птиц, лодочные прогулки по озеру и ловля карасей — все это незабываемые воспоминания.

Рыбу ловили чаще сетями. Когда сети установят, мы с лодок «ботаем» — ударяем по воде раструбом, укрепленном на палке, чтобы загнать рыбу в сети. Иногда удавалось поймать так много, что девать рыбу было некуда. Тогда нас посылали по соседним заимкам и мы оповещали всех, чтобы приходили за рыбой. Уха из жирного карася, сваренная на костре и разлитая в миски тут же у костра, — это нечто такое, что для большинства людей теперь кажется почти непостижимым.

Участок леса на берегу озера, который считался нашим, был огорожен жердями и назывался «третник». Трава и кусты были нетронутыми, поэтому в разгар лета тут было много ягод, особенно клубники, смородины, черемухи и вишни. Собирали ягоды ведрами, сушили их на печке, а зимой делали из них пироги. Варенья в те годы не варили, так как не было сахара — в то время, и еще много лет после того, деревня была освобождена от него победоносным шествием социализма.

В конце лета, после уборки урожая, сюда пригоняли скот и мы пасли его в березовых колках и на опустевших полях. Стадо формировалось из скота трех родственных семей: нашей, Василия Ивановича — племянника моего деда, и Афонасьевых, тоже наших родственников. В той и другой семье были мои ровесники, Толька и Санко. Вот мы и пасли стадо до поздней осени, практически до снега, и только потом нас отпускали в школу.

Мой дед Филипп Петрович

В дореволюционное время Филипп Петрович был не очень богатый, но достаточно самостоятельный крестьянин, рачительный хозяин. В 1913 году по случаю 300-летия царствования дома Романовых он был награжден серебряной медалью за образцовое ведение хозяйства. Его не раз выбирали старостой деревни и членом комиссии по перераспределению земельного надела общины. Роста он был невысокого, но сложен хорошо и обладал порядочной физической силой. В молодости он даже участвовал в соревнованиях на первенство Шадринского уезда по русской борьбе. Первого места не занимал, об этом я не слышал, но о том, что выступал не без успеха, об этом знаю достоверно. Пить он не пил. По словам бабки ХаритониИ Ивановны только один раз он изрядно выпил и шел по дороге с песнями. Это было на какой-то свадьбе, и было ему тогда лет тридцать. Табак он не любил и курильщиком не был никогда. В доме курить тоже не разрешал никому.

Из трех его сыновей только один унаследовал физические и моральные достоинства в полной мере. Это старший сын Дмитрий Филиппович, убитый в Гражданскую войну колчаковцами в своей

деревне. Я очень смутно помню похороны Дмитрия Филипповича, моего дяди. Бабка рассказывала, что когда его привезли домой и положили на стол, уже обмытого, я ползал по нему и все просил проснуться.

Усадьба

Усадьба нашей семьи — большой огороженный участок — простиралась от дома, который и теперь стоит на том же месте, вплоть до самой горы. От дома в сторону скотных дворов тянулись постройки, крытые тесом или соломой. Тут же, под крышами, была баня, а рядом с ней глубокая, выложенная кирпичом яма. На дне ее всегда стояла вода, а над водой был дощатый настил, на котором хранился пищевой резерв в жаркое и теплое время года. В конце усадьбы были задние ворота, через которые пропускали скот. Тут же был и колодец с отличной питьевой водой. Долгое время он был завален, но теперь отремонтирован и функционирует. За колодцем начинались конюшни и стояла для лошадей. Все это было покрыто высокими крышами с сеновалами и другими запасниками. За скотным двором располагался огород.

В стороне от скотного двора и соломенных крыш стояли амбары — хранилища для зерна и муки. Они были слегка приподняты над землей и покоились на столбах, врытых в землю. Под амбарами часто неслись куры, и бабка Харитония посылала меня искать яйца. Пролезть туда можно было только ползком, по-пластунски, и почти всегда такие «командировки» были удачными.

Участок усадьбы, не занятый строениями, был огромный. На нем росла трава, и в иные годы ее приходилось даже скашивать. Зимой большая часть этой площади была завалена снегом, так как туда сгребали снег от домов, амбаров и с многочисленных дорожек, которые всегда должны были находиться свободными от снега. Убирать снег, это называлось «огребаться», было одним из важных занятий мужской части семьи. Я, конечно, тоже не оставался в стороне. У меня были длинные санки с окованными стальными полозами полозьями, на которые ставился плетенный из прутьев короб. Наполнив его, я отвозил снег к центру усадьбы и там его сваливал.

В верхней части усадьбы, ближе к скотным дворам, были устроены печи, сложенные из кирпича. Зимой и поздней осенью в них два раза в день варили картофель для свиней и другого скота. Топливом служил хворост, специально завезенный для этого еще с осени. В этих печках, а их было две, мы часто пекли картошку, так называемые «печонки», но уже не для свиней, а для себя. Истопниками у этих печей чаще всего были мы с Толькой. Поздней осенью здесь же, около этих печей, кололи свиней и другой скот. Шкуру со свиней не снимали, а палили над костром. Щетину со спины предварительно ощипывали, она шла потом на щетки и малярные кисти, а вся остальная щетина сгорала в пламени костра.

Мы, мальчишки, всегда были активными участниками этих событий. Нашей обязанностью было поддерживать пламя костра. За это нам потом отдавали уши опаленных свиней, которые считались лакомством. Туши забитого скота зимой зарывали в снег, если снега было уже достаточно, а если нет, то подвешивали в амбаре. Ежегодно кололи шесть-восемь свиней и пару-тройку бычков или телок. Свиное мясо не было жирным и не считалось хуже говядины. По мере надобности мясо рубили огромными кусками и всю зиму готовили «жаркое» — наваристый суп из русской печки, а также пельмени. Обычно пельмени делали вечером. Почти всегда этим была занята вся семья, кроме деда. Моей обязанностью было скатать сочни. Готовые пельмени выносили в сени, там они застывали, потом по мере надобности их варили, чаще всего утром, когда топится печь. Праздничным блюдом пельмени не считались, и к праздникам их никогда не делали.

Игры и забавы

Зимой любимым нашим занятием было катание с горы на санках. Иногда собирались десятки ребятишек, каждый со своими санками, выстраивались в ряд и неслись с горы наперегонки. Скорость спуска с крутой горы была огромной, и на ухабах, бывало, так тряхнет, что кубарем летишь потом вслед за своими санками. Лыж у нас тогда не было. Кое у кого, правда, были самодельные лыжи, но мало кто приходил с ними на гору. В хорошую погоду такие мас-

совые катания затягивались до позднего вечера, и часто кто-нибудь из взрослых приходил на гору, чтобы разогнать нас по домам.

К Масленице с помощью взрослых ребят и мужчин мы строили специальную катушку где-нибудь в тихом переулке деревни. Это был поднятый на высоких деревянных козлах настил из жердей или досок, который засыпали снегом и поливали водой. В праздничные дни тут проходили массовые катания на санках и коньках, устраивались проводы зимы. На улице зажигали костры из соломы, наряжали лентами и другими украшениями упряжки коней, заложенных в сани или кошевки, и с гиком, криком и песнями гнали коней по кострам. Это было не только гуляние, но и состязание, соревнование лучших деревенских рысаков, ибо каждый старался обогнать впереди идущую упряжку. Ну а после всего этого, конечно, были блины с маслом, круглые, желтые и горячие, как солнце. Такие торжества на Масленицу устраивались у нас ежегодно вплоть до тех времен, когда деморализация была привнесена в деревню коммунарами и раскулачиванием.

Летом тоже были у нас своеобразные игры и забавы, прежде всего игра в бабки. Еще до наступления сезона мы начинали готовить биты для этой игры. Сверлили панки и заполняли их расплавленным свинцом, чтобы были тяжелее. Те кто мог вытягивали овальные стальные биты, которые назывались у нас плитками. Бабки ставились в кон (ряд) и отмечалось место, с которого все будут бить по очереди по кону. Если попал и сбил несколько бабок, то они твои. По оставшимся бьет следующий — и так до тех пор, пока на кону не останется почти ничего. Затем, беря от каждого по несколько бабок, ставят новый кон, и всё начинается с самого начала. У кого более верный глаз и точная рука — тот выигрывает, и иногда все бабки собираются у одного или двух игроков. Проигравшие могут купить или выменять на что-либо определенное число бабок и продолжить игру.

Другой неперменной забавой в летнее время была игра в шарики. Из корня дерева, чаще всего молодой березы, вырезали круглый шарик. Работа эта трудоемкая и требует некоторого искусства, но такие шарики, и даже не по одному, были у каждого из нас. Обычно мы вырезали их осенью, когда пасли в лесу скот. Играю-

щие в шарики делятся на две равные группы, по три-пять человек в каждой. После этого бросают жребий — кому «галить», а кому «гонять». Галящие берут шаровки — специально изготовленные палки примерно по полметра длиной, делают лунки (лузы) на расстоянии одного шага одна от другой, и каждый становится к своей лузе. Гонящие отходят метров на тридцать-сорок от луз и рассредотачиваются по площадке. Один из группы галящих остается у луз. Он будет подбрасывать шарик на высоту примерно два-три метра для одного из своих игроков, и тот, бросая в него шаровку, должен ударить шарик так, чтобы он летел как можно дальше. После удара он сразу бежит за своей шаровкой и занимает место у своей лузы. Гонящие бегут за шариком и бросают его с той точки, куда он улетел. Все галящие стараются снова его отбить, уже не выпуская шаровок из рук. Если шарик не был отбит, то подающий должен поймать его и положить в одну из луз прежде, чем в нее будет поставлена шаровка. Когда это удастся, команды меняются местами, гонящие идут галить, галящие — гонять. Игра эта требует сноровки, быстроты реакции, умения ловить деревянный шар голыми руками, тренирует в беге, в точности удара и броска. В праздничные дни нередко играли шариком и взрослые парни и мужчины.

Во время полевых работ, когда мы жили на заимках или в палаточных городках на сенокосе, чаще всего играли в чижика. В землю наклонно вбивают колышек и вокруг него очерчивают круг диаметром около метра. На колышек кладут чижик — деревянный брусок с зарубкой, и один из играющих бьет по нему палкой. Остальные участники ловят чижик и стараются попасть им в круг около колышка. Кто попадет — тот будет бить, и так далее.

Осенью, когда нам приходилось пасти скот, многие из нас увлекались борьбой в вольном русском стиле. Эти соревнования проходили у нас почти ежедневно. Как правило, пастухов было человек пять-шесть, а то и более, коров же в стаде не так много, и усмотреть за ними было нетрудно. Когда коровы отдыхают, делать нечего и начинаются баталии. Побеждали в борьбе далеко не всегда самые сильные. Знание некоторых приемов, таких как умение ставить подножку и провести захват, нередко давало возможность победить менее сильным, но более ловким ребятам. Такие состя-

зания обычно происходили на одной из лужаек на берегу замечательной лесной речки Калиновки. Сюда мы ежедневно пригоняли коров на водопой. Вода в этой речке холодная даже в самую жаркую пору лета и прозрачная, как неразведенный спирт. Берега ее поросли смородиной, черемухой, малиной и другими кустарниками, а немного поодаль от нее лес — могучие сосны, высокие стройные березы и кое-где вечно дрожащие осины. Осенью, в период бабьего лета, осины и березы полыхают почти всеми цветами радуги, а земля в этом лесу словно пестрый ковер, развернутый по всему берегу.

Начальная школа

В школу принимали тогда с восьми лет, и случилось так, что все мои друзья, будучи немного старше меня, пошли в первый класс, а меня не приняли. Восьми лет мне еще не было, а класс был переполнен. В нем сидели парни, которым было много больше восьми лет. Раньше они не учились, так как школы в деревне не было, а в соседнее Каргаполье они не ходили. Слез было много. Моя мать ходила в школу и просила, чтобы меня приняли, но успеха не добилась. Позднее, когда прошло уже около полугода, кажется это было после зимних каникул, я пришел в школу сам и сел за парту. Пришел с полным реквизитом: букварь, карандаш, резинка, пенал — все уложено в сумку, сшитую еще летом из льняного полотна. Но оказалось, что место за партой, которое я занял, принадлежало Митьке Максимо-ву, парню много старше меня, и он, конечно же, согнал меня. Я сел третьим с Толькой и его сестрой Наташкой. Когда прозвенел звонок и вошла учительница, она сразу заметила «зайца» и попыталась «ссадить с поезда», но неожиданно мощную поддержку оказала мне Наташка, а потом и некоторые другие ребята. Они заверили Дарью Константиновну, так звали учительницу, что я умею читать и немного писать буквы, она махнула рукой и сказала: «Сиди». Так я стал учеником первого класса.

Школа размещалась в трехэтажном кирпичном доме, стоявшем на краю деревни и принадлежавшем раньше одному нашему зажиточному односельчанину. Такой дом был единственным в нашей деревне. О его бывшем хозяине уже в то время было мало что

известно. Говорили, что он то ли бежал вместе с отходящими колчаковскими частями, то ли был расстрелян красными. Дом этот потом разломали и из этих же кирпичей хотели построить новую школу, но так ничего и не построили. Груда кирпичей и кирпичных глыб еще долго лежала на этом месте, а позднее все было растащено, расхищено и уничтожено. Типичный образчик ведения дел новых хозяев деревни.

Первые три класса я закончил в своей деревне, а потом один год не учился нигде. Через год четвертый класс был открыт в Тагильской школе, и я пошел туда. От нашей деревни до деревни Тагильской было километра четыре. Из нашей деревни ходили туда только двое: Колька Попов и я. Оба мы считались парнями смелыми, иногда участвовали в разных потасовках, но в Тагильской школе временами было трудновато. В самой школе нам ничего не угрожало, но на улице нередко приходилось отбиваться от целой толпы свирепых тагильчан, некоторые из них были к тому же значительно старше нас. Так прошло два или три месяца, пока не открылся четвертый класс в нашей школе.

Ночное

Четвертый класс я окончил в 1930 году. Деревня была коллективизирована, а «кулаки-миroeды» сосланы в отдаленные районы страны. Многие из тех, кто и не подлежал раскулачиванию, разбежались сами, наспех распродав все, что нельзя было захватить с собой. Одни подались в город, другие в местный леспромхоз, третьи еще куда-то. Рабочих рук в колхозе катастрофически не хватало, и нас, подростков, стали привлекать к общественно-полезному труду. В посевную мы боронили и даже пахали, хотя для многих из нас плуг был еще тяжеловат. В самый разгар лета иногда посылали нас в ночное с лошадьми, но это уже было более приятным времяпрепровождением и мы от него никогда не отказывались. Кто из деревенских мальчишек не любил поездку в ночное! Недаром она воспета писателями и художниками.

Ездить в ночное я любил еще и в доколхозную пору, но одного меня с лошадьми тогда еще не пускали и я ездил обычно с дедом.

К нам примыкал кто-нибудь из соседей, и так возникала небольшая группа из четырех-шести человек. Выбирали в лесу где-нибудь поляну с хорошей травой, связывали коням передние ноги волосяными путами, на одну из лошадей надевали ботало и отпускали пастись. Под каким-либо развесистым деревом делали балаган — вбивали четыре колышка и натягивали на них полог. Внутри этого сооружения устраивали себе постель из скошенной травы. Такой вид убежища спасал нас от комаров и не очень сильного дождя. Тут же поблизости разводили костер и готовили ужин, иногда из грибов, только что собранных, иногда из продуктов, взятых из дому. Вечером обычно долго сидели у костра и рассказывали истории, связанные чаще всего с покойником, кладбищем или нечистой силой. В те времена о чертях, колдуньях и ведьмах говорили не меньше, чем сейчас пишут о так называемых летающих тарелках. Магистральные фольклорные темы, видимо, тоже подвержены изменениям, как и все остальное.

Одну такую поездку с дедом я запомнил на всю жизнь и вспоминаю ее каждый раз, когда слышу раскаты грома. В тот раз с нами не было никого. Трех лошадей мы отпустили недалеко от опушки леса и оборудовали себе место ночлега под телегой. На телеге была уже накошенная нами трава, и под телегу мы тоже положили траву. Все это располагалось под раскидистой старой березой, стоящей несколько особняком от других деревьев. Когда в 1948 году, впервые после войны, я пришел в лес, то обнаружил только пенек от этой березы. С тех пор этот пенек я навещаю почти каждый раз, когда приезжаю в деревню и прихожу в лес. Всякий раз при этом в моей памяти раскручивается лента событий той ночи.

Только мы легли спать (я успел уснуть, а дед еще не спал), где-то вдали начали раздаваться раскаты грома. Гром и вспышки молнии становились все ближе и ближе. Скоро зашатались ветки деревьев, а потом и сами деревья. Я уже не сплю. Дед стоит рядом с телегой. Наконец разверзлись хляби небесные. Начался дождь. Раскаты грома и вспышки молнии еще усилились. Падая, затрещали поблизости сосны, на наших глазах некоторые были вырваны с корнем, другие сломаны пополам. В промежутках между молниями — крошечная тьма. Дед побежал искать лошадей, но не нашел, скоро вернулся и залез под телегу, но спасения от дождя и тут почти

никакого не было. Буря продолжала свирепствовать, словно силы ада обрушились на лес, и нет им никакого удержу.

Но вот становится все тише и вспышки молний реже, буря почти улеглась, деревья больше не падают, но дождь еще идет. Мы оба бредем искать лошадей. Ботала не слышно. Обежали большой круг и не нашли ничего. Потом решили выйти на поле, где была посеяна пшеница. В то время она уже выбрасывала колос. На некотором расстоянии от леса в темноте мы различили силуэты лошадей. Все три лошади стояли кучкой, положив головы друг другу на спины. Инстинкт самосохранения, видимо, работает и у лошадей. Почувствовав опасность в лесу, они выбежали в поле. Позднее, уже в колхозную пору, нас, троих ребятишек, застала примерно такая же буря в лесу. Полог нашего балагана сорвало и унесло бы, если бы мы все трое, свернувшись клубком, не вцепились в него. Тогда тоже падали сосны и березы, но наше становище было на небольшой поляне, окруженной молодыми березками, которые гнутся под ветром, но не ломаются. К счастью, такие экстремальные случаи в ночном случались не часто. В основном это была просто ночевка в лесу, связанная с различными мальчишескими развлечениями и свободная от всяких опасностей.

Школа колхозной молодежи

Пятого класса в нашей деревенской школе не было, и мне пришлось ходить в соседнюю деревню Вороново. Там только за год или два до этого открылась ШКМ — школа колхозной молодежи (семилетка). Школа эта была расположена в двоеданской часовне и еще в одном доме, принадлежавшем ранее одному зажиточному мужику-крестьянину, который к этому времени был уже «ликвидирован как класс» и сослан куда-то в Сибирь. В ШКМ я проучился три года. Вместе со мной ее посещали еще несколько ребят из нашей деревни, в том числе Санко Сосновских, Ванька Трифонов, Ванька Лупанов и тот же Колька Попов, с которым мы раньше ходили в Тагильскую школу. Девчонок из нашей деревни в школе не было, но из Каргаполья, Тагильской и еще из других соседних деревень и сел было несколько девчонок.

Годы были трудными. Это самое начало тридцатых годов. Сытыми в то время мы бывали редко, разве что иногда наедались картошки. С одеждой и обувью было так же плохо, как и с едой. В иные холодные зимние дни я надевал отцовские сапоги и топал в них в школу. Но надевать их он разрешал только в исключительных случаях, когда мороз был особенно трескучим. И все-таки, сейчас, когда уже никого из названных выше моих соучеников нет в живых, в моих воспоминаниях это время кажется прекрасным. Именно время, а не жизнь, которая была собачьей. Мы были молоды — еще подростки, у которых даже в самые плохие времена находятся свои радости.

До конца учебного года, насколько помнится, никто из нас школу не посещал. Мы бросали занятия весной, в конце апреля, как только начинались весенние полевые работы, а осенью возвращались в школу, когда основные работы в полях были уже закончены. Хотя в эти годы в деревне уже были завершены социалистические преобразования, сосланы на Урал или в Сибирь «кулаки-мироеды», организованы колхозы, заморены лошади и люди, развешаны на всех заборах портреты «мудрейшего вождя», «лучшего друга советских детей», работать надо было в полную силу. Иногда нам приходилось выполнять работу едва посильную для полуголодных подростков.

ШКМ я закончил в 1934 году. Все эти годы учился я легко и свободно, а за успешное окончание шестого класса получил даже денежную премию в размере 10 руб. Помнится, дядя Яков сказал тогда моему отцу и матери, что Яшку надо учить дальше. Дед это одобрил уже только потому, что колхозные порядки он ненавидел всей душой и понимал, что скорого улучшения ждать нечего. Это предопределило мою судьбу в том отношении, что я не остался в деревне навсегда.

В ШКМ в то время работала группа учителей — выпускников Пермского университета. Это были молодые, образованные и увлеченные люди, умевшие поддерживать интерес к своему предмету. Таким был Александр Иванович Коровин. Он преподавал химию и немецкий язык, те самые предметы, которые потом пришлось преподавать и мне. Геннадий Иванович Санников — историк и географ, позднее он станет заведующим Каргапольским районо и зачислит меня учителем в школу в Каргаполье. Алла Николаевна препода-

вала у нас литературу и русский язык. Это была совсем молодая и очень красивая девушка. Она много возилась с нашими «деревенскими талантами», вела литературный кружок, школьный литературный альманах и т. п. Под ее руководством мы выступали со своими самодельными стихами по районному радио. Впоследствии она стала женой Г. И. Санникова, но через некоторое время заболела туберкулезом и совсем молодой скончалась. Нина Алексеевна Арбузова преподавала у нас биологию. Она тоже была выпускницей Пермского университета и принадлежит к числу учителей, которых я не забыл за прошедшие полвека.

Из учителей старшего поколения больше всего запомнился мне Петр Ефимович Березин. У нас он был физиком, но мог вести и любой другой предмет. Он был сыном священника, учился еще до революции в Петербурге. В наших краях он оказался по воле ВЧК — НКВД. Он был скромн, тих и незаметен, хороший музыкант, знал несколько иностранных языков, а по математике у него даже были какие-то печатные труды. Но сейчас для него других дорог не было, и он преподавал нам законы Ома и Джоуля — Ленца. Он всегда требовал, чтобы формулировки законов мы знали наизусть. Я по сей день помню, в какой редакции давались эти законы в тогдашних учебниках и как выглядели они на страницах учебника, набранные жирным шрифтом и взятые в рамочку.

Сельское хозяйство (был тогда в школе такой предмет) преподавал Самокрутов. Он был огромного роста и свирепый, как дикий кабан. Мы все его боялись и порядочно ненавидели. Жена его, Бекетова, тоже работала у нас, преподавала обществоведение и историю. С ней мы часто спорили на различные темы современности. Будучи голодными и раздетыми, мы с трудом понимали и ценили блага, принесенные нам революцией. Весь наш класс она называла оппортунистами, а меня и Егорку Пермякова еще и уклонистами правого толка. На наш диссидентский образ мышления она, однако, почти не обижалась, и на уроки ее мы шли с удовольствием. Оба они были коммунистами с дореволюционным стажем и идеалы «равенства и справедливости», в которые они искренне верили, перенесли даже на собственную фамилию. После регистрации брака они приняли фамилию Самбек, гибридизированную из Самокрутов и Бекетова.

Раскулачивание

Эта бесчеловечно-жестокая и антинародная акция проводилась руками деклассированных и опустившихся алкоголиков, бродяг и попрошаек, объединенных тогда в комитеты бедноты. В памяти всех людей, которые стали свидетелями раскулачивания, остался глубокий и нестирающийся след. Массовое раскулачивание в наших краях проходило зимой 1929—1930 годов. Мне было тогда одиннадцать-двенадцать лет, я еще мало что понимал и помню кое-что только со слов матери. Много позднее я узнал, что сверху, из района и области, спускался план: сколько семей и в какой деревне надо раскулачить. Кого конкретно — это уж решалось на закрытом собрании комбедов, состоящих, как уже было сказано, не из самых лучших людей, которые не могли или не хотели работать и действительно были бедны. Земли у нас в то время еще хватало на всех, и кто работал, тот бедности не испытывал.

Помню, как в один из морозных зимних дней раскулачивали наших соседей и родственников Николаевых. Фамилия у них была Сосновских, а звали Николаевыми по их деду и прадеду, от которого пошел род. Это была большая семья: три взрослых сына, двое из них были уже женаты, а третий еще нет. Четвертый сын — Костя, мой ровесник. У них было три дома, все они стояли рядом. Женатые сыновья были уже официально отделены, но это не спасло их от разорения и депортации. Окна в доме были раскрыты, напротив окон стояли запряженные в сани лошади. Пьяные милиционеры и представители комбедноты выбрасывали детей и вещи прямо через окна в сани. Во дворе стояла большая толпа людей, многие женщины плакали, а мужчины в бессильном отчаянии что-нибудь сделать, стиснув зубы, мрачно взирали на происходящее.

Но вот погружен в скарб, загнана в повозку плачущая и высохшая от горя старуха — мать семейства, на руках матерей режут дети, плачут и сами матери, глухо гудит и волнуется толпа. Лошади трогаются и выезжают со двора на улицу, а там уже движется вдоль всей деревенской улицы целый обоз, почти из конца в конец деревни. Это раскулаченные из других деревень прибыли к назначенному часу. Людей увозили в Сибирь, на Северный Урал и кто знает куда

еще. Там они работали на лесоповале, иные на стройке или в карьерах. Многие из них погибли от тоски, холода или голода, но иные выжили и, умея работать даже в таких условиях, со временем пробили себе дорогу.

Некоторые, не дожидаясь насильственной депортации, бежали из деревень сами. Так поступил и Василий Иванович, Толькин отец, племянник моего деда. Кто-то донес, что в соломенной кровле крыши у него спрятана то ли сабля, то ли винтовка. Кроме раскулачивания ему грозил еще суд и арест, и, покинув свою семью, он бежал на Северный Урал.

Были среди раскулаченных и такие, кто с винтовкой или обрезом в руках уходил в леса. Лично я знал и хорошо помню одного такого Робин Гуда мстителя. Это Егорко Троегубов. Фамилия у него была Тремзин, а Троегубовым его звали потому, что одна губа у него была рассечена и казалось, что у него три губы. Жил он на левом берегу первого оврага в деревне. Отца его сослали на Урал. Позднее стало известно, что жил он в Сухом Логу, работал на цементном заводе и стал даже лауреатом Сталинской премии за 1939 год. Сам же Егорко тогда, в 1930 году, был уже взрослым и сильным парнем с твердым характером. В пьяных деревенских потасовках, которые иногда происходили, он был непременным и непобедимым участником. Уйдя в леса, он с небольшой группой парней из таких же разоренных семей долго наводил страх на местных коммунистов. Ему же приписывали тогда поджог деревни, в результате которого сгорели надворные постройки у десяти домов, в том числе и у нашего. Сами дома в этом пожаре остались нетронутыми только благодаря тому, что довольно сильный ветер дул от домов в сторону горы.

Еще один из наших родственников, Антон Яковлевич Прокофьев, был раскулачен и выслан со всей семьей в Нижний Тагил. Две дочери, Мария и Клара, были совсем детьми, одной шесть лет, а другой восемь или девять, сыну Ивану еще меньше, а старший сын уже служил в армии в казахстанском городе Зайсане. Он много раз принимал участие в боях с басмачами, под ним было убито две лошади, и там, в своей части, он был на хорошем счету. Хотя позднее туда не раз приходили бумаги о том, что Прокофьев — сын кулака, его начальники на это не реагировали. Когда

он отслужил свой срок, возвращаться ему было некуда, и он остался в армии навсегда.

Сам Антон Яковлевич погиб на стройке. Строили школу, обрушилась стена или часть стены, и вместе с другими он был погребен под обломками. Так оборвалась жизнь труженика-крестьянина, одного из тех, которые веками кормили Россию, а иногда и не только ее. Семья его, однако, выжила. Дочери выросли, обе красавицы. Одна из них, Мария, вышла потом замуж за родственника Щербицкого, который много лет был первым коммунистическим мандарином на Украине. Сам же ее муж был начальником какого-то украинского треста. Так породнился один из высокостоящих большевиков с кулаком-мироедом из глухой зауральской деревни Журавлевой.

Мать Марии, Прасковья Филипповна, была дочерью моего деда Филиппа Петровича и сестрой моего отца. Жила она долго, там же, на Украине, и в последние годы ее жизни мой отец навестил ее. От него я и узнал о взлете кулацкой дочери в высокие сферы коммунистической элиты. Но все это было потом, а о жизни этой семьи после раскулачивания и гибели отца я знаю очень мало. Слышал только, что это была более чем просто трудная жизнь.

Учеба в техникуме

Летом 1934 года, после того как я окончил ШКМ, на семейном совете было принято решение отпустить меня в село Чаши для учебы в техникуме молочно-масляной промышленности. Дед сказал: «Учись Яшка, а то пропадешь в этой кумыне». Нельзя сказать, что я видел в себе большого маслодела, но постоянное недоедание, а временами и голод, подсказывали мне, что придвинуться поближе к молоку и маслу все-таки не помешает. Техникум стоял на окраине села Чаши, в то время районного центра, находящегося в 30 километрах от нашей деревни. Рядом с двухэтажным кирпичным зданием техникума располагались два общежития, одно из которых тоже было двухэтажным кирпичным зданием барачного типа, а второе — двухэтажным, но деревянным. Тут же стояли домики для преподавателей, баня и еще какие-то службы,

а в центре городка — спортивная площадка с непременным канатом, лестницей, кольцами, турником и прочими атрибутами спортивной жизни. Вот здесь и провел я три года своей ранней молодости.

Преподавательский состав техникума по тем временам был достаточно сильный. Органическую химию преподавал Аркадий Иванович Немчинов, доцент, ранее работавший с академиком Лискуном по выведению новых пород животных. Это был уже далеко не молодой человек, лет 60 с лишним, но бодрости и юмора было в нем еще достаточно. В органике, правда, он не был силен и частенько бегал из аудитории в препараторскую, чтобы посмотреть, как записывается то или иное уравнение реакции. Если случалось, что он запутывался у доски, то вызывал меня, чтобы закончить уравнение, а по существу — чтобы распутать. Сам же тем временем садился на кафедру и, посмотрев на часы, принимал таблетку.

Пол в химкабинете был цементный, и по этой причине Аркадий Иванович никогда не снимал калош, даже если столбик термометра показывал выше 25 градусов. Не знаю уж, то ли по долгу службы, то ли по собственной инициативе он частенько приходил к нам в общежитие и проводил беседы, большей частью о вреде пьянства. «Напиться один раз до полного лыконевязания, — говорил он, — менее вредно и опасно, чем понемногу пить часто». Мы в основном следовали этому совету. Пить часто нам было просто не на что, но если случалось, то пили основательно. Конечно, нельзя было делать это на виду, так как сразу могли исключить из техникума. Летом или в начале осени, пока еще тепло, пирушки обычно проходили в лесу, а иногда на кладбище, которое находилось в сотне метров от общежития. Но это случалось не часто, в основном после возвращения с практики, когда у нас появлялись кое-какие деньги.

Жена Аркадия Ивановича была намного моложе его. Она работала в библиотеке техникума и поражала нас своим знанием стихов Пушкина и Лермонтова, да и вообще знанием литературы в целом. Поразить нас этим, вероятно, было не очень трудно. Все мы происходили из неграмотных или полуграмотных семей, литературную классику мы знали только в пределах программы ШКМ.

Математику преподавал Борис Николаевич Мачинский. Ранее он работал в Казанском университете и приехал к нам «на лоно

природы» из-за болезни, у него был туберкулез. При нем мы почувствовали, что такое математика. У меня до сих пор сохранился интерес к некоторым разделам школьной математики, особенно к задачам на составление и решение уравнений первой и второй степени. Позднее, лет через 15, когда мне пришлось сдавать экзамен за среднюю школу экстерном, я справился с математикой легко и свободно благодаря школе Мачинского. Внешность его не была броской: лет чуть больше тридцати, плохие и неправильные зубы, светлые и редкие волосы на голове, но одет он был всегда отменно, разумеется по тем временам. Это был настоящий интеллигент, которому болезнь, а может быть и еще какие-то обстоятельства, помешали подняться выше и приземлились в нашей глуши.

Русский язык и литературу преподавал Николай Ильич Лукин, типичный старый русский интеллигент. Лет ему в ту пору было около шестидесяти. Еще до революции он был автором учебника русского языка для гимназий. Большой грамотностью почти никто из нас не отличался, и Николай Ильич жучил нас двойками нещадно, особенно за диктанты. На первом курсе, помнится, у меня была одна тройка по русскому языку на фоне сплошных пятерок по всем другим предметам. Уроки литературы, а было их совсем немного, мы очень любили и воспринимали их как праздник. Не забыть, как он читал нам «Песнь о купце Калашникове» Лермонтова. В аудитории стояла мертвая тишина, на глазах у многих слезы. Дверь в коридор открыта, там толпятся люди, привлеченные и замороженные могучим голосом и выразительностью чтения нашего учителя:

Тароватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

И стекла сотрясались от его могучего баса. Не всякий артист мог так прочитать. Дочь Николая Ильича, Наташа, в то время еще молодая красивая учительница с длинными косами, преподавала у нас немецкий язык, но совсем недолго. Отца ее объявили врагом народа и посадили, а Наталья Николаевна с нашего горизонта куда-то исчезла. Больше о ней я ничего не слышал.

Прошло 44 года. Я работал в ШРМ № 37 города Свердловска. Физику в это время в школе преподавала Маргарита Ивановна Самойлова. Услыхав, что я когда-то учился в Чашинском техникуме, она показала мне фотографию Н. И. Лукина с группой учащихся. Оказалось, что это внучка Николая Ильича и дочь той Наташи, которая преподавала нам немецкий язык. Она рассказала мне о судьбе своего деда, обычной для «великой сталинской эпохи»: смерть в лагере в 1939 году, а потом реабилитация в 1956 году, через семнадцать лет после смерти. Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь!

Упомяну еще одного нашего преподавателя — политэконома. Он же был и парторгом техникума. Фамилия его Тарасов, а имени не помню. У него была только одна нога — инвалид Гражданской войны. По его словам, он храбро воевал против белогвардейцев на многих фронтах, а рабоче-крестьянскую власть любит больше, чем родную мать. Политэконом он был, правда, никудышный, лекции читал по конспекту, а иногда и еще проще — по учебнику. И тогда мы следили по тому же учебнику за его многочисленными ошибками, и считали, сколько страниц он уже прочитал. Пояснений он никаких не делал, сами, мол, должны понимать.

Писать конспекты нам тогда было не на чем, бумаги, как и много другого, не было. Писали на старых газетах и книгах. Однажды один наш учащийся, некий Василий Бугаев, парень богатырского сложения, но не слишком тонкого ума, решил вести конспект по политэкономии на книге Ленина «Что делать». Это увидел Тарасов, и тут уж не описать, что было: «Таких надо под микроскопом рассматривать, на Соловки ссылатъ, на Беломорканал, чтобы знали, как обращаться с книгами вождя революции». Стоит ли говорить о том, что Бугаев наш техникум не закончил. На второй день был издан приказ об исключении и выселении его из общежития. Благо хоть, не посадили. Трудно сказать, кто из них двоих был умнее, сверхпартийный политэконом или веселый, простоватый и добродушный здоровяк Вася Бугаев, который хотел стать маслоделом.

Но судьба тут, кажется, справедливо рассудила. В декабре 1934 года был убит Киров. В техникуме состоялся митинг, на котором в числе других выступил и наш Тарасов. «Кирова убили,

но взамен мы дадим тысячи таких кировых», — сказал он в числе прочего. Эта сентенция была должным образом оценена, и нашего политэконома не стало.

Друзья по техникуму

В нашей учебной группе было около 20 человек. Все парни и только одна девочка — Феня Бабич, маленькая, большеногая, но шустрая и довольно способная. Училась она хорошо, да и вся группа считалась сильной и по академическим успехам часто занимала первое место. Несколько учеников в группе были просто талантливы, но война разбросала всех и о дальнейшей судьбе их мне мало что известно. Большинство не вернулось с фронта, некоторые вернулись, но спились или сошли с рельсов каким-нибудь другим способом.

Сильнейшим по математике был Иван Шутенко, но успехов он достигал в основном прилежанием и организованностью. Война, как я слышал, пощадила его, но встречаться с ним в послевоенные годы мне не приходилось. Дмитрий Салазкин тоже был математиком от бога, или «от генетики», как принято сейчас говорить. Он вообще был человеком с инженерным складом ума, отлично чертил, разбирался в чертежах, имел хорошие способности к техническому творчеству. О его судьбе в послевоенные годы мне тоже почти ничего не известно. В 1948 году, когда я приезжал из Воркуты в отпуск, на станции Каргаполье я встретил его бывшую жену Шуру Стрекаловских. Она тоже была учащейся нашего техникума, только училась курсом младше. На вокзале она сидела с двумя детьми в ожидании поезда. Дети были грязными, истощенными и оборванными, да и сама она выглядела так же плохо. Первой узнала и подошла ко мне она, ее же узнать было решительно невозможно. В глазах тоска, обреченность и уныние. От нее я услышал, что Салазкин вернулся с фронта невероятным, но они разошлись и больше она ничего о нем не знает.

С Дмитрием Банниковым мы учились вместе еще в Вороновской ШКМ, а потом снова встретились в техникуме. Это был комсомолец-активист, который все годы учебы в Чаше был членом комитета комсомола. Активность эта, правда, не была бескорыстной. Он все время добивался каких-либо благ. Туристические путевки в Крым

по тем временам были величайшей редкостью. Из нашей группы такую путевку получил один только Банников. Его академические успехи в техникуме были чуть выше среднего, в математике и химии он был посредственностью, в предметах специального цикла — тоже, и только по истории и другим гуманитарным предметам он несколько возвышался над средним уровнем. С фронта он вернулся невредимым и в первые послевоенные годы был секретарем Чашинского райкома партии. Летом 1950 года я встретил его в Каргаполе в очереди за водой у сатураторной колонки. Обычная полувоенная гимнастерка, перепоясанная широким ремнем, галифе, заправленные в сапоги, и толстый портфель в руках. Типичный образец партийного районщика. Поговорили мы с ним минуты две-три и разошлись. Больше я его не встречал. Позднее кто-то рассказал мне, что с секретарей его сняли, а что с ним было дальше, я не знаю.

Среди соучеников по техникуму были и мои односельчане, друзья по детским играм в раннем отрочестве и одноклассники по начальной школе. Сначала расскажу о Иване Трифоновиче Туринцеве. В годы учебы в Чаше он был рослым, красивым парнем. Наши дома в деревне стояли почти напротив друг друга, а сараи, в которых делали летом кирпичи, были рядом. Отцы наши были друзьями. В Гражданскую войну они даже служили в одном взводе в чапаевской дивизии, а до этого у Колчака. После окончания техникума Ивана направили в военную школу зенитчиков. Еще до войны он женился на девушке из нашей же деревни и служил где-то в районе Львова. В начале войны попал в плен, выжил. Сразу после войны вернулся домой и начал работать технологом на одном из маслозаводов в Курганской области. В 1947 году во время своего отпуска из Воркуты я встретился с ним в его доме. Он уже с чемоданом в руке и многочисленными узлами разного скарба сидел и ждал машину. Мы поговорили с ним минут 15, выпили по стопке вина — и машина пришла. Он уезжал со всей семьей к месту работы. Через год в письме из дому мне сообщили в Воркуту, что Иван Трифонович скончался от скоротечной чахотки и похоронен на нашем деревенском кладбище. Вся его жизнь продолжалась около тридцати лет. Жена осталась с двумя детьми на руках. Отец его, Трифон Иванович, погиб на фронте, а мать,

Прасковья Ивановна, летом 1981 года была еще живой и весьма динамичной старушкой.

Учился со мной в техникуме еще один мой односельчанин и неизменный друг детства Иван Лупанович Тремзин, или Ванька Лупанов, как звали мы его в своем кругу. Жил он с матерью в старинном доме на самом берегу Марьяновки. Отец его умер рано, старшие сестры ко времени нашего отрочества были уже замужем, и в доме они остались вдвоем. На его квартире, когда мы подросли, устраивались всякие торжества с выпивкой и без нее. В техникуме он долго ничем не выделялся, а на старших курсах стал активным общественником по профсоюзной линии. С войны он не вернулся, и о фронтовой судьбе его мне ничего не известно.

Рассказывая о своих друзьях по техникуму, не могу не упомянуть о Сергее Парнищеве. Родом он был из соседней деревни Тагильской, мы учились с ним вместе еще в Вороновской ШКМ. В пору возмужания это был небольшого роста, но плечистый и плотный паренек. В упражнениях на турнике, брусьях и кольцах в техникуме ему не было равных. «Склепка», «Солнце» и другие сложнейшие упражнения делал он так, словно и родился на турнике. Характер у него был мягкий, нрав веселый, врагов или даже просто недругов не было у него никогда, рассказчик он был великолепный. Особенно запомнились мне его пересказы юморесок Зощенко. Благодаря своей внешней и внутренней привлекательности он имел большой успех среди девочек нашей альма-матер. После техникума он был направлен или пошел добровольно в Свердловское пехотное училище, закончил его и стал лейтенантом, вернее командиром взвода, так как звания лейтенанта к тому времени еще не было. В самом начале войны он попал на фронт и, как миллионы других, «пал смертью храбрых».

Вот и закончил я грустный рассказ о своих однокашниках и друзьях моей ранней молодости. О других ребятах, с которыми учился, не говорю, потому что ничего не знаю о них, кроме того, что все они погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Вечная им память и слава.

Друзья по общежитию

Общежитие, в котором мы жили во время учебы в техникуме, находилось рядом с техникумом. Это кирпичное двухэтажное здание, в котором помещались также библиотека и столовая. Комнаты располагались вдоль коридора по обе стороны. В каждой из них жили по десять-двенадцать человек. Первоначально в комнатах стояли деревянные топчаны, а позднее их заменили на металлические койки. Матрас и подушка набивались соломой или сухой травой. Рядом с койкой стояла тумбочка, а посередине комнаты — один большой стол для занятий. Места за столом для всех не хватало, поэтому некоторым приходилось заниматься на тумбочке или уходить в читальный зал библиотеки.

В техникуме было технологическое отделение и финансово-экономическое, на которое шли учиться в основном девчонки. Жили они в этом же общежитии. «Мужские» и «женские» комнаты располагались вперемешку без всякого видимого порядка. Наши вечерние визиты в «гименей» не поощрялись, но полного запрета все-таки не было. В соседней с нами комнате жили девчонки с нашего курса: Галина Аликова, Валентина Катанаева, Катя Мыльникова и другие. К ним мы заходили чаще, чем того требовало какое-нибудь дело. Иногда готовили некоторые предметы к сессии и тогда оставались в гостях до отбоя. Перед отбоем по общежитию проходил один из преподавателей и наводил порядок. Одна из упомянутых выше девочек, Катя Мыльникова, была моим первым юношеским увлечением. Несколько лет после моего ухода из техникума мы переписывались, писали длинные письма, но потом — армия, война... И все связи были утрачены:

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
(С. Есенин)

Литературная жизнь в техникуме была активной, временами даже бурной, и тогда она выплескивалась за пределы нашей стенгазеты — на страницы районной и даже областной газет. Трое из на-

ших учащихся были членами областной организации Союза советских писателей: Борис Житников, Георгий Пряхин и Степан Красильников. Это были очень способные ребята, может даже таланты, если, выйдя из неграмотных и малограмотных деревенских семей, уже к восемнадцати-девятнадцати годам сумели стать признанными в области поэтами и писателями. Но судьба талантливых людей не всегда самая счастливая. Иногда дуракам жить легче.

Ничто не угрожало тем, кто ничего не знал, кроме устройства сепаратора, и ничем не интересовался, кроме обеденного меню в столовой. Но если ты пишешь стихи или очерки, если ты читаешь что-то кроме учебника по истории ВКП(б) Кнорина и речей «мудрейшего вождя» тов. Сталина, то тебя будут рассматривать в микроскоп до тех пор, пока не найдут чего-нибудь или не вообразят, что нашли, и тогда конец всему, тогда тюрьма. Так было и с нашими вундеркиндами. Пряхина осудили за пессимизм и упадничество в его стихах и сняли с поста редактора техникумовской газеты. Житникова за тот же пессимизм и чтение стихов Есенина посадили на пять лет. Сидел он с очень образованными людьми где-то в Сибири, кажется в Кемерово. За четыре года выучил четыре иностранных языка, был выпущен на год раньше срока и после этого служил в армии в саперных или строительных войсках. С фронта не вернулся.

Степан Красильников — один из ближайших моих друзей в годы учебы в техникуме. Он был на один курс младше меня, но по знаниям и по развитию превосходил значительно. Он писал хорошие стихи, многие из которых публиковались на литературных страницах районной и областной газет. Из него, наверное, получился бы в будущем значительный человек, если бы не удушающая атмосфера эпохи, когда любая самостоятельная мысль считалась крамолой и ересью. Из техникума он был исключен тем же приказом, что и я. В один и тот же день, в сентябре 1937 года, мы с небольшими котомками за плечом покинули село Чаши и направились в деревню Житниково — родину Красильникова. Переночевав у него в доме одну ночь, я пошел дальше, до моей деревни оставалось еще около 20 километров. После этого мы больше никогда не встречались.

А предыстория нашего исключения была до банальности проста. В библиотеку поступило распоряжение изъять все томики сти-

хов Есенина и сжечь их. Скоро все это было сделано. Книги перекочевали с библиотечных полок в мешок и были отнесены в котельную. Истопником в котельной работал мой односельчанин, он был неграмотный, и имя Есенина ничего ему не говорило. Я без труда уговорил его отдать мне шесть томиков стихов Есенина и принес эти книги в общежитие. Вечером того же дня я раздал их хорошо знакомым ребятам для чтения, хранения и обмена, а один томик оставил у себя. Хранили мы их в основном под матрасами, так как кроме койки и тумбочек у нас ничего не было. Скоро все это стало известно властям и руководству техникума. Во время занятий, когда мы были на уроках, в общежитии устроили обыск и все книги нашли. Житников, Красильников, Пучков и я были арестованы, еще двое исключены из комсомола и из техникума.

Сидели мы в КПЗ (камера предварительного заключения) все вместе. Располагалась камера в подвале дома, в котором размещалось районное управление НКВД. Обер-душителем был какой-то молодой чекист с явно ущербным интеллектом. Есенина он, конечно, не читал, но знал, что это кулацкий поэт деревни, стихи которого глубоко враждебны марксистско-ленинской идеологии. Мы же, наоборот, Есенина читали, но не знали, что его поэзия враждебна Карлу Марксу.

Просидели мы в этой камере около двух недель, и только по одному разу за это время нас вызывали для допроса. Следовательно и так все было ясно. Дней через 12—13 всех нас выпустили, а Житников остался сидеть. Позднее его судили и дали пять лет исправительно-трудовых лагерей, которые в то время называли истребительно-трудовыми. Нас же троих ожидал приказ об исключении из техникума и немедленном выселении из общежития. Так закончилась моя попытка стать сыроваром и маслоделом.

Но все это было потом, в самом начале четвертого курса, а до этого более трех лет моей жизни прошли в стенах техникума и его общежитиях. Здания эти стоят и поныне. Летом 1980 года, через 43 года после исключения, я вновь посетил эти места. Все так же и все то же, только само здание техникума и оба общежития заметно обветшали. Тогда как раз шел ремонт. На площадке бывшего спортгородка уже никаких снарядов нет, и сама площадка заросла травой. Вокруг

здания и по периметру усадьбы насажено много тополей. Они уже превратились в могучие деревья. В наше время тополей не было и забора не было тоже. Сейчас весь городок обнесен глухим деревянным забором. Я постоял на середине площадки, посидел под тополями и вспомнил все, что тут было пережито. И грустно стало на душе. Словно юность издалика помахала мне белым рукавом и тут же скрылась за толстыми кирпичными стенами зданий.

У Карла Брюллова есть картина, оставшаяся, правда, незаконченной, называется она «Всеразрушающее время». В верхней части картины стоит старик с косою и крыльями. Это символ времени — Хронос. Он косит головы Платона, Сократа, римских императоров, Антония и Клеопатры, Александра Македонского, Наполеона и других. Головы летят в Лету. Все разрушает время и всех уносит — ученых, полководцев, законодателей и властителей, а что уж говорить о простых смертных. Давно, видимо, нет никого из преподавателей того времени, да и учащихся тех лет осталось совсем мало. Все стали жертвой всепожирающего времени или жестокой войны.

Степан Красильников, о котором шла речь выше, погиб в самый последний день войны с Японией, убит кинжалом в рукопашной схватке. Его мать в 1946 году пешком за 20 километров специально приходила к моей матери и рассказала эту историю. Я в то время сидел в лагере без права переписки, и дома у меня еще никто не знал, что я жив и обретаюсь в заполярной Воркуте. Две похоронки, полученные на меня ранее, достаточно прочно убедили всех, что меня уже давно нет в живых.

Годы ученичества, в какое бы трудное время они не проходили, все-таки, наверное, лучшие годы в жизни любого человека, особенно, если он не очень глуп и учение дается ему без большого напряжения. Даже полуголодная спартанская жизнь в общежитии может иметь свои прелести. Игра в почту, бесконечные диспуты вечерами перед сном, шахматные состязания, а когда, бывало, потухнет свет, что случалось часто, — пение в темном коридоре. В темноте поют все, даже я, помнится, тоже пел. Запевалами у нас были Еськин и Кочуров. Последний хорошо играл на гитаре и прекрасно пел под ее аккомпанемент: «Бутылка на землю спустилась, и были слышны голоса».

Этот Кочуров на первом и втором курсе был весьма малоприметной фигурой. Учился он слабо, часто без стипендии, одет был плохо, хотя все мы тогда были почти оборванцами. Но к концу третьего и началу четвертого курса он как по волшебству из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя. Он стал центром, вокруг которого группировались любители гитары, мандолины и пения. С фронта он тоже не вернулся, а судьба другого нашего «Карузо» — Еськина — мне не известна.

Осенью, когда картошка в полях созревала, но еще не была убрана, мы часто уходили в укромные уголки березовых перелесков, разжигали костер и пекли картошку, так называемые печонки, в горячей золе прогоревшего костра. До отвала наевшись, мы приносили часть печенок в общежитие для тех, кто сегодня не мог принимать участие в этих тайных мистериях. Занятие это было небезопасным. Поля охранялись, и за несколько выкопанных в поле картошин вполне можно было получить несколько лет принудиловки в исправительно-трудовых лагерях.

Практика

После второго и последующих курсов нас посылали на практику на маслодельно-сыроваренные заводы, расположенные в различных районах страны. На первой практике я, Сергей Парнищев и Феня Бабич работали в Далматово. Там был крупнейший по тем временам завод в области, производивший экспортное масло высокой балльности. Директором завода был инженер — выпускник Ленинградского технологического института молочно-масляной промышленности, назначенный лично Микояном, который был тогда министром пищевой промышленности. Фамилию его я не могу вспомнить, но хорошо помню, как он выглядел и с каким трепетом его ожидали в цехах завода мастера и рабочие. Требовательность была не просто строжайшей, она была драконовской. Все его боялись и все ненавидели. Высокое же качество масла, которое давал завод, объяснялось не драконовскими порядками, введенными директором, а умением и искусством мастеров. Однако его отношение к нам, практикантам, было таким, каким оно, вероятно, и должно

быть. Мы не мыли фляги, как это приходилось делать нашим ребятам на других заводах, не принимали молоко у сдатчиков, не работали на упаковке, мы учились тому, что должны будем делать в будущем, когда станем мастерами и технологами. Первые две недели мы были заняты в лаборатории, определяли жирность молока, кислотность, процент воды в масле и прочее, словом осваивали весь комплекс анализов, который в то время практиковался на заводах. Позднее мы работали в маслодельном цехе на установке для получения сгущенного молока, на сепараторах и пастеризаторах. Работа нам в основном нравилась, и я в ту пору еще серьезно думал, что мне придется потом работать на одном из таких заводов.

На календаре было лето 1936 года. В районе Далматово 8 июля произошло полное солнечное затмение. Помню, как мы коптили стекла, чтобы наблюдать это редкое явление. День был ясный, теплый, даже жаркий. Началось затмение приблизительно в середине дня. Когда Солнце полностью затмилось, стало темно, почти как в безлунную ночь. Коровы мычали и шли с пастбища домой, собаки лаяли, куры садились на седало, наступила весьма ощутимая прохлада. С тех пор видеть полное солнечное затмение в летнюю пору мне уже не приходилось.

На вторую практику после третьего курса я должен был поехать в город Себеж, который находился в то время в 30 километрах от границы с Польшей. Это зона считалась пограничной, и для въезда туда требовался особый допуск. Мне такой допуск энкавэдэшники не дали. Видимо, я уже тогда стоял у них на особом учете, который не позволял мне приблизиться к границе ближе чем на 30 километров. Ехать мне пришлось в Невель: это несколько дальше от границы и этот городок не входил в пределы стены, которой была огорожена великая сталинская тюрьма — Россия.

Завод в Невеле, на котором мне пришлось работать, был в основном сыроваренный. Масла там делали мало, была только одна маслостойная установка на одну тонну масла в сутки. Сыра же делали много и притом разных сортов: советский, голландский, бакштейн, рокфор и другие. Через несколько дней после моего приезда мастер Хайкин ушел в отпуск, мне было предложено заменить его. Я принял это предложение без особого энтузиазма, так как летом

работать было трудно. Молоко возили на лошадях и быках, дорогой оно нередко скисало, и ответственность пугала меня. Кроме того, большинство рабочих и мастер, ушедший в отпуск, были евреи и, в случае какой-либо неудачи, все могли свалить на меня.

Опасения были не напрасны. Скоро произошло ЧП, которое могло окончиться для меня очень плохо. Заливая сливки в маслобойник, рабочие (две женщины) забыли убрать сито, через которое фильтровались сливки. Сито было из конского волоса, а обивка деревянная. Все это было размолото в вальцах маслоизготовителя и смешалось с маслом. Когда открыли маслобойник, все ахнули: масло оказалось с волосом и приправлено древесной мукой. Обе женщины стоят у аппарата и ревут. Сбежалась вся смена, и эта картина, наверное, напоминала немую сцену из гоголевского «Ревизора». Но тогда нам было не до литературных параллелей. Это ведь было как раз время, когда только что вошел в действие закон «Об усилении ответственности за сохранность социалистической собственности», написанный, как позднее говорил Хрущев, самим Сталиным за одну-две минуты. По этому закону давали семь лет за семь картошин, унесенных с колхозного поля. Каждому из нас были известны такие случаи.

Но надо было что-то делать. Я взял с собой лаборанта, одного старшего рабочего и мы все трое пошли к директору докладывать о случившемся. Фамилию директора не помню, а звали его Иосиф Маркович. Молодой, высокий, с красивыми вьющимися волосами. Он выслушал нас и сказал: «В тюрьму мы всегда успеем, но давайте попытаемся ее избежать. Масло надо перетопить и примеси отфильтровать». Так и сделали. Разница в весе составила 18 килограммов, которые нам предстояло компенсировать. Сумму разделили на всех приблизительно поровну. Я уплатил 35 рублей — это месячная стипендия, чувствительно, но терпимо. Все это оказалось возможным потому, что завод имел право какую-то часть своей продукции отпускать в местную торговую сеть, вот мы и пустили туда топленое масло вместо сливочного. До «органов» дело не дошло, иначе это решето инкриминировали бы нам как саботаж и вредительство.

За неделю до конца моей практики произошел еще один неприятнейший случай. Поскользнувшись на влажной ступеньке

лестницы, рабочие разлили две фляги сливок. Мастером в то время я уже не работал, так как Хайкин вернулся из отпуска. Ответственность падала на меня лишь рикошетом, поскольку я был в цехе кем-то вроде старшего рабочего. Две фляги сливок для нашего небольшого завода были большой жировой потерей, списать или покрыть ее чем-то было невозможно. Решили потихоньку снижать жирность молока у сдатчиков, но свою жирность каждый сдатчик хорошо знал и «поднимал хай», если мы снижали ее хотя бы на одну десятую процента. Кто-то пожаловался «куда следует», и нам пришлось давать показания в следственных органах.

Вызван был для беседы и я. Разговаривал со мной человек в гражданской одежде, лет ему было за 50, и мне даже показалось, что он мне немного знаком или кого-то напоминает. Когда я назвал свою фамилию, он с удивлением посмотрел на меня, а потом спросил, откуда я родом и не служил ли кто-нибудь из моих родственников в 1904—1905 годах на Южно-маньчжурской железной дороге. Я ответил, что служил дядя Дмитрий, но его уже давно нет в живых, так как в Гражданскую войну он был убит колчаковцами. «Значит, мы с ним служили вместе, я хорошо помню Дмитрия, но, конечно, ничего не знал о его смерти», — сказал он. В нашем доме была фотография, на которой был и этот человек. Вот почему его лицо мне показалось знакомым. Выяснилось, что такая же фотография хранится и у моего собеседника. После этой беседы меня уже не тревожили больше допросами, а через несколько дней практика закончилась и я уехал домой.

Путь мой из Невеля в Шадринск лежал через Москву, и билеты в Невеле продавали только до Москвы, а затем надо было покупать билет дальше. До Москвы я добрался нормально, а там оказалась такая уйма народу, что и представить себе невозможно. Все билеты были проданы на семь дней вперед, и я не знал как выехать из этого Вавилона. В первый день метался туда-сюда, ничего не добился и смертельно устал. Чемодан сдал в камеру хранения, а сам залег в зале ожидания на полу у стенки, к которой был прислонен какой-то рекламный щит. Ночью у меня разрезали карман и вытащили блокнот, но деньги были спрятаны в опухшке брюк, и найти их даже самому мне было трудно.

На второй день я поехал в Загорск в надежде купить там транзитный билет и закомпостировать его в Москве. Но из этого ничего не получилось — там продавали билеты только до Москвы. Вернувшись, я снова встал в очередь и тут познакомился с одним студентом, которому надо было ехать в Курган. Простояв два дня, поочередно сменяясь, мы все-таки купили билеты, но только за семь дней вперед. Студент-земляк устроил меня на ночлег в своем общежитии, и так я относительно благополучно прожил неделю в Москве. Весь август я провел у себя в деревне, а к 1 сентября вернулся в техникум. До окончания оставался еще один курс, но этому не суждено было сбыться из-за попытки спасти книги Есенина, обвинений в пессимизме и упадничестве, КПЗ и последующего исключения. Словом, из-за всего того, что уже было описано ранее.

Каргапольская школа

На календаре сентябрь 1937 года. Надо определяться. В колхоз идти не хотелось. Я уже был достаточно умен, чтобы понять, что добровольно закрепощать себя не следует. Решил идти в учителя. Заведующим Каргапольским районо был тогда Геннадий Михайлович Санников — мой бывший учитель в ШКМ. Я пришел к нему и предложил свои услуги. Он определил меня учителем арифметики и ботаники в Каргапольскую среднюю школу, и я приступил к работе приблизительно в конце сентября. По арифметике, как считало школьное руководство, дело у меня шло нормально, задачи решать умел, а вот с ботаникой было хуже. Никакого представления о ботанике я не имел, в техникуме ее не преподавали, литературы, кроме учебника, не было. На тему «Лист, питание растений из воздуха» программа отводила 14 часов, а я прошел ее за два урока. Завуч сказала мне, что это очень быстро, и хотя я замедлил темпы, но к концу декабря все равно прошел всю ботанику.

В этой школе мне пришлось работать со своими бывшими учителями. Дарья Константиновна Попова, к которой я когда-то силой навязался в первый класс, преподавала историю в тех же классах, в которых я вел арифметику и ботанику. Григорий Федорович Сидорцов, бывший мой учитель в Вороновской ШКМ, преподавал

здесь географию. Были и другие учителя, знавшие меня в мои ученические годы. Директором школы был Баландин, человек довольно бесцветный, но до умопомрачения ортодоксальный. На районной партийной конференции, как мне потом рассказывал один молодой коммунист, он закончил свое выступление так: «Да здравствует вождь каргапольских большевиков товарищ Потатув!» Это был первый секретарь Каргапольского райкома партии, человек, как говорили, неплохой и уж, конечно, умнее нашего директора. В заключительном слове он решительно отмежевался от этой здравницы и указал, что подобное применительно только к вождю партии и международного пролетариата товарищу Сталину. Через несколько недель после конференции «вождь каргапольских большевиков» был арестован. Свою жизнь он закончил в лагерях.

Завучем в школе была еврейка. Имени ее не помню и не знаю, каким ветром ее занесло в наши края. До нее у нас был только один еврей — парикмахер. Она была как раз биологом и давала мне кое-какую литературу по биологии из своей личной библиотеки. Однажды она спросила меня, слышал ли я что-нибудь о Лютере Бёрбанке (американский селекционер, садовод), я ответил, что решительно ничего не слышал. Она дала мне книгу, которую я с большим интересом прочитал. С тех пор я уже читал о Бёрбанке все, что мне попадалось.

Так проработал я в школе месяца два с половиной. Около 20 декабря вызывает меня заведующий районо и говорит: «Ботанику, как я слышал, ты уже закончил, поэтому давай-ка теперь на 9-месячные курсы подготовки учителей в Челябинск». Я сразу согласился. Курсы начались с первого октября, опоздание на три месяца. В пединституте, где проходили курсы, я обратился к коменданту и он определил меня в общежитие — далеко от центра города, на ЧТЗ. Общежитие это представляло собой огромное помещение, в котором раньше была какая-то мастерская, стояли станки или только станины от станков, а между ними — койки. Тут мы и жили, человек 70 или 80, все в одной «комнате».

Пришел на первую лекцию, это была как раз ботаника. Читал молодой лектор по фамилии Никитенко, говорил с сильным украинским акцентом: ксилема, флоэма, тургор, осмос и еще какие-то ла-

тинизированные термины. Просидев два часа, я решительно ничего не понял и бросил какую-то реплику относительно возможности свихнуться от этих терминов. Лектор нашелся и отбрил меня весьма остроумно. Дословно не помню, но смысл такой: что это де возможно, если слушатель к этому предрасположен. В аудитории хохот уже не на моей стороне. В конце лекции преподаватель объявляет, что через два дня он уезжает и вернется только осенью, а кто желает, может сдавать курс ботаники послезавтра в четыре часа дня.

Стало ясно, что я попал на ботанику под самый занавес, весь курс уже прочитан. В тот же день я записался в библиотеку, взял учебник Александра по морфологии и физиологии растений. Это был довольно увесистый том в твердом зеленом переплете. Двое суток — это 48 часов. За это время, думаю, можно прочитать страниц 1000—1500, а в учебнике только 300 с небольшим, значит осилить можно. Пришло время идти на экзамен, из всей группы решилось сдавать всего восемь человек. Из них трое или четверо завалили, остальные сдали на тройку, и только я один получил оценку «пять». В группе это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Только приехал, на лекциях не был — и пятерка! Но меня это окрылило и воодушевило. Значит, Санников был прав, утверждая, что я еще смогу наверстать упущенное.

К началу лета 9-месячные курсы, на которых я пробыв только пять месяцев, закончились. Теперь считалось, что мы прослушали первый курс учительского института, и тех, у кого не было задолженностей, перевели на второй курс.

Скоробогатовская школа

Я вернулся в свой район и получил назначение в Скоробогатовскую семилетнюю школу учителем биологии и химии. Деревня эта находится километрах в двадцати от Каргаполя и тоже раскинулась на берегу реки Миасс. В прошлом это было богатое селение, о чем свидетельствует и само название деревни. Однако в мою бытность там никаких следов былого богатства уже не было заметно. Социализм в ту пору был еще недоразвитым, зато очереди за ситцем, сатином на рубаху или парусиновыми ботинками были уже вполне

развитыми, стоять приходилось целыми ночами. Но бессонная ночь на ступеньках магазина еще не гарантировала, что отныне ты непременно будешь с ботинками или рубашкой. Все зависело от того, как поработаешь локтями в момент открытия магазина и насколько близко удастся тебе приблизиться к прилавку, где распределялись блага в точности с марксистским принципом — каждому по труду.

Приехал я в Скоробогатово около 15 августа 1938 года, отыскал директора Г. И. Киселева, и он определил меня на квартиру к Шибаевым. Домик из двух комнат, кухня и горница, в которой мне и пришлось жить. Часть горницы была отгорожена досками, тут хранилась пшеница, заработанная хозяином в колхозе. Рядом с досками стояла односпальная железная кровать, у окна был стол и два стула. На окнах занавески, а на подоконниках цветы, в основном герань. Семья Шибаевых состояла из четырех человек. Дочь Нина училась в шестом классе, еще дочь Фая, ей было четыре года, и сами хозяева. Люди в общем-то хорошие, и мне нетрудно было с ними сосуществовать. Изредка, правда, затевали многолюдные пьянки, но это чаще всего тогда, когда я куда-нибудь отлучался.

Школа располагалась в деревянном здании и еще в одном доме напротив. Классы были не очень большими, и работать было нетрудно. Я вел химию в седьмых классах и ботанику с зоологией в пятых и шестых классах. Завучем был Владимир Иванович Кубасов, математик. Он был значительно старше меня, человек неглупый, но болезненный, обремененный большой семьей. Жена его не работала, и жить было непросто. Как и со всяким умным человеком, с ним было легко ладить. Если ему приходилось на кого-нибудь из нас «нажимать», то делал он это тактично, без шума, и мы, огрызаясь, обычно уступали ему. Словом, в коллективе он был лидером не формальным, а действительным, и у таких людей всегда дела идут более или менее хорошо. Я перечил ему, возможно, немного чаще других, но отношения у нас с ним были почти всегда хорошими, зла он не помнил и уже через урок-два улыбался и опять подступал с тем же: почему давно нет в школе ученицы такой-то, почему не заполнен журнал за неделю или еще что-нибудь.

С фронта Владимир Иванович вернулся невредимым, но уже серьезно больным. После войны я встретил его в 1948 году, он

работал тогда в той же школе и рассказал, что знал, об учителях, с которыми мы работали до войны. Услышав, что я пока без работы, он предложил мне немедленно зайти в районо и взять направление опять в ту же Скоробогатовскую школу. Но сам он пойти со мной не мог, так как его уже ждала подвода. Я тут же зашел к Вагину, который был тогда заведующим районо. Посмотрев мои бумаги и поняв, что я был в плену и только что вернулся из Воркуты, он заявил мне, что мест в этой школе уже нет и вообще в районе все места заняты. Он, конечно, знал, что вранье это я хорошо понимаю, но думал, что поступает по Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, выполняя указания «мудрейшего вождя» товарища Сталина. Ложь уже тогда была одной из форм жизни руководящей партийной сволочи.

Директором школы в Скоробогатово был Киселев, типичный околупартийный ублюдок, пожизненно и необратимо повернутый на сталинских цитатах. За любое неуважительное слово по отношению к всемогущему сыну грузинского сапожника он мог посадить на десять лет даже отца родного.

Немецкий язык в школе преподавал Дмитрий Михайлович Сидоров, мой ровесник не только по возрасту, но и по стажу работы. Жил он в соседнем доме, тоже на частной квартире, и свободное время мы проводили обычно вместе. По воскресеньям и праздникам устраивали небольшие складчины, чаще всего у Николая Найденова. Это был парень постарше нас, к тому времени уже отслуживший в армии и работавший шофером. По уровню интеллектуального развития и общей культуре он намного превосходил деревенских парней и приближался к низовой сельской интеллигенции. Поскольку был он из местных и жил своим домом с матерью, то у него мы и собирались. Летом обычно в садике, а зимой в доме. Все эти вечера и встречи были, может быть, и не слишком высококультурными и содержательными, но они запомнились и сохранились в памяти как светлые пятна на фоне в общем-то скудной и унылой жизни. Вечерами в теплые весенние и осенние дни часто играли в волейбол и достигли в этом некоторых успехов. Иногда уходили за реку, в лес, захватив с собой провизию, чтобы закусить и выпить.

С фронта Сидоров вернулся живым и невредимым. После демобилизации он закончил какую-то юридическую школу в Свердловске и здесь же работал судьей. Об этом я узнал в 1950 году от Бай-Бородина, который как потерпевший судился с директором ресторана «Север» по поводу неуплаты последним за музыкальное обслуживание. Поскольку работал мой бывший коллега на Уралмаше, а место пребывания суда было на Ильича, то мне нетрудно было отыскать его, что я и сделал. Встретились в его комнате, немного выпили, о чем-то поговорили, но внутреннего контакта не получилось. После этого мы долго не встречались, только года три-четыре спустя случайно встретились в городе, зашли в ресторан, пообедали, и с тех пор наши пути разошлись окончательно. Мне претила его тупая ортодоксальность, а его, вероятно, пугала радикальность моих суждений.

Школа в Андриановичах

Проработав в Скоробогатовской школе ровно год, я решил оставить ее и уехать куда-нибудь на север, где возможность купить что-нибудь из одежды и обуви была несколько больше. Для этого летом 1939 года я приехал в Свердловск и отыскал облоно, где попросил направить меня куда-нибудь в северные районы области. Направили меня в Андриановичи, небольшой станционный поселок в Серовском районе. Приехал я туда около 15 августа, представился школьным руководителем, и они определили меня на квартиру в большом деревянном доме недалеко от школы. Школа стояла на окраине поселка и представляла собой деревянное двухэтажное здание, типичное для деревень и сел лесной полосы.

Коллектив был невелик. Директором работал Сивков, молодой еще человек лет тридцати, жена его работала тут же, преподавая литературу. Сейчас, когда я пишу эти строки через 45 лет после событий, имена многих учителей вспомнить уже не могу. Завучем был тоже молодой мужчина, кажется географ, фамилию его не помню. После войны, то ли в 1950, то ли в 1951 году, я случайно встретил его в Свердловске в трамвае. Война пощадила его, и он вернулся невредимым, а о Сивкове сообщил, что жена его получила похоронку еще осенью 1941 года.

Литературу преподавал Братилов, бывший секретарь одного из райкомов партии в Ленинграде, сосланный на Северный Урал после убийства Кирова. Вернувшись в Серовский район в 1948 году, я узнал, что Братилов все еще тут. Только в самые последние годы своей жизни он переехал в Богданович, где и скончался. В то время, еще до войны, я был слишком молод и глуп и не расспросил Братилова о ленинградской трагедии в декабре 1934 года, а позднее мне уже просто не представилось случая, чтобы поговорить с ним на эту тему и узнать его отношение к тем событиям.

Самым старшим классом в Андриановской средней школе был тогда восьмой класс. Я преподавал в нем химию, анатомию и физиологию человека, а в других классах еще зоологию и ботанику. Работа тогда еще не была трудной, так как учились в то время в основном только те, кто хотел учиться и обладал соответствующими способностями. Никаких специально оборудованных кабинетов не было, практические и лабораторные работы по химии, физике и биологии не проводились, только изредка демонстрационные опыты. Несмотря на это, знания у многих учеников были хорошими, не в пример некоторым нынешним оболтусам, которые учатся в условиях оснащенной школы у подготовленных и опытных учителей, но ничего или почти ничего не знают. Всего около четырех месяцев проработал я в этой школе, а в январе 1940 года с мешком за плечами явился на сборный пункт города Серова.

Здесь же, в Андриановичах, жил и работал мой земляк из Каргаполья Анисимов. У него был сын приблизительно моего возраста. Мы часто собирались за столом в этой семье и коротали свой досуг в условиях, где почти никаких других развлечений не было. Клуб, строение барачного типа, и столовая были только на станции, а это в полутора километрах от поселка, и идти туда не всегда хотелось, да и незачем. Иногда, правда, ходили в кино, а до и после него — на танцы. Но там дым, грязь, окурки на полу, все в пальто и шапках — словом обстановка не самая культурная, и ходили мы туда не часто.

На первых порах приходилось ходить в столовую, так как ни в школе, ни в доме, в котором я жил, обедов мне никто не готовил. Некоторое время спустя мой хозяин убил громадного мед-

ведя. Мяса стало навалом, и мне предложили столоваться тут же. Я с радостью согласился платить установленную сумму, после чего уже был освобожден от забот о пропитании. Мясо медведя сначала казалось каким-то особенным, пахло лесом и еще чем-то, но потом все мы к нему привыкли и ели с удовольствием. В то время медведи в районе Андриановичей еще не были редкостью и охота на них, видимо, не запрещалась.

Однажды мы с Братиловым, Сивковым и завучем-географом пошли в лес за брусникой. Было воскресенье, и, выйдя утром, к вечеру того же дня мы намеревались вернуться. Местность вокруг никто из нас не знал, все мы были пришлыми, и опыта ориентирования в большом лесу ни у кого не было. У завуча, правда, был компас, и мы полагали, что с его помощью разберемся, куда надо идти. Но в лесу мы разошлись, наш географ с компасом куда-то исчез, а все наши попытки докричаться до него ни к чему не привели. День был облачный, солнца не видно, временами моросил дождь. Неожиданно в зарослях малины наскочили на медведя, рванули в сторону, а медведь только посмотрел на нас и не двинулся с места. Он был, видимо, до предела сыт и интереса для него мы не представляли.

Отбежав подальше и переведя дух, мы решили обсудить, какого направления нам следует держаться, чтобы не уйти слишком далеко от дома. И тут оказалось, что дорогу к нашему поселку мы все представляем по-разному. Стало ясно, что мы заблудились. Попытки определить направление по кроне деревьев и зарослям мха на стволах сосен ни к чему не привели. Когда деревья стоят тесно друг к другу, то форма крон не выделяет южную сторону, а мох одинаково может расти как с севера, так и с юга. Решили избрать одно направление и двигаться только по нему. Шли долго, на ягоды уже давно не обращали внимания. Стало темно, а потом и вовсе наступила ночь. Развели костер, по очереди немного подремали у костра и с рассветом продолжили движение. Около середины дня услышали паровозные гудки на железной дороге и скоро вышли на узкоколейку, по которой возят лес откуда-то из глубин тайги на станцию Андриановичи. Оказалось, что от поселка мы находимся на расстоянии примерно 15 километров. Так вот и закончился наш поход

за брусникой. От моих хромовых сапог остались одни голенища, домой я вернулся в довольно жалком виде.

После этих событий мне уже недолго оставалось жевать медвежатину, со дня на день я ожидал повестки из горвоенкомата, но ее все не было. Вот уже и праздник 7 ноября. Погода стояла в тот год удивительно теплая, но часто шли дожди. На улицах поселка грязь непролазная, но, несмотря ни на что, состоялась демонстрация «трудящихся». С портретами Сталина, Ворошилова, Молотова и других «вождей» топали мы по улицам поселка, утопая местами по колено в грязи. Около школы была трибуна, все трудящиеся собрались вокруг нее и какой-то парторг из лесхоза держал речь, в которой он заклеил международный империализм, несущий народам войну и голод. Но вот, наконец, «торжества» закончились, все пошли по домам, чтобы немного почиститься, а потом собраться вновь в школе и отметить праздник в привычной школьной среде.

Призыв

Осенью 1939 года я прошел призывную комиссию в Серовском городском военкомате, а призван в армию был в январе 1940 года. Назначение было в пограничные войска. Ехали в товарных вагонах. Зима. Холод. В вагоне были двухэтажные нары, а на них солома. Все стремились попасть на верхние полки, так как там было чуть теплее. В вагоне стояла железная печка, и мы все время топили ее чем могли. Угля давали мало, поэтому на остановках мы собирали палки, доски и вообще все, что способно гореть, но найти это было трудно, так как вагонов-то в поезде много и все старались что-нибудь раздобыть.

Кормились сухим пайком, только изредка в больших городах нас водили в столовую. Первая «горячая кормежка» была в Перми (тогда — Молотов). Холод в этот день был особенно жестоким, а столовая далеко от места нашей стоянки. Капустному супу, которым нас там угостили, мы были не очень рады. Тут же, в вагоне, обозначились первые знакомые и друзья. С некоторыми из них я был вместе на фронте до самого последнего часа. Среди них был Романов, бывший бухгалтер, Попов — племянник изобретателя ра-

дио, по гражданской профессии художник, Михайлов, за полгода до призыва закончивший горный техникум, и еще многие другие ребята с Серовского металлургического завода. Все это люди со средним образованием и выше.

В Москве, вернее где-то на задворках Москвы, наш телячий эшелон, набитый будущими защитниками Родины, задержали на несколько суток. Уходить никуда не разрешалось под угрозой закрытия вагонов, только «до ветру» выскакивали кто куда мог. Потом, наконец, поезд тронулся и взял направление в сторону запада. Других больших задержек в пути после этого уже не было. Прибыли на какую-то станцию в Белоруссии, от которой было уже не так далеко до старой границы. Здесь нас повели в баню, где мы сбросили свою гражданскую одежду и надели военную форму. Выбирать и подбирать обувь и одежду почти не давали, все делалось по глазомеру старшины, который отвечал за обмундирование. Поэтому у многих потом сапоги мозолили ноги, брючные ремни в кровь растирали поясницу или еще что-нибудь в этом роде. Сразу после того как нас обмундировали, буквально в тот же день, был отдан приказ перебазироваться с этой станции в район старой границы в поселок Бухча.

Расстояние 90 километров, дорог нет, шли по снежной целине. С нами только три лошади, взятые где-то в колхозе, которые везли штабные бумаги и вещи. Рассчитывать в пути можно было только на свои ноги, а помощи, в случае чего, ждать было неоткуда. На пути не попалось ни одной деревни, только лес, замерзшие болота, снег и синий купол неба над головой. Пройти 90 километров по снежному бездорожью не простое дело даже для тренированного человека в хорошо подогнанной обуви и одежде, а для нас это было тем более трудно. Только семь человек из всей учебной комендатуры (около 200 человек) дошли до пункта назначения своими силами. Остальных собирали на подводах, взятых где-то в близлежащих колхозах. Я был в числе этих семи. Последние километры пути я тащил два ранца и две винтовки. На месте нас встретил политрук и с ним еще несколько старослужащих, которые должны были сначала провести митинг по случаю, как предполагалось, успешного завершения похода, а потом разместить людей

на отдых. Но митинг не состоялся, так как люди прибывали небольшими группами, вконец измотанные и замерзшие.

Здесь, в Бухче, небольшом белорусском поселке, затерянном где-то в лесах и болотах, мы и проходили первоначальную военную подготовку: шагистика, стрельба, изучение уставов и материальной части оружия, а также политзанятия. Время от времени приходилось дежурить на кухне, мыть полы в столовой, чистить картошку и делать другие хозяйственные работы. Но в целом, как я сейчас вспоминаю, режим здесь не был суровым. В очень холодные или метельные дни занимались в основном в помещении. Во время полевых занятий были частые перекуры, бессмысленного «ложись», «встань» не было вообще. Во всяком случае, разные «броски, окапывания» и прочее делалось в меру и особого ожесточения у нас не вызывало. Объяснялось все это, вероятно, тем, что на первых порах мы попали в хорошие руки, в руки умных и порядочных людей, и это спасло нас от издевательств, которым новобранцы нередко подвергаются в первые недели и месяцы службы. Прошло месяца два или даже менее того, и нас всех разослали по заставам на старой границе, где мы должны были уже практически осваивать службу пограничника.

Старая и новая границы

Я попал на заставу, расположенную вдали от всех населенных пунктов, где-то в западной части Белоруссии. Служба здесь была тоже сравнительно тихая, так как все знали, что охранять тут нечего и не от кого. Жили мы не только хорошо и спокойно, но еще и очень сытно, что было немаловажно по тем временам. В лесах было много кабанов, а на заставе нас только 18 человек. Подстрелив одного-двух хряков, мы могли блаженствовать долгое время, почти не нуждаясь в плановом снабжении мясом. Не знаю, считалось ли тогда это браконьерством, вероятно нет, иначе бы нас предупредили. Однажды мы с напарником подстрелили кабана пудов на шесть весом, взвалили его на связанные лыжи и поволокли на заставу. Идти без лыж по глубокому снегу было тяжело, мы выбились из сил настолько, что хоть бросай добычу. Тогда решили, что один из нас останется на месте, а другой пойдет на заставу и приведет людей. Так

и сделали. Мой напарник, пограничник второго года службы, встал на лыжи и привел с собой еще трех человек. Помню, что за этот трофей нам дали два дня свободных от всяких дел по службе. Такие же охотничьи удачи попадались потом и другим нарядам после нас. Словом, службу на старой границе можно было считать почти курортом. Хороших дорог к нам не было, поэтому большое начальство к нам не заглядывало и никаких проверок не устраивало. Занятия, правда, были, но больше от скуки, чем по необходимости.

На заставе была небольшая библиотека. Книг в ней было мало, в основном подшивки старых журналов и газет, но когда ничего другого нет, то можно почитать и старые журналы. В мире уже неспокойно. Чувствовалась нервозность перед неминуемой войной, но для нас это ощущение грозы как бы ослаблялось топями болот и стеной леса, окружавшего нас. За ним ничего не было видно. Газеты приходили к нам раз в две недели, а в распутицу и того реже. Грамотного толкователя событий не было, и нам казалось, что все происходящее мало нас касается, что мы где-то очень далеко от магистральных событий.

Но все это было, конечно, не так. Ранней весной 1940 года где-то в штабе, видимо, сочли, что мы уже достаточно подготовлены, полностью освоили пограничную службу и можем проявить себя при охране новой границы с Германией, которая возникла в результате раздела Польши осенью 1939 года. Нас посадили в пассажирский вагон европейского типа — сидения мягкие, кругом зеркала, купе всего на два человека. Никто из нас в таких вагонах раньше не ездил. И вот сидим мы в таком раззеркаленном салоне и дышим зловонной русской махоркой. Едем на запад, в город Брест. Не могу теперь вспомнить, сколько нас было, но не больше десяти человек. Остальные пока остались на заставе старой границы.

Приехали в Брест. Вокзал великолепный. Говорили, что в Польше это был самый лучший вокзал. Выглядел он довольно чисто, но толчея на вокзале была уже типично русско-советская. Ни встать, ни сесть, ни протолкнуться... И кого только тут не было! Запомнились заключенные, прибывшие под охраной на какое-то строительство, и демобилизованные солдаты в старой, грязной военной форме, которые выглядели нисколько не лучше заключенных.

В то время по приказу красного маршала Тимошенко демобилизованные солдаты ехали домой либо в той одежде, в которой они когда-то пришли на призывной пункт, либо получали старую, бывшую в употреблении форму и в ней возвращались в родные пенаты. Было на вокзале много солдат срочной службы, как мы, и немало гражданских лиц, которые осаждали кассы так же, как это делалось во всех других крупных городах страны.

Здесь, на вокзале, из газет я узнал, что в стране введено платное обучение в школах и вузах. Тут же у газетной витрины нам кто-то из старослужащих солдат рассказал о строгостях, которые министр обороны Тимошенко ввел в армии. За опоздание из увольнительной до 20 минут — гауптвахта со строгим режимом, за опоздание свыше 20 минут — ревтрибунал. Такие же законы начали действовать и на гражданке — за опоздание на работу свыше 20 минут уже привлекали к суду, который давал несколько месяцев принудительных работ. Целые эшелоны с заключенными двигались тогда по дорогам России. Среди заключенных было множество людей, которые безупречно работали многие годы, но, один раз опоздав, отправлялись в тюрьмы и лагеря. А в газетах и по радио звучало: «Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь».

В город нас отвел один из сопровождавших офицеров. Наша казарма находилась в самом центре тогдашнего Бреста. Людей собрали много, а коек мало. На двух койках спали по три человека, располагаясь поперек коек. Какой-то комиссар, на отвороте гимнастерки у него была шпала, произнес перед нами речь и объяснил, что все мы сейчас составляем маневренную группу Брестского погранотряда. В случае необходимости нас будут бросать на тот или иной участок границы, когда заставе потребуется помощь. Было нас около 180 человек.

Застава № 5

Однако пробыл я в этой группе недолго. Не помню, по какой причине и при каких обстоятельствах, но я оказался на линейной заставе № 5. Вероятно, произошло просто доукомплектование штата заставы за счет маневренной группы. Застава располага-

лась в роскошной усадьбе какого-то богатого поляка в полутора километрах от границы. Фланги заставы были на расстоянии около десяти километров. На одном из них находилось село Челеево, вытянувшееся вдоль берега Буга на километр или более. Будучи на этой заставе человеком новым, с условиями и рельефом местности не знакомым, я нес службу пока только в качестве младшего наряда, а старшим со мной всегда был кто-нибудь из старослужащих пограничников. Это обстоятельство немного облегчало мне тяжелое бремя на заставе, так как с младшего наряда спрос был все-таки меньше, чем со старшего.

Людей на заставе почему-то не хватало, и продолжительность вахты на линии вместо восьми часов достигала двенадцати. Иногда шел дождь, был холод, ветер, а укрыться негде. Зайти к знакомым в селе Челеево — боже упаси! Однажды мы зашли минут на пять-десять в один дом, чтобы отдать часы в ремонт, но когда вернулись на заставу, там уже было об этом известно. Старший наряда получил трое суток гауптвахты, а я отделался внушением и предупреждением. Правда, сидеть на гауптвахте ему не пришлось, поскольку это было бы равносильно поощрению или награде. Он по-прежнему по двенадцать часов находился в наряде, но в послужной список этот арест был записан. После этого случая нам всем стало ясно, что в деревне кто-то следит за нами, и мы в дальнейшем старались быть осторожнее. Ежедневно, когда кончался служебный наряд, мы молились богу, что прошел еще один день и мы не попали в штрафбат или тюрьму. А попасть туда в те времена было совсем просто.

Однажды зимой или поздней осенью, когда уже лежал снег, а река замерзла, мы двое были в наряде на левом фланге заставы, на том самом, где было расположено село Челеево. Прошли вперед, на границе было все спокойно, следов на снегу застывшего Буга не было, но когда вернулись обратно, увидели, что на том берегу лежит порядочная куча домашнего скарба, стоит корова и на большом сундуке сидит женщина. Из деревни, расположенной немного ниже по Бугу, на другой его стороне, движется группа людей по направлению к перебежнице. Стало ясно, что какая-то семья из Челеево решила перейти в немецкую часть Польши. Стре-

лять, конечно, нельзя. Срочно звоним на заставу. Приехал политрук и начальник заставы, но сделать уже ничего нельзя, допущен переход границы, а о таких вещах полагалось доводить до сведения министра внутренних дел. Тогда это был Лаврентий Павлович Берия, вернейший и преданнейший ученик и соратник товарища Сталина. После этого нам оставалось только ожидать трибунала, но представитель штаба округа, который случайно находился в это время в штабе погранотряда в Бресте и который должен был дать оценку этому событию, рассудил по-человечески. На фланге длинной около 10 километров находилось только два наряда, по два человека в каждом, и им все равно не усмотреть и не предотвратить побег, если он уже задуман. Поскольку оба мы считались почти примерными бойцами и не имели зафиксированных нарушений, то дело было спущено на тормозах.

Возможно, имело значение еще и то обстоятельство, что за несколько дней до того были осуждены и посажены шесть пограничников, среди которых были политрук и начальник заставы. Это было на четвертой, соседней с нами заставе, где они организовали небольшую вечеринку с выпивкой. Об этом стало известно в верхах, и возмездие не заставило себя долго ждать. Приговор был от двух до пяти лет исправительно-трудовых лагерей. На суде присутствовали по два человека от каждой из двадцати застав погранотряда. От нашей, пятой, был послан я и еще один парень, фамилию которого не могу теперь вспомнить. Позднее, у себя дома, мы должны были рассказать о процессе и как бы предостеречь от подобных эксцессов свои заставы.

Вот так и шла служба на заставе № 5. Читать мы ничего не читали, разве что изредка просматривали газеты. Кино не было, увольнительных не давали, никакие занятия не проводились. Наряд, чистка оружия, сон и снова наряд, и так без конца.

Летом 1963 года во время поездки в Брест в мемориальном музее крепости я пытался узнать о судьбе моих бывших сослуживцев по заставе № 5. Сотрудники музея рассказали мне, что сейчас они не знают ни одного из этих людей, переживших войну. В первые часы войны застава сражалась под командованием капитана Гринёва и хорошо знакомого мне политрука Сорокина. Начальника за-

ставы к началу боев не оказалось на заставе, он был вызван в штаб погранотряда. Через несколько часов после начала боев на заставу пришло подкрепление из комендатуры во главе с лейтенантом Побежаевым. Когда дальнейшее сопротивление потеряло смысл и людей осталось совсем мало, было решено уходить в тыл, оставив на заставе небольшую группу прикрытия. Во главе ее был политрук Сорокин. Группа Побежаева начала отход. Из всей заставы, на которой, не считая группы Побежаева, было около 60 человек, остались живыми пять человек и все они были ранены. Они были спрятаны жителями села Челеево, но вскоре обнаружены немцами и отправлены в лагерь Бяла-Подляска. О дальнейшей судьбе этих людей ничего не известно. Вероятно, они погибли в плену. Оставшийся в живых политрук Сорокин пробился к своим, еще долго воевал и погиб в 1943 году. Потери немцев на участке заставы, как утверждают данные музея, составили 120 человек, значит каждый обороняющийся пограничник уничтожил двух солдат противника. Так воевали и умирали мои друзья-сослуживцы с пятой заставы. С соседней, четвертой заставы, на которой были осуждены начальник и политрук, из окружения не вышел ни один. Погибли все, но иначе и не могло быть. Маршал Жуков в своих мемуарах пишет, что на один километр границы приходилось пять-шесть пограничников и рота немцев.

На участке 17-го Брестского погранотряда дислоцировалась 4-я армия, в которой было четыре дивизии, но против нее действовало десять дивизий. Оказать помощь окруженным пограничникам она, конечно, не могла. Что же касается 28-го стрелкового корпуса и 14-го механизированного, которые тоже находились в этом районе, то о них после начала боев вообще ничего не было слышно. Они не успели развернуться и были уничтожены в первые же часы после начала войны.

Школа погранвойск

Ранней весной 1940 года в числе других пограничников, имеющих среднее образование, я был откомандирован с пятой заставы в окружную школу младших командиров погранвойск Белорусского

военного округа. Но школа, видимо, только формировалась, комплектовалась ее материальная часть и офицерский состав, и нам некоторое время пришлось опять пребывать в составе маневренной группы. Дислоцировались мы уже не в центре Бреста, а в крепости, в здании заставы № 9, известной ныне как застава Кижеватова.

Хорошо помню день, когда мы устраивались в этом приземистом, с толстыми стенами, казематного вида здании. Окна в здании были узкие и маленькие, а стены более чем метровой толщины, воздух был влажный, пахло сыростью. Моя койка оказалась как раз против окна, обращенного в сторону границы. Этим обстоятельством я был весьма доволен. Помню, как в длинной кавалерийской шинели, с огромной саблей на боку впервые зашел к нам старший лейтенант Кижеватов и осведомился, как мы устроились. В прямом подчинении Кижеватова мы, однако, не были. Командовал нами другой офицер, с одной шпалой, но иногда нас посылали на усиление нарядов на флангах девятой заставы и тогда инструктировал нас Кижеватов. Семья его — жена, мать и двое детей — жили в этом же здании, в комнате на противоположном конце здания.

Пребывание в мангруппе и несение службы на участке девятой заставы продолжалось около двух месяцев, а потом школа была сформирована, установилось тепло и мы выехали в лагерь, расположенный на берегу реки Неман около города Гродно. На противоположном берегу реки находилась деревня Пышки, поэтому и лагерь наш тоже назывался Пышки. Так, в начале лета 1940 года, я стал курсантом окружной школы пограничных войск НКВД Белорусского военного округа. В школе было примерно 1200 курсантов, хозкомендатура, медчасть и офицеры. Всего около 1500 человек. Личный состав в школе распределялся не по взводам и ротам, как это было принято в обычных пехотных частях, а по заставам и комендатурам. Всего в школе было шесть комендатур, в каждую из которых входило по четыре заставы. В заставе же было 60 человек.

Командовал школой майор Зиновьев, депутат Верховного Совета Белоруссии и Герой Советского Союза за финскую войну. Рост маленький, сам сухонький, лет ему было около сорока. Суров, требователен. Помню, как он распекал нас на вечерних проверках за то, что плохо печатаем шаг, когда идем в строю. «В какой-то

тряпичной Литве, — говорил он, — мостовые гремят, когда солдаты идут, а вы!..» Мы все его изрядно боялись и старались без особой на то необходимости не попадаться ему на глаза, иначе найдет, что грязный воротничок или не пришита пуговица и тут уж берегись. Жена его и сын, которому было пять-шесть лет, жили тут же в лагере, в офицерских палатках. Начальником нашей комендатуры (2-я учебная) был старший лейтенант Колмогоров, чуваш по национальности. Он был уже не очень молодой, но движения по службе не имел из-за невысокой грамотности. Для сорокалетнего звание старшего лейтенанта, конечно, недостаточно, но человек он был добрый, правом давать дисциплинарные взыскания не злоупотреблял. Службу он требовал, но в меру, в комендатуре относились к нему уважительно.

Писарем комендатуры был мой друг Иван Соколов. Мы призывались с ним вместе в Серовском горвоенкомате и ехали в одном вагоне из Серова в Белоруссию. Потом на какое-то время наши пути разошлись, а в школе мы встретились снова, даже были в одной комендатуре. Забегая к нему в штаб, я часто встречался и с Колмогоровым. Иногда случалось вести с Колмогоровым доверительные разговоры об обстановке в мире и тучах, которые, как мы чувствовали, сгустились вокруг нас. Жена его и двое детей жили тут же в лагере, в деревянном бараке, в котором находился штаб школы и всех комендатур. Однажды я спросил его, почему он не отправляет жену и детей куда-нибудь подальше в тыл, ведь если будет война, то начнется она наверняка летом и может случиться, что уехать из приграничной зоны будет трудно. Он ответил: «Не от меня зависит, иначе я бы уже давно отправил».

Лагерь Пышки расположен на правом берегу реки Неман. Красивое место, поросшее соснами и другими деревьями. Меж сосен стояли наши палатки, каждая на четырех человек. Около палаток были разбиты цветочные клумбы, проложены песчаные дорожки. Всюду был порядок и чистота. Изредка нам, курсантам, давали увольнительные в Гродно, который находился от нас километрах в двух-трех выше по течению реки. В ту пору это был не очень большой старинный городок, основанный, как утверждается, еще в XI веке. Часто приходилось бывать там в составе патрульного

отряда, так что город был нам хорошо знаком, а возможность вырваться туда была для нас всегда праздником.

Но лето 1940 года было уже довольно суровым временем. Выше мне уже приходилось говорить, что за опоздание из увольнительной на срок свыше 20 минут грозил трибунал и как минимум полгода штрафного батальона. За опоздание на срок менее 20 минут — гауптвахта со строгим режимом, где горячую пищу давали один раз в день, койка на день убиралась, а курить запрещалось вообще. Но так как охранялась гауптвахта своими же курсантами, то голодом и без курева в ней никто не сидел, действовала взаимовыручка. Красный маршал Тимошенко, принесший в армию эти строгости, фактор взаимовыручки, видимо, не учел или недооценил.

Полевые кухни и столовая были на самом берегу реки. Кормили нас не бог знает как, но все же намного лучше, чем пехоту. С солдатами из пехотных частей нам приходилось встречаться чаще всего на стрельбище, и мы хорошо знали, что они всегда голодные, на ногах ботинки с обмотками, одежда грязная, затасканная, рваная. Мы же были экипированы лучше, вместо ботинок с обмотками носили сапоги, выходная форма всегда чистая, подворотнички свежие и вид в целом достаточно боевой.

Занятия в школе были нелегкими. Все время тактика, окапывание и как только окопаешься — бросок с полной боевой выкладкой на несколько километров. Гимнастерка на спине покрывалась солью и, когда не было уже никаких сил бежать, раздавалась команда: «Запевай!»

Командиром нашего отделения был некий Брюховец, украинец — службист отменный, образование ничтожное, кроме устава он ничего не знал и ничего не читал, но физически был силен и вынослив. Любил броски, тактические занятия и прочую деятельность, где не требовалось много ума или знаний, но нужна была сила и выносливость. Начальником заставы был лейтенант Борисенко, высокий, стройный и красивый молодой человек, отличный спортсмен. Погиб он на второй или третий день войны в рукопашной схватке около Волковыска.

Еще одной примечательной личностью в нашей комендатуре был политрук. Звание невысокое, носил он три кубика, но усер-

дно стремился к повышению. Это был мешковатый, низенький, слегка корпулентный и не очень молодой человек. Военная форма ему как-то мало шла, и выглядел он всегда мужиковато. Вначале он показался нам человеком простым, безвредным и даже добрым, но это только вначале. На деле оказалось, что это опаснейший сикофант, установивший тотальную слежку за каждым из нас. Трудно сказать, скольких он посадил бы, если бы счастливый случай не помог нам распознать его и если бы его занятие не прервала потом война.

Был среди нас курсант Толмачев, самый радикальный и наименее стандартно мыслящий из всех ребят, с которыми мне тогда, в школе, приходилось общаться. По возрасту он был чуть старше нас. До армии он какое-то время работал в торговом флоте, бывал во многих странах и имел представление о западном уровне и образе жизни. Он чаще других возмущался плохим питанием и арачьевским, как он говорил, режимом в армии, рассказывал, как питаются и вообще как живут и работают английские и другие западные моряки. Однажды его не стало. Исчезновение было неожиданным и внезапным. На наши вопросы, куда исчез Толмачев, никто не мог или не хотел дать ответ.

Но как-то раз, через несколько дней после исчезновения Толмачева, один из наших ребят был дневальным по комендатуре или даже по всему лагерю, а дежурным был политрук. К концу короткой летней ночи очень хочется спать и дежурный политдеятель решил, видимо, немного вздремнуть. Это не возбранялось, поскольку тут же, в палатке дежурного, была оборудована лежанка. Дневальный же должен в это время, конечно, бодрствовать у телефона. Уснув, политрук забыл убрать со стола толстую тетрадь, и когда в нее заглянул дневальный, он сразу понял, что это кондуит, куда заносятся все сведения о каждом из нас: кто что сказал, кто какие вопросы задает на политзанятиях и прочее. Особенно много было записей на странице, помеченной моей фамилией. Из этой же тетради наш любознательный дневальный узнал, что Толмачев «изъят органами НКВД» такого-то числа и месяца. На следующий день дневальный Соболев рассказал мне и некоторым другим ребятам о том, что ему удалось разведать.

После этого открытия мы, конечно, стали осторожнее, и наш мешковатый политдеятель скоро почувствовал некий холодок при общении с нами. На политзанятиях, которые он проводил, царила теперь мертвая тишина, вопросов никаких, реплик никаких и интереса тоже никакого. Все отказывались о чем-нибудь говорить. Даже когда он зачитал нам газетную заметку о смерти Л. Д. Троцкого, то и это сенсационное известие не нарушило нашего обета молчания.

В заметке сообщалось или, вернее, утверждалось, что один из собутыльников Троцкого в пьяном угаре ударил его киркой по голове. Теперь-то мы знаем, что этот «собутыльник» — сын старой большевички, работавшей в Коминтерне еще во времена Ленина, фамилия его Меркадер и что отсидев 25 лет он вернулся в Москву и получил там почетный титул Героя Советского Союза. Не знаю только, было ли ему присвоено это звание еще при Сталине, когда он сидел в тюрьме, или уже после Сталина, когда террорист отсидел свой срок. Истиной в той газетной заметке было только то, что Троцкий был убит действительно киркой, точнее альпинистским ледорубом, прямо за столом у себя в кабинете.

Образ этого парня, Соболева, часто всплывал в моей памяти в последующие годы. Это был совсем молодой курсант, только что закончивший среднюю школу где-то в Кировской области и сразу же призванный в армию. У него не было одного верхнего переднего зуба, и щербина немного портила его красивое, почти девичье лицо. Погиб он в первые дни войны в бою ближнего действия рядом и почти одновременно с начальником нашей заставы лейтенантом Борисенко.

Конечно, бросая ретроспективный взгляд в то далекое прошлое, я вижу, что не все было так уж трудно, опасно и плохо. Свойство человеческой психики таково, что прежде всего забывается все неприятное, трудное, обидное, а события радостные, приятные надолго сохраняются в памяти. Вот так и тут. Приятными и радостными кажутся мне теперь наши спортивные праздники на берегу полноводного и быстрого Немана, купание, соревнования в заплыве на дальние дистанции, прогулки в город по увольнительной, где у нас было много знакомых, приятна и сама жизнь на природе в соновом лесу все лето.

Гарнизонная жизнь

Осенью лагерная жизнь кончилась. Все курсанты получили звания от младшего сержанта до старшины и были разосланы по заставам 17-го Брестского погранотряда. В отряде было двадцать застав и пять комендатур. Часть выпускников направили в другие погранотряды, а я получил звание старшего сержанта и был оставлен при школе в качестве, или вернее в должности, химинструктора. Начальником химслужбы был капитан, человек уже немолодой, лет под пятьдесят. Теоретической химии он не знал, занятия проводить не любил и часто поручал это мне, когда я сам еще был курсантом. В результате уже тогда мне приходилось вести занятия по химии отравляющих веществ с офицерами, вплоть до полковника.

Химической подготовке офицеров уделялось большое внимание, поскольку считалось, что вероятность применения нашим потенциальным противником Гитлером боевых отравляющих веществ в случае войны очень высока. На переподготовку в школу присылали офицеров из штабов комендатур и застав. Вот с ними в основном нам и приходилось вести занятия — как теоретические, так и практические, в поле и в газовой камере.

Осенью школа вернулась в Брест на зимние квартиры. Располагались мы где-то в центре города недалеко от моста через реку Буг. Но когда в 1963 году я вновь посетил эти места, наши старые гарнизонные строения уже не обнаружил. Город изменился, район этот был застроен новыми многоэтажными домами. Здание, где размещалась мангруппа, в 1963 году еще стояло на месте и снаружи выглядело точно таким же, как тогда, в довоенное время.

Гарнизонная жизнь школы с сентября 1940 по май 1941 года протекала спокойно и рутинно. Теперь нас было намного меньше, чем в лагере. Почти все выпускники разъехались по месту назначения. В школе остались лишь вспомогательные службы, офицеры, младшие командиры, человек 200—300 рядовых, которые опять представляли собой маневренную группу, и комендантский взвод, который нес патрульную службу на улицах города и в районе вокзала. Это уже будущие курсанты.

Офицеры в это сравнительно спокойное время изучали немецкий язык. Занятия вела пожилая женщина-еврейка. Я тоже продолжал изучать язык, насколько это было возможно, и даже присутствовал пару раз на занятиях в качестве вольного слушателя. Однако пассивное присутствие мне мало что давало, и я решил ограничиться только самостоятельными занятиями, тем более что и уровень моих знаний был уже значительно выше, чем у офицеров, которые только начинали заниматься языком.

С начальником школы майором Зиновьевым занятия велись отдельно у него на квартире. С заданиями он справлялся с трудом и часто обращался ко мне за помощью, что давало некоторые привилегии. Например, выход в город был позволен мне ежедневно, от дежурств и нарядов я тоже был освобожден, но зато, правда, была поручена шефская работа в одной из школ ФЗО города, где мне вменялось в обязанность вести занятия по устройству и правилам пользования противогазом и по материальной части некоторых видов оружия.

В остальном служба проходила тихо и спокойно. Статус химинструктора и консультанта начальника школы по языку освобождал меня от надоедливых занятий по строевой подготовке, а непринадлежность ни к какой заставе или комендатуре освобождала меня от многих других, чисто хозяйственных работ. Осенью 1940 года в Брест приехал киноартист Крючков. Помню, как мы строились во дворе казармы, чтобы идти на встречу с прибывшим артистом в гарнизонный клуб. Частично помню и содержание его выступления. Мать артиста, рассказывал он, жаловалась соседке, что у нее все дети как дети, а младший сын стал артистом, а та будто бы ответила, что ничего тут не поделаешь, в семье не без урода. Далее он представлял сцены или показывал фрагменты из популярного в те годы фильма «Трактористы», в котором он играл ведущую роль.

Поздней осенью 1940 года в гарнизон приехал какой-то комиссар с одним ромбом, фамилию его не могу вспомнить. Жил он в нашем гарнизоне продолжительное время, наверное около двух недель, занимая маленькую комнату в боковом приделе казармы. Вечерами одному ему было скучно, и он попросил нашего замполитрука указать ему кого-либо из бойцов или младших командиров,

живущих в казарме и умеющих играть в шахматы. Таких в ту пору было, видимо, немного, и выбор пал на меня. Играл я тогда не очень хорошо, но и комиссар тоже. В течение многих вечеров мы играли с переменным успехом в шахматы, иногда по два часа. Выступал он у нас с докладом по международной обстановке и в типичном для тех времен шапкозакидательском стиле утверждал, что «мы будем бить врага там, откуда он придет», и что «за один зуб будем высаживать всю челюсть». Теперь мне кажется, что, несмотря на свой высокий ромбовый чин, этот комиссар знал истинное состояние дел не лучше и не больше, чем каждый из нас.

Пользуясь правом свободного выхода из гарнизона, я часто бывал в это время в крепости (там, на заставе № 9, у меня было много знакомых), забегал в какое-либо городское кафе или столовую выпить кружку пива, заходил в ремесленное училище провести своих подшефных учеников, а потом к предельному времени возвращался назад. На Западе в это время уже вовсю бушевала война. На страницах газет то и дело мелькали названия — линия Мажино, Греция, Крит. Еще в начале лета 1940 года были оккупированы Голландия, Бельгия, а потом и Дюнкерк.

В том же году мы установили советскую власть в Литве, Эстонии и Латвии. Мир бурлил, давление в паровом котле истории все нарастало, приближался роковой 1941 год. Не помню, чтобы была какая-то встреча Нового года, скорее всего не было ничего. Помню только, что в новогодний вечер я сидел в красном уголке, или в ленинской комнате, как его еще называли. Я написал тогда письма домой и всем тем, с кем вел переписку в то время, и, видимо, так и проводил 1940 год. В комнате стоял приемник, в то время почти диковинка, и на какой бы диапазон волн мы не настраивались, всюду звучала немецкая речь. Понимал я ее очень плохо, чаще всего только отдельные слова, но было понятно, что речь идет о победах немецкого оружия.

Оставшиеся примерно четыре месяца до выезда в летние лагеря прошли так же тихо и рутинно, как и предшествующие. Никаких значительных и запоминающихся событий за это время не произошло. В самом начале мая школу пополнили молодыми солдатами, будущими курсантами, и отправили в те же лагеря, вернее в лагерь

Пышки. Только теперь я уже был не курсант, а химинструктор. Делать мне было почти нечего, вел занятия по химподготовке четыре-пять часов в неделю, а остальное время проводил где-нибудь в лесу с книгой в руках или на берегу Немана. Следил только за тем, чтобы не очень часто попадаться на глаза начальству. Так что службу можно было бы уподобить отдыху на даче, если бы побольше было свободы и не царил бы в лагере такая гнетущая аракчеевщина.

Свободного выхода за пределы лагеря здесь у меня уже не было. Город находился на расстоянии двух-трех километров, и чтобы попасть туда, надо было иметь увольнительную. Больше чем раз в неделю отлучаться не приходилось. В лагере я продолжал понемногу заниматься немецким языком, изучал книгу «Жизнь растения» Тимирязева, которая каким-то путем попала мне в руки, и читал все, что можно было достать в лагере. Библиотеки, конечно, не было никакой, и даже газеты нам читали в основном только на политзанятиях. Отупеть от такой жизни было немудрено, и рассчитывать можно было только на обмен, поскольку у многих ребят в чемодане хранились одна или две книги. Но во всем остальном было неплохо: занятия по строевой подготовке и тактике, как и вечерняя проверка, меня уже не касались, в столовую ходил обычно вне строя, все старшины были знакомы и даже перловую кашу иногда удавалось заменить на гречневую. Но времени оставалось уже мало. На календаре май, а за ним — июнь. Хотя мы и не знали, что ожидает нас в ближайшем будущем, но тревога нарастала сама собой.

Почти всю вторую половину мая школе пришлось быть на так называемой оперативной работе. Из Гродно, Бреста, Белостока и других городов выселяли поляков в Сибирь, вернее готовили к выселению. На сборы давали им два часа и разрешали взять с собой не более центнера груза. Это была работа, которую трудно было полюбить или хотя бы к ней привыкнуть. Слезы, проклятья, истерика, иногда попытки к побегу, а тут уже надо стрелять, иначе сам окажешься там же, в Сибири. Но в сталинскую эпоху было немало людей, которые только тем и занимались, что арестовывали, сажали, раскулачивали, выселяли, лишали права голоса и т. д. Видимо, есть такая особая порода людей, которые чувствуют себя хорошо только тогда, когда другим плохо. По рассказам и разговорам между собой

после таких операций уже можно безошибочно понять, имеешь дело с человеком или со сволочью, звериная сущность которой непременно проявится, как только сложатся благоприятные условия.

Мне, к счастью, только один раз пришлось участвовать в такой гнусной операции и только в судьбе одной семьи сыграть мрачную роль палача, душителя и карателя. Это была семья полковника бывшей польской армии. Сам он был уже ранее арестован, оставались жена и взрослый сын. Вот их мне и пришлось, вместе с двумя другими пограничниками, собирать и конвоировать до поезда, предназначенного для отправки ссыльных. Парень пытался бежать, выпрыгнул из окна второго этажа, не зная, что весь дом оцеплен большой группой солдат. Тут я услышал и хорошо запомнил фразу жены полковника: «Подождите, сволочи, скоро здесь будут немцы». На календаре был май 1941 года. В последние предвоенные месяцы и недели как минимум одна из наших комендатур находилась на оперативной работе. «Работали» в Литве, Латвии, Эстонии, «работали» в городах и селах Западной Белоруссии, на Двине и Немане, на Венте и Пярну, и всюду стоял плач, не хуже, чем потом в войну, только плакали уже другие.

Глава 2

ВОЙНА, ПЛЕН, ПОБЕГ

Начало войны

В составе школы погранвойск, о которой я немного рассказывал, мне и пришлось принимать участие в оборонительных боях 1941 года. За несколько дней до начала войны вместе с двумя другими старшими сержантами я был послан в Минск за новыми противогазами. Кроме противогазов, в наш вагон поместили еще какие-то ящики с оружием. Все это мы доставили в Брест к утру 22 июня и ждали, сидя в вагоне, машину, чтобы разгрузить вагон и доставить в отряд ящики и противогазы. Но машины не дождалось. Началась бомбежка привокзальных районов и крепости.

Неожиданность налета и полная неготовность ПВО давали немцам возможность бомбить эшелоны и привокзальные строения с небольшой высоты. Попытки тушить возникшие пожары пресекались пулеметным огнем с бреющего полета. Здание самого вокзала не бомбили. Наш поезд из восьми-десяти вагонов с военным грузом, возможно, потому и уцелел, что стоял на первом пути рядом с вокзалом. Позднее его оттянули от вокзала и двинули на Белосток и далее на Гродно. Расстояние примерно в 200 километров мы преодолели быстро и без каких-либо помех. Немцы, похоже, специально не бомбили железнодорожные узлы приграничных городов, если на них не было большого скопления военных эшелонов.

Прибыв в Гродно, мы узнали, что центр города сильно разрушен. В развалинах лежало здание госбанка, сильно пострадало здание пединститута. Немцы пытались разрушить мост через Неман, но он уцелел, ему были нанесены лишь незначительные повреждения. Наша школа к тому времени уже заняла оборонительные сооружения, выкопанные нами же самими в песчаном грунте на берегу

во время тактических занятий. Они были настолько примитивными, что могли служить лишь защитой от ружейного огня. Наш эшелон был взят в Гродно под охрану каким-то отрядом железнодорожных войск, и капитан, командир этого отряда, отпустил нас в школу, куда мы и должны были прибыть после командировки.

Добравшись до лагеря Пышки, где дислоцировалась школа в своих примитивных учебных окопах, мы отыскиали штаб и каждый из нас получил назначение. Меня назначили командиром отделения взрывников и тут же приказали приготовить к взрыву все склады лагеря. Тут я встретил старшину Диденко, который сказал мне, что сам видел приказ из военного округа о выводе нашей школы из района боев, поскольку школа — возможный резерв для офицерских кадров в будущем. Но оказалось, что вывезти школу не на чем, так как одновременно была получена телеграмма наркома путей сообщения Кагановича, предписывавшая вывезти из Гродно еврейское население. С утра, еще до нашего приезда, школу бомбили два самолета. Люди еще спали, побудки не было. Убиты восемь человек и сколько-то ранены. Накануне разведывательный самолет пролетал над лагерем, но в него не стреляли, чтобы не провоцировать немцев на конфликт.

Первое соприкосновение школы с сухопутными частями немцев произошло около 4 часов дня. Немцы вышли на левый берег Немана и заняли деревню Пышки. Мы находились на правом берегу. У нас было только легкое оружие, ручные и станковые пулеметы, полуавтоматические винтовки и ручные гранаты, а у немцев все — от автоматов до самолетов. Было ясно, что предотвратить переправу нашими силами не удастся. Огонь танков и артиллерии не давал поднимать голову. Окопы обваливались от сотрясения, жертв было много. Одна комендатура численностью в 240 человек погибла целиком. Она оказалась на левом берегу Немана, выехав туда на стрельбище еще за два-три дня до начала войны. Много десятков погибших было и среди нас, окопавшихся на берегу. Около 6 часов вечера был получен приказ отходить к востоку от Гродно.

Город горел, лес горел, дым стоял столбом и над нашим лагерем. Моему отделению было приказано взорвать вещевой и продовольственные склады, что мы и сделали достаточно быстро, так как все

уже было приготовлено к взрыву. Деревянные строения, уцелевшие во время артобстрела, взлетели на воздух. В одном из складов было много сапог. Я хотел разрешить отделению взять новые сапоги, так как наши были уже порядочно изношены. Попросил интенданта, заведовавшего складом, дать ключи, но тот ответил: «Взрывай, если не хочешь быть расстрелянным, это мародерство». Я понял, что передо мной полный дурак с двумя кубарями, но спорить не стал, офицер все-таки, да и законы войны сильно отличаются от законов обычного времени.

После этого нам было велено уничтожить штабные бумаги и зарыть в землю некоторое легкое оружие. Руководил этой работой старшина Диденко, мы только помогали. Летом 1963 года я посетил эти места и пытался найти место захоронения оружия, но мне это не удалось. Лес сильно изменился, даже очертания берега изменились, и приблизительно по этому месту прошло широкое асфальтированное шоссе. Возможно, наш «клад» оказался как раз под шоссе, а может быть уже был найден во время строительства.

После отхода с берега реки на восток, к Гродно, нашему отделению пришлось принимать участие и в уничтожении гродненских складов. Делалось все наспех и в самый последний момент. Здесь отделение понесло первые потери: два человека были тяжело ранены и оба через несколько часов скончались. Теперь нас осталось только 10 человек.

В районе Гродно бои шли три дня, и немцам уже не удавалось двигаться парадным маршем, но общее положение в районе и в округе в целом было ужасным. Сталин, как потом стало известно из мемуаров крупных военачальников, западное направление считал менее опасным, чем южное. «Мудрейший» полагал, что если уж война начнется, то немцы попытаются захватить сначала Донбасс и северокавказскую нефть. Возразить, как пишет Жуков, ему никто не мог, хотя было уже известно, что наибольшая концентрация немецких войск была как раз на западном направлении. Это был кратчайший путь к Москве.

На территории Западного военного округа была дислоцирована 10-я армия. Вся она была расквартирована на Белостокском выступе, который клином входил на территорию оккупированной

немцами Польши. Эта армия была охвачена с флангов Брест — Гродно. Жуков потом признал, что это была ошибка 1940 года, о которой знали, но не успели исправить. Командовал этой армией генерал Голубев, а генерал Болдин, заместитель командующего округом, к началу войны оказался в штабе этой армии. Он возглавил командование 6-м и 1-м механизированными корпусами и 6-м кавалерийским корпусом.

С самых первых часов войны армия оказалась в очень трудном положении. Она, по сути, не могла сосредоточиться для ответного удара, однако 11-й корпус, которым командовал Мостовенко, 23 и 24 июня героически сражался с многократно превосходящими силами противника. Когда горючее и снаряды кончились, танки шли на таран, но мало было тяжелых танков типа КВ. Хорошо помню, как мы, окопавшись на каком-то кладбище, наблюдали эти душевраздирающие сцены, и не знаю, был ли среди нас хоть один, кто не плакал в эти минуты. 6-й механизированный корпус под командованием Хацкилевича не мог развернуться для удара, а сам Хацкилевич погиб. 6-й кавалерийский корпус под командованием Никитина, генерала очень молодого и храброго, с танками сражаться, конечно, не мог. Этот корпус просто «не вышел из боя».

4-я армия была развернута в районе Бреста, частично в самом городе, частично в крепости, но больше всего частей было разбросано по различным летним лагерям. Из района Бреста армия выходила неорганизованно, командовал ей генерал-майор Коробов. Близость к границе и внезапность удара не позволили 4-й армии использовать свою мощь, и это еще более осложнило и без того тяжелое положение 10-й армии. В 4-й армии было всего четыре дивизии, а против нее действовало десять немецких дивизий, из которых четыре танковых. Разбросанность полков и дивизий этой армии по летним лагерям лишила ее возможности занять рубежи обороны, и заметного сопротивления противнику она не оказала.

3-я армия была дислоцирована в районе Гродно. Командовал ей генерал-лейтенант Кузнецов. Трехдневные бои в районе Гродно вела именно эта армия, в составе которой сражалась и наша школа. В воздухе немцы имели не просто превосходство, а полное и абсолютное господство. В первый же день войны наши приграничные

округа потеряли 1200 самолетов. Во время этих трехдневных боев у Гродно над нами все время висели «Мессеры» и «Фокке-Вульф», а своих самолетов в небе в эти дни мы просто не видели.

Бомбежка и пулеметный обстрел с бреющего полета сопровождался сбрасыванием «психических» бомб. Это были бомбы со звуковым сопровождением, они представляли собой что-то вроде пустой металлической бочки с особым образом расположенными на ней отверстиями. Падали они с таким визгом и ревом, что замирала душа. Да и любая бомбежка для необстрелянного еще человека — это самые жуткие ощущения, из которых страх на первом месте. Ты стараешься поплотней прижаться к земле, тебя словно вдавливают в землю визгом бомб, грохотом взрывов и воем моторов, выходящих из пике. Боевой дух падает, а кровавое давление, наоборот, повышается.

Отступление

Во второй половине дня 24 июня у наших танкистов уже не было горячего. Большинство танков осталось на поле боя. У тяжелой артиллерии уже не было снарядов и подвезти их было неоткуда. Начался отход остатков всех подразделений армии на город Мосты. Но это был не совсем отход, это было нечто такое, что намного хуже обычного планомерного отступления. Трудно описать тот ад, который творился на земле, в воздухе и на воде при переправах через реки. Уже почти к концу сражения, 24 июня, немцы перебросили сюда еще один механизированный корпус и некоторые части 3-й танковой группы. Перевес сил еще больше сместился в пользу противника, и именно в этот, самый тяжелый момент погибли сразу два командира корпуса — Хацкилевич и Никитин. Дорога на Мосты была устлана трупами наших солдат и офицеров. Убирать их было некому, хоронить некогда, а погода стояла жаркая. Вблизи переправ трупов было особенно много, они разлагались, и запах стоял в этих местах невыносимый.

Все дороги в сторону Мостов, шоссейные, грунтовые и даже просто тропы, были забиты отходящими частями — пехотными, артиллерийскими и прочими. Наша школа находилась почти в самом

хвосте движущихся, разбомбленных и деморализованных людских потоков. На дорогах то и дело возникали пробки. Крик, брань, ругань, ошалелые офицеры с пистолетами в руках пытаются что-то сделать, но никто не знает, что надо делать, да и вообще можно ли что-нибудь тут сделать.

Машин у нас почти не было, мы были пешие, поэтому могли двигаться не только по дорогам. Наше командование так и решило: пробираться к старой границе полевыми тропами и грунтовыми и выходить на дороги только там, где пройти трудно или невозможно. Однако хозкомендатура и вспомогательные службы с лошадьми и машинами могли двигаться только по дорогам. Через день после такого разделения один из солдат хозкомендатуры верхом на лошади отыскал нас на полевых дорогах и доложил командованию, что на дороге их настигли танки и что вся комендатура уничтожена. Я хорошо знал этого парня, но вспомнить теперь его фамилию не могу. Помню, что прискакал он без седла, без пилотки и даже почему-то босиком. Уже по одному его виду можно было заключить, что случилось что-то чрезвычайное. После гибели хозкомендатуры мы уже не могли рассчитывать на какое-либо организованное снабжение. Добывать еду теперь надо было самим. После такого известия настроение у всех нас еще более ухудшилось.

Почти перед самым отходом из района Гродно неразорвавшийся 80-килограммовый снаряд срезал верхушку холма, на противоположном склоне которого стояла наша штабная машина. Мы трое лежали около этой машины, и поднявшейся землей всех нас основательно засыпало. После этого несколько дней у меня болела голова и плохо слышало правое ухо. Теперь, после таких безрадостных вестей, на жаре и от усталости голова разболелась еще больше. В ушах шумит, речь собеседника понимаю с трудом, ноги тяжелые и плохо передвигаются. Кажется, лег бы теперь и уснул или вовсе бы умер, и пропади оно все пропадом.

Местность стала труднопроходимой. Проводники из местных жителей информировали нас, где пройти можно, а где нет. Все чаще приходилось выходить на большие дороги, по которым шли остатки трех разбитых армий, пытаясь спасти хоть часть техники и тяжелого оружия. Днем эти дороги всегда просматривались немецкой авиа-

цией, и нам почти постоянно приходилось двигаться под бомбежкой. Обычно самолеты шли на бреющем полете, ничего не опасаясь, и поливали землю свинцом из пулеметов. Однажды, при очередном заходе такого самолета-охотника, я залез под щиты, которыми зимой задерживали снег на полях. Теперь они были составлены в козлы, так что снизу между ними можно было пролезть. Очередь из многих десятков пуль прошла щиты сверху и в середине, но меня не задела ни одна, только пылью присыпало немного. После каждой бомбежки или вот такого пулеметного прочеса несколько человек оставались лежать на земле, раненые или убитые. Нас становилось все меньше и меньше.

Так мы шли под постоянной угрозой с неба и непрерывным давлением наседавших немцев на земле. Ночью нам удавалось от них на некоторое время оторваться. Отдыхали мы не более двух часов в сутки. Днем снова все повторялось, ведь мы шли пешком, а они ехали на танках и мотоциклах. Видимо, вот это наше шествие и имел в виду Твардовский, когда писал:

Повстречал солдат солдата,
Друга горестных дорог,
С кем из Бреста брел когда-то,
Пробираясь на восток.

Не знаю по каким причинам, но от Гродно мы шли не прямо на восток, а на юго-восток и через какое-то время достигли города Мосты. Здесь было три моста через Неман: один железнодорожный и два обычных деревянных, но сколочены они были капитально и могли выдержать прохождение любой техники. К нашему приходу оставался целым только один мост, два других, железнодорожный в том числе, были уже разрушены или, может быть, взорваны нашими саперами. В районе уцелевшего моста собралось много наших войск. Не знаю, что это были за части, но помню, что одна или две сильно поредевшие дивизии были из 4-й армии, остатки разбитых артиллерийских частей из 14-го механизированного корпуса. Ожидалось прибытие кавалерийского корпуса Никитина. Но никто из них не перешел моста.

Командующим всего этого конгломерата частей считали маршала Кулика. Штаб его находился в землянке недалеко от берега Немана. Мне какое-то время приходилось стоять на посту по охране этой землянки. Пока у нашей артиллерии были снаряды и пока было чем стрелять у танков, мы не давали немцам переправиться через реку. Многократные попытки немцев форсировать Неман отбивались с большими для них потерями. Помню, что наши маленькие пушки стояли почти на самом берегу и били по немецким плотам прямой наводкой. А деревянный мост все стоял, его не бомбили немцы, и пока не трогали наши, так как все еще тлела надежда, что часть кавалерийского корпуса попытается прорваться через мост. Но тщетно. Позднее мы узнали, что корпус был в основном уничтожен, а немногие уцелевшие взяты в плен.

Бои в Мостах продолжались около двух дней. Погода в эти дни стояла жаркая, но часто шли короткие проливные дожди, заливавшие наши временные окопы водой. Потом снаряды кончились, начался отход, вернее поспешное отступление. Стало известно, что где-то выше по течению немцы форсировали Неман, создавалась угроза окружения. Маршал Кулик был переодет в крестьянскую одежду: рубаха, лапти, отросшая борода, и в таком виде ему удалось перейти фронт. Уже в плену из немецких газет я узнал, что «маршал Кулик едва не попал в плен». В Москве он был понижен до генерал-майора, но позднее, уже посмертно, ему вернули маршальское звание.

Наша школа, все еще более или менее боеспособное подразделение, была оставлена в арьергарде всех частей. Моему отделению было дано приказание облить мост бензином и поджечь заложенные ранее фугасы. Приказ этот передал мне старший лейтенант, заместитель начальника штаба школы. Он же указал, где проложены шнуры и предупредил, что дело небезопасное. В отделении у меня полностью здоровых оставалось еще 5 человек, кроме меня самого. Это ровно столько, сколько, по-нашему мнению, нужно было для выполнения задания. Облить мост бензином велели в трех местах, а поджечь надо было два шнура.

Разбив людей на пары, я назначил основных исполнителей и дублеров, или помощников. В случае гибели одного работу должен был выполнить другой. На мосту было много трупов людей и лоша-

дей, стояли несколько подбитых машин, и это помогло первой и второй паре незаметно пробраться к нужному месту. Задача третьей пары была проще, так как они должны были действовать вблизи своего берега. Сам я работал во второй паре. Оба шнура находились на нашем участке, и поджечь их надо было любой ценой. После того как на противоположном краю моста вспыхнул огонь, мост начали интенсивно обстреливать с обоих флангов. Обстрел был настолько плотным, что пройти половину моста до своего берега мне казалось почти невозможным. Запалив шнуры и разлив свой бензин, я увидел, что первая пара уже проскочила зону будущего огня.

Теперь мне оставалось чиркнуть, бросить горящую спичку в бензин и выбираться самому. Мост был сильно выпуклый, на горбине его трупов меньше, и преодолеть ее было рискованно. Поэтому я решил скатиться с моста в воду и потом под горящим мостом, который должен был вот-вот рухнуть от взрыва, поплыл к своему берегу. Плыл в основном под водой, только время от времени высовывая голову, чтобы вдохнуть воздуха. Взрыв произошел, когда я был уже в трех-четырех метрах от берега. Это далеко позади меня. На берегу у самой воды рос мелкий густой кустарник, что помогло выйти из зоны обстрела.

В этой операции мы потеряли двоих. Один из первой пары остался лежать на мосту, когда оставалось преодолеть уже немного метров, а второй — из моей. Это был курсант из химзаставы, а по гражданской профессии тоже учитель. Жил и работал он где-то в Кировской области, был старше меня, лет около 28, ростом ниже и уже тогда с заметной излишней полнотой, несмотря на большую физическую нагрузку, испытываемую курсантами. Было раннее утро, часа, наверное, четыре или пять, и это обстоятельство немного облегчило выполнение задачи. Будь это днем, обстрел моста мог быть еще интенсивнее.

После этого опять проселочные дороги и лесные тропы, опять бомбежки и обстрелы с самолетов на бреющем полете. Нас оставалось все меньше. Не могу сказать точно, сколько нас было при отходе из Мостов, но скорее всего около половины того, что было в начале. На пути находился город Новогрудок. В условиях неразберихи и путаницы при отступлении в вечерних сумерках шко-

ла в упор столкнулась с немецкой пехотной частью. Мы двигались в сторону востока, а они на велосипедах с ранцами за спиной двигались почему-то в западном направлении. Удивительно, что ни наши дозоры, высланные вперед, ни немецкие разведчики не обнаружили друг друга. В результате обе части столкнулись буквально лбами, и завязался бой ближнего действия.

Описать, что тут было, дело для меня безнадежное. Разве что перо Толстого или Достоевского могло бы воссоздать картину, близкую к происходящему. В схватке, когда те и другие бьют в упор, не всегда разбирая, где свои и где противник, с людьми происходит какая-то абберрация. Отборная ругань, разнородные крики и стоны раненых, команды на двух языках выключают какую-то часть мозга, ответственную за чувство самосохранения. Кажется, что за эти 15—20 минут войны я не чувствовал никакого страха, никакой боязни. Страх пришел потом, когда обе стороны отошли на соседние улицы. Такое же ощущение свободы от боязни испытывали и другие ребята, с которыми мне приходилось обсуждать этот бой. В короткой схватке мы потеряли около 80 человек, а немцы немного меньше. Они были с автоматами, а мы с пятизарядными полуавтоматическими винтовками, плюс ручные гранаты и два ручных пулемета, которые успели развернуть. Здесь пал Соболев, застреленный в упор, о котором ранее мне уже приходилось говорить. Здесь же, в рукопашной схватке, погиб начальник одной из застав лейтенант Борисенко.

После отхода на соседние улицы ни одна из сторон уже не делала попыток атаковать снова. Нам надо было спешить, пока еще не все дороги были перекрыты на пути к старой границе. Немцы, похоже, тоже спешили по каким-то своим делам. Подбирать раненых начали первыми наши санитары, с немецкой стороны в это время огня не было. При выносе последних раненых с поля схватки появилась и немецкая гроб-команда с легкими сетчатыми носилками на колесиках. Основные силы школы, обойдя несколько улиц, переулков и огородов, снова двинулись на восток. Стало уже совсем темно. После нервного напряжения, вызванного неожиданной и жестокой схваткой, всех одолела усталость, но мы продолжали двигаться. Ночью идти лучше, чем днем. Нет авиации и никто не преследует нас на дорогах.

Шли долго. Шли всю ночь. Спали на ходу, натываясь иногда на телеграфные столбы, на деревья или чаще всего друг на друга. Раньше я не поверил бы, что можно спать на ходу, но теперь я уже точно знал, что можно. Бывает такое, конечно, только в случае крайнего или даже предельного утомления. Когда перед утром мы остановились где-то в лесу для отдыха, все мгновенно попадали на траву и уснули. Я даже не знаю, оставался ли кто-нибудь в это время в качестве охраны, был ли кто-то еще способен бодрствовать хотя бы несколько минут. На отдых давалось два часа, а потом опять дороги и дороги. Шестьсот километров пути от Немана до Минска мы шли и огрызались, как затравленный зверь, обложенный со всех сторон врагами.

Главная дорожная магистраль на Минск оказалась перекрыта немецким десантом. Других путей практически нет, для этого отступающим частям пришлось бы бросить всю технику. Десант надо было непременно сбить. На дорогах еще много разной техники, машин, танков и пушек, но снарядов нет, продовольствия нет, бензина мало. Часть машин приходилось бросать, потому что не было горючего.

Десант закрепился на возвышенности, поросшей березняком, почти рядом с дорогой. Никто не знал, сколько там немцев и чем они вооружены, а выяснять некогда. И вот нашей школе, вооруженной только легким оружием, и остаткам какой-то артиллерийской части, действующей как пехота, приказано было сбить десант с дороги и обеспечить движение отступающих частей на восток. Приказ есть приказ. Пошли. Вокруг березового колка, где закрепился десант, огромное ржаное поле. Рожь высокая и густая, уже в стадии колошения. Подбираться удобно, но никто не думал, что с воздуха десант будет поддержан самолетами. Как только мы были обнаружены в поле, прилетели два самолета и начали рассеивать мины и бомбы величиной чуть более куриного яйца. При ударе о землю они рвутся и дают много осколков. Каждая вспахивает вокруг себя порядочную площадь, и поле скоро стало почти черным. Потери большие, а ползти до рощи еще далеко. Сверху летят бомбы, из рощи бьют минометы, укрытия в поле никакого.

Но вот самолеты ушли, видимо сбросили все что было. Теперь наше продвижение немного ускорилось, и как раз в это вре-

мя по цепи было передано распоряжение начальника школы майора Зиновьева. Меня срочно вызывают в штаб школы, теперь весь наш штаб — это одна грузовая машина. Прихожу. Рядом с машиной лежит связанный немец. Молодой, чисто выбритый, рукава засучены, форма чистая, словно он собрался на парад. Оказывается, действующие с нами артиллеристы заметили наблюдателя, который корректировал минометный огонь. Они сумели его захватить и привели в штаб школы. Немец рассказал, что их всего 50 человек, что у них два легких танка и минометы, а остальное оружие — автоматы и ручные гранаты. В конце он добавил: «Сталин капут». После этого наши обработали высоту артиллерийским огнем, а потом забросали гранатами и уничтожили десант.

Не знаю, какие потери понесли действующие с нами артиллеристы, но потери школы были значительными. Больше всего погибло от мин на поле, но и не только от них — от минометного и танкового огня тоже. Писарь Иван Соколов говорил мне потом, что убитых и тяжелораненых около 20 человек. Здесь погибли многие офицеры, погиб и сам начальник школы, но, правда, уже не от десанта, а при других обстоятельствах, о которых я собираюсь рассказать немного ниже.

На этом поле я получил первую награду за многие часы, потраченные на изучение немецкого языка. Во-первых, понял немца, узнал необходимые сведения и тем облегчил штурм и уничтожение десанта. Во-вторых, наверняка спас себе жизнь, а может быть и еще кому-то, так как если бы пришлось действовать вслепую, то жертв могло быть еще больше.

Сбив десант и освободив дорогу, мы обеспечили возможность все еще громадным колоннам, состоящим из различных остатков многих частей, двигаться в сторону востока. Мы были пешими, и ждать, когда на дороге найдется нам место, не было резону. Сошли в сторону и по проселочным дорогам достигли какой-то деревни. Она была небольшой, но в центре ее на возвышенности стояла церковь. Мы шли по узкой долине мимо деревни. Посередине этой ложбины была прорыта канава, вся загаженная человеческими испражнениями. Видимо до нас тут проходила или даже останавливалась какая-то часть. Не думаю, чтобы столько наворотили сами

жители деревни, для этого потребовалась бы целая пятилетка ударной дефекации.

Отойти от этой канавы подальше в сторону мы не могли. По одну сторону от нее было очень низкое место, топь и трясина, по другую сторону — заборы, огороды и труднопроходимые зеленые изгороди. Только мы зашли в этот коридор, как с колокольни начал бить пулемет шквальным огнем большой плотности. Все падали в канаву, так как других укрытий не было. По этой канаве мы и ползли несколько сотен метров, замирая время от времени, когда пули свистели совсем уж близко. Одновременно с пулеметом бил, видимо, и снайпер. Убитыми и ранеными оказались около 20 человек, в том числе и начальник школы майор Зиновьев — Герой Советского Союза и депутат Верховного Совета Белоруссии. Он нашел свою смерть в этой зловонной канаве, сраженный, как мы тогда считали, снайперским выстрелом.

Выйдя из зоны обстрела, мы вернулись в деревню и оцепили церковь, но взять стрелявших было нелегко. Вызвали тяжелый танк, он сделал два-три выстрела по колокольне церкви, и она развалилась. Это были так называемые националисты из Западной Белоруссии, которые нередко вот так провожали наши отступающие армии.

Майора Зиновьева мы похоронили вблизи этой деревни на самой опушке березовой рощи. Деревня называлась то ли Мухортово, то ли Мухортиково. Спустя 22 года я вернулся сюда уже с сыном майора. Мы пытались отыскать его могилу, но тщетно. Все сильно изменилось, лес уже не тот, как был в 1941 году, да и деревня уже не та. Только церковь стояла такая же, как тогда после обстрела танком.

Хорошо помню, что когда мы рыли могилу начальнику школы, кто-то сообщил нам, что Минск уже занят немцами. До сих пор мы этого не знали, хотя город был занят уже несколько дней тому назад. Удивительной была стратегия и тактика генералов и офицеров, которые вели этот поток деморализованных частей на восток. Занята столица республики, крупный индустриальный центр и транспортный узел, а они ничего не знают и ведут остатки своих частей именно туда, прямо в пасть льву. Можно подумать, что все это происходило в эпоху, когда о радио и других современных средствах связи не имели никакого понятия.

Все сильнее сказывался голод. Снабжения нет никакого, ели только то, что находили на дорогах в разбитых машинах или выпрашивали у местных жителей, которые не покинули свои места. Однажды, измученные и голодные, мы пришли в деревню, даже не в деревню, а на ферму. Деревня была немного в стороне. На ферме пустота, ни человека, ни коровы, но бегают несколько куриц. Один из солдат, приставший к нам в пути, поймал курицу, но вдруг откуда-то появился политрук с одной шпалой. По существу, это был комиссар, так как политруков со шпалой мы называли уже комиссарами. Он был на лошади, увидел солдата с курицей, выхватил пистолет и застрелил его в упор. Курица, еще живая, обрела свободу. Мы были поражены случившимся, ведь можно было просто приказать, чтобы он отпустил ее, а не «расхищал» социалистическую собственность.

Бесконечное отступление, усталость и голод, произвол некоторых ортодоксальных начальников, усердствующих не по разуму, бомбежки и большие потери — все это сильно раздражало вконец измученных, отчаявшихся солдат и толкало их к действиям, на которые в нормальных условиях никто бы из них не решился. Комиссар после этого прожил недолго. Так одна курица стоила нам две человеческих жизни. Впрочем, кто его знает, может пуля-то была и немецкой, ведь дорога тогда уже насквозь простреливалась. Мародерство — это, конечно, плохо, но солдата надо кормить, даже если он советский солдат.

В окружении

Расстроенная и деморализованная армада, все еще многочисленная и с большим количеством техники, приближалась к Минску. Теперь мы все точно знали, что танковые колонны немцев уже давно обошли нас и заняли Минск. На подступах к городу нашему командованию удалось навести кое-какой порядок и занять круговую оборону. Бои продолжались здесь несколько дней, сковывая огромные силы противника. Первые день-два еще теплилась надежда, что с востока подойдут свежие силы и вызволят нас из кольца или, может быть, с их помощью мы прорвемся сами. Но вскоре эти надежды стали таять, а затем и вовсе испарились. Стало ясно, что наша круговая

оборона — это оборона обреченных. Все меньше становилось боеприпасов, все больше людских потерь, и наконец поступило разрешение рассеиваться и пробираться через линию фронта на восток.

Дорога на Минск вдруг стала раем. Ее не бомбят, не обстреливают, но все, кто пытается отойти от дороги в сторону, подвергаются бомбежке и шквальному минометному обстрелу. В нашей школе в это время была проведена последняя переключка, последняя проверка личного состава. Собрались мы в невысоком кустарнике около самой дороги, вне зоны огня, чтобы можно было спокойно закончить работу и распрощаться друг с другом. Всем было ясно, что подавляющему большинству из нас встретиться уже никогда не придется. Офицеров на переключке было три человека, но ни одного здорового. Самым старшим по званию и по возрасту оказался старший лейтенант, заместитель начальника штаба школы. Он был ранен в голову, повязка на голове была грязной от пыли и засохшей крови. Всего людей насчитали 53 человека (изначально было около 250), из них многие ранены или контужены, все предельно утомлены и измучены.

Здесь же мне рассказали о гибели моего друга и старшего товарища старшины Диденко. За день до нашей последней проверки он наступил в лесу на мину. На mine подрывался во время ночного марша и командир комендатуры старший лейтенант Колмогоров. Было принято решение разбиться на группы по три-четыре человека и пытаться просочиться через линию фронта.

В нашу группу вошли старший сержант Борисов, курсант Селин из Оренбурга, сержант Михайлов, металлург из Серова (мы и были призваны с ним вместе), и я, тоже старший сержант, бывший химинструктор и командир отделения взрывников, из которых не осталось уже никого. Старшего не стали назначать, решили, что все проблемы будем решать коллегиально.

Попытки перейти фронт нам никак не удавались. Куда ни движемся — всюду немцы. Днем залегали где-нибудь в лесу, а ночью пытались найти место прорыва. Один раз казалось, что мы уже близки к этому. Ракеты, которые немцы непрерывно пускали в ночное время, горели уже только слева и справа, а впереди ракет не было, но в ответ на малейший шорох в овраге, по которому мы ползли, открывался сильный огонь. Вперед пути не оказалось,

отошли обратно. Селина при этом ранило в плечо, но рана, к счастью, оказалась неопасной, и мы смогли более или менее благополучно выйти из зоны огня.

Остаток ночи и весь день провели в зарослях кустарника, а поздно ночью вышли к дороге, по которой время от времени проносились немецкие машины. Нам позарез нужны были вода и продовольствие, так как никаких запасов уже давно мы не имели. Неожиданно из-за поворота дороги выскочил мотоцикл с коляской, а в нем два немца. Темнота была уже почти предельной, лес рядом. Решили снять немцев с машины и поискать что-нибудь из пропитания. Вчетвером сделать это было нетрудно. Мотоцикл врезался в придорожный кустарник. Пассажир в коляске остался сидеть почти в той же позе, как и ехал, а сидевший за рулем свалился на землю.

Хемингуэй утверждает, что он на трех войнах убил 122 человека, кроме тех, о которых он не может знать точно. Описание смерти одного из них я прочитал в его письме другу, опубликованном в одном из выпусков библиотеки «Огонька» в 1983 году. Дело было в Бельгии в Первую мировую войну. Молодой немецкий солдат ехал на велосипеде, а Хемингуэй с группой солдат находился в дозоре. Велосипедиста он решил «взять на себя». Потом он подошел к нему, умирающему, и пристально посмотрел в глаза, пытаясь по блеску или цвету глаз определить, когда наступит смерть. Не люблю Хемингуэя за это садистское письмо о смерти молодого солдата на дороге, когда без всякого труда и риска можно было захватить его в плен, а также за его гнусную книгу «Зеленые холмы Африки», где он живописует массовое истребление зверей. На войне неизбежно приходится убивать, но смаковать это — отвратительно.

Я не смотрел в глаза мотоциклистов, никто из нас не смотрел. Я даже не знаю, были ли они молодые или старые, офицеры или рядовые. Полевая форма офицеров и солдат отличалась немногим. Мы осмотрели машину, ничего не нашли, взяли только карту из планшета водителя и автоматы. Ни воды, ни продуктов в мотоцикле не было, не нашли даже сигарет. Видимо, оба хотели вернуться быстро, но захвали в вечность. Пользуясь картой, на которой были отмечены занятые немцами селения, мы пытались обойти немецкие гарнизоны, но тщетно. То ли карта была уже устаревшей, то ли мобильность нем-

цев была больше, чем мы могли думать, только куда бы мы ни со-
вались, всюду натыкались на заставы, сторожевые посты или даже
большие регулярные части. Просто какой-то фатум. Поиски выхода
продолжались много ночей, и если бы нас не донимал голод и связан-
ная с ним усталость, может быть мы и нашли бы лазейку, но когда сил
мало, наступает апатия, безразличие и обреченность.

После одной из таких попыток мы свалились от усталости и го-
лодного изнеможения в кустах и скоро уснули. В темноте мы не за-
метили, что кусты находятся рядом с дорогой и что они вовсе не та-
кие густые, как нам казалось ночью. Днем по этой дороге пошли
танки. Из открытой башни одного из них нас заметили. Танк оста-
новился. Один солдат спустился с автоматом, постучал прикладом
автомата по нашим спинам и сказал: «Русь, ауф штеен!» — «Рус-
ские, вставайте!» Это был конец.

Разбудив нас, немец показал рукой на дорогу, а сам пошел
к танку. Он даже не разоружил нас. Немецкие автоматы мы броси-
ли давно. Теперь нам оставалось только вытащить затворы из вин-
товок, забросить их и двигаться по дороге. Впереди был Минск.
На подходе к городу нас становилось все больше и больше. Немцы
собирали колонну в 100—200 человек и потом уже под конвоем вели
в лагерь по разбомбленному Минску. Шли по улицам, по которым
я, будучи здесь в командировке, еще совсем недавно проходил. Сей-
час они лежали в развалинах. Горы битого кирпича завалили про-
езжую часть улиц. Пройти было трудно. Многие развалины еще
дымились, и, пользуясь этим, некоторые из наших пытались бежать.
Если попытка не удавалась — то расстрел на месте, если удавалась —
то конвой зверел, и тогда били и стреляли тех, кто остался. Стоило
отклониться от строя на полшага, и уже мог последовать выстрел.

Лагерь под Минском

Лагерь был где-то на окраине Минска. Когда нас привели
в него, тут находилось уже около 70 тысяч пленных. По периметру
лагеря были натянуты канаты в две нитки, которые запросто мож-
но было перешагнуть, но через каждые сто метров или еще менее
стояли часовые с автоматами. Тут же, рядом, стояли танки и другая

техника. Лагерь пересекала маленькая речка шириной четыре-пять метров. К нашему приходу речка уже была загажена, но другой воды не было и приходилось пить из нее.

Кормления не было никакого, но время от времени по лагерю проходила машина. Из кузова машины сбрасывали деревянные ящики с сушеной свеклой, картошкой и еще чем-то. Все это было наше, захваченное немцами на складах, которые не успели взорвать или уничтожить иным путем. Нетрудно представить, что происходило около каждого сброшенного ящика. На него набрасывалось человек 40—50 или еще более. Разрывали его на части и втаптывали в землю почти все, что в нем было, и практически ничего никому не доставалось. В места, где возникала особенно ожесточенная схватка, подъезжали лагерные патрули верхом на лошадях и лупили шомполами по головам, спинам и вообще по чему попадет. Куча постепенно рассеивалась, но на земле непременно оставалось лежать несколько человек, сильно искалеченных или даже задавленных насмерть. Мы, только пришедшие и еще не так сильно истощавшие, с ужасом наблюдали эти картины.

Было ясно, что долго в этом лагере не протянешь. От плохой воды у многих начались желудочно-кишечные заболевания. От голода у всех кружилась голова. Если долго полежишь, а потом встанешь, то идти трудно, качает словно пьяного. И с каждым днем эти симптомы усиливались. В лагере я встретил своего командира отделения в бытность мою курсантом, Брюховца, уже порядочно истощенного и опустившегося. Он рассказал кое-что о гибели некоторых наших общих знакомых и о том, как он сам, тоже в составе небольшой группы, пытался обогнуть Минск, но попал в плен.

Здесь же встретили мы и нашего бывшего политрука учебной комендатуры в школе, который собирал досье на каждого из нас. Он был переодет в форму рядового солдата, а партийный билет, как рассказали нам потом другие ребята, он где-то закопал. Разговаривать с ним ни у кого из нас не было особой охоты, и мы оставили его на берегу той зловонной речки, где он кипятил в котелке воду. Теперь он был уже менее упитан и, как нам показалось, совершенно растерян. Не знаю дальнейшей его судьбы, но знаю, что переодетые люди в лагерях погибали первыми.

Так жили мы в этом лагере некоторое время, примерно около двух недель. Было еще тепло, на календаре — конец августа. Спали прямо на песке. Никакой травы, соломы или еще чего-нибудь такого не было. Растоптанная тысячами ног земля и песок. Днем он нагревался, а ночью остывал. Спали кучами, тесно прижавшись друг к другу. Шинелей у нас уже давно не было. Мы понимали, если пойдут дожди и наступит похолодание, то в союзе с голодом и гнилой водой это обстоятельство будет для нас катастрофой. Надо было найти способ покинуть это гиблое место.

Первое, что приходило на ум, — это побег. Но куда бежать и как бежать, не зная, что происходит даже в ближайшей округе? В случае неудачи, которая была очень вероятной, гибель неотвратима. Эту тему в своем узком кругу мы обсуждали не раз, но бежать вслепую, с ничтожными шансами на успех, было глупо. Второй путь — это отправка в Германию. Она могла бы отсрочить голодную смерть в лагере, но никакой отправки пока не предвиделось и никто не мог сказать, когда она начнется.

Мы решили, однако, держаться вблизи центрального входа, и я внимательно слушал все объявления, которые звучали по радио, стараясь понять, о чем идет речь. И вот однажды я услышал, что в ближайшие дни 2,5 тысячи людей из нашего лагеря будут отправлены в другой лагерь, находящийся вблизи польского города Бяла-Подляска. Поняли это объявление очень немногие, но, конечно, не я один. Однако не было слышно, чтобы кто-нибудь разносил эту новость по лагерю.

После этого мы придвинулись еще ближе к воротам. Нас было шесть человек. Спать мы тоже стали вблизи ворот, чтобы, в случае если действительно будут отбирать людей для эшелона, оказаться в первых рядах. И вот через два-три дня после радиообъявления широко распахнулись ворота и пришла большая группа солдат, офицеров и военных врачей. Солдаты образовали коридор на выходе из лагеря длиной 20—30 метров. Мы начали пробираться поближе к этому месту. Раздалась команда «комм лос», и люди ринулись в коридор. При помощи палок и стеков немцы установили порядок.

Попавшего в коридор один из охранников с порядочной силой бил по спине резиновой дубинкой. Если «соискатель» не па-

дал, не спотыкался, то его пропускали дальше и строили в колонну уже за пределами ограждения. Если кому-то от удара не удавалось сохранить нормальную позу и походку, того возвращали обратно в лагерь. Никто не знал, что ожидает выдержавших «экзамен», но хорошо было известно, что тем, кого вернули, предназначена совсем уж печальная участь. Мы были в числе первых претендентов, проверку все прошли нормально, так как пробывали в лагере только немногим более недели и еще не совсем отощали. Будучи уже за пределами лагеря, мы наблюдали свалку людей у ворот. Похоже, все поняли, что происходит, и все хотели вырваться из лагеря. Никто не хотел умирать.

Колонну отобранных людей немцы под охраной повели к поезду, стоявшему достаточно далеко от минского вокзала. Посадили в вагоны, выдали по булке хлеба на четырех человек и дали воды. В вагонах уже были поставлены парашаи. Двери вагонов закрыли на задвижки, и поезд скоро тронулся. Ехали недолго, вероятно несколько часов, а потом долго стояли. Вечером, когда уже было темно, всех нас высадили из вагонов, согнали в плотную кучу, окружили охраной и велели спать или лежать на траве. Головы поднимать не разрешалось, время от времени поверху давали автоматную очередь.

Утром нас посадили на машины. Поезд, видимо, не мог дальше идти. В машины набили так туго, что повернуться или пошевелиться можно было с трудом. Ехали по Бресту, по хорошо знакомым улицам. Проехали мост, от которого рукой подать до наших бывших казарм. Переехали границу, которая проходила по реке Буг, и скоро прибыли в город Бяла-Подляска, расположенный рядом с границей раздела Польши. К нашему прибытию в здешнем лагере уже было много десятков тысяч людей, но порядка тут было больше. Все были разделены на сотни. В каждой сотне был старший. Здесь давали по чашке кофе в день и немного хлеба, гораздо лучше здесь было и с водой. Хотя достать ее было непросто, но вода была из колонки чистая и прохладная.

В этом лагере мы пробывали также недолго. Скоро нас опять посадили в вагоны, теперь уже более прочные и основательно закупоренные. В вагоне было только одно окно — в самом верху вагона, густо опутанное колючей проволокой. Подобраться к окну было

трудно, поэтому мы не знали по каким городам и краям едем. Помню и знаю, что проехали Варшаву, а потом и Берлин. Хорошо помню вокзал города Хемница (ныне это Карл-Маркс-Штадт), где мне удалось пробиться к окну.

Где-то в западной части Германии нас высадили из вагонов, построили в колонну и повели в лагерь. Помню свое состояние: от долгого сидения в темноте глаза не могут адаптироваться к свету, текут слезы, голова кружится от голода, так как дорогой кормили нас редко и мало. Ноги не шагают от детренированности и отсутствия сил, но идти надо. Упасть или отстать — значит умереть, быть добытым на дороге. Многих упавших и потерявших способность двигаться постигла именно такая участь. Обращение конвоя ничем не лучше, чем там, в Минском и Бяла-Подляском лагерях. Шли мы километра три по сравнительно пустынному месту. На пути не встретилось ни одного дома, ни одной деревни.

Лагерь № 306

Пришли в лагерь. Это был шталаг № 306. Так, кажется, он назывался. Колючая проволока в два ряда, а между рядами спиральные витки проволоки. По периметру стоят вышки с часовыми, расположенные одна от другой на расстоянии примерно 200 метров. Сам лагерь разбит на клетки-отсеки, в каждой такой клетке было заключено 6 тысяч человек, мы попали в клетку Д. В нашу бытность в лагере № 306 было около 300 тысяч человек. Строений в лагере не было никаких, только несколько служебных бараков. Жили мы просто на земле, укрыться от непогоды или ночной прохлады было негде и нечем. Потом немцы привезли тюки спрессованных стружек и разбросали их по лагерю. С помощью котелков и крышек к ним мы вырыли себе ямы, набросали туда стружек и так согревались, прижавшись потеснее друг к другу. За время моего пребывания в этом лагере большой непогоды, к счастью, не было. Дожди были, но в основном днем, а после дождя появлялось солнце, и мы могли обсушиться.

Через какое-то время нас стали выводить за пределы лагеря для различных работ, и нам удалось собрать при этом несколько палок и досок. С их помощью мы сделали в своей яме крышу и за-

бросали ее толстым слоем земли, после чего не очень сильные дожди нас уже не донимали. Стружка в яме скоро вся перетерлась в пыль и труху. Обычным нашим занятием теперь было взять горсть этой трухи и соринку за соринкой убирать с ладони. В конце на ладони остается одна, две, три или более вшей. Они были для нас настоящей пыткой и донимали хуже голода.

Прошло несколько недель, и нам удалось выбраться из этого лагеря в рабочую команду. Была уже очень поздняя осень 1941 года, вероятно конец ноября или даже начало декабря. Лагерь находился на Эмс-канале. Это где-то на северо-западе Германии. Река Эмс была соединена каналами с Везером и Рейном. Нам предстояло работать по углублению русла канала и укреплению его берегов при помощи дерна. В команде было сто человек. Сначала нас сводили в санпропускник и в баню. Вшей уничтожили, по крайней мере на какое-то время, но баня была для нас настоящим бедствием и каждый раз стоила нескольких жизней.

Наиболее звероподобные охранники, то ли «из озорства», то ли во исполнение указаний свыше, поливали нас в бане холодной водой. Укрыться было негде, только друг за другом. Повторялось это каждый раз, когда мы бывали в бане, и каждый раз после такой процедуры несколько человек заболевали и умирали. Свою роль играло еще и отравление, которое мы получали в камере санпропускника, так как после каждой такой процедуры все чувствовали себя очень плохо.

Всю жизнь помнится и является мне в кошмарных снах молодой сухопарый солдат. Мы звали его Рындой, так как на работе он больше всех кричал «рында на мит». Это должно было означать «работай, пошевеливайся». Хуже этого человека среди немцев я не встречал, хуже разве что сам Гитлер, но лично с ним мне не приходилось встречаться. Это был прирожденный тюремщик и садист. Кажется, ничто другое не могло доставить ему большего удовольствия, чем созерцание страдания других. В бане чаще всего орудовал шлангом именно он. Ни одной экзекуции, ни одного избиения или какого-либо другого наказания пленных в лагере не проходило без его участия. Просто удивительно, что с такими наклонностями он не работал где-нибудь профессиональным палачом.

С самого первого дня мне в этом лагере повезло в том отношении, что из сотни человек, работающих в команде, только я один мог немного понимать команды и распоряжения охраны и мастеров. По этой причине меня не поставили на вагонетку с лопатой, а поручили таскать геодезические инструменты мастера-маркшейдера и помогать ему в работе. Эта работа была намного легче, чем на вагоне, и продолжалась она несколько недель. Потом она закончилась, и я попал-таки на вагоны.

Жили мы все в одном бараке, койки-нары были двухэтажные. В бараке стояли железные печки, которые мы топили каменно-угольными брикетами. На ночь барак, конечно, закрывался. Огромная железная бочка служила парашей, которая никогда не пустовала, так как часто и у многих был понос. Не минул он и меня. Не знаю, была ли это настоящая дизентерия или просто упорный понос, но слабел я стремительно и сильно. Освобождения от работы не давали, а работать я совершенно не мог. Близкие мне ребята брали меня под руки и вели к месту работы. Там клали на берегу канала, а вечером так же вели обратно в барак. Кроме того, вследствие авитаминоза я почти ничего не видел. Читать не мог даже при хорошем свете, а вечером не видел вообще ничего. Это была «куриная слепота», и страдали от нее в разной степени многие. Стояла поздняя осень 1941 года. Балансирование между жизнью и смертью продолжалось около двух недель.

Среди охранников был совсем молодой солдат, в очках, интеллигентного вида, что было заметно даже несмотря на серую солдатскую форму. Он был всегда очень тихий и скромный. Он никогда не кричал на нас и ни разу никого не ударил. Редко, когда от него можно было слышать «лос, лос», то есть «пошел, пошел». При этом на лице его всегда видна была виноватая, застенчивая улыбка. Он был сыном крупного кельнского фабриканта-фармацевта.

Однажды вечером он пришел к нам в барак и принес маленькую чашечку настоящего кофе и две таблетки. Я проглотил таблетки, выпил кофе и тут же, как мог, поблагодарил солдата. Я уже знал, кто он, и был уверен, что эти таблетки мне помогут. На другой день мне действительно стало лучше. Этот же солдат привел ко мне на второй день гражданского врача, который осмотрел меня и прописал сырую

морковь. После этого ежедневно приходил один из солдат, стоявших на посту у входа в лагерь, и вел меня на склад, где хранились морковь и картофель. Я брал, сколько было разрешено, и еще совал за пазуху несколько штук, если был уверен, что этот конвоир не будет проверять и обыскивать. Скоро я стал нормально видеть, полностью поправился и выглядел вполне сносно, чему удивлялись как свои, так и немцы.

Ясно, что такое отношение ко мне охранников во время болезни было обусловлено только тем, что я один мог с ними кое-как объясниться. Иначе говоря, знание языка вторично спасло мне жизнь. Таковы были дивиденды за несколько сотен часов, потраченных мной на изучение немецкого языка. Всю жизнь я вспоминаю с большой благодарностью того молодого солдата из Кельна, который принес мне кофе и таблетки, после которых началось мое возвращение к жизни.

Пищу заключенным в лагере не готовили, ее привозил откуда-то специальный возчик во флягах. Хлеба давали мало, примерно килограммовая булка на четырех человек в день. Мы очень тщательно разрезали ее и взвешивали куски на самодельных рычажных весах. Если равновесия не было, то отрезали от одной и делали добавку к другой, даже если эта добавка всего лишь кроха массой в грамм или два. Добавку прищипливали к основному куску палочкой, затем один из четырех получателей отворачивался, а другой указывал на кусок и спрашивал: «Кому?» Отвернувшийся называл фамилию. Затем так же разыгрывались остальные куски.

Суп привозили обычно неплохой. Сверху плавали куски сала, было достаточно много картофеля, бобов или фасоли. На работе суп разливал кто-нибудь из охраны. Если кто-то выражал недовольство тем, что ему досталась слишком жидкая порция, он мог получить удар черпаком по голове или по другому месту. Если случалось, что супа немного оставалось, то давали добавку по представлению мастера или самой охраны. В основном давали тем, кто лучше работал. Мне такая добавка доставалась, может быть, немного чаще, чем другим, так как все солдаты меня знали и иногда обращались, чтобы я перевел камрадам какое-либо их приказание.

Вечером ужинали в своем бараке. Здесь суп разливали выбранные нами самими раздатчики. Они часто менялись, так как всегда

были недовольные раздачей и требовали переизбрания. Когда камрады, оказав доверие, избрали раздатчиком меня, я старался после каждого черпака немного размешивать суп и, главное, не смотреть, кому наливаешь. Смотрел только во флягу и видел часть протянутой руки с котелком. Это позволило мне закрепиться надолго, недовольных было немного, так как все видели, что разливаю без фаворитизма. Если сегодня попала порция чуть пожиже, то завтра, может, попадет погуще.

Наступила зима. По нашим уральским или сибирским меркам она была короткой и теплой. К зиме нам выдали деревянные башмаки. Когда мы их получали, то недоумевали, как в них можно ходить, но оказалось, что это удивительно удобная обувь. Они не промокают, ходить в них удобно, и ноги не мерзнут. Надо только правильно подобрать их по ноге.

Время идет. Зима хоть и не такая суровая, как у нас, но все-таки зима. С фронта поступают все время неутешительные вести. Настроение и состояние наше заметно ухудшилось. Осенью по каналу плыло много яблок. Некоторые из них нам удавалось вылавливать, что служило дополнительным подспорьем и источником витаминов. Зимой канал перестал нас подкармливать, а работа тяжелая — лопата да тачка. У многих возникла дистрофия и, конечно, недуги ей сопутствующие. Не проходило и недели, чтобы кого-нибудь не похоронили. Однажды при раздаче оставшегося супа устроили свалку. Немцы открыли стрельбу, тяжело ранив двоих. Оба скоро скончались. Настроение упало еще больше.

В лагерь приходили гражданские лица, иногда женщины. Некоторые из них были родственниками кому-либо из охраны. Приходили просто так, посмотреть на русских большевиков и коммунистов. В этом случае меня обычно вызывали в барак, где жили солдаты, и тут начиналась «пресс-конференция». Приходилось отвечать на разные вопросы, относящиеся к религии, к колхозам и быту. Спрашивали и о том, где я жил, сколько учился, чем занимался до призыва в армию, как попал в плен и многое другое. После такой беседы обычно предлагали что-нибудь поесть, а иногда сигарету. Все это давало мне какое-то преимущество по сравнению с другими и немного облегчало суровость зимнего бытия в лагере.

Так прошла зима 1941—1942 годов. Около трети из первоначально прибывших ста человек перешли за горизонт событий. Вместо выбывших пришли другие, так что нас все время было около ста человек. Теперь, через сорок лет после тех событий, вся тогдашняя жизнь в бараке с парашами и на канале с лопатами и тачками представляется мне мешаниной из тоски, ужаса, смерти и безвозвратно потерянной молодости, которая уже не вернется, несмотря на нынешнюю сытость и гражданскую полноценность.

Из лагеря на работу мы ходили мимо крестьянских дворов, стоящих особняком от каких-либо селений. Это были большие и добротные кирпичные дома под черепицей, окруженные различными хозяйственными строениями. В них кипела жизнь, тогда еще почти не тронутая войной. Упитанные лошади — битьи-тяжеловесы, огромные брички на резиновом ходу. По асфальтированной дороге две таких лошади могли тянуть чуть ли не вагон груза. Нас это удивляло, ибо ничего подобного мы не могли видеть у себя на родине. Вспоминались только заморенные вконец колхозные клячи со стертыми в кровь плечами, которые едва могли тащить сами себя, да дороги, раскисшие после дождя и превратившиеся в сплошное непролазное месиво, да еще колхозный трудовень, который стоил 200 граммов скарыка* и несколько копеек долгу.

Некоторые дворы были окружены садами, где ровными рядами стояли фруктовые деревья, тут же был небольшой пруд, прилегающий к усадьбе, на берегу которого росли могучие старые ивы или дубы. Метрах в трехстах или немногим более от нашего лагеря проходило большое асфальтированное шоссе, ведущее в Дюльмен, Дортмунд и Эссен. Ответвления от него, тоже асфальтированные, вели к деревням или отдельным дворам. Проходящие по шоссе машины иногда сбрасывали груз, предназначенный для нашего лагеря или для кого-то из окрестных крестьян. Иногда груз лежит на дороге многие часы или даже сутки, прежде чем его заберут. Около дороги же в специальных бетонных бассейнах, заполненных водой, крестьяне оставляют молоко, которое потом забирает проходящая

* Скарык — суррогат хлеба из сорной травы. — Ред.

по дороге машина. Тут же, в небольшой нише бассейна, оставляют деньги или масло. Все это было хорошо отлажено и действовало уже многие годы или даже десятилетия, и не было слышно, чтобы кто-нибудь мог это загадить, испортить или украсть.

Прошло уже столько времени с тех пор, а я не могу себе представить, чтобы такое было возможно у нас в социалистической колхозной деревне. Масло украдут, а деньги пропьют, хотя раньше, когда «социалистических преобразований» еще не было, наша деревня тоже не знала замков и воровства. Но вот наступила эпоха развитого социализма — и говорить о том, что кто-то может оставить деньги на дороге, просто смешно, их небезопасно оставлять и у себя в кармане.

На дорогах Германии много крестов с распятием Христа, а на перекрестках дорог такое распятие обязательно. Идешь иногда в колонне едва живой от усталости и голода, посмотришь на распятие — и на душе как будто бы немного легче становится от сознания, что бывают лишения и страдания еще более суровые, нежели те, что выпали на твою долю.

Война — это и есть человечество, распятое на кресте, Голгофа для миллионов людей, и всякие стенания и жалобы отдельного человека или группы людей бессмысленны и неуместны. Если правда, что свобода есть осознанная необходимость, то нетрудно подвести философскую базу под свое существование в лагере и найти внутреннее успокоение, не забывая при этом о самоспасении, насколько это возможно в условиях всеобщего отчуждения и тотального ущемления. Мне всегда импонировало немного знакомое уже тогда учение стоиков, но стоическая атараксия, вера в возможность достижения счастливой жизни посредством закаленности и нечувствительности к ударам судьбы, в лагере все же работает плохо. Никто не верит, что можно закалиться от голода или что можно привыкнуть к ударам кнута, стека или приклада. Каждый стремится уклониться от них, при случае даже за счет другого.

Молодые немцы из охраны часто провоцировали русских пленных на необдуманные поступки. Например, бросят булку хлеба или несколько сигарет — сразу образуется свалка из переплетенных тел. Тут приходит кто-нибудь из охраны, вроде упомя-

нутого выше Рынды, и начинается побоище, после которого один или два человека так и остаются лежать на месте. У меня хватало разума не бросаться в подобные предприятия, но отговорить других почти никогда не удавалось. Делалось это обычно в выходные дни, когда в лагере присутствовали гражданские лица, чтобы показать им нашу дикость и азиатчину.

Ранней весной 1942 года (то ли работа на канале закончилась, то ли по какой-то другой причине) нас всех перевели с канала на сельскохозяйственный завод в Варенхаузе. Поселили рядом с заводом в таком же бараке, как и на канале. Завод стоял на окраине города, и из окон барака нам были видны картофельные поля, пастбища, разгороженные на клетки живыми изгородями, тучные коровы на них и люди, работающие на полях. Картина была мирной и идиллической. Эхо войны сюда пока не доносилось. По крайней мере, так казалось при поверхностном взгляде.

Почти все мы работали в цехе. Мне было поручено сверлить дырочки на какой-то детали для комбайна. Маленький сверлильный станок не требовал от меня особых знаний или умений. Вставить сверло, залить эмульсию, а в конце работы все почистить и привести в порядок. Вокруг меня работали немцы. Один из них, уже немолодой, работал рядом и, когда близко никого не было, насвистывал мелодию известной русской песни «Стенька Разин», а иногда даже мелодию «Интернационала», но это уж совсем тихо и осторожно.

Проработал я на этом заводе немного. Условия существования для меня здесь резко ухудшились после того, как кто-то донес немцам, что я «маленький комиссар», то есть замполитрук. Комиссаров, как известно, немцы не любили, больше того — они их уничтожали. Они создавали им такие условия, которые рано или поздно приводили к гибели. Охрана здесь была уже другая, солдаты никого из нас не знали, и мне стало ясно, что если здесь с помощью какого-то доносчика сочли меня за комиссара, то оправдываться бесполезно и жизни не будет. Мое знание языка прежнего значения уже не имело, так как в лагере был переводчик — немец русского происхождения, хромой и пожилой, но языком владевший в совершенстве.

Первый побег

Опасное клеймо комиссара было присвоено еще одному парню, который называл себя Ивановым, но в действительности фамилия его была другая. Это был рядовой матрос, попавший в плен на острове Эзель, и никаким комиссаром он, как и я, не был. Решили бежать, пока еще есть силы. Случай представился очень скоро, словно сама судьба хотела спасти нас от гибели. Потребовались люди для срочной разгрузки вагонов с цементом и каменноугольными брикетами. Был уже вечер, отобрали человек 20, а нас, как комиссаров, послали в строй в числе первых. Разгружать цемент и брикеты никому из нас еще не приходилось, но где-то я уже слышал, что брикетная пыль так въедается в кожу, что отмыть ее очень трудно, и потом с лица сходит вся кожа. Пришли на станцию Варенхауз. Вагонов два. Нас разбили в группы по 10 человек. Мы оба попали на брикеты.

Ночь. Охранников только двое. Поезда идут в обе стороны, некоторые из них медленно. Мелькнула мысль прошмыгнуть под вагоном медленно идущего поезда и попытаться забраться в тамбур или укрыться на открытой грузовой платформе и так отъехать на какое-то расстояние от лагеря. Времени на размышления было немного, разгрузка подходила к концу. Брикетные вагоны мы относили в сторону и укладывали их стенкой. Зайдя за стенку, можно было нырнуть под идущий вагон более или менее незаметно от охраны.

Так и сделали. Теперь от охраны нас отделял набирающий скорость поезд. Некоторые вагоны были не закрыты, в них находились лошади. Можно было догадаться, что людей в этих лошадиных вагонах быть не должно, так как немцы любят комфорт. На ходу забрались в один из таких вагонов. Сначала я посадил немного Иванова, а потом он помог забраться мне. Поехали, но пока было неясно, чем все кончится. Скорость нарастает, ночь темная, тревоги не слышно никакой. Видимо, нас не сразу хватились. Вагон стучит на стыках. Лихорадочно бьются наши сердца. Помогите, господа, отъехать подальше, а там будет видно. При таких обстоятельствах обычно не планируешь свою жизнь на месяцы и годы, достаточно на дни или недели, пока жив — и ладно. Ведь там, на фронте, еже-

дневно гибнут многие тысячи, и у нас нет права на какую-то исключительность. Законы войны одинаково суровы для всех, как на передовой, так и в глубоком тылу, особенно если ты военнопленный.

В вагоне было шесть лошадей и много спрессованного в тюки сена. Ясно, что лошадей будут кормить и поить, значит надо устроиться так, чтобы не было видно никаких следов, и постараться отъехать от лагеря как можно дальше, чтобы в случае неудачи миновать возврата в тот же лагерь. Иначе гибель неизбежна. Место среди тюков нашли и устроились удобно. Решили не спать до тех пор, пока не придут задавать корм коням. Ждать пришлось не очень долго. Рано утром пришли в вагон, задали лошадям какой-то жмых и напоили их водой, которая хранилась тут же в вагоне в привязанном к стенке высоком и узком титане. Потом стало опять тихо, только слышно как переступают ногами лошади или иногда стучат копытами о пол. Дверь прикрыта и мы еще не знаем, закрыта она на засов или нет. Если бы она оказалась закрытой, то это сильно осложнило бы наше положение. Потом мы убедились, что дверь свободно можно отодвинуть, а значит, покинуть вагон мы сможем в любое время. Поезд стоял иногда подолгу, но когда двигался, то шел быстро. В вагоне было много щелей и благодаря этому днем в нем было светло: вышли из убежища, пожевали немного жмыха, напились воды и опять ушли в укрытие.

Так прошло приблизительно трое суток, и мы оказались в Варшаве. Поезд пришел рано утром. Вагон покинули без труда. Встретили рабочего-поляка, который подтвердил, что это действительно Варшава, и сказал, что этот поезд дальше на восток не пойдет и что другого поезда, идущего в сторону Минска или Киева, он не знает. Поляк, сравнительно молодой человек, немного говорил и понимал по-русски, он сразу догадался, кто мы такие, и указал место, где можно пересидеть некоторое время, чтобы дожидаться очередного удобного поезда на восток. Это был небольшой барак на заброшенной строительной площадке, вернее даже будка, которая раньше служила, видимо, убежищем для рабочих. На полу были разбросаны куски оберточной бумаги, в углу лежали мотки тонкой проволоки и еще какое-то барахло. Тут мы временно и прописались. Наш поляк оказался патристически настроенным

человеком. Он принес нам воды, немного хлеба и рабочую одежду, чтобы заменить наше «пленное одеяние», на котором на спине и груди был знак SU («Союз Унифен»).

К сожалению, этот наш стремительный трехдневный рывок на восток закончился глупо и бесславно. Просидев пару дней в своем убежище, мы решили, что нам почти ничего не угрожает, и вышли вечером на ближайшие улицы. В 10 часов в городе погас свет, в темноте мы не смогли сориентироваться, начали метаться из стороны в сторону и наскочили на патруль. Дальше была тюрьма, а потом отправка обратно в Германию в сопровождении двух солдат. Удивительно, что немцы решили отправить нас обратно в Германию, хотя поблизости было немало и других лагерей.

По тому, как обращались эти двое конвоиров с нами в пути, можно было судить, что мы являемся для них благом, даром судьбы, предлогом для того, чтобы хоть на некоторое время удалиться от фронта и, может быть, навестить своих родных и близких. Ехали неспешно. На некоторых остановках и пересадках они сдавали нас в тюрьму, а потом через день-два снова забирали и везли дальше. Наконец привезли в какой-то лагерь, номер которого я уже не могу сейчас вспомнить, и сдали лагерному начальству. С нами оба конвоира довольно вежливо распрощались, и было видно, что они готовы везти нас и дальше, но, видимо, уж дальше было некуда.

В лагере нас посадили в карцер, каждого в отдельный отсек. Это была клетка чуть больше квадратного метра, в которой лечь и нормально вытянуть ноги было невозможно. Стоял конец мая, благодаря чему в карцере было тепло и сухо, что помогло нам выдержать 18-дневное заключение. Но главное везение и удача, как потом оказалось, заключалось в том, что из окна карцера была видна панорама расположенного рядом чистого и уютного лагеря, в котором находились американские пленные. Нам было видно, как они играют в футбол, боксируют друг с другом или читают, лежа в подвешенных гамаках. Иногда собирается группа, человек 10—15, и в сопровождении немецкого солдата без оружия уходит за лагерь, но не на работу, как мы вначале полагали, а на прогулку.

Однажды такая группа возвращалась в лагерь и, когда дошла до центрального входа, у которого стоял часовой, один из пленных

каким-то приемом бокса ловко сбил часового с ног. При этом винтовка вылетела у него из рук, а пилотка слетела с головы. Часовой сразу же вскочил, схватил винтовку, но тут в него полетели пачки сигарет, плитки шоколада и рассвирепевший было часовой начал все это собирать и раскланиваться. Такое могли позволить себе только американцы.

Из этого же окна мне пришлось наблюдать и такую картину: были построены все или почти все пленные лагеря. Немецкие солдаты тоже построены в строй лицом к строю американских пленных. Немного впереди строя американцев стоит офицер, тоже американец, одетый в парадную форму. Играет музыка. Немецкий генерал что-то говорит, затем под звуки марша и немцы, и американцы прошли строем мимо офицера и генерала. Я долго не мог понять, что все это означает, а потом оказалось, что это награждают офицера по просьбе американских властей, поскольку он не успел получить присужденную ему награду до плена.

Все это невозможно даже представить по отношению к советскому офицеру. Наши, наоборот, попав в плен, сдирали с себя все ордена и медали, а партийные билеты в стеклянных банках или еще как-то закапывали на приметном месте в землю, чтобы потом, если удастся вернуться, опять обратиться в коммуниста — честь и совесть нашей эпохи.

Через несколько дней американцы каким-то образом узнали, что в карцере сидят русские солдаты, и после этого мы уже не ведали нужды в еде и в куреве. У нас было все. Конечно, курить мы все равно не могли, но от сигарет не отказывались — потом пригодятся. После 18-дневного карцера нас отправили в штрафную рабочую команду в песчаный карьер, недалеко от Дюльмена. Мы так и не поняли, что это был за лагерь, которому принадлежал карцер, был ли это русский лагерь или чей-то еще.

Штрафной карьер

В карьере, куда мы прибыли, русские штрафники, бывшие беглецы-неудачники, добывали формовочный песок. Высота стенок карьера около 12 метров. На дне карьера образовалось небольшое озеро, видимо из грунтовых вод, так как вода в нем была холодная даже

в жаркое время года. На берегу этого озера стоял барак, опутанный проволокой. В этом бараке нам и предстояло жить. Было нас 28 человек, все штрафники, посланные в этот мини-лагерь смерти за побег. Каждый день выходили из строя и отправлялись в «лазарет» один-два человека. Вместо них прибывали новые, и таким образом нас всегда было 28 человек. Больше месяца здесь выдержать не мог почти никто, только я продержался 14 месяцев, да еще Иван из Курска, великий мастер по всем машинам, был «старожилом». Нам было хорошо известно, что тех, кого отправляют в «лазарет», больше уже не увидит никто и никогда. Эти люди были обречены на смерть.

Первое время я думал, что больше недели не протяну, настолько мне было трудно. Надо было нагружать железную вагонетку песком. Болела спина, ломило руки. На каждой вагонетке стояло по два человека. Время погрузки ограничивалось и отстать хоть немного от других — значит получить удар лопатой, стеклом или еще чем-нибудь от охраны или мастера. Но человек ко всему может привыкнуть, постепенно привыкли и мы, втянулись в работу и уже могли нагрузить вагонетку одновременно с другими.

Кормили нас «не очень», но все же лучше, чем в больших лагерях. Хозяин этого карьера, Юнг, был порядочная сволочь, но поскольку песок он должен был поставлять в срок и бесперебойно, то команду он частично подкармливал за свой счет, обычно картошкой, брюквой или репой. Кроме того, он выплачивал нам по 5 марок — специально выпускаемых для пленных денег. Купить на них мы, конечно, ничего не могли, но сами немцы могли обменять их на обычные деньги, марка за марку, и тогда они уже приобретали какую-то стоимость. Поэтому мы отдавали эти деньги работающим с нами немцам, а они взамен приносили что-нибудь из еды. Но несмотря на эти «льготы», люди не выдерживали и почти ежедневно кого-нибудь увозили в «лазарет».

Мое знание языка здесь опять пригодилось, и благодаря этому мне удавалось держаться на плаву. Работал с нами мастер Франц — коренастый, кривоногий и очень сильный зверочеловек. Бил он беспощадно, свирепо, с жестокостью прирожденного садиста. За поясом, кроме револьвера, висела у него металлическая трубка длиной сантиметров 20—25. На ней кнопка. При нажатии на кнопку

из трубки выскакивает тяжелая металлическая спираль. При ударе рассекается рубаша и на коже образуется кровавый рубец. Если таких ударов будет два-три, то человек падает и больше уже не встает. Это кандидат в «лазарет».

Меня он не ударил ни разу за все 14 месяцев пребывания в этом лагере. Солдаты из охраны тоже относились ко мне снисходительнее, чем к другим. Так знание языка спасло мне жизнь в третий раз. Франц дал мне прозвище магистро, что значит «учитель», и так меня звали в лагере все: охрана, гражданские рабочие, сам Юнг и иногда даже свои. Временами мастер подходил к моему вагону, бросал туда две-три лопаты и наполнение его сразу выравнивалось с другими или даже немного вырывалось вперед.

На землеройной баге тут же работал его брат — Вилке, но на Франца он не походил нисколько, и даже трудно было поверить, что это родные братья. Небольшого роста, худой и болезненный, он больше походил на пленного, чем на мастера-немца. С ним на баге работал Николай Воробьев, бывший артист из Кировского театра, и ему можно было позавидовать, что работал с таким хорошим человеком. Со своим братом Францем Вилке даже не разговаривал, называл его зверем и презирал так глубоко, как редко бывает между родными братьями. Изредка мне приходилось с ним встречаться, и он всегда рассказывал, какие города бомбили, сколько людей погубило и каково вообще положение на фронтах, а в конце прибавлял: «Гитлер капут».

Хозяином или шефом карьера был невысокий, коренастый и розовощекий бюргер лет пятидесяти. Фамилия его была Юнг. На дне карьера, почти в самом его центре, метрах в ста от нашего барака, находилась его «резиденция», построенная в виде высокой четырехугольной башни. Широкие, почти во всю стену окна на все четыре стороны позволяли ему в любую минуту видеть, что происходит в карьере. Жил он где-то километров за 50 от карьера и ежедневно приезжал на машине. Когда его не было, нам дышалось легче. Охрана и мастер Франц свирепствовали меньше. Но очень редко случалось, чтобы наш шеф отсутствовал.

Однажды мы тащили рельс. Сил у всех мало, кто-то поскользнулся или запнулся, рельс опустили быстро и он упал мне на ногу,

обутую в деревянный ботинок. Нogu изрядно прижало. Шеф все это видел в окно. Он вышел на балкон и крикнул: «Цел ли ботинок?» Моя нога его не интересовала. Потом нога припухла и какое-то время было трудно ходить, но не будь ботинок деревянным, было бы намного хуже.

Вскоре после того, как нога зажила и я снова мог нормально ходить, у меня случился прострел, что-то вроде острого радикулитного приступа. Руки нельзя было поднять вверх и спина совершенно не сгибалась. Работать на вагоне я, конечно, не мог и ожидал отправки в «лазарет», так как в команде до сих пор ни одного дня не держали человека, если он совсем не может работать. Охрана доложила о моем состоянии шефу, а тот решил в «лазарет» меня пока не посылать. Дали мне в руки ведро и велели ходить по карьере собирать щепки и прочий мусор, чтобы он не попадал потом в вагон с песком. Я ходил с ведром несколько дней. Щепок и мусора в карьере было мало, но когда я что-нибудь находил, то вставал на коленки, брал щепу, клал ее в ведро и так весь день. К счастью, вскоре приступ прошел и я снова вернулся на вагон.

Второй побег

О попытке нашего коллективного побега из этого капкана мне трудно писать даже сейчас, сорок с лишним лет спустя. Не хочется об этом вспоминать — просто очень тяжело. Этот побег часто снился мне в кошмарных снах долгое время, настолько прочно отпечатался он где-то в полушариях. Готовились к побегу восемь человек, вся «элита» нашего лагеря. Нам случайно стало известно, что ночью наш барак почти не охраняется. Он опутан проволокой во много рядов, двери на ночь закрываются. Стенки карьера отвесны, а на выходе из карьера, примерно в километре от нас, стоит часовый.

Заранее наточили и приготовили ножи, чтобы прорезать деревянную дверь, достали кусачки, чтобы разрезать проволоку. Распределили кому что делать, но когда вышли из барака и начали резать проволоку, началась стрельба. Предупрежденные кем-то немцы ждали нас уже не одну ночь. Мы, двое, прорезавшие доски, еще только готовились выйти из барака, когда двое уже были уби-

ты, а двое ранены. Вzbешенная охрана ворвалась в барак и начала избивать всех, не разбираясь, кто участвовал в побеге, а кто нет. В бараке было темно, только нагрудные фонарики охранников немного освещали его. Койки были трехэтажные, а моя была в самом углу, как раз на третьем этаже. Я накинул на себя матрас и ждал, что будет дальше. Было ясно, что жизнь снова повисла на тонком волоске. Избиения мне удалось избежать, в отличие от многих других ни в чем не повинных.

Утром построили всех, кто мог стоять на ногах, и предложили выйти из строя всем, кто собирался бежать. Я вышел первым, за мной еще трое. Остальные были ранены или уже мертвы. Тех, кто не собирался бежать и еще мог работать после ночного избиения, увели в карьер. Нас оставили на месте. Час или более мы стояли около барака в маленьком дворике-клетке, оплетенном колючей проволокой, а потом нас повели наверх карьера и поставили у обрыва небольшого оврага в лесу в сотне метров от нашего песчаного карьера. Двое раненых не могли ни идти, ни стоять, их мы вели под руки. Всем было ясно, что идем на расстрел.

Утро было теплое, солнечное и ясное. В лесу заливаются птицы. На дороге, проходящей где-то неподалеку, гудят машины. Раненые лежат на земле молча, не слышно никаких стонов. Мы четверо стоим на ногах. Охраны шесть человек, нас тоже шестеро. Солдаты стоят кучкой и о чем-то разговаривают. Я понимаю только отдельные слова, смысл в целом до меня не доходит. Много раз прозвучало слово «оберст», то есть «полковник». Я подумал, что, возможно, они ждут полковника, который санкционирует расстрел или какой-либо иной вид казни.

Действительно, вскоре приехал полковник. Охрана замерла по стойке смирно. Старший охраны что-то доложил или отрапортовал ему, но так быстро, что понять я ничего не мог. Затем стал говорить полковник, сначала в нормальном тоне, а потом все выше и выше и наконец стал совсем громко кричать. Я смог понять, что недавно расстреляли французов, сегодня русских, что они плохо несут службу и что он всех отправит на восточный фронт. Он говорил что-то еще и еще, но мне уже было ясно, что сейчас нас не расстреляют, а как-то накажут по-иному.

Наказание оказалось таким: на вагоне работать одному, три дня без обеда, во время обеда стоять в строю с поднятыми руками, после работы на полчаса в холодную воду озера. Все это вместе взятое было равноценно смертной казни, только не мгновенной, а как бы растянутой на несколько дней. Полчаса в родниковой воде озера никто не мог выстоять. Мы теряли сознание и падали. Немцы вытаскивали нас на берег, приводили в сознание и, если время еще не кончилось, загоняли в воду снова. Через три дня из шести человек, пытавшихся бежать, на ногах стояли только двое, остальные были отправлены в «госпиталь». Вместо них прибыли новые штрафники, и нас снова стало 28 человек.

После этого я пробыл в штрафном карьере еще 11 месяцев. Постепенно сменилась почти вся охрана. Молодых, видимо, забрали на фронт, приходили все более пожилые. Мало-помалу прошло отчуждение между нами, двумя выжившими, и мастерами, которые с нами работали. Со стороны некоторых гражданских лиц было заметно даже сочувствие и сострадание.

Теперь мне стало совершенно ясно, что если еще раз придется рискнуть подобным образом, то делать это надо будет только одному и опираться только на собственные силы. Чем больше группа лиц, посвященных в замысел, тем больше шансов, что будет допущен промах, ошибка или просто найдется стукач, как это случилось с нами.

Третий побег

Благоприятный для побега момент наступил 8 июня 1943 года. Я работал со стариком, лет ему было уже больше 70. За поясом у него висел пистолет, но двигался он медленно. Мы ремонтировали узкоколейную дорогу, огибающую наш карьер. Метрах в 20—30 от дороги стоял лес из молодых дубов и других видов лиственных деревьев. В километре или двух от места нашей работы было большое озеро, сплошь поросшее травой и камышом. Об этом озере я знал, так как бывал там раньше один или два раза, сопровождая вагоны с верхним слоем грунта, которым засыпали одну из лагун этого озера. Это было давно, но дорогу я хорошо помнил, да и вообще трудно было разминуться с этим озером, если двигаться на северо-восток.

Старику принесли обед. Он сел к кустику, а я внимательно наблюдал за ним и потихоньку продолжал работать. Надо было окопать гнилую шпалу, чтобы потом заменить ее новой. И когда мой Аргус распаковал все, что ему принесли, и погрузился в гастрономическую нирвану, я рванул в сторону леса, маскируясь кустами и высокой травой. Лес был рядом. Старик ничего не заметил. По лесу я бежал до озера напрямик на пределе возможной скорости и дыхания.

Все это я мысленно проделывал уже много раз. Надо достичь озера и залезть в густые заросли камыша, голову закрыть травой, в рот взять трубочку из камыша на случай, если придется погрузиться с головой в воду. В раннем детстве, купаясь в Миассе, мы иногда соревновались, кто дольше просидит под водой с камышовой трубочкой во рту. Так что какой-то опыт у меня уже был. Только я добежал до озера и погрузился в воду, раздались тревожные гудки на баге, которая снимала дерн с песчаного слоя. Затем послышались гудки с паровозика, который отвозил по узкоколейке груженные вагоны с песком. Стало ясно, что старик заметил мое исчезновение и поднял тревогу.

Была только середина дня. Сидеть в озере придется до темноты, но вода, к счастью, была теплая, на календаре — 8 июня 1943 года. На берегу затрещали мотоциклы, по озеру пошли моторные лодки и просто лодки без моторов. Одна из них прошла совсем близко от меня. Пришлось уйти под воду с трубочкой во рту и так сидеть до предела возможностей. Озеро оказалось прекрасным местом, где можно было хорошо укрыться. Важно было только не оставлять следов на берегу при входе в него, и это мне, видимо, удалось. Просидев в воде до полной темноты и убедившись, что кругом тихо, я вышел из озера, отжал одежду сколько было можно и двинулся в сторону Голландии.

Много лет спустя на вокзале в Свердловске один из моих солагерников, переживший заключение в этом карьере, рассказал мне, что искала меня не только своя охрана, но и 180 курсантов военной школы, расположенной в Дюльмене. В лагере потом был зачитан приказ или уведомление, что меня поймали и расстреляли на месте, так как это была уже третья попытка к побегу. Но, к счастью, все это было не так.

Глава 3

ПЕШКОМ ПО ЕВРОПЕ

Германия

До границы с Голландией предстояло пройти около 120 километров. Шел я очень осторожно, только ночью, днем залегал где-нибудь в густом кустарнике, в борозде картофельного поля или на пшеничном поле. Район, по которому пришлось идти, очень густо заселен. Это северо-западная часть Вестфалии, здесь много заводов, много и зенитных установок. То и другое было замаскировано, и столкнуться в ночной темноте с заводской охраной или зенитчиками было немудрено, что и случалось иногда. Один из дней первой недели побега я провел в небольшой яме, поросшей травой и кустарником, расположенной менее чем в ста метрах от зенитных батарей. Утром был туман, разглядеть что-нибудь было почти невозможно, и я решил, не дожидаясь пока туман полностью рассеется, расположиться на отдых. Днем были слышны голоса, губная гармошка и смех. Как хорошо, что я остановился именно тут, а не пошел дальше.

Однажды, это было в кромешной безлунной ночной темноте, я в упор столкнулся с полосатой будкой, стоящей почти у самой кирпичной стены. Из будки вышел солдат и крикнул: «Стой, кто идет?» Расстояние между нами было уже не более одного метра, и когда он стал брать винтовку наизготовку, я черенком от лопаты, на котором еще сохранилась шейка от самой лопаты, ударил ему по рукам. Это произошло почти самопроизвольно, как будто это кто-то сделал за меня, винтовка выпала у него из рук. Находясь в глубоком тылу, которому в то время еще почти ничто не угрожало, солдат, видимо, был не очень бдителен и психологически не был подготовлен к немедленному применению оружия. Рядом было пшеничное поле. Я рванул в сторону поля и зигзагами начал уходить

настолько быстро, насколько мог. Прошло немного времени — раздался выстрел, но тьма безлунной ночи и густая пшеница укрыли меня от пуль, а возможно, и от виселицы. Это был один из самых критических моментов во время побега. После этого эпизода я стал осторожнее и внимательнее. Только осторожность могла теперь обеспечить мне победу в борьбе за существование, которая во время войны проявляется в самой экстремальной форме.

От фирмы «Зандгрубе Юнг», от которой начался мой путь длиною в тысячу миль, до голландской границы, как уже было сказано, всего 120 километров. Но эта область Германии, как и вообще вся Западная Европа, очень густо заселена, и бежать было трудно, но зато легко было добывать пропитание. На больших автомагистралях было много цементированных микробассейнов, в которых крестьяне оставляли молоко. Бассейн наполнен водой, в нее ставили флаги, которые потом забирала специальная машина. Была тут и ниша, в которой оставляли масло и деньги. Деньги мне были не нужны, и я их никогда не трогал, но масло иногда приходилось конфисковывать, однако больше, чем требовалось, я старался не брать, чтобы не вызывать излишнего озлобления.

Дома крестьян-фермеров стоят обычно изолированно, деревень нашего типа в этой части Германии нет. Летом 1943 года сельские районы Германии еще не очень ощущали бедствия войны. Нигде ничего не закрывалось, не было никаких сторожей, разве что собаки, но и они мне встречались редко. Можно было войти в подвал дома, взять банку варенья, пару связок колбасы, прихватить еще что-нибудь, и это, скорее всего, никто не заметит.

В конце июня уже начали созревать яблоки белый налив, вишня и некоторые сорта слив. Всех этих фруктов в моем меню было более чем достаточно. С точки зрения обыкновенной морали нормального времени все это, очевидно, не самые лучшие поступки, но тогда шла война, а в войну совершается еще и не такое.

Голландия

Так, благодаря величайшей осторожности и осмотрительности, мне удалось благополучно пройти 120 километров до голландской

границы. День был дождливый с самого раннего утра и вплоть до вечера. Моросил мелкий дождь осеннего типа, хотя на календаре был еще только конец июня. В такую погоду встреча с кем-нибудь в полях или в лесу маловероятна, да и лежать в кустах было мало-приятно, и я решил переходить границу днем. О том, что я нахожусь где-то вблизи границы, свидетельствовало то, что листовки, сбрасываемые союзниками, все чаще стали попадаться как на немецком, так и на голландском языках. Еще раньше я где-то читал или слышал, что граница между Германией и Голландией в этом районе проходит по какому-то каналу или небольшой речушке, протекающей в лесу. Так что ошибиться было почти невозможно.

Действительно, когда я вышел из своего убежища весь мокрый и не очень сытый (последние дни питался только фруктами), метров через 300—400 достиг речки. Она была шириной метра четыре. Перепрыгнуть невозможно, переправиться на чем-нибудь тоже невозможно, но топтаться на месте или двигаться вдоль речки здесь было опасно. Пройдя вдоль речки по берегу несколько метров, я заметил свежий велосипедный след, тут же грибок, сделанный из досок, и рядом недавно брошенный окурок. Было видно, что он только что потух.

Раздумывать дальше было нельзя и терять было нечего, так как я все равно был весь мокрый. Я спустился в речку, пошел по дну, но она оказалась такой глубокой, что просто перейти ее было невозможно, пришлось немного плыть. Переплыл, отошел от речки метров 100 или 200. Местность все такая же лесистая, много кустов, почти таких же, как у нас в Зауралье. Остановился, отжал одежду, мысленно прочитал молитву в честь покровителя путешественников Христофора и пошел дальше. Откровенно говоря, имени этого покровителя я тогда не знал, но знал, что есть какой-то святой, который покровительствует пешеходам-путникам. Это уже потом я узнал, что покровитель этот, святой Христофор, перенес младенца Иисуса Христа через ручей, когда семья его бежала из Палестины в Египет. Молитву эту я придумал сам и читал ее потом каждый день перед выходом из своего убежища.

Оставаться на долгое время в сыром лесу мне не хотелось. Хотя было тепло, но когда ты весь мокрый, то надо двигаться. Я вышел из леса и сразу увидел много людей, человек десять или больше.

Они расчищали польдер, небольшой канал, проходящий выше уровня земли. Я прошел на некотором расстоянии от них. Они не обратили на меня никакого внимания, а подойти к ним я не решился. Это было около города Винтерсвика — небольшого, чистенького и аккуратного приграничного городка.

Отсюда начался мой многодневный путь по Голландии. В первые дни я шел почти с такой же осторожностью, как по Германии, прятался где-нибудь в кустах, а ночью двигался в сторону запада. Но идти здесь можно было только по дорогам, так как всюду были зеленые изгороди, через которые очень трудно пробраться, а проходы в них ночью было трудно отыскать. Кроме того, на пути попадалось множество каналов, которые можно пройти только по мосту, и мне надо было считаться с тем, что ночью на мосту может стоять охрана. Все это очень затрудняло движение.

На третий-четвертый день пути я уже меньше стал опасаться голландцев, особенно если человек был один и вдали от населенного пункта. Одежда на мне была самая разношерстная, собранная по частям в садовых домиках и полевых будках еще в Германии. В такой одежде днем появляться в населенных пунктах было неразумно, и я, по возможности, старался их миновать.

Голландия — это сплошная равнина. Никаких гор или хотя бы возвышенностей мне не приходилось встречать. Большая часть территории страны лежит ниже уровня моря или поднимается над ним лишь на несколько метров. Позднее я где-то прочитал, что северное побережье Европы все время опускается вниз. Около 5 тысяч лет тому назад море затопило низменные равнины на западе страны. В это же время образовался пролив Па-де-Кале и от Европы отделились Британские острова. Многие каналы, как я уже говорил, протекают на несколько метров выше поверхности земли и взяты в искусственные берега. Они служат для орошения и одновременно являются путями сообщения. Запомнилось еще, что где бы я ни находился, обязательно видел несколько ветряных мельниц самых различных форм и размеров. Они без устали махали своими крыльями, словно птицы, попавшие лапами в силки и не имеющие возможности оторваться от земли.

Дороги в этой стране уже тогда были отличные. После дождя при лунном свете они блестели как стекло. Однажды я шел

по такой дороге. Сумку, в которой был небольшой запас вареной картошки и фруктов, перекинул через плечо. Ночь была темная, только что прошел дождь. Придорожные деревья тихо шелестят листвой, но ветерок едва ощущается. Тишина почти полная, только где-то далеко в небе слышен гул самолетов. Вдруг справа от меня раздался резкий окрик: «Стой, руки вверх!» Сказано было по-голландски, но я все хорошо понял. Этот язык схож с немецким. От неожиданности я на какое-то время замер на месте, сумку отпустил, и она упала с моего плеча. В темноте я различил контур человека с направленным на меня ружьем в руке. Человек был в форме голландского полицейского, а не в униформе солдата вермахта, что вселяло надежду на спасение. Руки мне было приказано держать поднятыми, а полицейай тем временем взял мою сумку, осмотрел ее и велел сойти с дороги в придорожный кювет и там сесть. Сам он сел напротив меня. Это был молодой рослый парень примерно моих лет, но физически явно более крепкий и сильный. Начался допрос:

— Где остальные трое твоих товарищей?

Я отвечал, что товарищей у меня здесь нет, я один.

— Но на парашютах спустились четверо! Я знаю это точно.

— Возможно, что вы это действительно знаете, но я один и с парашютом никогда не спускался. Посмотрите на мою одежду. Да и вообще, похож ли я на летчика?

После этого мой собеседник действительно убедился, что я не летчик, да и до этого, наверное, сомневался в подобной версии. Слишком легко было понять, что я мало похож на храбрых парней из англо-американского флота. Он сообщил мне, что вечером был сбит английский самолет, из которого выбросились с парашютами четверо летчиков. Они должны были находиться где-то в этом районе, и для их задержания устроены засады, в одну из которых я как раз и попал. Трудно, правда, представить, что один человек смог бы задержать четверых, наверняка хорошо вооруженных, летчиков, но он утверждал, что именно для этой цели он оказался здесь, на дороге, и что кроме него для этой же цели послан еще взвод немецких солдат и весь штат ближайшей полицейской комендатуры, состоящей целиком из голландцев.

Судьбе было угодно, чтобы я попал к голландцу, да еще сочувствующему союзникам, а стало быть, в какой-то мере, и мне лично. Я откровенно рассказал своему Шерлоку всю правду: я русский, убежал из лагеря в Германии, намерен добраться до Франции, а там временно затеряться у какого-либо лесоруба или крестьянина. В Голландии я не сделал никому никакого вреда и нахожусь в ней всего несколько дней. Только несколько вырванных гнезд картофеля, да немного яблок, подобранных на дорогах, вот и весь ущерб, который я вынужденно нанес вашей стране. На вопрос, что я делал до войны, я ответил, что работал учителем и одновременно учился в Челябинском педагогическом институте на химико-биологическом факультете, но успел закончить только два курса. Мой визави заметил, что до войны он тоже учился в Амстердаме, тоже закончил только четыре семестра и тоже изучал химию. После оккупации Голландии немцы обязали многих студентов служить в полиции. Вот с одним из таких людей, сменивших ручку-самописку на автоматический пистолет, и свела меня судьба. Многие из них, судя по всему, относились к своим обязанностям без всякого энтузиазма и только по необходимости или по принуждению они делали что-то для оккупантов.

После таких признаний наши взаимоотношения значительно улучшились. Полицай знал, что задержал он не провокатора, не летчика, не шпиона, подосланного немцами. Он поверил, что я действительно русский и что я давно и сравнительно далеко отсюда убежал из лагеря, что в Голландии лично меня никто сейчас не ищет. Но он все не мог решить, что со мной делать, хотя и понимал, наверное, что беседа затягивается, что сидеть дальше так нельзя и надо что-то делать. Наконец, он поднялся и предложил мне следовать за ним в комендатуру. Я тоже встал, спросил какое сегодня число и сколько сейчас времени. Он ответил. После этого я встал к телеграфному столбу и сказал:

— В комендатуру я не пойду. Стреляй здесь. Я предпочитаю умереть среди цветов и зелени союзной Голландии, а не в застенках гестапо, стреляй и иди, получай свои серебряники, но запомни час и число. В ночных кошмарах я буду преследовать тебя всю жизнь, а после войны тебе придется отчитываться о своей полицейской де-

тельности перед своим народом и перед своей совестью, а теперь стреляй, в комендатуру доставишь меня только трупом!

— Нет, нет, что вы такое говорите, стрелять я не буду, я просто не знаю, что с вами делать. Если отпущу, то вы попадетесь немцам, а они смогут понять, что я вас отпустил, и тогда нас расстреляют обоих.

Я ответил, что, конечно, если к ним попадешь, то могут и расстрелять, а чтобы этого не случилось, укажите, как лучше миновать немецкие посты и заставы, а я обойду их или пережду сутки-двое где-нибудь в канаве. Тут, видимо, надо напомнить, что англичане и американцы в это время уже сбрасывали листовки, в которых приводились списки полицейских, приговоренных к смертной казни или иному наказанию после победы союзных войск. В Голландии этого не могли не знать. Возможно, именно это обстоятельство было причиной того, что полицейский согласился с моим предложением и даже больше того, попросил подождать здесь всего несколько минут, пока он съездит на велосипеде домой и привезет мне хлеба и сыра. Предложение было соблазнительным, уже много дней я питался почти одними фруктами. Я согласился подождать, но когда он уехал, я перешел на другую сторону дороги и ушел подальше вперед, сообразуясь с местностью и растительностью на случай ухода, если он вернется не один.

Менее чем через десять минут я заметил, что по дороге движется один велосипедист и остановился он как раз там, где я должен был его ждать. Я вышел из своего укрытия и направился к нему. Он привез булку хлеба и целую головку голландского сыра. После этого он быстро растолковал мне куда следует, по его мнению, лучше идти, чтобы не попасть на посты немцев. Позднее я понял, что встреча с этим человеком была для меня великим благодеянием, так как я непременно напоролся бы на немцев на мосту через Рейн, который я планировал проскочить во второй половине ночи. В эту ночь мост охранялся. Уяснив маршрут и расспросив полицейского о возможности переправы через реку в этом районе ниже моста, я распрощался с ним и зашагал в сторону от дороги.

Ночь была на исходе. Бледно-розовая заря на востоке предвещала скорый рассвет. Я стоял на берегу Нижнего Рейна. Спра-

ва от меня виднелись корпуса заброшенного кирпичного завода, о котором мне говорил полицейский, а слева стояла темная стена сада. Этот район издавна славился в Голландии садами и цветочными полями. Позднее я прочитал, что каждый день рано утром с голландских аэродромов улетали в Англию несколько самолетов с гладиолусами, гиацинтами и многими другими цветами. В войну цветоводство было почти заброшено, но после войны долина Рейна в Нидерландах снова стала цветочным магазином Европы.

И вот раннее июньское утро — тепло, тихо и умиротворенно. Слышен тихий плеск волн, набегающих на берег, и больше ничего. Река широкая, течение быстрое, противоположного берега не видно, и об истинной ширине реки я не имею ни малейшего представления. Геометрию русла я тоже не представлял и не знал, куда бы меня привела река, если бы я все время шел по ее берегу. Полоса прирейнских садов была бы удобным маршрутом для такого путешественника, как я, но она увела бы меня, видимо, далеко в сторону от прямых дорог в Бельгию. Рейн надо было непременно пересечь, и сделать это нужно было где-то здесь, где, как полагал полицейский, не должно было быть немецких постов.

День пришлось пролежать в густой траве около яблони, до земли свесившей свои ветви под тяжестью плодов. Два или три раза по саду проходили люди, судя по голосам женщины, но заметить меня было трудно, и день прошел спокойно. Погода была отличная, дождя ни капли, я хорошо выспался и был сыт, отобедав настоящим хлебом, сыром и фруктами. Психологически я был готов, в крайнем случае, попытаться преодолеть Рейн вплавь. С наступлением темноты я снова вышел на берег, чтобы разведать наличие каких-либо средств переправы. У берега на приколе стояла большая лодка, но без весел, да и непонятно было как ее снять с прикола. Она была привязана к столбу тяжелой цепью, схваченной замком, так же как это делается у нас. Других средств переправы я не обнаружил.

Хорошим пловцом я никогда не был, но держаться на воде мог долго. Перед самой войной, примерно за неделю до ее начала, я даже участвовал в восьмикилометровом заплыве по Неману. Прошел дистанцию до конца, тогда как большинство других участников

сошли с нее, не дотянув до финиша. И я не знал, что такое судороги, которые, как утверждали другие, сводят руки и ноги и лишают возможности не только плыть, но и держаться на воде. Так что в обычное время эта река не была для меня непреодолимым препятствием, но сейчас я не вполне надеялся на свои силы. Нерегулярное питание и нервное напряжение изматывали, сил могло не хватить до конца, а сойти с дистанции будет некуда, кроме как на дно. Этого мне хотелось меньше всего. Кроме того, мне ведь еще нужно было перетащить на своей голове одежду, обувь и сумку, в которой оставался запас хлеба и сыра. В этих условиях попытка переплыть Рейн в его нижнем течении была слишком рискованной.

Около кирпичного завода в зарослях бурьяна я нашел металлический стержень длиной примерно в один метр. С помощью этого лома я порвал одно из звеньев цепи, на которой держалась лодка, и не теряя времени решил отчалить от берега, будучи абсолютно уверен, что пересечь реку без весел не смогу. Разделся, связал свои вещи ремнем, вскочил в лодку, снял широкую доску-сидение и начал править лодку в сторону от берега. Без малейшего труда добрался приблизительно до середины реки — просто река сама меня туда вынесла. Но дальше я уже не мог управлять тяжелой лодкой при помощи широкой и короткой доски. Лодку понесло течением по реке, и я решительно ничего не мог сделать, чтобы приблизиться к противоположному берегу. Было ясно, что лодку надо покинуть и добираться до берега вплавь. Наступила, пожалуй, самая критическая минута с начала моего побега.

Ночь, светит неполная луна, где-то вдалеке вырисовывается берег, течение быстрое. Покинув лодку, я должен рассчитывать только на себя, в случае неуспеха помощи не будет. Посмотрел на небо. Прямо над головой ярко светит Вега в созвездии Лиры. К этому времени я знал уже многие звезды, но не имел понятия, как они называются, поэтому я давал им свои имена, черпая названия из топонимики своего родного края. Но Вега была мне известна еще со времени службы на границе. По ощущениям — середина ночи, тишина, легкий встречный ветерок по реке, не видно ни одного огонька вдали, затемнение всюду, только редкие звезды на небе, с которыми я так подружился во время побега. Может,

думаю, только они и будут свидетелями того, как рейнские нимфы увлекут на дно беглого русского солдата.

Укрепив ремнем вещи на голове, я спрыгнул с лодки и поплыл к берегу. Течение оказалось даже сильнее, чем я предполагал, бороться с ним было трудно. Старался плыть по течению, но все время сбивался в сторону берега. Плыл и плыл, бережно рассчитывая силы, и все время повторял для себя: спокойно, спокойно. Берег я видел уже отчетливо, но до него все еще было далеко, а дышать становилось все труднее, руки устали, одежда на голове намокла и сбилась. Теперь она просто висела у меня на шее, а берег все еще далеко. Я понял, что с одеждой мне не добраться. Бросил одежду, сумку с едой и ботинки. Плыть стало немного легче, теперь я мог лечь на спину, дать отдых рукам и восстановить дыхание. Но все это удавалось сделать ненадолго, усталость наваливалась снова и снова.

Наконец изнурение достигло почти предела. Начало сводить правую руку, это была та самая судорога, которую я никогда раньше не испытывал. Ноги совсем отяжелели и вода уже переставала меня держать. В отчаянии я сделал последние взмахи руками и тут почувствовал, что ноги касаются земли. Левый берег Рейна, как и у всех рек нашего северного полушария, пологий, и отмель там была значительная. До берега было еще метров пятьдесят, но я уже свободно мог стоять на ногах. Так вращение Земли с запада на восток, приводящее к намыву левого берега рек, оказало мне неоценимую услугу. Немного отдохнув, я побрел к берегу и достигнув его в изнеможении бросился под куст. Рассвет все еще не начался. В прибрежных кустах, кое-где росших на отмели, царила полная тишина, и только тихий всплеск волн доносился с берега. Голландия еще спала.

Теперь река осталась позади, лодка без руля и без ветрил несется вниз по Рейну, а я в рваных трусах сижу под кустом. Прохладно. Время от времени выхожу из-под куста и делаю разминку, чтобы согреться. Эйфория от успешного заплыва прошла, а досада из-за утраты одежды, обуви и провизии осталась. Незавидное положение — оказаться в чужой стране совершенно раздетым, голодным, без знания языка и без копейки денег, хотя они вряд ли чем-нибудь могли облегчить мою судьбу.

Но делать нечего, жизнь продолжается, а это, в конечном счете, самое главное. Голландия — богатая страна, и надо только переждать начинающийся день, а ночью можно будет найти одежду, ночь — самое подходящее время для того, чтобы подобрать что-нибудь для своего гардероба. Моральная сторона такого способа приобретения занимала меня тогда мало, одежда нужна была не для моды и роскоши, она была мне жизненно необходима, и, стало быть, никакие способы достать ее не могут считаться аморальными, кроме убийства разумеется.

Солнце уже давно взошло и поднималось все выше. Мне уже не холодно, и я стараюсь понадежнее укрыться в тени кустов, чтобы не сгореть на солнце. Дает о себе знать голод. Фруктов кругом много, но от них у меня уже болят зубы, а другого ничего нет и не будет. Однако мои мрачные прогнозы насчет одежды и еды, которые, как мне казалось, придется добывать запрещенным способом, развеялись так же быстро, как утренний туман, который окутывал кусты, когда я переплыл реку.

Густой куст орешника, под которым я прописался, находился не в Сибири, а в Голландии, стране довольно густонаселенной. Оказалось, что еще с утра, когда я выходил из укрытия, чтобы разогреться, и когда было еще не совсем светло, меня заметил проходивший по берегу человек и почти до середины дня он присматривался к этим кустам, пытаясь понять, что за Робинзон появился на берегах Нижнего Рейна. В середине дня ко мне подошел мужчина лет пятидесяти, по виду типичный голландский крестьянин. С ним был его сын — парень лет двадцати или около того. Оба они, как почти все голландцы, вполне хорошо понимали немецкий язык и мне нетрудно было объяснить, что привело меня на берега Рейна и почему я полностью раздетый.

Их дом был почти рядом, и они пригласили меня к себе. Там мне предложили принять ванну, вода в которой нагревалась солнцем, подравнивали волосы, дали почти подходящее по росту белье, рабочую одежду и хорошие ботинки. Кроме этого, я получил несколько бритвенных лезвий. Они были почти так же необходимы, как и одежда, ибо небритым в Голландии быть не принято. Жена крестьянина тоже проявила ко мне участие. Она накормила

меня отличным обедом, смазала и перевязала мне пальцы, которые я сбил, когда снимал лодку с прикола, и указала комнату, где я мог отдохнуть. Впервые за всю свою жизнь я спал в такой роскошной постели в чистой и уютной комнате. На душе было немного грустно от того, что завтра из этого рая мне снова придется пуститься в неизвестность.

В этом доме я пробыл более двух суток. Хозяин считал, что мое пребывание здесь ему ничем не грозит, если я не буду покидать его двор. Время летнее, у всех много работы, и было маловероятно, чтобы кто-нибудь заглянул на ферму. Я даже немного помогал по работе внутри двора, кормил гусей и топил печку, в которой готовили корм для многочисленного свиного стада хозяина.

В ночь на 25 июня я распроцался с гостеприимными хозяевами и снова зашагал на запад. Хорошо отдохнувший и прилично одетый в рабочую крестьянскую одежду, снабженный продовольствием, многочисленными советами, с обыкновенными вилами на плече, я прошел много верст по проселочным дорогам Голландии. И почему-то именно тот незатейливый крестьянский инвентарь чаще всего приходит мне в голову, когда я вспоминаю о своем походе через эту страну. Провинция Хельдерлад, где я находился, в основном была сельскохозяйственной, только в районе Арнема и Эдде были какие-то заводы. Многочисленные сады, пастбища и поля заметно облегчали мне продвижение по этой провинции. В типично крестьянской одежде и с вилами на плечах я почти свободно двигался по второстепенным дорогам, особо не опасаясь встречи с людьми. Местность здесь, как впрочем и во всей Голландии, была равнинная, естественными препятствиями, когда я пытался идти напрямик, были реки, каналы и зеленые изгороди из колючих кустарников. Пролететь через такую изгородь, не оставив на ней несколько клочков одежды, было почти невозможно, а обходить их требовалось слишком много времени.

Однако иногда эти изгороди оказывались для меня и большим благом. Так по крайней мере случилось однажды где-то на подходе к реке Ваал. Подходящего места для дневного привала найти мне тогда не удалось, и утром, изрядно уставший и промокший от росы, я остановился у одной такой изгороди. Кусты стояли двумя пря-

мыми рядами, а между ними была неглубокая канава, сухая и усыпанная толстым слоем опавших и полуистлевших листьев. Кое-как продравшись через кустарник, я расположился в канаве. Постель оказалась на редкость мягкой и удобной.

Скоро я уснул, а когда проснулся, солнце стояло уже высоко и лучи его едва пробивались в канаву через листву кустарника. Подняв немного голову и посмотрев сквозь стебли в обе стороны, я увидел на одной из сторон целую кучу ранцев с флягами и котелками. Они лежали ровными рядами в десяти метрах от меня. Этот инвентарь был мне хорошо знаком. Он мог принадлежать только немецким солдатам. Прислушавшись, я скоро начал различать отдельные слова немецкой речи. Это были различные военные команды. Стало ясно, что где-то рядом взвод солдат занимается строевой подготовкой и пока они не уйдут, мне нельзя будет даже поднять голову. Я отполз вдоль канавы в сторону от ранцев и, выбрав место поглубже, лег на спину. Голоса немцев то затихали, то усиливались, но близко к кустам никто не подходил. Это давало мне надежду остаться незамеченным.

Пролежав так несколько часов, я как будто задремал или просто на некоторое время забылся, но громкий смех и многоголосый разговор заставили меня очнуться. Я прижался к земле и даже насколько мог вдавился в нее, посыпал себя сверху листьями и замер. Солдаты прошли в двух-трех метрах от меня. По мере удаления голоса их начали стихать, и я с облегчением вздохнул, но в это мгновение рядом в кустах что-то зашумело, и я снова затаился. Оказалось, что один из солдат остановился по нужде и направил свою снасть прямо в мою сторону. Если бы он меня разглядел, то при желании легко мог окатить с ног до головы. Я лежал и отсчитывал секунды. Наконец немец слегка крикнул и отошел от кустов. Мне хорошо были видны только его сапоги. После этого немцы вскоре ушли, а я вылез из своего убежища, сориентировался и зашагал в сторону запада.

Прошло еще около суток, прежде чем я вышел в долину реки Ваал — одного из притоков Нижнего Рейна. Местность, где я в тот день проходил, была очень живописной, погода стояла прекрасная, и даже при всей двусмысленности моего положения я не мог не восхищаться Голландией. Ветряные мельницы, цветочные поля, каналы,

протекающие на несколько метров выше окружающей местности, — все это было настолько непривычно, что я не переставал удивляться. О таких каналах я читал или слышал еще в школьные годы и ждал с ними встречи сразу же, как только попал в Голландию.

Ирригационная система Голландии настолько сложна и примечательна, что ее следовало бы считать одним из чудес света, учитывая, что размеры, а также людские и материальные ресурсы этой страны невелики. Упорная, а временами ожесточенная борьба голландцев с морем — одна из замечательных страниц в истории отношений человека с природой. Теперь, правда, говорят, что с природой надо не бороться, а сотрудничать. Думаю, что применительно к живой природе это правильно, но с морем, если оно прорвет дамбы, сотрудничать трудно. Сейчас голландцы пытаются отвоевать у моря затопленные около 5 тысяч лет тому назад равнины и превратить их в марны и польдеры. Они начали эту работу еще до Второй мировой войны и продолжают ее сейчас. К 1955 году было осушено около 80 тысяч гектаров из 225 тысяч, намеченных по плану.

Народ Голландии всю северо-западную часть страны опоясал дамбами и плотинами. В некоторых местах возведены двойные и тройные линии защитных сооружений на случай прорыва морем внешнего вала. Общая длина главных дамб превышает 3 тысячи километров. Ширина этих дамб около 100 метров, а высота 15 метров. Для сооружения дамб используется дуб, камень, песок, железо и даже броневые плиты. В штормовую погоду волны с большой силой обрушиваются на вал. Для уменьшения силы прибоя перед плотинами на некотором расстоянии друг от друга построены волноломы. Они разрезают надвое каждый накат волны и уменьшают силу удара волн, сталкивая их попарно друг с другом. Недаром на государственном гербе Голландии начертано: «Бог создал море, а голландцы берега».

К реке Ваал я пришел вечером. Было воскресенье. Последние дни я большей частью шел днем, иногда по большим дорогам, где царил большое движение машин, людей и лошадей. Вилы я пока не бросал. Был разгар полевых работ, и на дорогах нередко встречались люди с подобным инвентарем. Правда, почти все они ехали на велосипедах, пешеходов на больших дорогах было мало. Среди

встречных попадались и немцы в форме вермахта, чаще всего тоже на велосипедах. На случай, если бы меня кто-то остановил, у меня была заготовлена легенда о том, что я поляк и работаю там-то и там-то, на такой-то ферме, о существовании которой мне было заранее известно. Поляки здесь действительно работали, и в пределах определенного района они пользовались свободой передвижения.

Почувствовав близость реки, я свернул с большой дороги на проселочную, чтобы не подходить близко к мосту, на котором могла быть охрана. Немец на посту и немец на прогулке — это не одно и то же. Когда он отдыхает или прогуливается с дамой, он почти не опасен. Во всяком случае он не будет проверять документы у каждого встречного. Но когда немец на посту, его лучше обойти стороной. В то время я уже понимал эту особенность немецкой бдительности и не очень боялся их на дорогах, но проходить мимо часовых всегда опасался и избегал этого, если было возможно. Ведь часовой обычно только и ждет, кого бы окликнуть, задержать или просто припугнуть. Иногда это делается просто от скуки, для разнообразия. Всякий, кому приходилось стоять на посту, знает и понимает психологию часового. Стоит только представить, насколько скучна эта деятельность.

На берег Ваала я вышел уже в сумерках в километре или двух выше моста. Берег здесь, конечно, не был безлюдным. Дорога привела меня в маленькую деревушку, в одном из домов которой находился небольшой ресторанчик или просто пивной бар. Под парусиновым тентом среди густой зелени сквера сидела группа молодых людей. Уйти в сторону было уже невозможно, это могло бы вызвать подозрение, и я решил идти прямо мимо ресторана. Приняв, по возможности, бравый вид и вскинув вилы повыше, я прошел не далее чем в 10 метрах от столиков, за которыми сидели парни и девушки, и чувствовал, что на меня обращены десятки пар глаз. Когда я уже готов был подумать, что благополучно миновал веселую компанию, меня окликнули. Правда я не понял, что мне кричали, но было ясно, что обращаются ко мне. Я остановился и оглянулся. За одним из столов стояли два парня и махали мне рукой. Я тоже помахал им в знак приветствия и пошел дальше. Но, миновав последний дом деревушки, я опять встретил тех же парней, которые махали мне ру-

ками из-за стола. Теперь они шли мне навстречу, и это меня не обрадовало. Я не знал, как надо вести себя в такой ситуации. Сразу мелькнула мысль, что меня пытаются задержать, пока не прибудет полиция или кто-либо другой из местных властей. Телефоны в деревнях в то время у них были уже обычной вещью.

Они подошли ко мне вплотную и что-то спросили. Я ответил по-немецки, что я не голландец, языка этой страны не знаю и хотел бы знать, чем обязан нашей вторичной встрече после того, как мы только что распрощались. Оба они, как оказалось, хорошо говорили по-немецки и один из них пояснил мне, что он еще днем видел меня на дороге, когда ехал откуда-то на велосипеде, и что он еще тогда понял, что я нездешний, а сейчас они вышли мне навстречу, чтобы пригласить на бокал пива или чашку кофе. Я поблагодарил за приглашение и заметил, что если они поняли, кто я есть, то должны понять и то, что мне небезопасно заходить в ресторан, где столько людей. Тогда один из них сказал: «О, здесь совершенно безопасно. В ресторане все наши знакомые, молодые фермеры. Все они ненавидят немцев и многие из них сочувствуют патриотическому движению. Идемте, пока вы с нами, вам ничего не будет угрожать. Мы организуем вам хороший ужин, здесь отмечают сегодня день рождения одного из наших товарищей, и все будут рады еще одному гостю».

Тем временем к нам подошли еще двое. Отказываться было бессмысленно, и я пошел на именины к голландскому фермеру, имени которого я сейчас уже не помню, а может быть, не знал его и тогда. Войдя в скверик, я прислонил свои вилы к яблоне, положил сумку под дерево и подошел к столу, где мне было указано место. В это время музыка прекратилась и сразу несколько парней и девушек подошли к нашему столу. Я встал и после обмена приветствиями на немецком языке сказал: «Я русский солдат, мое имя Яков. Я убежал из немецкого плена и уже более трех недель нахожусь в пути. Я намерен достичь Франции и, если удастся, примкнуть к маки. Ваши товарищи пригласили меня сюда. Они утверждают, что здесь нет немцев и их пособников, и мне хотелось бы верить в это. У нас с вами общие цели в этой войне — победа над Германией. Шестая немецкая армия оккупировала Голландию, но теперь она уничтожена под Сталинградом. Россия отомсти-

ла за Голландию. Теперь уже ясно, что победа будет на стороне союзных армий».

За всеми столиками были подняты бокалы и выпиты с криком «Хох Россия». Теперь я был уверен, что пособников немцев здесь действительно нет. Эта вечеринка продолжалась до глубокой ночи. Пили умеренно, много пели и танцевали. Я коротко рассказал наиболее любознательным собеседникам о своем побеге и о жизни в плену. Мои слушатели не имели ни малейшего представления о том, каких пределов жестокости достигла эта война и каково было обращение с пленными в лагерях. Но пришло время расходиться. Хозяйка ресторана прошла мимо столиков и предупредила, что локаль закрывается и пора заканчивать. Все начали расходиться. Одна девушка подарила мне амулет с изображением Жана Кристофа, он был с серебряной цепочкой, и она нацепила мне его на руку. Другая подарила миниатюрную Библию величиной со спичечную коробку. Библия была на голландском, и я понять ничего в ней не мог, но девушка была уверена, что святая книга поможет мне в пути. Сумку мою набили разной провизией, и все пожелали мне счастливого пути.

Трое парней пошли меня проводить. Мы прошли один или два километра вверх по течению реки Ваал и достигли хутора с тремя крестьянскими усадьбами, в одной из которых жил один из моих провожатых. Мы зашли в дом. Было уже поздно и тихо. Чтобы никого не беспокоить, мы прошли в комнату, на столе разложили подробную карту Голландии и отметили путь, по которому, по их мнению, лучше всего было идти. Нашли маленький школьный компас. Один из парней взял лист бумаги и написал коротенькую записку, которую в трудную минуту я мог показать «настоящему голландцу», чтобы получить от него необходимую помощь, совет или иное содействие. Как отличить настоящего голландца от ненастоящего мне, правда, не сказали, но я подумал, что мне поможет в этом чутье. В конце нашей беседы парни подарили мне кинжал в прекрасной оправе, который потом в одну из критических минут мне очень пригодился. Начинало уже светать, когда мои новые друзья перевезли меня на лодке через реку Ваал, и я продолжил свой путь теперь уже оснащенный всеми атрибутами путешественника — компасом, картой, кинжалом и Библией.

Еще несколько дней я шел по Голландии без особых приключений. Двигался я теперь в основном днем и часто по большим дорогам. Мой внешний вид был близок к человеческому, и я старался не опускаться. Брился ежедневно, регулярно умывался и приводил себя в порядок насколько возможно. Это позволяло мне, когда было необходимо, двигаться по оживленным магистралям, деревням и даже городам. Расстояние между населенными пунктами измерялось здесь немногими километрами. Трамваи связывали не только районы одного города, но иногда и сами города. Были случаи, когда я садился в трамвай и пересекал город на трамвае, но вилы здесь мне уже были не нужны и их пришлось бросить.

В трамваях курить не запрещалось. Однажды, это было в Эйджховене, против меня на сидение в трамвае сел капитан в форме вермахта. Он закурил и предложил мне сигарету. Я взял и поблагодарил его на немецком языке. Завязалась беседа. Я отрекомендовался поляком и изложил вкратце заранее припасенную легенду о том, что работаю на одной из ферм в окрестностях города, а сюда приехал в аптеку за лекарством, которое меня просил купить хозяин. Но когда капитан сошел, я не сожалел, что потерял собеседника. Малейшая неосторожность или иной промах могли вызвать подозрение, а один-два вопроса, касающихся жизни на ферме, могли привести к полному провалу.

С хорошей картой и компасом идти было легче, но впереди была провинция Нордбрабант. Я был предупрежден о том, что здесь очень большая плотность населенных пунктов. На этой территории находился индустриальный треугольник Хертогенбес — Тильбург — Эйндховен. Здесь же где-то располагался немецкий аэродром и идти надо было очень осторожно, чтобы не забрести в запретную зону. Охранялись здесь не только аэродром, но и заводы, расположенные в окрестностях городов. Идти вслепую было неразумно. Я видел, что кругом дымили трубы заводов. Прошел сильный дождь, и мой внешний вид не давал мне возможности идти по дорогам. Ненастная погода стояла около двух дней. Все это время я просидел в кустах и был насквозь мокрый. Со стороны моря дул прохладный ветер, время от времени приходилось вставать и делать разминку.

Ближайшая заводская труба находилась от меня не более чем в 200 метрах; трубы были кругом, и неясно, как выбираться из этого окружения заводов. С момента переправы через Рейн я оказался сейчас в самом скверном положении за все время движения по Голландии. Оно казалось мне настолько безвыходным, что я решил прибегнуть к помощи записки, которую мне дали голландские фермеры после вечеринки в сельском ресторане. Дождь все моросил. Я вышел из кустов и пошел по первой попавшейся тропинке, ведущей в сторону от ближайшей заводской трубы в надежде встретить «настоящего голландца». Тропинка местами была залита водой, но обходить лужи было бесполезно, так как все равно я уже насквозь промок.

На этой тропинке я скоро встретил человека, который шел рядом с маленькой тележкой, запряженной двумя козами. На тележке лежала охапка свежескошенной травы. Такой упряжки мне еще не приходилось видеть: утащить на себе, набив траву в мешок, можно было бы значительно больше. Сам думаю, если человек вынужден использовать такое тягло, значит, он не очень богат и убежденным сторонником немцев, наверное, быть не может. Короче говоря, он должен быть «настоящим голландцем».

Я подошел к нему, поздоровался и, ни слова не говоря, подал ему записку. Он взял ее без всякого удивления, развернул и начал читать. Я тем временем рассматривал человека, его коз и упряжку. Это был мужчина еще молодой, лет 30—35, чисто выбритый и совсем не по-крестьянски одетый. Прочитав записку, он ее аккуратно свернул и передал мне. После этого, не торопясь, он начал мне объяснять, как следует идти, чтобы не наскочить на зенитки, аэродром или заводскую охрану. Говорил он по-голландски с примесью немецких слов и понять его, хотя и не без труда, все же было можно.

Чутье уже давно подсказывало мне, что нахожусь я в опасном районе. И действительно, как оказалось, если бы не эта консультация, то я бы прямиком вышел на зенитную батарею, так как именно это направление казалось мне более безопасным. Человек был удивлен тем, что я все еще не наскочил ни на какую охрану, здесь даже местные жители ходят с документами, так как их часто задерживают и проверяют. Что же касается мостов и железнодорожных переездов, то тут проверка постоянна и обязательна. Он предложил

мне идти назад километров семь-восемь, а потом повернуть в сторону юга и таким образом обойти заводы.

Я так и поступил. На этот обход у меня ушло более суток. Ночью не спал, так как одежда была насквозь мокрая, в ботинках хлюпала вода, а за шиворот стекали холодные капли с кустов и деревьев. Спать в таких условиях весьма затруднительно. Я шел всю ночь, стараясь держаться подальше от больших дорог. К утру дождь перестал, тучи скоро разогнало ветром и установилась прекрасная погода. Я выбрал удобное место в небольшой густой дубраве, разделся, чтобы просушить одежду и по возможности привести себя в порядок. Одежда высохла быстро, и почти без отдыха я двинулся дальше. На душе было как-то тревожно, хотелось как можно быстрее выйти из этого района в более безопасное место. Спать даже и не хотелось, усталости я не чувствовал. Было воскресенье, на дорогах встречалось много людей, одетых по-праздничному, поэтому я не стал выходить на дорогу, а пошел полями параллельно дороге. На полях людей не было и двигаться можно было почти без помех.

К вечеру я почувствовал усталость и решил подыскать место для ночлега, но прежде я хотел набрать воды во флягу. Проходя мимо отдельно стоящего особняка, я увидел колонку с рычажной помпой и решил попросить разрешения набрать воды. Усадьба была обнесена невысокой металлической решеткой и обсажена густой стеной какого-то кустарника. Я вошел в открытую калитку и направился к дому, стоящему в глубине усадьбы. Около дома в беседке, обвитой вьющимися растениями, сидела группа людей — два молодых парня, две девушки и мужчина средних лет в форме оберлейтенанта вермахта войск СС. Это привело меня в замешательство. Я остановился, не зная, что предпринять дальше: подойти ли к ним и попросить разрешения набрать воды или попытаться уйти обратно. Все пятеро смотрели на меня как на доисторическое живое ископаемое, но никто не говорил ни слова. Решив, что убежать нет смысла, я подошел к ним вплотную и, извинившись, попросил разрешения набрать воды во флягу. Это мне сразу разрешили, я наполнил фляжку, напился и снова долил флягу водой.

После этого, поблагодарив хозяев, я хотел удалиться, но офицер, подозвав меня с предложением войти в крытую беседку, спро-

сил, кто я и откуда. Я понимал, что обмануть их не получится. Офицер видел мою растерянность, когда я заметил человека в военной форме, и поэтому я решил говорить приблизительную правду. Рассчитывать на то, что меня не сдадут в полицейскую комендатуру, особо не приходилось, но мне казалось все же, что еще не все потеряно. Я знал, что все европейцы в какой-то мере считают себя джентльменами, и может быть, этот обер-лейтенант тоже сочтет недостойным задержать человека, который обратился со скромной просьбой. Кроме того, был прекрасный воскресный вечер, и в этом уютном садике все дышало умиротворением и тихой спокойной прелестью. Психологически это не должно толкать людей к насилию.

Я ответил, что я русский и что несколько недель тому назад сбежал из одного лагеря в Германии. Ни в Голландии, нигде в другом месте я не причинил никому никакого вреда. Встреча с офицером вермахта была неожиданной и смутила меня, но я говорю вам всю правду в надежде на то, что вы отпустите меня с миром. После этой тирады интерес к моей персоне еще больше возрос. Меня пригласили сесть. Одна из девушек сразу спросила о моей родине, где и когда я попал в плен, а офицер после моего ответа, устроил мне небольшой экзамен по русскому языку. Он спрашивал, как называется по-русски ведро, окно, вода и еще какие-то слова и скоро убедился, что я действительно русский. Сам он рассказал, что всего несколько дней тому назад приехал из России в отпуск. В течение года он командовал ротой на восточном фронте, а потом, после ранения, работал директором совхоза около Бобруйска. Коровы там, по его словам, мелкие и малоудойные, а бабы грязные. В домах много мух, тараканов и вшей. Не помню точно, что еще говорил мне этот человек, но чувствовалось, что нацист он убежденный и все советское ему ненавистно.

Я пытался объяснить ему, что Россия страна огромная, но еще мало устроенная, что много веков нашему народу приходилось отбиваться от нашествий с востока и запада и это задержало наше развитие, а что касается вшей и тараканов, то это неизбежные спутники войны и народных бедствий. Кончится война — исчезнут и вши, и клопы, и тараканы. Один из парней, который сидел тут с самого начала и не принимал никакого участия в беседе, как-то

незаметно ушел. Мне снова стала очевидна опасность моего положения, так как он мог пройти к телефону и вызвать полицию. Надо было немедленно уходить, и мой мозг лихорадочно работал над тем, как уйти, чтобы уход не был похож на бегство. Намерения офицера СС представлялись мне теперь таким образом, что он не хотел арестовывать меня в своем доме. Неписанные законы гостеприимства и присутствие девушек, которые, судя по всему, не были членами его семьи, удерживали его от этого шага. Они могли рассказать об этом где-то еще, а симпатии к нам, русским, в то время были повсеместно сильны. Он, видимо, хотел подстроить дело так, чтобы меня задержали после того, как я покину его дом.

Обостренное чувство опасности придает иногда человеку силу и решительность, которые в обычных условиях ему, может быть, вовсе не свойственны. Когда мне в голову пришли такие мысли, я уже не колебался. Встал, поблагодарил всех за беседу и решительно направился к выходу. Хозяин был явно недоволен моим внезапным уходом. Он велел своей жене, которая принимала участие в нашем разговоре высунув голову из окна комнаты, принести вина и бутербродов, чтобы угостить «гостя», но я отказался от угощения и пошел дальше, будучи почти уверен, что на глазах жены и девушек он не будет пытаться меня задерживать. Вдогонку он крикнул мне обычное «Прит глюк» и указал дорогу, по которой мне, якобы, лучше идти.

Я ушел именно по той дороге, которую он мне указал, но, как только зашел в небольшую рощу, расположенную за домом, сразу же свернул в сторону и пошел туда, откуда пришел ранее. Было уже почти темно, и это облегчило мне возможность скрыться. Через несколько минут я разглядел на дороге трех велосипедистов. Они проехали рощу, некоторое время ехали по дороге, а потом вернулись обратно к роще. Я лежал в это время в куче снопов на поле, примерно в полукилометре от рощи, в которой они меня искали. Стали вспыхивать огоньки — это светили фонарики. Они были уверены, что я где-то тут. Огоньки вспыхивали то тут, то там, но я был достаточно далеко, а темнота, которая всегда была моей союзницей, тем временем стала полной. Мне стало ясно, что я одержал еще одну маленькую победу над полицией и обер-лейтенантом СС. Хотя в личном плане эта победа, может быть, и не была маленькой.

В середине ночи я отошел подальше от дороги и устроился на отдых в густых зарослях ежевики. Ночь была теплая, небо безоблачное, и над головой после нескольких дождливых или пасмурных ночей снова мерцали знакомые звезды — величественное созвездие Лиры, звезды обеих Медведиц и та далекая туманность, которую именуют Млечным Путем.

После этого инцидента мне потребовалось еще несколько дней, чтобы добраться до бельгийской границы. Все шло хорошо: погода установилась отличная, голодать мне не приходилось, так как продукты еще были. Внешний вид мой, в смысле одежды, был вполне нормальный, и я шел по дорогам, опасаясь только мостов, где могла оказаться немецкая охрана. На дорогах, как всегда в хорошую погоду, оживленное движение. То и дело меня обгоняли велосипедисты и машины, изредка попадались пешеходы, и никто не обращал на меня особого внимания. Немцев в форме не видно, ландшафт кругом живописный, все настраивало на мажорный лад.

Вот обгоняет меня семья — муж, жена и трое детей, старшей девочке лет 14—15, все на велосипедах. Особого внимания я на них не обратил, поскольку велосипедистов на дороге было много. Но прошло четыре-пять минут, и девочка возвращается обратно. Она делает вокруг меня круг на велосипеде и говорит: «Вам надо сойти с дороги, сейчас здесь будет отряд РОА. Для вас это может оказаться опасным». Я поблагодарил ее и сразу сошел с дороги вправо. Тут был искусственно посаженный лес — шотландская сосна и тополь. Таких посадок я видел много и ранее. Деревья стояли довольно редко, но правильными рядами. Все деревья были уже взрослыми — в обхвате не меньше, чем старые сосны в наших курганских лесах.

Только я выбрал место за большим и толстым деревом, присел и закурил, как сразу начал различать отдельные слова русской песни. Это была какая-то старая песня, которую пели еще дореволюционные солдаты. Отряд численностью до батальона проследовал по дороге. Снова стало тихо, и я опять вышел на дорогу. Видимо, мне только казалось, что никто на меня не обращает особого внимания и никто не понимает, кто я такой. На деле же люди понимали меня лучше, чем я об этом думал. Прошло уже более сорока лет

после той встречи, а я все еще отчетливо представляю эту семью и девочку, которая, скорее всего, по совету родителей вернулась, чтобы предупредить меня об опасности.

Потом опять проходили дни и ночи. Торопиться мне было некуда. Нигде и никто меня не ждал. Шел не спеша, часто отдыхал. Иногда мне попадались листовки на голландском языке, сброшенные английскими или американскими летчиками. Я много раз перечитывал каждое слово, пытаюсь понять, о чем идет речь, какие события были в эти дни на фронте. Но главное было все-таки движение на юго-запад, в сторону бельгийской границы. Выйдя из зоны заводов в индустриальном треугольнике, я шел теперь исключительно по сельской местности. Сады, поля, целые гектары цветущих тюльпанов и маков, помидоры, в основном уже зрелые. В садах невообразимое море разных ягод и фруктов: сливы, вишни, яблоки. В этих условиях сильно спешить навстречу неизвестности не было смысла.

Однажды я расположился на ночлег в кустах, на меже пшеничного поля, часть которого уже была убрана. Проснувшись утром, я увидел, что на поле работали двое пожилых людей. Меня они, конечно, не видели, а я из кустов мог видеть каждый их шаг. Так я наблюдал за ними, наверное, часов до одиннадцати, потом вышел из кустов, подошел к старику и поздоровался. Он посмотрел на меня удивленно, но без признаков какого-либо испуга или боязни. Тут подошла и его жена. Я объяснил им, что я не местный, иду в Бельгию, но спешить мне некуда и я, если нужно, могу помочь им день-два на работе в поле. Предложение было принято с благодарностью, и я тут же приступил к работе. Скошенную пшеницу нужно было вязать в снопы, эта работа мне была хорошо знакома. Еще задолго до войны, когда я учился в техникуме, мне приходилось работать на уборке, в том числе и на вязке снопов. День проработал. Меня хорошо и сытно накормили. Вечером, когда было уже почти темно, старики ушли домой. Я не согласился идти с ними, так как жили они не на обособленной ферме, а в деревне. Ночевал я тут же, в поле, оборудовав себе место ночлега из снопов и свежей травы.

На следующий день они пришли снова, мы закончили вязку скошенной пшеницы и поставили снопы в суслоны, точь-в-точь так, как это делалось у нас. Время было обеденное, меня накормили,

положили в сумку хлеба, сыра и колбасы. Старик рассказал, как лучше пройти к бельгийской границе, а до нее оставалось еще километров 10—12, если двигаться по прямой. Границу перешел незаметно для себя. Никаких трудностей не было, так как и охраны тут, видимо, не было никакой. Было начало июля 1943 года.

Бельгия

Впереди меня ждала новая страна и другой язык, романский. Для меня он был непонятен. Он был сходен с французским, но это ничего не меняло, так как французского я тоже не знал. Двигаться тут, вероятно, будет труднее. Голландский язык сходен с немецким, и если собеседник говорил медленно, специально для меня, то его можно было понять в значительной степени. Кроме того, в Голландии почти все владели немецким, а молодежь знала этот язык поголовно.

В Бельгии, собственно, два языка. Валлоны говорят на французском, а фламандцы на фламандском. Ни на том, ни на другом я не мог сказать ни одного слова. О самой стране у меня были такие же смутные представления. Знал, что страна это небольшая, население в то время было около 10 миллионов человек, а территория не больше, чем иной район где-нибудь в центре России. Уже потом, много позднее, я где-то прочитал, что в 1830 году Бельгия отделилась от Голландии, к которой была присоединена в 1815 году по решению Венского конгресса. В древности на этой земле жили кельты, вернее кельтское племя белгов, позднее они смешались с германскими племенами и так возник народ, с которым мне пришлось иметь дело. Правда, тогда об этом я не знал почти ничего.

В первые дни после перехода границы я находился все время в состоянии повышенной осторожности, хотя изменений каких-либо не было. Тот же ландшафт, те же прекрасные асфальтированные дороги, покрашенные и сверкающие чистотой населенные пункты, еще бо́льшая плотность деревень и поселков и, наконец, те же сады, цветы и тотальная ухоженность во всем. В Голландии тротуары еще с конца прошлого века моют с мылом, в Бельгии я этого тогда не видел, но чистота была всюду.

Я мало помню, как прошли первые дни в Бельгии. Помню лишь разговор с двумя девочками (сестрами) на религиозную тему. Они спрашивали, почему у нас преследуют церковь. Помню еще разговор с молодым мужчиной и женщиной, вероятно его женой. Стоял вечер, но было еще довольно светло. Мужчина отвернулся и тут же начал отливать, не отойдя даже и шага. Мне это показалось диким, но у них, похоже, не считается предосудительным. Все они не проявляли назойливого интереса к моей персоне, но, конечно, могли догадываться. На мои вопросы о возможности маршрута или о наличии поблизости немцев отвечали правдиво. Из разговоров с людьми я узнал, что южная часть Бельгии, Арденны, это невысокие горы, едва достигающие высоты 600—700 метров. Они густо поросли лесом и не столь плотно заселены, как остальная часть Бельгии. Я старался держаться именно этого маршрута. В остальной части Бельгии редко где можно встретить маленький лесок или рощу. Здесь даже всю листву с деревьев собирают для удобрения полей. От восточных границ Бельгии до западных 280 километров, и мне предстояло пройти их все. Густая сеть дорог, каналов и множество небольших речушек мешали движению. Особенно трудно было идти по Черной Бельгии, где находится каменноугольный бассейн. Один населенный пункт здесь незаметно переходит в другой, а границу обозначает только табличка. Сейчас трудно даже представить, как мне тогда удалось благополучно пересечь этот мегаполис.

В одном небольшом селении, уже за пределами Черной Бельгии, прямо на дороге я встретил группу мужчин. Они о чем-то оживленно разговаривали. Я подошел к ним, поздоровался, извинился, что могу говорить только на немецком, и спросил, по какой развилке дороги мне следует идти, чтобы попасть в район Монса. Меня поняли и дорогу показали. Я пошел как мне было указано. Через какое-то время меня догнал человек на велосипеде и сказал, что лучше с дороги сойти в сторону, так как один из людей, стоявших на дороге, полицейский и он с большой поспешностью покинул собеседников как только я скрылся из виду. Это предостережение я принял к сведению и свернул с большой дороги на узкую асфальтированную ленту, ведущую в сторону. Тьма еще не наступила,

но сумерки были уже довольно плотными, и я решил, что в случае поисков успею растаять в наступающей темноте.

В Бельгии каждый второй день шел дождь и небо часто было затянуто тучами. Так было и в тот вечер. Ночь обещала быть безлунной и темной. Спустя некоторое время я услышал шорох велосипедных шин. Бежать было поздно, в 10—15 метрах от меня был полицейский, уже в форме и при холодном оружии — обычный винтовочный штык на пояском ремне. О наличии огнестрельного оружия или его отсутствии мне ничего не было известно. Я остановился, а он подъехал ко мне вплотную и, еще не сойдя с велосипеда, схватил за плечо. «Пойдем в комендатуру», — сказал он на немецком.

В минуты смертельной опасности у человека, как я читал и не раз слышал, появляются силы во много раз превосходящие те, которые он может показать в обычных условиях. Что-то похожее произошло и со мной. Ударом обеих рук со сжатыми пальцами в кистях и силой всего корпуса я сбил его с ног. Одной рукой он держал велосипед и упал на него сверху. В это время я выхватил кинжал, запрятанный под мышкой и, если бы хотел, легко мог всадить его в полицейского еще до того, как он успел бы встать. Но это, конечно, не входило в мои планы.

Полицейский был либо глуп, либо слишком самонадеян, если решил справиться один с человеком, который психологически уже подготовил себя к обороне в подобных ситуациях и которому терять было решительно нечего. В таких условиях всегда сильнее тот, перед которым только одна дилемма: быть или не быть. Вскочив, он схватился было за нож, но мой уже был поднят, и он счел за лучшее бежать. Велосипед остался на дороге. Чуть отдышавшись, я сел на него, но от волнения и неумения ездить едва мог управлять. Меня бросало из стороны в сторону, поэтому скоро я оставил велосипед и свернул с дороги по направлению к полям и садам. Темнота была уже предельной, и я чувствовал, что серьезной угрозы мне в эту ночь больше не будет.

После этого инцидента несколько дней я двигался благополучно, никаких происшествий не было. Между тем я приближался к городу Монс, центру провинции Эно. Здесь были опять заводы и каменноугольные шахты. Все чаще встречались терриконы — вы-

сокие холмы пустой породы, копры, трубы фабрик и заводов, а это значит, что в районе было много немцев. Идти стало трудно, так как почти не было возможности миновать населенные пункты. Все же мне удалось выйти из этого уголка фабричной Бельгии и войти в долину, ландшафт которой показался почти курортным. Это была долина реки Труй, притока Эна.

Здесь на пути попался мне коттедж, почти дворец, с башнями на всех четырех углах, обнесенный высокой металлической решеткой. Двухстворчатые ворота были открыты настежь. На одной из створок висел огромный замок. Внутрь вела асфальтированная дорога, вдоль которой установлены статуи. Обойти этот замок, вероятно, было можно, но поскольку людей было не видно, я решил пройти напрямик, думая, что на противоположной стороне найдется проход или ворота. Однако когда я дошел до противоположного конца усадьбы, то понял, что прохода тут нет, и пошел обратно по той же дороге. В это время впереди меня на дороге показался мальчик лет трех, а потом откуда-то по боковой дорожке вышла на аллею молодая женщина и крикнула вслед мальчику: «Вася, Малту не видел?»

Я сказал, что Малта сидит внизу у пруда и читает книгу (я видел ее, когда шел вперед). Теперь удивляться пришлось ей. Она посмотрела на меня и спросила: «Вы говорите по-русски?» Я ответил, что это почти единственный язык, на котором я говорю, дав тем самым понять, что я русский. Сейчас уже трудно описать всю эту сцену. Помню, что она тотчас позвала няню. Вышла седая, чистенькая, типично русская старушка и всплеснула руками: «К нам пришел русский?» Меня пригласили зайти в дом и вскоре я уже ел настоящие русские блины с маслом. Теперь я знал, что нахожусь в доме княжны Кочубей из того самого рода, про который А. С. Пушкин в поэме «Полтава» писал:

Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.

Последний из Кочубеев был расстрелян около 1920 года органами ЧК. Расстрелян просто потому, что происхождение его было не пролетарским, а семье его в 1924 году было разрешено уехать за границу. Наташе Кочубей было в то время 4 года, а ее брату 12. С ними была мать, уже сломленная физически и психически, и няня, та самая, которая угощала меня блинами. Мать вскоре умерла. Это случилось в 1926 году, через два года после прибытия семьи в Бельгию. Дети выросли под присмотром няни и под опекой каких-то родственников, тоже эмигрировавших, чтобы избежать расстрела.

Теперь Наташе было 23 года. Она была замужем то ли за министром, то ли за крупным чиновником министерства иностранных дел Бельгии. По убеждениям он антифашист, поэтому ему пришлось во время оккупации бежать в Англию, а жена его с сыном, няней и дочерью брата Малтой жили в этом особняке. Брат же в это время находился в Африке и командовал корпусом в Бельгийском Конго. За четыре дня, которые я прожил здесь, няня и сама княжна много расспрашивали меня о жизни в России и рассказывали сами о жизни русской эмиграции в европейских странах, о ностальгии, которая мучила иных эмигрантов многие годы, о попытках некоторых молодых людей вернуться на родину. Все, кому удалось миновать «границу на замке», получали как минимум пять лет тюрьмы или исправительно-трудовых лагерей.

Особенно запомнился мне рассказ об Ирине Голицыной. Ее отец, Татищев, был начальником охраны царя, а бабка происходила из рода Нарышкиных. Муж Ирины, Голицын, был расстрелян, а брат арестован и сидел в тюрьме. Она осталась с матерью, жили очень бедно, голодали. Мать обратилась к Стасовой, бывшей тогда комиссаром ЧК, с просьбой выпустить сына, но та решительно отказала. В это время сестра Стасовой находилась на смертном одре и потребовала от сестрицы-комиссарши вернуть матери сына, а просьбу умирающего человека нельзя не удовлетворить. Сына из тюрьмы выпустили, но сослали на Урал. В 1932 году Гинденбург обратился к Енукидзе с просьбой отпустить эту семью за границу. Их отпустили, учитывая, что мать была потомком декабристов. Жили они во Франции, но часто приезжали в Бельгию и каждый раз бывали в доме, о котором я здесь пишу.

Перед самой войной к Наташе Кочубей приехала ее подруга из Англии, они где-то вместе учились. Вернуться на родину теперь уже было невозможно, и она жила здесь же, благо места хватало. Правда, княжне было предписано еженедельно являться в полицейскую комендатуру, отмечаться и демонстрировать свою лояльность или нейтралитет, но немцы потом освободили ее от этой унижительной процедуры и раз в неделю сами приезжали в усадьбу. Их нагружали вином, съестными припасами, и они отбывали восвояси, обеспечивая усадьбе неделю спокойной жизни. Визиты эти были расписаны с точностью до нескольких минут, и мне легко было избежать встречи с этими гостями.

Прошло четыре дня. Я хорошо отдохнул, объяснил своим гостеприимным хозяевам настоятельную необходимость двигаться дальше и ранним утром покинул усадьбу. Перед уходом меня снабдили продуктами, среди которых были банки мясных консервов английского производства, и деньгами. Пустые банки из-под консервов меня просили не бросать на видном месте, а тщательно прятать, так как в случае чего нетрудно было установить, где они взяты.

В тот день была отличная погода, и я не спешил, шел медленно, часто останавливался на отдых где-нибудь в кустах, потом поднимался и шел дальше. Так прошел день, а потом и второй. Вечером, через день после ухода из усадьбы, я остановился на отдых у огромной скирды снопов пшеницы. Начинало темнеть, и людей поблизости на полях уже не было видно. Я разулся, положил ботинки рядом, поел и начал оборудовать себе лежанку для ночлега. И вдруг услышал поблизости детские голоса. Вскоре к скирде подъехали на велосипедах два подростка 12—14 лет. Они что-то говорили или спрашивали меня, но я ничего не понял и подумал, что их послал кто-то из взрослых, видевших меня при подходе к скирде, чтобы узнать, что я намерен делать и зачем пришел. Я пытался объяснить им, что полежу и пойду дальше, но они, видимо, тоже меня не поняли и остались в недоумении.

Потом они уехали, а через полчаса или около того приехал уже взрослый парень, но и с ним с помощью своего немецкого я ни о чем не смог договориться. Он ничего не понимал или делал вид, что не понимает, но скоро уехал и он. В моем сознании закралась не-

которая тревога, и я подумал, что лучше бы отсюда уйти. Искать новое место ночлега, когда уже почти стемнело, мне не захотелось, но я решил от большой скирды перейти к маленькой, которая стояла на некотором удалении от нее. Тут я и остался на ночь.

Посреди ночи я проснулся от жары и вижу, что большая скирда уже вся объята пламенем. В ближайшем селении тревожным набатом звонит колокол, на дороге мелькают огоньки движущихся машин. Я схватил свои вещи, сумку, ботинки и пустился бежать прочь от огня. Рядом проходила железная дорога. Ее полотно было уложено в глубокой выемке, а склоны усыпаны мелкой щебенкой. Вниз я просто скатился по щебню, а подняться вверх никак не получалось — щебень срывался вниз и увлекал меня за собой. А колокол все звонит и звонит. Собрал все свои силы, цепляясь руками и ногами за камни, держа сумку в зубах, я сумел, наконец, выбраться наверх.

Теперь передо мной расстилались поля со стерней, оставшейся после жатвы, и уже кое-где вспаханные поля. Ботинки пришлось надеть, на это тоже надо было время, но ночь и темнота работали на меня. Кроме того, где-то недалеко должна была быть граница с Францией. Но зарево пожара все еще рядом, надо бежать хоть куда, лишь бы подальше от горящих скирд, и я бегу, спотыкаясь и падая на извилистых бороздах свежевспаханного поля, перелезая через колючие зеленые изгороди, переходя вброд каналы и ручьи. Бегу всю ночь — и усталость не чувствуется. Деревни обхожу стороной, на отдельно стоящие дома не обращаю внимания, бегу и бегу, словно гонимый амоком. Есть в тропических странах такая болезнь — амок. Человек бежит и бежит сам не зная куда, пока не рухнет на землю от полного изнеможения.

Ночь была безлунной и темной. На пути снова появился отдельно стоящий крестьянский дом. Очень раннее утро. У водопроводной колонки вижу цементные корыта. Двое мужчин поят лошадей. Одна лошадь, видимо молодая и необъезженная, рвется из рук, встает на дыбы. Молодой парень с трудом удерживает ее в руках. Я подошел вплотную и попросил разрешения напиться. Мужчина машет руками и что-то говорит, показывая на дорогу. Я понял так, что тут недавно проезжали немцы, и он велит мне уходить. Я на-

клонился, напился из того же корыта, из которого пили лошади, и спросил: «Далеко ли Франция?» Он опять махнул рукой, видимо показывая, где Франция.

Франция

Я снова бегу по полям, выбираю стерню и по возможности обхожу свежеспаханные поля. На них слишком заметен след. Уже утро, а хорошего леса или густого кустарника нет, укрыться негде. Впереди показались очертания крупного селения. Обходить его было бы долго и трудно, поэтому я решил попытаться пересечь его до рассвета. Но оказалось, что это не большая деревня, как я сначала подумал, а город. Огней в нем нет. Затемнение. На улицах пока ни души. Иду и иду, иногда бегом, но больше уже шагом, так как нет сил бежать. А конца улицы все нет и нет. Вот-вот начнется движение по улице, появятся люди. Надо срочно найти укрытие. В таком виде, как я сейчас есть, идти по городу невозможно.

На пути около большого четырехэтажного дома оказалась огромная цветочная клумба. Цветы высотой с метр или еще больше. Чувствую, что времени больше нет и сил больше нет, решаюсь залечь в центре клумбы. Осторожно, чтобы не помять цветы и не оставить заметных следов, я зашел в клумбу и бросился на землю. Через несколько минут я уже спал, а засыпая думал, что достиг высшей меры лишений. Но я не мог знать тогда, что и этот ночной рывок от пожара мне придется вспоминать лишь как вынужденную легкую прогулку.

Позднее мне стало известно, что это город Мобёж на севере Франции в департаменте Нор. В ту пору в нем было около 20 тысяч жителей, но город был разбросан на большой территории. В середине дня проснулся. Рядом стоит четырехэтажный дом. Многие окна в нем раскрыты, звучит музыка. Кто-то играет уверенно, наверное, за роялем сидит настоящий музыкант. Здесь я впервые серьезно задумался над тем, в какой степени и насколько серьезно обеднен мой внутренний мир из-за отсутствия способности понимать настоящую музыку. И дело, может быть, не только в моих способностях, но и в тех условиях, в которых протекали мое детство и ранняя молодость. Деревенская глушь, полное отсутствие каких-либо эле-

ментов музыкальной культуры у окружающих и постоянная нищета не способствовали, конечно, развитию музыкального чувства.

Вокруг клумбы бегают дети. По другую сторону видна металлическая решетка, а за ней городская площадь. Стало ясно, что мое укрытие находится в самом центре города. На площади стоял видимый мне через решетку регулировщик. После таких открытий я плотнее прижался к земле и старался не шевелиться. Больше всего я опасался, что буду замечен из окна дома, но все закончилось благополучно. Дождь темноты. Огней в городе не зажигали. Улицы были безлюдны, и это позволило мне без каких-либо приключений покинуть город.

Теперь передо мной была Франция — страна, в которой достаточно уединенных ферм и деревушек, где немцев не было, достаточно и лесов, чтобы укрыться. Надо только не нарваться на какую-нибудь случайность и быть всегда осторожным. Я иду теперь по местам, где прошли бои французов с немцами в 1940 году. Деревни разбиты, всюду видны остовы танков, раскорюченные доты, руины домов и других зданий. Раньше тут была линия Мажино. Люди, которые здесь изредка мне попадались, относились ко мне сочувственно, но с языком было плохо. Немецкий здесь почти никто не знал и получить какую-либо информацию было просто невозможно. Без особых перипетий и событий я прошел департамент Нор, благополучно переправился через реку Уазе и оказался в исторической провинции Пикардия.

Иду по дорогам, которые здесь почти так же хорошо благоустроены, как в Германии или Голландии. На многие сотни километров они обсажены фруктовыми деревьями. Слива, различные сорта яблонь и еще многие другие фруктовые деревья стоят вдоль дорог, и не надо их где-то искать. Иди и собирай фрукты с земли или срывай с дерева. На календаре — вторая половина июля, время, когда уже все созревает, а погода всегда хорошая. С пропитанием больших проблем нет. Плотность населения не очень большая, идти здесь намного легче, чем в Голландии или Бельгии. Настроение мое заметно повысилось, и я стал прикидывать возможность достигнуть Швейцарии и перейти границу где-нибудь в Альпах. Поэтому я держал свой путь все время на юго-запад.

Однажды, при попытке выяснить лучший путь в сторону Реймса, я обратился к одному фермеру, который раскидывал в поле навоз. Беседа шла трудно, и он, поняв, что я русский, направил меня к другому крестьянину, который, по его словам, сам русский и хорошо знает русский язык. Я отыскал его, и это действительно оказался русский. В Первую мировую войну во Францию был послан русский корпус в помощь союзникам. Один из его солдат, не пожелавший потом вернуться на родину, и стал моим собеседником. Большой радости при встрече со мной он не проявил, но пригласил в дом. Хорошо помню, как мы сидели в одной из комнат его дома. На одной из его рук не хватало нескольких пальцев. По-русски говорил он уже с трудом, но все-таки еще достаточно хорошо, чтобы можно было его понять. Себе и мне он налил по стакану вина. Другого угощения не было, хотя вскоре пришла его жена и некоторое время присутствовала при нашей беседе. О дороге, которая меня интересовала, он мне все рассказал и был заметно рад, когда я, выслушав, сразу собрался уходить. Вполне понятно, что он опасался возможных репрессий от властей, если им о моем визите станет что-нибудь известно. Так вторично на своем пути я встретился с русским эмигрантом, адаптировавшимся на Западе, но впереди таких встреч ждало меня еще много.

Иду в сторону Реймса, на юго-запад, но заходить в этот город не собираюсь. Его придется обходить. Это крупный город, тут наверняка дислоцируется большой немецкий гарнизон. Реймс — древний французский город, здесь находится знаменитый Реймский собор, в котором раньше короновались французские короли. Еще в VI веке здесь принял христианство король франков Хлодвиг, и с тех пор собор стал местом коронации французских властителей.

Обойдя город с запада, я попал в провинцию Шампань. Здесь много лесов, садов и виноградников. Шел я здесь почти как по своей земле. Опасаться было почти нечего и некого. Немецких гарнизонов поблизости не было, а все французы, с которыми мне приходилось встречаться, были настроены патриотически. Реку Марну перешел свободно по мосту около города Эперне. Никакой охраны на мосту не было. Места, по которым я теперь шел, были в некотором смысле исторические — не только тем, что здесь когда-то заро-

дилось производство шампанских вин, но и тем, что здесь, на Марне, произошли крупнейшие сражения Первой мировой войны.

С 5 по 12 сентября 1914 года англо-французские войска сражались здесь с немецкими армиями и победили. Немцам пришлось тогда отойти к реке Эна. На этих же полях в 1918 году разыгралась решающая битва между теми же сторонами. Немцы опять потерпели поражение и отошли к той же реке Эна. После этого они могли только удерживать занятые позиции, но не наступать. Война была проиграна. Все это мне не раз приходилось выслушивать от патристически настроенных французов, более или менее владевших немецким языком.

Департамент Марна в провинции Шампань навсегда запечатлелся в моей памяти тем, что именно здесь я встретил людей, которые стремились помочь мне не только словом, но и делом, и не их вина, что это не удалось. Я познакомился с поляком, который работал на полях богатого землевладельца-француза. Он эмигрировал из Польши еще во время Первой мировой войны и был уже порядочно офранцузен, но польский помнил хорошо и понимал по-русски. Он пригласил меня домой. У него было два сына, один из них подросток лет 12—13, а другой уже вполне взрослый. Жена была тоже полячка и тоже сравнительно хорошо понимала русскую речь.

В этой семье я прожил 12 дней в ожидании английского самолета, который мог бы перебросить меня в Англию. Дело в том, что район здесь чисто сельскохозяйственный, настоящая глубинка. Больших городов и промышленных предприятий поблизости нет, и где-то тут находился центр по сбору английских и американских летчиков, сбитых над территорией Франции. Время от времени прилетал самолет, делал посадку на приготовленной площадке и забирал летчиков и других солдат союзных армий, сбежавших из плена. Мой хозяин, как видно, имел какое-то отношение к этим спасательным акциям и был уверен, что в очередном рейсе найдется место и для меня. Но шли дни, а самолета все не было. Потом стало известно, что немцы блокировали место посадки и очередного рейса в этот район не будет.

После этого известия мне оставалось только продолжить путь в сторону Швейцарии. Даже сейчас, через сорок с лишним лет после встречи с этим человеком, живо вспоминается почти двухнедельное

пребывание в его доме. За обедом все наливали по небольшому стакану вина — во Франции так было принято. До войны, говорили мне, пили хорошее вино, а в войну приходится пить плохое, хотя мне оно плохим совсем не казалось. По нашей коммунистической терминологии статус моего гостеприимца можно обозначить лишь одним словом — батрак. Действительно, он работал на земле богатого француза и не имел своей земли ни одного акра, а от своего хозяина получал какую-то зарплату.

Однажды этот батрак показал мне свой гардероб: двенадцать костюмов, несколько кожаных пальто и пр. По тем временам, когда у меня не было ни одного костюма, это казалось непостижимым богатством. Машины у него не было, но был мотоцикл, который стоял на приколе, так как не было горючего. На каждого члена семьи у него было по одному велосипеду. Я вспоминал тогда, что в нашей деревне перед моим уходом в армию был только один велосипед у Трифона Ивановича Туринцева, бухгалтера колхоза, и только он один, да еще его сын Иван, мой ровесник, умели на нем нормально ездить.

Хозяин-землевладелец, у которого работал поляк, жил где-то поблизости. Кажется, это был городок Понтавер, а дом поляка находился в маленькой живописной деревушке километрах в 10—12 от этого городка. Однажды специально для встречи со мной приехал сам хозяин. В деревушке его все считали миллионером. Это был еще совсем молодой человек, чуть больше тридцати лет, не лишенный некоторого аристократизма и величия. Его родной брат в это время тоже находился в плену в Германии, и он подробно меня расспрашивал об условиях, в которых там живут русские и другие военнопленные. Сам он, бывший капитан французской армии, тоже был в плену, потом бежал и уже дома, вероятно с помощью денег, легализовал свое положение. Оказалось, что лагерь, в котором он жил в плену, находился вблизи Бохума, откуда и я начал свой путь 8 июня 1943 года.

Визит землевладельца был накануне моего отбытия из гостеприимного дома польского эмигранта, когда стало известно, что ждать самолета-спасителя бесполезно. Я думаю, что именно он был одним из организаторов и хранителем очага во Франции, где сбитые летчики и сбежавшие из плена солдаты союзных армий могли найти спасение.

Уходя, он оставил мне 1000 франков в мелких купюрах, чтобы я мог расплачиваться за обеды в деревенских локалях, если мне когда-нибудь случится в них обедать. Я пытался отказаться от этого дара, так как деньги, полученные мною ранее у княжны Кочубей, никакой реальной пользы мне не принесли. Я просто не знал, куда их девать, поскольку только один раз заходил в локаль, где хозяйка наотрез отказалась брать плату за обед, утверждая, что было бы кощунством взять с меня деньги в нынешнем моем положении.

На календаре — начало августа 1943 года. С флягой за поясом и небольшой сумкой в руках я отмериваю версты по дорогам Шампани. Швейцария еще далеко, но если раньше я о ней только мечтал, то теперь она стала для меня вполне реальной, почти осязаемой целью. Швейцария — маленький остров в охваченном войной беснующемся европейском море. Теперь у меня опять есть все необходимое — деньги, бритвенные лезвия, одежда и сумка, набитая колбасой, хлебом и сыром. Можно спокойно двигаться по не очень густонаселенным департаментам — Арденнам и Марне. Правда, в Арденнах кое-где дымились заводские трубы, но обойти их стороной не составило большого труда. Гораздо чаще попадались стада овец, утопающие в садах деревеньки, маленькие речки и холмы, поросшие лесом, а иногда и старинные полуразрушенные замки, построенные, вероятно, еще в рыцарские времена. Позднее, уже в 50—60-х годах, я где-то прочитал, что многие из старинных замков в Арденнах реставрируются и в некоторых из них ставят ночные спектакли, повествующие об истории замка и его обитателях. На время спектакля замок освещается мощными прожекторами. Все это, разумеется, результат развития индустрии туризма и отдыха после войны.

Идти здесь, в общем-то, было легче, чем в Бельгии или Голландии, потому что путь мой пролегал по идиллической сельской местности, и бдительность моя начала притупляться. На больших дорогах иногда встречались и немцы, едущие на машинах или велосипедах, встречались и прогуливающиеся с дамами немецкие офицеры. Я не уклонялся от них в сторону, шел смело и прямо, полагая, что французский берет на голове и крестьянская куртка делают меня стопроцентным французом. Но так думал, наверное, только я один.

Вскоре на одной большой асфальтированной дороге повстречался мне французский полицейский. Это был огромный, высокий и толстый детина. Он ехал на велосипеде, и удивительно, как тот его выдерживал. Поравнявшись со мной, он сразу затормозил и остановился. Последовал возглас: «Кто такой? Документы!» Я ответил, что говорю только по-немецки, а документов у меня нет. Полицай сказал что-то еще на французском, я не понял, но подумал, что по-немецки он, похоже, ни бум-бум. Тут он взял меня одной рукой за плечо, крепко сцепившись за рукав куртки, держа велосипед другой рукой, и повел в сторону противоположную той, в которую я шел. На дороге больше ни души, по обе стороны от шоссе густой лиственный лес. Я решил идти спокойно и покорно, чтобы полицейский немного поубавил бдительность и немного отвлекся.

Вечереет, но еще светло. Немецкий язык он не знает, я не знаю французского, договориться ни о чем нельзя. Сам думаю: неожиданно рвануть в сторону леса, а там он меня уже не догонит — слишком жирный, чтобы долго бежать. На боку у него, правда, висит кобура, но потребуется время, чтобы привести оружие в действие, а лес вот он, рядом. У меня была почти полная уверенность, что уйти можно, надо только чтобы у него немного устали пальцы, сцепившиеся в мою куртку. К счастью, ничего этого не потребовалось. Минут через десять после встречи с этим Гаргантюа на дороге появился другой полицейский, рангом выше. Поравнявшись с нами, он что-то сказал моему конвою, тот ответил. Завязалась словесная дуэль, из которой я понял только одно слово: «русский». Кончилось все тем, что меня отпустили. Полицейский в офицерской форме поднял сжатую в кулак руку и сказал: «Рот фронт». Я улыбнулся, помахал ему рукой и ответил тем же: «Рот фронт».

В состоянии шока я свернул с дороги в сторону леса, чтобы немного прийти в себя и обдумать план дальнейшего продвижения. Между тем стемнело и я снова вышел на дорогу, по которой время от времени все еще проходили машины с зажженными уже фарами. Я брел по обочине, зная, что где-то впереди канал Уаза — Эне и мост через него, который, скорее всего, охраняется. Соображаю, следует ли проскользнуть канал ночью или лучше осторожно при-

близиться к нему днем. Погода отличная, разгар лета, и переночевать можно под любым кустом.

Так, размышляя, шел я по дороге, как вдруг рядом со мной зашуршали от резкого торможения резиновые колеса. Остановилась черная легковая машина, а в ней три человека. От неожиданности я вздрогнул и замер на месте. Можно было бы метнуться в сторону — лес рядом, уже темно, но меня что-то будто припечатало к асфальту. Стою. Открылась дверца автомобиля, и я увидел рукав хорошо знакомой униформы французского полиция. Что за наваждение! За столько дней пути по Франции я почти не видел полицейских в форме, а сегодня уже третий раз! Вопрос, обращенный ко мне, я не понял и ответил «но компрапа» (не понимаю), и добавил на немецком, что понимаю немного этот язык. Врать не стал, сразу сказал, кто я и откуда. Все трое понимали немецкий не хуже меня, один из них был офицером, видимо, высокого ранга, а двое других в гражданской одежде. Все уже не очень молодые, лет каждому примерно 40—50. Кратко рассказал о своем пути по Франции и заверил, что за две недели пребывания здесь я никому не сделал никакого вреда. Меня пригласили в машину. Я не двигаюсь, потом говорю: «Если вы французы, то разрешите мне идти своим путем». Офицер ответил: «Почему же? Вы идете в Швейцарию, и нам по пути километров 15—20. Потом мы вас отпустим и вы пойдете своим путем».

Я поблагодарил и сел в машину. Полной уверенности, что это не ловушка, у меня не было, но я все-таки рассчитывал, что действительно отпустят. Примитивный обман и ложь мало свойственны европейцам, по крайней мере тем, с кем мне до сих пор приходилось встречаться. Ехали минут 20, миновали канал, охраны на мосту я не заметил и машина не была остановлена. Затормозили где-то на развилке дорог, меня высадили из машины и указали, куда лучше идти. Я поблагодарил за помощь и содействие, машина тронулась с места и вскоре растворилась в ночи.

Постояв какое-то время на дороге и поразмыслив, я решил, что не стоит сегодня больше искушать судьбу. Три встречи с полицией за один день — это более чем достаточно. Такой уж сегодня день. Надо выбрать место для ночлега, к тому же тьма наступила почти непроницаемая. Эту ночь я провел в кустах орешника, недалеко от до-

роги, спал хорошо и спокойно. Во сне видел себя подростком, едущим верхом на лошади по глухому, темному бору, который тянется бесконечно и все не кончается. Проснулся поздно, так как постель была удобной и мягкой — сухая трава и прошлогодние листья, не успевшие еще перепреть. Ночь была сухой и теплой, а спешить мне некуда. В Швейцарии меня никто не ждет, а быть свободным и обретаться в лесах такой страны, как Франция, — это еще не самое худшее.

Закончив свой немудреный туалет и немного перекусив, я решил пока двигаться лесами и полями придерживаясь дороги. Она вела меня как раз туда, куда надо — на юго-запад. Прошел метров 20—30 от места своего ночлега и встретил двух женщин, которые собирали орехи. Прошел еще сотню метров и наткнулся на отдельно стоящий большой дом. Около дома набрал воды во флягу из колонки и пошел дальше. Департамент Шампань и соседний с ним Арденны — это районы в основном сельские. В нашем советском трехтомном энциклопедическом словаре сказано, что здесь «развито кулацкое сельское хозяйство». Вот сюда бы наших ортодоксальных большевиков-тиранозавров — они бы быстро нашли, кого надо раскулачить, кого сослать, посадить или расстрелять. Здесь много богатых ферм, все они частные. И все здесь «кулаки-мироеды», знай только конфискуй, экспроприируй, изымай, опираясь на законы то ли военного, то ли первобытного коммунизма. Но французских «кулаков» пока Бог спасает от такой напасти.

Несколько дней после трехкратной благополучной встречи с полицейскими я шел без особых происшествий. Проходил небольшие деревушки и хутора, поднимался и спускался с холмов, поросших лесом и кустарником, переходил ручьи с чистой холодной водой, переправлялся через маленькие речушки и каналы, собирал яблоки и груши с придорожных деревьев, орехи и ягоды в лесу. Отдыхал я где-нибудь в роще или дубраве, обычно вблизи водного источника, и потом опять шел дальше, с каждым днем понемногу приближаясь к Швейцарии. На большие дороги стал выходить реже. Чем ближе цель, тем меньше должно быть риска, тем более нежелательна встреча с врагом. Шел по тропам, небольшим проселочным дорогам и только в крайнем случае выходил на автострады, когда путь преграждала большая река или какое-либо иное препятствие.

Однажды, пробираясь лесом почти по бездорожью, я вышел на птицеферму. Красивейшее место. Зеркальной чистоты пруд, окруженный деревьями и кустами. Хозяин разводит гусей. Это был совсем уже немолодой француз — лет 60 или более. С ним его жена и еще девочка лет восьми, его внучка. Ферма расположена в долине между тремя большими холмами, покрытыми смешанным лесом. В пруд впадает небольшая речка, или лучше сказать ручей, с прозрачной и холодной ключевой водой. Гусей уйма, несколько сотен, и место тут самое гусиное. Живет здесь хозяин только летом, а зимой, когда птица будет забита и реализована, уезжает куда-то на постоянное место жительства. В Первую мировую войну он тоже был солдатом и в течение продолжительного времени находился в плену в Германии. Немецкий язык знает плохо, но договориться с ним все-таки можно было почти обо всем. Немцев ненавидит, а меня как солдата союзной армии принял хорошо. «Немцев поблизости здесь нет, поэтому можешь остаться у нас на несколько дней и отдохнуть, а потом пойдешь дальше», — сказал он мне. И я остался. Два дня помогал кормить гусей, купался в пруду и слушал радио. Потом расспросил хозяина о возможном пути в Швейцарию и пошел дальше. Моя сумка опять пополнилась едой, а в кармане еще не тронутая тысяча франков. Настроение как никогда бодрое и цель кажется близкой.

На придорожных щитах читаю, что иду по департаменту Верхние Вогеzy. Под ногами все еще путается река Марна, ее притоки и каналы. Она тут вилает, в Вогезах, и переходить ее надо не раз, и никогда не знаешь, охраняется мост или нет. Где-то в стороне остался город Сен-Дези, на восток от него Нанси. Держу направление на Эпиналь. Это столица Вогезов, и там расквартирован немецкий гарнизон, заходить мне туда незачем. Пытаюсь пройти западнее Эпиналя, но тут опять река, на этот раз Мозель — большой приток Рейна. Она тоже вьется вокруг возвышенностей, и переходить ее мне приходится не раз.

Дни идут, уже почти середина августа. На полях много зрелых помидоров, все чаще попадаются виноградники — удобнейшее место для привала или ночлега. Сплошные заросли лоз, подвешенных на деревянные опоры. Между рядами свободное пространство, где

можно удобно расположиться. Время массовой уборки еще не наступило, и на виноградниках почти никого нет. Тут можно лежать, сидеть и стоять во весь рост, все равно никто не увидит, а кругом гроздя уже зрелого или почти зрелого винограда. Никогда ни до, ни после августа 1943 года я не ел столько помидоров, винограда и вообще фруктов. На автостраду уже давно не выходил, все шел по проселочным дорогам. Это неширокие асфальтированные ленты, которые обычно ведут к хуторам, деревням или даже к отдельным домам. Иногда такие дороги заводили в тупик, и тогда я пробивался напрямую по полям, лесам или садам к какой-нибудь дороге, чтобы не потерять направление на Швейцарию.

Однажды вечером, где-то между Демпером и Эпиналем, мне пришлось выйти на автостраду. На обочине дороги притулилось небольшое деревянное строение почти барачного типа. Подошел. Около него стоит машина, нагруженная толстыми бревнами. Людей не видно. Прочитав вывеску, понял, что это придорожная таверна, где водители могли перекусить и отдохнуть, а при необходимости сделать осмотр или мелкий ремонт машины. Решил зайти — ведь надо же расходовать деньги. В столовой было почти пусто, только за одним столиком сидели два молодых парня, пили чай или кофе. Я поздоровался и прошел к стойке хозяина. Опираясь на свой скудный запас французских слов и фраз, объяснил, что хотел бы поужинать, и указал пальцем на стоящие в витрине блюда. Тут были и лягушки. Я слышал или читал еще до войны, что французы едят лягушек, но встретился с этим блюдом здесь впервые. Взять лягушку я все-таки не решился, попросил грибы и какой-то салат из зеленых трав. Больше ничего не было, разве что еще кофе и вино. От аперитива отказался.

К моему разговору с барменом прислушались те двое посетителей, которые пришли сюда раньше меня. Поняв, кто я такой, они подошли к моему столу и спросили, куда я держу путь. Услышав, что в сторону Швейцарии, они предложили подвезти меня, так как едут в ту же сторону, по пути нам около 90 километров. Я согласился. Машина большая и места в кабине для троих достаточно. Дорогу мои новые попутчики знают хорошо, так как проезжают по ней не менее двух-трех раз в неделю. Известны им и опасные места,

в основном шлюзы, где стоит немецкая охрана. Все это они объяснили мне на сравнительно хорошем немецком языке.

Поехали. При подходе к точкам, где была или могла быть охрана, я покидал кабину и забирался в ящик с инструментом. Сверху меня забрасывали брезентом, клали на меня ведро, лопату и еще что-нибудь и так миновали посты на мостах, развилках дорог и шлюзах. За окном пролетали деревни, маленькие городки. Дорога хорошая, машина идет быстро. В одном из населенных пунктов мы остановились на ночлег у родственников или знакомых одного из водителей. Хозяев не тревожили, было уже поздно. Сразу залегли спать под навесом в саду на сухой траве. Спали часа четыре, а утром позавтракали и опять в путь. Мои спутники долго обсуждали что-то с хозяином. Понять я ничего не мог, но догадывался, что обсуждался вопрос о дороге на Швейцарию и о переходе через границу. Наконец лесовоз был заведен и мы все трое снова сели в кабину. Через 5—7 километров машина вышла на развилку дороги и тут остановилась. Мне объяснили ближайшие ориентиры, которых я должен придерживаться на своем пути к границе, и пожелали «прит глюк».

Машина пошла прямо, а мне надо было свернуть с большой магистрали на меньшую и двигаться по ней или параллельно ей километров 10—12. По дорожным указателям я узнал, что нахожусь в департаменте Верхняя Сона. На моем пути административный центр департамента Бельфор. Его надо обойти, так как в городе много немцев. Местность уже гористая. Вслепую идти трудно, почти невозможно, надо было расспрашивать, а это лучше всего делать, когда встречаешь одного человека. Но все, к кому я обращался, не знали немецкого языка. В таких случаях мне удавалось установить только, есть ли поблизости немцы. Французских полицейских я уже не очень опасался, так как американские и английские листовки были уже широко распространены во Франции. Большого усердия в задержании солдат союзных армий французская полиция не проявляла, но рассчитывать на то, что вся полиция стала просоюзнической, все же не приходилось.

От Бельфора до швейцарской границы было километров 35—40, если идти по прямой. Это уже так близко, что, кажется, рукой подать и пройти можно было бы почти за день. Но горы, реки, близость гра-

ницы и охрана на границе, о которой я уже знал из рассказов, меня сильно задерживали. Чтобы преодолеть это расстояние, мне потребовалось около трех суток. Бельфор решил обходить с запада, что оказалось не лучшим вариантом, так как я натолкнулся на два других города — Монбельер и Оденкур. Я знал об этих городах, но думал, что они останутся западнее, однако тропы и дороги привели меня именно сюда, поскольку других проходимых путей найти не удалось.

Как раз против Оденкура территория Швейцарии вклинивалась во французскую территорию. На этот выступ я и намеревался выйти. Но многочисленные реки, каналы, населенные пункты мешали движению, а рисковать, выходя на большие магистрали, я уже не решался. Здесь судьба свела меня с четырьмя патристически настроенными парнями. Они были связаны с маки, и я попросил их, чтобы они дали мне рекомендацию в какой-либо партизанский отряд. Но мне объяснили, что время сейчас трудное, у маки нет оружия и что грузы, идущие из Алжира и Англии, перехватываются немцами. Мне ничего не оставалось, как следовать своему первоначальному плану и держать путь на Швейцарию.

Эти парни оказали мне все-таки большую помощь. В одном крестьянском доме вблизи границы меня подстригли, заменили обувь и часть одежды. Предложили также отдохнуть день-два, пока не сложится благоприятная обстановка на строго охраняемом мосту приграничной реки Дуб. Река небольшая, но проходит по глубокой лощине и в период дождей или таянья снега в горах сильно наполняется водой и течет быстро, как любая горная река. Мост довольно большой, но тогда, в начале сентября, под ним протекал только шумный ручей шириной два-три метра. На стороне моста, обращенной к Швейцарии, стояла полосатая будка, а в ней находились часовые, которые всех останавливали и проверяли документы. Можно было обойти мост и перейти речку в каком-либо другом месте, но поскольку охранялся и весь берег реки, то в случае встречи с охраной задержания уже не миновать. Решили пройти мост легальным путем.

Поскольку на противоположном берегу была еще полоса французской территории, то мост переходило много людей. Если охранники знали их в лицо, то обычно не останавливали. Нам предстояло

выждать, когда на мосту будут стоять хорошо знакомые моим провожатым солдаты, и тогда попытаться проехать мост на велосипедах. Я неважно умел ездить на велосипеде, но немного потренировавшись, решил, что под уклон смогу съехать нормально. А после моста был такой крутой подъем, что велосипед все равно надо было вести в руках. Так и сделали. На мосту мои провожатые громко и весело поприветствовали часовых и они пропустили нас беспрепятственно. Поднявшись в гору, мы оставили велосипеды в крестьянском доме и дальше пошли пешком. Через некоторое время остановились, мои провожатые объяснили, как надо идти дальше, чтобы достичь границы, а сами пошли обратно.

Но в горах ориентироваться непросто, а мерить километры и вовсе трудно. Пока в поле моего зрения была высоковольтная линия, вдоль которой мне надо было некоторое время идти, все было хорошо, но потом мне надлежало повернуть в сторону. Линия была больше не видна, и я сразу же потерял уверенность в том, что иду правильно. А идти здесь можно было только днем, ночью никакое продвижение невозможно. Трудные подъемы и спуски выматывают, и теряется всякое представление о пройденном пути. Кроме того, я был предупрежден, что граница усиленно охраняется, так как за годы войны расцвела незаконная торговля табаком, вином и шоколадом.

Совсем уж отчаявшись найти указанные мне ориентиры — белую голую скалу и большое дерево, обгоревшее во время грозы от молнии, — и почти окончательно потеряв силы, я неожиданно встретил двух женщин, ведущих на ремне теленка. На смеси немецкого и французского женщины рассказали мне, что только что, несколько минут тому назад, встретили немецких пограничников с собакой и показали, куда они прошли. Оказалось, что это как раз та тропа и то направление, куда мне и следовало идти. Я спросил о голой белой скале и обгорелом дереве, и женщины ответили, что дерево я уже прошел, а скала рядом, только не видна отсюда из-за деревьев. Однако идти туда, сказали они, не следует, так как именно по той тропинке чаще всего проходит охрана.

Они указали мне другой путь на Швейцарию, предупредив при этом, что там очень трудный спуск и что мне придется поискать

более удобное место для спуска. Но зато там редко бывает охрана, именно по той причине, что пройти там очень трудно. Все это понять было весьма нелегко из-за языкового барьера и потребовало много времени. Отдельных французских слов и фраз, которые я уже знал, было недостаточно, а их знание немецкого языка было примерно такое же, как мое французского.

Распрощавшись с женщинами, я пошел по указанному ими пути. Идти было сравнительно легко, тропа шла почти по ровному месту, кругом лиственный лес, кое-где свободные от леса прогалины, поросшие высокой травой. Красивейший ландшафт альпийского предгорья. Иногда в стороне от тропы попадались почти отвесные обрывы высотой три-четыре метра, по которым ручейками стекала вода — холодная, прозрачная и чистая. Очень вкусная, видимо с оптимальным набором солей. Такие родники, собираясь вместе, образуют речушку, которая дает начало большой реке. Из таких вот горных родничков и рождается могучая европейская река Рейн, но рождается не здесь, а в другом месте.

Двигаясь по этому предальпийскому раю, я оказался на горе, с которой далеко внизу была видна дорога, разделенная белой полосой. По ней идут машины, а почти рядом с подножием горы расположена деревня, вернее небольшой населенный пункт, с нашей русской деревней совершенно не схожий. Все дома, крыши, палисадники кажутся сверху свежеевыкрашенными. На меня пахло чем-то новым, какой-то еще не испытанной за время побега мирной идиллией. Сердце учащенно забилося. Я понял, что передо мной Швейцария.

По-хорошему, надо было спокойно и внимательно осмотреться и поискать удобное место для спуска, а я сразу ринулся вниз. Стена оказалась почти отвесной, поросшей кое-где каким-то колючим кустарником. Высота ее, как мне стало известно позднее, около 500 метров. У жителей деревни это место считалось непроходимым, во всяком случае без специального горно-спортивного снаряжения. Я скоро убедился, насколько необдуманно решился на спуск, но обратного пути уже не было. Из-за крутизны вернуться назад я бы уже не смог ни при каком условии. Оставалось одно — вперед, вниз, в Швейцарию! Тут по крайней мере мне помогает сила тяжести, только бы она не перестаралась. Теперь

я уже был совершенно уверен, что достигну Швейцарии, неясно только — живым или мертвым.

Ботинки пришлось снять и бросить, когда я увидел, что дальше стена почти голая и отвесная. Куртку, которая верно служила мне несколько недель, я тоже бросил. Сумка, в которой у меня еще был кое-какой провиант, сама укатилась по склону. Вниз стараюсь не смотреть, все внимание сосредоточил на неровностях и выступах в стене и на растущих кое-где мелких кустиках. Ноги и руки скоро сбил в кровь, но никакой боли не чувствую. Там, где можно за что-либо надежно зацепиться, немного отдыхаю и осматриваю рельефный рисунок ближайшего участка. Так спускаюсь все ниже и ниже, пот заливает глаза, рубашка прилипла к телу, мокрая от пота и крови.

Наконец спуск закончился и я с удивлением увидел большую толпу людей — жителей ближайшей деревни. Тут же стояли две машины — санитарная и черная полицейская. Люди уже давно заметили меня на спуске и оповестили об этом полицию. Так я достиг своей Итаки. Это было 11 сентября 1943 года.

Глава 4

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПЕРИОД

Тюрьма в свободном мире

У подножия горы, с которой я спускался, находилась не-большая лесопильня, где распиливали бревна на доски. Высокий бородатый мужчина, обслуживающий вертикальную пилораму, первым заметил человека на отвесной скале. Он выключил пилу и начал наблюдать, не веря своим глазам, но когда убедился, что на стене действительно человек, сразу же позвонил в полицейский участок. Приехали двое полицейских, которые сообщили о событии в полицейскую комендатуру. Оттуда прибыли две машины, одна из которых была санитарная. Собралась порядочная толпа людей. Все молча стояли и ждали развязки. Обо всем этом я, конечно, узнал уже потом. Сначала меня обработали медики: залили ссадины йодом, обвязали ноги бинтами и дали башмаки, большие и мягкие, а потом посадили в машину и привезли в местный полицейский участок.

В участке меня допросил офицер высокого ранга (полковник). Я описал ему более или менее подробно свою жизнь в лагере военнопленных в Германии и рассказал о побеге. На карте показал маршрут своего следования. Полковник внимательно слушал, время от времени качал головой. В конце он спросил, есть ли у меня родственники в Швейцарии, имеется ли еще оружие, кроме уже сданного кинжала, и прочее. Затем он снял отпечатки пальцев и в сопровождении одного солдата отправил меня в тюрьму города Парантру.

Стояла осень, середина сентября, погода по-летнему теплая, сады ломились от фруктов. На улицах города чистота и порядок, много людей, красиво одетых. Я иду и оглядываюсь по сторонам, для меня все необычно. Солдат шагает быстро, а мои ноги болят,

шагать трудно, но виду не подаю, стараюсь идти в том же темпе. Минут через двадцать пришли к высокой железной решетке. Часовой открыл двери, и мы вошли внутрь. Я увидел большой сад, в котором множество декоративных и плодовых деревьев, а в центре сада двухэтажное здание с массивными стенами. Это и есть тюрьма. Снова прохожу какие-то формальности. Помню себя в кабинете, в котором сидят три человека. Один из них выглядит старшим, и я принимаю его за начальника тюрьмы. Детали беседы и канцелярского оформления на «право проживания» в тюрьме я не помню, но хорошо помню, как выглядела камера, в которую меня поместили. Это была типичная тюремная комната, каких я видел много еще в Германии. Маленькое окно вверху зарешечено, темновато, матрас и подушка из прочной грубой ткани, наполненные овсом. В камере два места, но я пока один.

Указав мне место, надзиратель удалился, оставив дверь камеры открытой. Я подумал, что сейчас он вернется и захлопнет меня в этом мешке, а пока присел на топчан и сижу жду, но его все нет. Вышел в коридор, там пусто, потом показались два человека — молодые, с черными волосами, один очень высокого роста. Спросил, кто они, оказалось греки. Они-то мне и объяснили, что камеры здесь не закрываются, а только этажи. В пределах этажа перемещение свободное, можно заходить в любую камеру. Людей здесь мало, человек сорок, но все они из разных мест и стран. Больше всего было американцев и англичан, в основном летчиков, сбитых над территорией Франции и бежавших в Швейцарию. Они же показали мне библиотеку, в которой газеты, журналы и книги были почти на всех европейских языках, кроме русского. Из русских я едва ли не первый попал в эту тюрьму.

Скоро меня вызвали к парикмахеру, который привел в порядок мою шевелюру. В своей советской социалистической тюрьме, которая, конечно, передовая и самая гуманная, меня бы обкарнали догола. Здесь же я был подстрижен на европейский манер и по типу стрижки ничем не отличался от прочих людей. В тот же день после парикмахера меня осмотрел тюремный врач и послал в санитарную комнату тюрьмы на первый этаж, где мне перевязали пораненные ноги. После этого я вернулся в свою камеру.

Предстоял обед, его разносили по камерам. Вернее сказать, это был не обед, а послеобеденный ланч, на котором дали бокал какао и кусок сыра. Я был порядочно голоден и съел все с большим аппетитом. Скоро все обитатели этажа узнали, что появился новенький, и заходили ко мне, чтобы узнать, кто я и откуда. Вечером все собрались в библиотеке, где шли споры и дискуссии на различные темы, касающиеся положения в мире, или просто кто-нибудь рассказывал о своих похождениях или эпизодах на войне. Большой остроты эти дискуссии, однако, не получали, так как все мы были солдатами союзных армий и все одинаково ненавидели немцев. Разговор шел на разных языках, но больше всего на английском, и мне оставалось только молча присутствовать. Когда звучали славянские языки или немецкий, тогда и у меня появлялась возможность подключиться к беседе.

Один из греков, первых моих знакомых в этой тюрьме, рассказал, что в 1934 году в Грецию приходили советские корабли с пшеницей, но Греция отказалась ее закупать, так как на Украине и во многих районах Поволжья свирепствовал голод. Наши «гуманисты», конечно, все это отрицали и в доказательство того, что голода у нас нет, раздали зерно греческой бедноте и безработным.

Еще в плену, в рабочей команде на песчаном карьере, со мной работали ребята с Украины, которые рассказывали об этом голоде, а позднее Хрущев официально признал, что в 1933—1934 годах погибло около 5 миллионов человек. В 1983—1984 годах в западной прессе отмечалось пятидесятилетие этого кошмара и утверждалось, по крайней мере канадским радио, что погибло в действительности не 5 миллионов, а намного больше. Детей, женщин и мужчин, пытавшихся бежать через границу в Румынию, расстреливали из пулеметов. В городах люди падали на улице, ели мышей, кошек, древесную кору и сухую траву. Все это не было вызвано стихийными бедствиями или большим недородом. Урожай был обычный, но хлеб отобрали весь, даже тот, который уже был на руках у колхозников. Канадское радио сообщало, что это было сделано в наказание за сопротивление, которое оказали украинцы коллективизации в 1929—1930 годах, а идея такого наказания принадлежала, конечно, вождю мирового пролетариата тов. Сталину.

В 1969—1970 годах в свердловской школе № 33, в которой я тогда работал, гардеробщиком был пенсионер, бывший рабочий с завода «Уралэлектротяжмаш». Мы часто с ним беседовали о том о сем, как-то зашла речь и об этом голоде. Его родной брат был комиссаром НКВД и занимал какой-то ответственный пост в масштабе области или района. Перед смертью он рассказал своим близким о расстрелах мирного населения, пытавшегося бежать за границу, и о массовом уничтожении лиц, которых считали противниками советской власти. Он называл какую-то скалу, нависшую над Черным морем, на которую заводили до ста человек и потом в упор скашивали станковым пулеметом.

За нелегальный переход границы Швейцария наказывала тогда двумя неделями тюрьмы. Ознакомившись с условиями «заточения», я понял, что это не слишком суровое наказание. Кормили хорошо, абсолютно сыт в первые дни я, пожалуй, не был, но и не страдал от голода. Сыр, какао, иногда кофе — все это я никогда и не пробовал в своей доармейской жизни, если не считать время практики на Невельском заводе. В деревне того времени о сыре и какао у нас никто даже и не мечтал. В таких условиях две недели ареста вполне можно было и пережить. Ежедневно на два часа нас выводили на прогулку в обнесенный высокой оградой сад, в котором была уйма всяких фруктов. Их можно было есть и брать с собой в камеры. После двухчасового променада все собирались в библиотеке, листали журналы, газеты, обменивались мнениями о событиях на фронте или вели разговор о своей довоенной жизни. Незнание английского лишало меня возможности сколько-нибудь активно принимать участие в этих беседах, но два француза-контрабандиста и один югослав-врач, а также кое-кто из летчиков-англичан могли говорить по-немецки, так что полной языковой изоляции я не испытывал и где-то в глубине души даже жалел, что сидеть здесь надо так мало.

Карантинный лагерь

Прошло всего четыре дня, и один из тюремных служителей сообщил мне, что я должен подготовиться к отъезду в Берн, в карантинный лагерь, и что отъезд будет уже сегодня. Я хотел было

возразить, что сидеть мне еще около десяти дней, но тюремщик замахал рукой: «Нет, нет! Потом тебя придется везти одного, а сегодня поедет большая группа». Около 5 часов вечера в сопровождении двух солдат мы покинули тюрьму и направились к железнодорожному вокзалу Парантру.

Хорошо помню эту поездку и вагон, в котором ехали, и даже надпись в вагоне «не высовывайся». Запомнился и один швейцарец в военной форме, который спрашивал меня, почему Сталин заключил договор с Гитлером. Он утверждал, что это было большой ошибкой и даже больше того — предательством интересов народа Европы, пособничеством германской агрессии. Мне спорить с ним было трудно, слов не хватало, да и знания подоплеку этого соглашения тоже. А за окном мелькали чистенькие, покрашенные станционные домики, утопающие в зелени сельские поселения и города. Приехали в Делемон, тут была пересадка, а затем был город Мутье и рядом с ним гора Хазенматт высотой около полутора километров, потом были Золотурн, Биль, Лисс, Шюпфен и наконец старый и с детства знакомый по школьным картам Берн.

Карантинный лагерь находился в каком-то госпитале, расположенном в саду. Срок карантина 20 дней. Людей здесь было уже человек 50—60 и тоже целый интернационал. Русских человек десять, больше французов, а остальные — американцы, англичане, греки и югославы. В сопровождении солдата группой в 10—15 человек мы ходили на прогулки по городу, иногда за город, часто заглядывали в расположенный поблизости от карантинного лагеря зоопарк. Заходили и в музеи, вход в которые был бесплатным, и знакомились с другими достопримечательностями города.

Берн основан в конце XII века (около 1191 года) герцогом Бертольдом. Ранее, еще до основания города, здесь находился замок Найдак, контролировавший проход по долине реки Ааре. Легенда утверждает, что на месте, где основан город, Бертольд убил медведя и в честь этого события дал название городу. Изображение медведя содержит и нынешняя эмблема города, а в зоопарке, в глубокой, но просторной яме с водоемом, с 1513 года живут медведи. Здесь они получают максимальную заботу и внимание. Медведь считается покровителем города. В 1353 году Берн присоединился к Швейцарской конфедерации, а с 1848 года является столицей Швейцарии.

В старой части города много исторических и архитектурных памятников, но особенно понравилась мне голландская башня в замке Найдак. Запомнились также узкие улицы, выложенные каменными плитами, многочисленные фонтаны, аркады и старинные башенки с часами. Над всем старым городом возвышается собор Мюнстер, высота которого 100 метров. Это памятник старой готики. Строительство собора было начато в 1421 году и полностью завершено лишь к 1894 году. Здание городской ратуши (1416) и здание парламента тоже хорошо запомнились. С террасы здания парламента, на которую мы много раз поднимались, хорошо видны Альпы с их знаменитой вершиной Юнгфрау (4158 метров).

Здесь же, в старой части города, находятся и многие музеи Берна — музей естественной истории, оружейный и другие, но денег у нас тогда еще не было, а за вход здесь надо было платить. И еще одна деталь запомнилась мне за 20 дней пребывания в Берне — это посещение городской бани с плавательным бассейном. Будучи деревенским жителем, я, да и все мы, даже и представить не мог, что бани могут быть такими. Все мы тогда впервые в жизни купались в бассейне, а что касается меня, то это был, видимо, и последний раз, так как бассейны у нас и теперь редки.

Большое своеобразие внешнему облику Берна придают нескончаемые аркады, образующие сплошную галерею над вторыми этажами домов. На всем их протяжении пешеход защищен в зной от солнца, а в непогоду от дождя. Под их сводами выставляют свои товары лавочники, сюда же выходят витрины и двери магазинов, а также главная улица города. Тут же находится самая большая старинная башня с часами. Послушать их бой (пение петуха) собирается много людей.

От Берна по дороге, проложенной вдоль реки Ааре, можно было проехать к живописному Тунскому озеру. Почти рядом с ним находится Бриенское озеро, на которое я приезжал на велосипеде из Базеля. Но это было значительно позднее. На перешейке между этими озерами находится знаменитый курорт Интерлакен, а от него уже недалеко до подножия горы Юнгфрау. На нее до высоты 3,5 километра была проложена железная дорога. Это один из наиболее важных районов туризма в Швейцарии.

Курорт Интерлакен в то время был почти пуст. В одной из его гостиниц жили американские интернированные, такие же беглецы, как и мы, только побогаче. Они получали 24 франка в день, что значительно выше, чем средняя зарплата квалифицированного швейцарского рабочего, причем жили на всем готовом. Мы получали 20 франков в месяц. Часы тогда стоили 16—18 франков, а хороший обед в ресторане без обильной выпивки 1—2 франка. Имея такие деньги, американцы закатывали иногда коллективные празднества, которые продолжались несколько дней подряд.

За время карантина я старался усовершенствоваться, насколько позволяли условия, в знании немецкого языка. Много читал, часами сидел у радиоприемника, пытаюсь понять, о чем идет речь, вступал в диалоги со всеми, кто говорил по-немецки. Здесь я прочитал первую книгу на немецком без словаря, потому что его просто не было, и почувствовал, что в основном все понял. Книжка была пустая — о какой-то княгине, ее путешествиях, туалетах, флирте и прочем, но остросюжетная и читалась с интересом.

В Берне в это же время жило много русских эмигрантов. Они часто приходили к решетке нашего сада и расспрашивали нас о жизни в России. Некоторые заходили к нам в помещение и подолгу слушали рассказы о войне, побеге из плена или описывали свою жизнь после бегства из России. В Берне тогда была православная церковь, в которой велась служба на русском языке. Однажды к нам пришли две молодые девушки и один юноша, все из русских семей, и пригласили нас в церковь. Пойти могли немногие. Некоторые боялись «связи с эмигрантами», другие были плохо одеты, а я и еще двое наших парней решили пойти. Мне помогли завязать галстук, одолженный у одного француза, а в остальном я уже был одет почти нормально.

Мы все шестеро пошли к дежурному офицеру за разрешением на выход без охраны. Разрешение было получено, и мы направились в церковь (ранее я был в церкви только в детстве). Помню великолепное пение, звучали сильные мужские голоса вперемешку со звонкими детскими и женскими. Все это впечатляло, особенно если ты ничего подобного никогда не слышал и не видел. Небольшая проповедь священника была туманной и малопонятной. Хри-

стианское смирение, мировая война, мартиролог христианских святых и что-то еще, теперь уже и не вспомнить.

Здесь же, в Берне, я пытался разобраться немного и в том, что представляет собой Швейцария как государство, как республика и политическое объединение кантонов. Ранее на этот счет ни у кого из нас не было никакого представления. Мы знали только устройство социалистического сталинского государства с его 99-процентным единогласием в блоке коммунистов и беспартийных, что выдавалось нам за самое передовое и подлинное народовластие. Другого образа жизни и иного политического устройства мы тогда не представляли.

Оказалось, что Швейцария — это конфедерация из 22 кантонов и двух полукантонов. В стране действует конституция 1874 года, сохраняющая многие черты патриархальной швейцарской демократии. Главой конфедерации является президент, он же стоит и во главе правительства. Избирается президент всего на один год из числа членов Федерального совета, то есть правительства. В мою бытность там вице-президентом был Пиле-Гола. Каких только карикатур не было на него в газетах различных направлений, но в целом отношение было уважительное.

Федеральное собрание (парламент) состоит из двух палат — Национального совета и Совета кантонов. Права той и другой палаты одинаковы, а избираются они на четыре года. Федеральный совет (правительство) избирается парламентом. В совет входит семь человек, каждый из них руководит одним министерством. Всеми внутрикантональными делами занимается полицай-департамент (министерство внутренних дел). В 1943—1944 годах это министерство возглавлял фон Штейгер, представитель древнего аристократического швейцарского рода. В этой семье когда-то служил Гегель в качестве гувернера-воспитателя.

Мне однажды пришлось говорить с фон Штейгером по телефону из гостиницы Энгельгоф в Базеле, а потом и поехать к нему на прием по вопросу об освобождении меня и моего друга Аржанова от рабочей студенческой службы во время каникул 1944 года. Хорошо помню этот визит к министру. Прием был назначен на 11 часов, я пришел, конечно, пораньше. Секретарь, вальяжная дама

средних лет, заглянув в книгу, сказала, что придется немного подождать. Сию и жду, других посетителей нет. Ровно в назначенное время раздался тихий звонок. Это мне. Захожу. Министр — высокий, стройный мужчина возрастом немного за сорок — отвечает на мое приветствие и приглашает сесть. Цель моего визита ему была известна, и решение вопроса не заняло много времени. Освобождение было дано, более того, соответствующая бумага уже была готова. После краткой беседы, кто я есть и откуда, полицейский-министр отпустил меня, пожелав успешной учебы.

Для меня было удивительно, насколько строгой и обязательной была для студентов рабочая служба, если освободить от нее мог только министр. Служба эта заключалась в основном в помощи крестьянам, осваивающим новые и трудные участки для посевных площадей. В условиях швейцарского климата и крестьянской сытости никакого труда эта служба не составляла, и я потом даже жалел, что освободился от нее.

В Федеральном совете тех времен состоял также министр по делам репатриированных, вернее интернированных. В 1943 году в Швейцарию сбежалось около 80 тысяч иностранных граждан. Их нужно было как-то устроить, одеть и накормить. Русских было около тысячи. Делами интернированных ведал полковник Пробст. Позднее мне придется много раз встречаться с ним по делам русских. Министром обороны был генерал Гизо, который наряду с вице-президентом Пиле-Гола был самым влиятельным членом кабинета. Угроза оккупации Швейцарии Гитлером все время висела дамокловым мечом над этой альпийской республикой. Все большие города, такие как Цюрих, Базель, Женева, Берн, были объявлены открытыми. В них не было ни одного швейцарского солдата, но вся армия, насчитывающая тогда около 600 тысяч солдат, была дислоцирована в Альпах, а все дороги и горные проходы заминированы. Склады продовольствия и оружия тоже были спрятаны в горах. Тогда утверждалось, что для подавления этой армии потребуется как минимум один миллион солдат, и Гитлер будто бы именно поэтому не решился тронуть Швейцарию. Естественно, с именем генерала Гизо люди связывали само существование свободной Швейцарии. Хотя, если бы

Гитлер одержал победу в России, эта небольшая страна все равно попала бы в полную зависимость от Германии.

Военная история этого небольшого народа изобилует многими героическими свершениями. Подучив язык до способности более или менее свободно читать по-немецки, я читал тогда все, что мне попадалось по истории этого народа. Вот всего один эпизод, запомнившийся с тех времен. В 1476 году Карл Дерзостный, герцог Бургундии, решил покорить Гельвецию (так тогда называлась Швейцария). Он вторгся в страну с 20-тысячным войском. По сигнальным кострам, зажженным на вершинах гор, быстро собрались гельветы и в битве у Муртенского озера уничтожили всех вторгшихся. Сам герцог бросился в озеро на коне, который и вынес его на берег. Еще один солдат спасся точно таким же образом, но Карл его застрелил: «Тебе ли одному оставаться», — сказал он. Убитых врагов решено было не хоронить, и кости их лежали на поле боя около трех веков. Карамзин во время своего путешествия по Швейцарии еще видел эти кости.

В статусе интернированного

На момент окончания 20-дневного карантина нас, русских, было в лагере 20—25 человек. Однажды утром, это было в начале октября, всем русским велели подготовиться к отъезду в лагерь для интернированных на постоянное проживание. Ехали поездом, потом высадились и еще с десятков километров ехали по узкоколейной дороге. В Швейцарии расстояния невелики, доехали быстро. Лагерь — это два жилых барака и еще один для кухни. Охрана размещалась в каком-то строении небольшого размера. С нашим прибытием число обитателей лагеря достигло почти ста человек. Бараки стояли в сосновом лесу. К востоку от них начинался довольно крутой склон, а по верху его проходила та самая узкоколейка, по которой мы доехали до лагеря. Местность, красивейшее плоскогорье, называется Бернской Юрой. В довоенное время зимой сюда приезжало множество любителей лыжного спорта. Километрах в двух-трех от лагеря находился небольшой чистый городок Трамло. Большинство домов городка стояли на склонах, поэтому двигаясь по улицам постоянно

приходилось то подниматься, то спускаться. Кругом росли сосны, а дома были как бы вписаны в сосновый лес.

Расстояние в два-три километра для нас тогда было ничто, охрана в лагере — чисто символическая, на деле никто никого не охранял. Если кто-то собирался покинуть лагерь на несколько дней, тогда только надо было доложить об этом охране. К нашему приезду в лагере уже было какое-то самоуправление. Старшим был некий Горин, в прошлом лейтенант интендантской службы, но авторитет его был невелик, образование ничтожное, языка не знал, и кроме того, выяснилось, что в плену он как-то скомпрометировал себя.

Мы решили создать новый, более сильный актив, который мог бы поддерживать дисциплину и порядок в лагере. В одном из барачков была веранда или нечто вроде второго этажа внутри помещения. Тут мы поставили стол и организовали подобие штаба или конторы, где решались все лагерные дела, в которые не хотела вмешиваться швейцарская охрана. Дежурство на кухне, уборка помещений и территории лагеря, доставка продовольствия в лагерь, беседы о событиях на фронте, художественная самодеятельность — все это решалось на нашей веранде-галерке. Активными деятелями и членами самоуправления были Николай Аржанов, Николай Кулешов, Владимир Писецкий и Владимир Нивин. Мне вменялось в обязанность информировать начальника охраны о некоторых наших решениях и начинаниях и вообще быть посредником между нашим штабом и охраной. Таких лагерей как наш, для интернированных русских, в Швейцарии было несколько, кажется четыре, и мы установили связь с инициативными группами других лагерей. Одной из важнейших задач было предотвращение неумеренного пьянства и в связи с этим возможных хулиганских выходок со стороны некоторых малоотесанных соотечественников.

В одном из лагерей швейцарский солдат из охраны застрелил одного перепившего буяна. Об этом писали многие швейцарские газеты. Правые оправдывали солдата, левые обвиняли его, но обстоятельства были таковы, что наш захмелевший вояка первым полез в драку. Вряд ли найдется много вооруженных солдат, которые

в данной ситуации поступили бы иначе. Еще один, это случилось уже в нашем лагере, перебил в столовой стекла, зеркала, перевернул столы. Он был посажен в тюрьму, и мы одобрили действия властей.

Жизнь в лагере постепенно становилась все более содержательной и интересной. Мы установили связи с некоторыми левонастроенными швейцарцами. Одним из них был Генри, рабочий с Бернского часового завода, и его подруга Нелли. Они часто навещали нас в лагере или встречались с кем-нибудь из нас в ресторане в Трамло. Перед новым 1944 годом впервые приехал к нам в лагерь Боденманн — один из секретарей Швейцарской партии труда, которая в то время еще не была оформлена юридически, но уже существовала фактически. С ним была его дочь Лиза и ее подруга Эмми Гюртлер, обе студентки Базельского университета.

Меня в это время не было в лагере, так как вместе с двумя другими нашими ребятами, Нивиным и Тищенко, я был на лыжной прогулке. Беседа Боденманна с нашими людьми плохо клеилась из-за того же языкового барьера. Когда мы вернулись, меня сразу позвали в помещение охраны, где находились гости с нашими активистами. Боденманн кратко рассказал нам о завершении Сталинградской битвы и о положении дел на других фронтах. Я перевел, а затем гости раздали приглашения на новогодние праздники в швейцарских семьях.

Аржанов поехал в Давос, знаменитый горный курорт. Мне и еще троим моим товарищам новогодний вечер предстояло провести в семье Павла Буре, известного швейцарского часовщика, жившего в то время в городе Трамло. Нам уже кое-что было известно о новогодних обычаях швейцарцев. Мы принесли с собой полено и бросили его в камин со словами: «Пусть никогда не гаснет очаг в этом доме». Кроме полена, мы, конечно, ничего не могли принести. Камин к нашему приходу уже пылал жаром, елка была наряжена, но еще без огней. Стол сиял бокалами и фужерами во всю силу праздничного антуража. Людей было немного — человек двадцать или около того. Наше пожелание, чтобы не гас очаг в этом доме, похоже, сбылось. Ровно через 40 лет после того вечера я прочитал в наших газетах, что фирма Буре процветает и прочно занимает ведущее место на мировом рынке часов и хронометров.

Новогодние праздники в Швейцарии продолжаются несколько дней, хотя выходной только один день. После вечера в доме Буре мне пришлось продолжать новогодние праздники в семье Эмми Гюртлер. Я был приглашен туда во время ее недавнего визита с Боденманном в наш лагерь. Отец Эмми — столяр высокой квалификации, вся мебель в его доме была сделана им самим. Работал он в химической фирме, семья занимала половину дома, в котором всего было 16 жилых комнат. Восемь из них (четыре на первом этаже и четыре на втором) занимала семья Гюртлер, в которой, в мою бытность, было всего три человека. Старший брат Эмми к тому времени жил уже отдельно. В январе 1944 года он был в армии, но я позднее познакомился с ним тоже. На гражданке он был дорожным мастером, а в армии — то ли сапером, то ли минером. В одной из комнат находилась обширная библиотека. В ней стояли рядом томики Ленина, Сталина и «Моя борьба» Гитлера. Было много и художественной литературы. Меня тогда очень удивляло, что у простого рабочего жилье и библиотека — как у профессора. Мать Эмми не работала, да и немолодая уже она была в то время. Она вела домашнее хозяйство и была большой хлопотуньей. Сколько разных конфитюров было у нее наварено! По моим тогдашним представлениям это было непостижимо. Четвертым членом в этой семье была собака Миля, очень умная. Когда кто-нибудь звонил в дом, она нажимала кнопку и открывала дверь. У меня сохранилась любительская фотография, сделанная Эмми, где мы запечатлены вместе с Милей. Но вот новогодние праздники закончились и, пробыв в доме Гюртлер три дня, я вернулся в лагерь.

Всю зиму я усиленно занимался немецким языком, но дело продвигалось все-таки медленно, так как жили мы на территории французской Швейцарии, где люди говорят в основном на французском языке. Правда большинство из них знают и немецкий язык, но наше общение с людьми в обычные рабочие дни было ограниченным. Кроме того, в Швейцарии, даже в немецких кантонах, где доминирует немецкий язык, говорят на так называемом швицдеютш, который сильно отличается от литературного немецкого и понять его было трудно. Поскольку теперь у многих уже были установлены знакомства в разных концах Швейцарии, а немецкий или француз-

ский язык мало кто знал, ко мне шли с просьбой написать письмо. В большинстве своем это были письма к знакомым девчонкам, и я со временем весьма преуспел в эпистолярном жанре.

Работы для наших людей в лагере почти не было, но иногда нужно было расчистить дорогу от снега, чтобы в лагерь могла пройти машина, и за это платили по два франка за несколько часов работы. Некоторые помогали выполнять какую-либо работу в ближайших фермерских хозяйствах и тоже получали небольшие деньги. Получали зарплату и те, кто работал на кухне в качестве постоянных поваров, а также экспедиторы, доставлявшие в лагерь продовольствие и другие грузы. Обычно всякие доставки в лагерь шли по узкоколейке, проходившей мимо лагеря по возвышенности. Круги швейцарского сыра весом 96—100 килограммов снимали с вагона и катили под гору, как колеса, вплоть до самых дверей кухни, а потом троим или четвером затаскивали их внутрь.

Одно время в охране был русский по фамилии Соколов, эмигрировавший из России еще в годы Гражданской войны. Он был уже не очень молод, лет за сорок. На какой-то короткий срок он был призван в армию и попал к нам в охрану. До войны он работал кинопродюсером, ездил по разным странам и смотрел фильмы, а потом некоторые из них закупал для Швейцарии. Чаще всего ему приходилось бывать, конечно, в Америке, но был он и в Англии, и во Франции, и в Германии. Советский Союз и вообще коммунизм он ненавидел лютой ненавистью, но к нам относился уважительно и иногда защищал наши права и интересы перед комендантом. Сопровождая иногда наших ребят в поездке за продуктами или заходя в столовую во время обеда, он часто говорил: «Ешьте, ешьте. Сталин вас сыром кормить не будет, а вот в Сибирь, пожалуй, сошлет, когда вернетесь». Так оно все и случилось. По возвращении домой сыра мы действительно не ели, а в Сибирь и на Север попали. Через несколько недель Соколова в нашем лагере не стало, и в качестве переводчика опять пришлось выступать мне одному.

У многих обитателей лагеря постепенно появились деньги, кроме тех двадцати франков, которые мы все получали от швейцарского правительства. Я не ходил ни на какие работы и дополнительных доходов не имел, а писать письма даром мне уже порядком надоело.

Я решил, что будет правильно, если знание языка, на изучение которого я потратил много времени, будет приносить мне некоторый доход. Установил таксу в 50 сантимов за письмо. Это никого не отпугнуло, даже наоборот: те, кто раньше считал неудобным часто обращаться с такой просьбой, теперь шли ко мне как в бюро услуг. Заработки мои были невелики, но один-два франка в день они все же приносили, и это дало мне возможность объехать кое-какие окрестные селения, а позднее, когда сошел снег, взять напрокат велосипед.

Скучать в эту пору в лагере не приходилось. Утром почти все выскакивали из бараков и обтирались снегом до пояса, а затем — лыжная пробежка; дальше, что касается меня, просмотр газет и прослушивание радио. В шахматы играли мало и редко, так как шахматистов почти не было. Одно время среди охраны был солдат, с которым я иногда играл, но мне редко удавалось у него выигрывать, так как он играл сильнее. По вечерам, когда у нас стали появляться деньги, мы любили забежать в ресторанчик в городе Трамло. Рестораном в нашем понимании это заведение, пожалуй, называть не следует. Это было больше и лучше, чем просто ресторан. Здесь можно было просмотреть свежие газеты и журналы, которые не поступали в наш лагерь, сыграть в бильярд, в шахматы, а можно было потанцевать или просто послушать музыку. Здесь же мы могли взять напрокат велосипед и совершить велосипедную прогулку. Словом, здесь можно было найти почти все.

Хозяин ресторана, человек уже немолодой и порядочно толстый, знал несколько десятков русских слов и фраз. Он всегда был рад нашему приходу, так как в ресторане было мало посетителей, а доход от нас, хоть мы и не богаты, был все же больше, чем от чопорной швейцарской публики, которая за весь вечер выпьет, может быть, только одну чашку кофе. Мы же все, что было, оставляли в основном тут, в ресторане, и хозяин это хорошо понимал. С нашим появлением он где-то раздобыл пластинки с записями Вертинского, Шаляпина и других певцов, живших в эмиграции. Многие из нас тут впервые и встретились с этими певцами. Единственной официанткой в ресторане была Джульетта, молодая и красивая девушка. С невинной грацией шарденовской хозяйки она подавала нам по 100 граммов шнапса, даже не спрашивая, чего мы хотим. И уж только

потом она уточняла заказ. Она же включала Вертинского или Шаляпина — и в зале начинала звучать Россия.

Вот пишу я сейчас эти строки через четыре с лишним десятка лет после этих событий и так же отчетливо вижу этот городок Трамло, и ресторан, и Джульетту, и думаю: куда же все это делось и почему мир устроен так, что из минувшего уже ничего нельзя вернуть.

Так прошла зима 1943—1944 года, а в самом начале апреля нам объявили, что лагерь ликвидируют, а нас всех переводят в Текнау — небольшое селение, по сути деревушка, расположенное недалеко от Базеля. Причину перевода я сейчас не могу указать точно, она и тогда не была нам известна, но думаю, что это было связано с положением на фронтах, с победой наших армий под Сталинградом и Курском. Дело в том, что здесь наш лагерь был изолирован от населенных пунктов. Трамло, ближайшее к нам селение, находилось от нас на расстоянии двух-трех километров, и весь этот район считался швейцарской Сибирью. И хотя мы никакой изоляции не чувствовали и дискриминации не испытывали, но власти, видимо, решили, что нас надо придвинуть поближе к культурным центрам страны. С грустью расставались мы с лагерем, с Трамло, с рестораном, с Джульеттой и даже с солдатами из охраны, которые ничего и никого не охраняли, а вели почти такой же образ жизни, как и мы.

Погода к нашему отъезду была уже теплой, цвели яблони. На прощание мы решили сфотографироваться в скверике ресторана. Нас было человек шесть-семь и с нами хозяин ресторана, его жена и Джульетта. Фотография эта сгорела в Одессе после первого обыска на социалистической родине. Вместе с многими другими ее бросили в костер в конце марта 1945 года. В костре сгорели словари, книги и фотографии, тут же сгорел и учебник неорганической химии с дарственной надписью его автора, профессора Эрленмайера. Все, что издано за рубежом, подлежало уничтожению, даже если это учебник по химии или фотография девчонки. Социализм любит стерильность. Жалею, что не привез из Швейцарии фотографию Карла Маркса. Интересно, что бы они с ней сделали? Фотоснимок Боденманна тоже сожгли, хотя я и уверял, что это один из секретарей ЦК Швейцарской рабочей (коммунистической) партии, что он много раз бывал в СССР и присутствовал на всех конгрессах Ко-

минтерна. Это был уже не первый, а второй случай в моей жизни, когда я собственными глазами видел, как горят книги. Первый — это сожжение книг Есенина в топке Чашинского техникума, а второй — в Одессе, только здесь книги и словари горели не в топке, а прямо на площади перед казармой. Еще о таких же случаях я читал в газетах и слышал по радио. Это костры на площадях Берлина и других немецких городов, в которых сжигали книги еврейских и коммунистических авторов при Адольфе Гитлере в 30-х годах.

Переезд из Трамло в Текнау состоялся весной. Помню, что в это время цвели яблони и погода была прекрасной. Видимо, это было самое начало апреля. Жили мы в таких же бараках, как и в Трамло, но теперь эти бараки стояли в самом селении и никакой охраны не было. Деревня небольшая, местность красивая, кругом растут пинии, на склонах холмов пастбища, на которых разгуливают упитанные коровы. Крестьянские дворы в деревне расположены на порядочном удалении друг от друга, между ними сады или декоративные растения. В некоторых дворах стоят пушки, зачехленные в брезент. Это если хозяин артиллерист и командир орудия. Его заряжающий и другие помощники живут рядом. В случае кризисной ситуации они немедленно превращаются в боевую единицу. Дело в том, что швейцарские военнослужащие, уходя из армии, забирают оружие с собой и хранят его дома. Исключение составляют разве что боевые самолеты, которые обслуживаются профессиональными военнослужащими.

В деревушке Текнау было два локала, то есть ресторанчика, куда мы, как и в Трамло, частенько забегали, когда у нас были деньги. Здесь нам тоже включали пластинки русских певцов, а мы в силу своих возможностей укрепляли финансовое состояние хозяина. Рядом был город Ольтен, а примерно в тридцати километрах — Базель. Отсюда мы могли поехать куда угодно в пределах Швейцарии, были бы только деньги. Наша свобода была почти ничем не ограничена, а поездки в Ольтен и Базель для многих из нас стали почти регулярными. Улучшилась связь с другими русскими лагерями, появилось много новых знакомств. Николай Аржанов посетил Рубакина — известного русского библиографа, жившего в Лозанне с 1908 года. Библиотека Рубакина была огромной и насчитывала в ту пору около 300 тысяч томов. Много книг было с автографами

авторов. В то время Рубакин, уже глубокий старик, получал какое-то пособие от советского правительства и переписывался с Молотовым. Рубакин убедил Аржанова в том, что мы напрасно теряем время и что нам надо поступить в университет. Все формальности, связанные с имматрикуляцией, он брал на себя.

Аржанов приехал и рассказал все это мне и другим нашим ребятам, которые до войны начинали учиться в институтах. Таких было человек восемь. Скоро все мы были вызваны в Лозанну, где состоялась беседа с представителем Арбайтсхильфсверк (рабочая служба), которая первоначально должна была одеть нас соответствующим образом, а потом вносить плату за обучение. Тут же было принято решение об организации платных курсов по немецкому языку, которые мы должны были пройти примерно в течение месяца.

Из всех кандидатов в студенты только один я был более или менее достаточно подготовлен по языку, и то лишь условно. У всех остальных языковая база была совершенно недостаточной. Но помощь этой благотворительной организации потребовалась лишь в самом начале, а позднее оказалось, что мы, русские, чуть ли не богаче всех иностранных студентов в Швейцарии. Стало известно, что царская Россия была членом Международного студенческого фонда и на счету в банке находилось 200 тысяч тогдашних царских рублей. Но поскольку в годы «мудрого правления» учиться в иностранных университетах было не принято, то деньги эти не только сохранились, но еще и обросли процентами. Об этом нам рассказал один из русских эмигрантов, который сам раньше учился в каком-то иностранном университете. Формальности были легко улажены администрацией Базельского университета, и позднее наша учеба финансировалась именно из этого источника.

Базель

В середине апреля мы с Аржановым приехали в Базель. Предполагалось, что жить мы будем в доме Реймута — известного швейцарского скульптора и директора госбанка Швейцарии. Он предоставил нам одну из комнат в своем доме, расположенном в самом центре старого Базеля, недалеко от университета. В этой комнате

мы прожили около недели, а потом узнали, что Арбайтсхильфсверк уже оплатил номер в гостинице за шесть месяцев вперед, и мы переехали в гостиницу «Энгельгоф». Гостей тогда было мало и большинство номеров пустовало. Здание «Энгельгофа» было построено еще в XV веке. Мы жили в номере, который называли «кунстдиммер», то есть «комната искусства». На оконных стеклах были какие-то витражи, и почти все стекла были цветными. Иногда хозяин или хозяйка гостиницы приходили к нам и, извинившись, просили разрешения показать комнату гостям.

В толстых кирпичных стенах были вделаны два больших шкафа с тяжелыми, окованными железом дверями. В шкафах лежали огромные и толстые, весом в несколько килограммов, книги на древнегерманском языке. Книгам этим было по 300—400 лет. Шкафы не были закрыты на запоры, и мы часто листали эти книги, конечно ничего в них не понимая. Рядом с нашей комнатой находился холл, в котором раньше собирались гости на танцы и другие увеселительные мероприятия. Сейчас этот холл пустовал, но здесь стоял рояль и был хороший приемник — по ночам или поздним вечером можно было слушать русские передачи.

В «Энгельгофе» мы прожили около восьми месяцев, с этим местом связано большинство самых приятных воспоминаний о моем пребывании в Швейцарии. На первом этаже гостиницы находился ресторан, в котором у нас был постоянный столик. Здесь мы обедали, здесь встречались иногда с нашими швейцарскими друзьями. Однажды к нам пришел человек лет пятидесяти с лишним. Он назвал свое имя и профессию (врач) и высказал желание отобедать с русскими студентами. Мы охотно согласились. Спиртное в нашем ресторане не подавалось, поэтому обед был самым обыкновенным. Наш гость рассказал нам о том, как в годы своей юности, будучи студентом, был близко знаком с Лениным и принимал участие в организации его лекций в городах Швейцарии, чтобы ему было на что жить. Он много говорил также о простоте и скромности Ленина. «Я не могу себе представить Ленина в маршальской форме, как сейчас Сталин. Нет, это просто невозможно!» — сказал он.

Приходил к нам также профессор Баумгартен, в ту пору уже очень немолодой человек, лет, видимо, за семьдесят. Он был в свое

время экспертом на процессе по «Протоколам сионских мудрецов» в Базеле, который проходил в 1934 году. Он рассказал нам кое-что об этом процессе. Мы же, конечно, ничего об этом не знали и даже не слышали о том, что когда-то такой процесс состоялся. В конце своего визита он подарил нам книгу — стенографический отчет о заседаниях на этом процессе, где была приведена и его речь. Аржанов потом внимательно ее прочитал, а я, по глупости, только посмотрел и решил, что все эти мудрецы мне «до фонаря». И только много позднее, уже после создания государства Израиль в 1948 году, я вспомнил об этой встрече и понял, какой интересный документ о международном сионизме был в наших руках.

Вскоре после приезда в Базель мы пришли в университет, чтобы уладить небольшие бумажные формальности и получить студенческие удостоверения. Они давали право бесплатного проезда в городском транспорте и предъявлялись в читальных залах библиотеки. На второй день после этого мы пошли на лекции. Аржанов поступил на филологический факультет, а я на естественно-философский, так называли тогда в Базельском университете химический факультет. Первая лекция, на которую я попал, была лекция по дарвинизму. Читал ее популярный в Базеле профессор, владелец большой фабрики, которая производила белье. В университете он работал, если пользоваться нашей терминологией, на общественных началах. В аудитории было много людей, и меня удивило, что значительная часть были уже совсем немолодые люди, которые по возрасту, вроде бы, не должны принадлежать к студенческому сословию. Оказалось, что лекции здесь могут посещать все желающие и для этого совсем не обязательно быть студентом. На лекции популярных профессоров приходили рабочие, служащие и даже домашние хозяйки.

Увы, с языком было плохо, даже хуже, чем я первоначально предполагал. Лекции я понимал с трудом, иногда не понимал вообще ничего. Но языковые курсы продолжали функционировать, преподавал там один швейцарский студент, сын прачки. Ему была предоставлена возможность немного заработать, и работал он добросовестно. Иногда он целый день проводил у нас, и мы могли упражняться на более сложной лексике. К концу семестра, перед каникулами, я почувствовал, что в основном стал понимать лекции.

Седьмого июля в университете начались каникулы, все студенты разъехались «на рабочую службу». Работа заключалась в помощи крестьянам, которые во время войны возделывали неудобные участки земли, чтобы максимально увеличить самообеспечение страны хлебом. Большинство работали на уборке хлеба там, где нельзя было применить машины. Некоторые были заняты на животноводческих фермах или сыродельных заводах. Нам тоже хотелось провести лето в горах, в семье какого-нибудь крестьянина, но мы решили лучше подготовиться к следующему семестру и взяли освобождение от работы. Об этом я уже писал выше.

Летом в городе нам тоже было неплохо. В первой половине дня мы обычно работали дома, в библиотеке университета или в лаборатории, а потом загорали на рейнском пляже. Река здесь была быстрая, плыть по течению одно удовольствие, а переплывать трудно, хотя иногда мы отваживались. Вечером можно было пойти в кино, цирк, театр, но чаще всего мы проводили вечера в городском парке, где было множество развлечений.

Каждую среду мы с Аржановым обедали у Боденманна — одного из секретарей Швейцарской партии труда, так тогда называлась у них компартия. Сюда приезжали представители из других лагерей русских интернированных, и мы в числе прочего часто обсуждали моральный аспект нашего пребывания в Швейцарии в то время, когда везде идет война, льется кровь и гибнут люди. Некоторые предлагали создать небольшие отряды и нелегально просочиться на итальянскую или французскую территорию, где попытаться влиться в ряды местных маки или действовать самостоятельно. Другие считали это малополезным и почти нереальным делом, так как незнание языка, естественная и вполне понятная осторожность французских и итальянских партизан могли помешать нам войти в доверие и получить оружие. Жена Боденманна (она была родом из Москвы, еврейка) решительно возражала против этих планов. Она считала, что каждый из нас уже до конца испил горькую чашу лишений на фронте, в плену и во время побега из плена, что этого уже достаточно на одну жизнь и незачем испытывать судьбу еще раз, не будучи уверенным, что кому-то принесешь ощутимую пользу.

Мы с Аржановым тоже не раз обсуждали эту проблему у себя в «Энгельгофе», но к согласованному и законченному решению почти никогда не могли прийти. Мне казалось, что партизанские методы борьбы — это не что иное, как убийство из-за угла, а не открытый бой по старым мужским законам. Ведь именно этот драконов посев партизанщины привел к массовому возмездию путем расстрела заложников и уничтожению целых деревень. Рядовой солдат в любой армии, в том числе и в гитлеровской, не был подготовлен к бандитизму партизан, но поскольку партизанщина в минувшую войну стала одной из важных форм ведения борьбы, то она вызывала суровые ответные меры. Партизаны не пользовались защитой Гаагской и Женевской конвенций, и любое вооруженное гражданское лицо, попавшее в руки одетого в форму противника, могло быть расстреляно без всяких церемоний. Брать заложников запретили только в 1947 году, а в войне 1941—1945 годов это воспринималось как жестокая, но допустимая мера возмездия. Все эти соображения привели меня в лагерь противников массового исхода русских из Швейцарии и, поскольку нас поддержали Боденманн и Гофман, председатель Русского комитета в Швейцарии капитан Мамайкин разослал по лагерям директиву — оставаться на месте до подхода союзных войск к границам Швейцарии.

В августе 1944 года в Лозанне проходила Международная студенческая конференция, и мы, русские, были приглашены тоже. Текст выступления готовили мы с Аржановым. Написали его сначала по-русски, а потом Таня Эйлер перевела его на немецкий и отпечатала на машинке. Таня и ее брат Павел были потомками того самого великого математика Эйлера, работавшего в Российской академии наук во времена Ломоносова. Оба они отлично знали русский язык и часто заходили к нам в «Энгельгоф» для беседы или, что касается Павла, просто на шахматную партию.

На конференцию в Лозанну своих представителей послали всего 12 стран, в том числе Германия, Финляндия и Италия. Из наших союзников были англичане и американцы — бывшие студенты, попавшие в Швейцарию так же, как и мы. Особенно антирусским и антисоветским было выступление финнов. Они не могли простить нам войну 1939—1940 годов, когда от Финляндии был отторгнут

Выборг. Выступление немцев было более или менее сдержанным. В 1944 году их дела на фронте были уже плохими, и, видимо, поэтому отношение четырех их представителей к нам, русским, было менее враждебным, чем мы ожидали.

От нас выступал Аржанов. В своем докладе он рассказал о лишениях нашего народа в оккупированных районах, о нечеловеческом обращении с советскими военнопленными в Германии и повторил тезис нашей пропаганды о том, что гитлеры приходят и уходят, а народ остается. Было подчеркнуто, что мы ведем справедливую оборонительную войну, отбиваясь от вероломного и неожиданного удара. Судя по реакции аудитории в зале, сочувствующих нам оказалось больше, чем противников, и выступление Аржанова, плод наших усилий в течение многих вечеров, оказалось удачным. На конференции мы пробыли два дня и в один из вечеров посетили Рубакина. Рассказали ему немного о конференции, взяли несколько книг на русском языке и вернулись в Базель.

Как раз в это время у нас в стране были опубликованы результаты или, лучше сказать, итоги работы правительственной комиссии по расследованию преступлений вермахта в только что освобожденном Харькове. Эти данные были опубликованы в швейцарских газетах. Они произвели в Швейцарии ошеломляющее впечатление. Левые партии Швейцарии решили провести митинги солидарности с советским народом во всех крупных городах. В Базеле этот митинг организовали секретари рабочей (коммунистической) партии Гофман и Боденманн. Нам было предложено выступить от лица русских интернированных в Швейцарии. Мы связались с председателем Русского комитета капитаном Мамайкиным, который тогда был в Текнау, и попросили его, чтобы комитет выработал примерный план выступления на основе последней информации, полученной от лиц, перешедших границу последними. Было ясно, что все выступления на этом митинге попадут в печать, и надо было быть максимально осмотрительными. Однако текста или плана выступления мы не получили, Мамайкин предложил написать его нам самим. Сами, мол, грамотные и лучше знаете, о чем следует говорить.

После этого в нашей комнате в «Энгельгофе» собрались все русские студенты, обучавшиеся в Базельском университете:

Шуляк, Добролюбов, Алиев и мы с Аржановым. Вместе составили план выступления, а сам текст писали и редактировали уже мы вдвоем. На немецкий язык его снова перевела Таня Эйлер, она же отпечатала его на машинке в пяти экземплярах. Один из них мы переслали в комитет капитану Мамайкину, другой — в организационный комитет по проведению митинга, а остальные остались у нас. Выступать было предложено мне.

Текст я, конечно, выучил наизусть, говорил с подъемом и без бумажки. На митинге присутствовало около 80 тысяч человек. Репродукторы были установлены на крышах домов, окружающих площадь Мюнстера в Базеле. Слышно было едва ли не во всем Базеле. Когда я говорил о машинах-душегубках, в которых были отравлены десятки тысяч людей только в одном Харькове, на площади поднялась такая буря возмущения и негодования, что, казалось, зашаталась и готова была рухнуть сама трибуна, на которой мы стояли. Такая же реакция была, когда речь зашла о положении военнопленных в Германии. Большинство людей в Швейцарии даже понятия не имели о том, что творилось в многочисленных застенках Третьего рейха. О митинге в Базеле написали едва ли не все газеты Швейцарии.

В моей жизни это было второе выступление на митинге. Первое — это трехминутная речь на митинге в своей деревне Тамакуле по случаю 10-летия Октябрьской революции в 1927 году. Тогда я выступал от имени учеников своей школы, но уже решительно не помню, о чем говорил. Запомнил лишь, что было холодно и дул пронизывающий ветер, земля была уже стылая, а снега почти не было. Толпа людей беспорядочной колонной с красными флагами и портретами «вождей» двигалась по деревне. Дошли до места сбора — это был общественный колодезь с высоким помостом, с которого воду качала помпа. С этой трибуны я вместе с другими и приветствовал трудовое крестьянство. Это событие, конечно, не такого масштаба, как Базельский митинг, но тоже частица мировой истории.

Примерно с середины апреля по 7 июля мы были заняты в университете. Я посещал лекции по неорганической химии у профессора Эрленмайера и четыре-пять часов ежедневно работал у него же в лаборатории. Кроме того, я регулярно посещал лекции по дарвинизму и минералогии. Свободного времени было очень мало. Все

прослушанное нужно было еще где-то перечитать, так как лекции я понимал все еще плохо. Одно дело вести диалог на бытовые или общежитейские темы и совсем другое — слушать лекцию с университетской кафедры. Тем не менее, с учебой все было в порядке, все зачеты я получал и учебные задания в лаборатории выполнял в срок.

Русский язык в университете вела фрау-профессор Малер. Она выросла в России, но с 1919 года жила в Швейцарии. Мы с Аржановым часто бывали у нее и помогали немного в работе с русско-немецким словарем. Словарь был издан в Швейцарии еще при нас, и в предисловии к нему профессор Малер благодарила русских студентов Н. Аржанова и Я. Сосновских за помощь. Ссылаясь на профессора Эрленмайера, Малер говорила мне, что мои дела на химфаке для начала идут совсем неплохо, да я и сам это чувствовал. Позднее, уже перед отъездом из Швейцарии, Эрленмайер напишет письмо советскому послу во Франции Богомолу (тогда он находился в Алжире), чтобы он разрешил мне остаться в Швейцарии до окончания университета. Они были хорошо знакомы и встречались в Испании, когда там шла война с мятежными частями генерала Франко. Богомол ответил профессору, своему старому другу, длинным письмом, в конце которого стояло: «Что же касается тов. Сосновских, то он закончит университет дома».

Выходные дни мы часто проводили на пляжах Рейна, почти в центре города. Река тогда была чистой, течение быстрое, и купаться было одно удовольствие. К тому времени мы уже достаточно хорошо освоились, у нас было много знакомых как в студенческой среде, так и среди горожан. Это были, вероятно, самые светлые дни моей молодости. Их было, правда, немного, но достаточно для того, чтобы понять, какой должна быть жизнь, чтобы ее можно было назвать жизнью.

Из моих ученических лет в Чашинском техникуме вспоминаются прежде всего осенние походы в глухие березовые колки, где мы пекли картошку, нелегально выкопанную на колхозных полях. Первейшей нашей заботой было тогда насытиться. С одеждой и обувью было так же плохо, как и с питанием. В магазинах — пустота, да и денег у нас не было. Подошвы ботинок, привязанные проволокой, были почти обычной вещью, а шапок, помнится, у нас

в комнате на 12 человек было только две. Такие же заботы снедали нас и позднее, когда я учился в учительском институте в Челябинске. Поиски возможности подработать где-нибудь на товарной станции, стояние в очереди с вечера, чтобы купить утром лжерубашку, у которой был только воротничок да небольшой лоскуток материи спереди, державшийся на завязках. «Грызть гранит науки» было для нас, чаще всего, делом второстепенным.

Здесь же, в Базеле, было все, и никаких забот о хлебе насущном. Мы понимали или, вернее сказать, чувствовали, что все, что сейчас доступно для обозрения и наблюдения, больше уже никогда не будет доступно. Поэтому в меру своих финансовых возможностей и прочих обстоятельств мы старались увидеть то, что было в пределах досягаемости. Так, однажды утром, совершенно неожиданно и без всякой подготовки, оказавшись вблизи вокзала, мы с Аржановым и еще две русские девушки — Лида и Вера Шелухина, тоже интернированные в Швейцарии, решили сесть в идущий на Женеву поезд и посетить Шильонский замок. Из Байрона мы знали, что в замке есть музей и что когда-то, очень давно, здесь сидел прикованный цепями Бонивар, политический деятель Женевы и руководитель народного восстания. Он был посажен своим политическим противником, герцогом Савойским, и просидел шесть лет. Освободили его восставшие жители Берна. Братья его к этому времени были уже замучены, а отец сожжен. Все это было в XVI веке, а когда замок посетил Байрон, то на одной из колонн, к которым приковывали заключенных, он оставил свой автограф, ставший еще одной реликвией музея.

Осмотрев замок, мы решили проехать по берегу Женевского озера. Вдоль этих берегов когда-то ходил и плавал Руссо, и вот так же, как мы сейчас, он мог наблюдать отражения зеленых рощ и мирных селений в неподвижной воде озера. Проехали городок Вильнев, где жил Ромен Роллан. Вода Женевского озера, да и других озер Швейцарии, такой дивной синевы, что в народе жила легенда, будто ангел нес воду в итальянские озера, но споткнулся на Альпах и разлил небесную синеву в Швейцарии. Дороги здесь хорошие, а расстояния невеликие, и к вечеру мы вернулись в Базель. Как хорошо, что мы тогда решились на эту поездку, ведь ни-

кому из нас увидеть Шильонский замок вторично уже не удастся, да и озера швейцарские тоже.

В послевоенное время я бывал только на Балтыме и Шарташе в окрестностях Свердловска и на Стрелковом озере в Курганской области, а все другие озера остались для меня за горизонтом. Конечно, если бы мы были чуть умнее, то и при наших финансовых возможностях можно было бы узнать и увидеть побольше, но возрастная инертность и извечное «недосуг», обусловленное какими-нибудь пустяками и преходящими, ничего не значащими делами и событиями, мешали этому.

Лихтенштейн

Среди моих швейцарских друзей и знакомых в Базеле был Сальвия Норман, сын одного из директоров химической фирмы «Циба». Ему было 19 лет, он учился в Цюрихском университете и как внештатный корреспондент печатался во многих газетах. К тому времени он знал уже 18 языков. В Базеле тогда проходила международная выставка, на которой Сальвия работал в качестве переводчика и потому был освобожден от студенческой рабочей службы. Здесь, на выставке, мы с ним и познакомились. Несколько раз мне приходилось бывать в его доме, вернее в доме его отца. На самой окраине Базеля в окружении почти сельского пейзажа стоял огромный шестиэтажный дом с бассейном, теннисным кортом, садом и прочими атрибутами обеспеченной жизни. В доме была огромная библиотека на многих языках. Русского языка он не знал, поэтому частые встречи с нами имели для него еще и чисто утилитарные цели — он хотел выучить русский.

По национальности Сальвия был финн, статьи его во время международной выставки в Базеле часто публиковались в финских газетах, а также и в газетах других стран. Однажды в журнале «Он и Она» я прочел его большую статью о Лихтенштейне и его короле Иосифе II. Тогда король как раз только что женился на какой-то бывшей или настоящей австрийской принцессе и в швейцарской прессе об этом много писали. Из статьи я узнал, что население Лихтенштейна (18 тысяч человек) не платит никаких налогов и что

это едва ли не единственное государство в мире, которое не имеет ни полиции, ни армии. Позднее, правда, оказалось, что полиция все-таки есть — три полицейя, а армии действительно нет никакой. Она была распущена еще в 1868 году.

Прошло какое-то время, и король, видимо прочитав статью, пригласил Сальвию к себе в гости, предупредив, однако, что граница со стороны Швейцарии закрыта и оформление визы потребует некоторого времени. Но Сальвия был не только полиглотом, но еще и чемпионом Базеля по плаванию. Лихтенштейн протянулся вдоль берега Рейна на 25 километров и в глубину километров на 10. Сальвия решил не ждать визы, а просто пересечь реку вплавь. Сам он в Лихтенштейне еще никогда не был, а статьи писал по материалам, которые давал ему отец, часто там бывавший. Когда он предложил мне сопровождать его в этом походе, я сначала не решался ответить утвердительно, так как переплывать реку надо с одеждой, а я не был уверен, что смогу преодолеть с грузом быстрое течение реки, хотя налегке, без одежды, делал это уже много раз. Посмотрев на мои примитивные способы плавания и умение держаться на воде, Сальвия решил, что все будет хорошо, и июльским воскресным утром мы отправились в гости к королю.

Встали рано, до Граса доехали поездом, потом немного шли пешком и вышли на берег Рейна в сравнительно малолюдном месте. Реку мы преодолели, но одежда порядочно смялась, а у меня еще и слегка подмочилась, хотя ранее мы немного потренировались, как компактно сложить одежду и укрепить ее на голове в непромокаемом мешке. Появляться в таком виде во дворце короля было неприлично. Мы зашли в один из ближайших домов, Сальвия переговорил с женщиной, которая пригласила нас в дом, дала нам халаты, а сама забрала нашу одежду для глажения. Через полчаса все было готово. Поблагодарив хозяйку и уплатив ей пару швейцарских франков, мы двинулись в направлении населенного пункта Шан, до которого было один-два километра. Оттуда в столицу Лихтенштейна Вадуц попасть было нетрудно, так как между ними было проложено большое асфальтированное шоссе.

Точного времени визита во дворец установлено не было, так как мы не могли знать определенно, когда доберемся. Нам было раз-

решено доложить о себе в любое время. Решили не спешить и сначала осмотреть Вадуц. Тогда в нем было около двух тысяч жителей. Строения располагались далеко друг от друга, а между ними — сады и виноградники. За час-полтора мы обследовали всю столицу. Над городом возвышалась гора Три Сестры, на склоне которой был расположен старинный замок, где хранились ценности античной культуры. Сальвия знал об этом замке, и мы хотели его осмотреть, но замок оказался закрыт из-за почти полного отсутствия туристов, как нам потом объяснили. Человек, работавший в саду замка, посоветовал нам вернуться на главную улицу, которая так и называется Хауптштрассе, и зайти там в почтовый музей, где была развернута выставка фламандских художников. Здесь я впервые увидел некоторые картины Рубенса, Ван Дейка, Брейгеля и других, но из всех этих имен мне был знаком немного только Рубенс. Обо всех остальных я слышал впервые.

Около четырех часов дня пришли в правительственный дворец. Это был средневековый замок с каменными башнями по углам, обнесенный зубчатыми стенами. Вход в него охраняет пушка XVIII века, которая участвовала в битве с прусским королем Фридрихом II 18 июля 1757 года, когда Австрия и Лихтенштейн отстаивали свою независимость. Никакой охраны я не заметил, да и вообще вблизи дворца-замка не видно было ни одного человека. Поблизости, правда, стояли две машины, и в одной из них сидел шофер. У него мы и спросили, можно ли заходить в замок сразу или нужно сначала где-то доложить. Ответ я не понял, но Сальвия повел меня сразу к парадному входу замка. Внутри замка все было оборудовано по современному, только снаружи он сохранил облик строения XVI века (1523). Окна тоже были не средневековые, а большие и широкие. Много света, всюду ковры, цветы и картины. Нас провели в кабинет к королю, куда мы вошли без стука и предупреждения.

Король сидел за столом напротив входа, а рядом находился весьма пожилой человек — как потом оказалось, единственный министр в государстве. Были тут еще мужчина и женщина, которые после нашего появления сразу вышли. Король встал, подал руку Сальвии, и так, держась за руки, они некоторое время о чем-то говорили на французском языке. Потом Сальвия представил меня,

и король перешел на немецкий. Он сказал, что впервые видит русского солдата, но вообще русских часто встречал в Париже и даже знал несколько русских слов. Кабинет я уже смутно представляю, но помню, что на стенах висели два или три портрета и картина, изображающая сельский пейзаж со стадом пасущихся коров. Сам король мой ровесник, ростом высок, но никаких королевских аксессуаров на нем не было: рубашка с короткими рукавами, европейская стрижка по моде тех лет и все. Его можно было принять за студента, банковского клерка или обычного служащего. Беседа продолжалась около часа. На столике с колесиками нам подали кофе в маленьких чашечках, на тарелке лежали круглые шоколадки, похожие на большие монеты, и больше ничего. Время было не обеденное.

Речь в основном шла о газетных статьях Сальвии о Лихтенштейне, в которых король, возможно, был очень заинтересован, о влиянии войны на жизнь и экономику Лихтенштейна. Министр сожалел о прекращении поступления доходов с дворца в Вене, который ранее сдавался в аренду, а теперь пустует, и о сокращении австрийского стада коров, которое пасется на склонах горы Три Сестры. За право пасти скот на своей территории Лихтенштейн тоже получал какие-то деньги.

Я рискнул спросить, как удалось уцелеть такому маленькому и незащищенному государству за его долгую историю. Король объяснил, что история его страны не была безмятежной и что в прошлом его немногочисленному народу пришлось принимать участие во многих войнах, но сейчас обстановка изменилась, так как существование этого государства и его банков выгодно обеим воюющим сторонам, поэтому Лихтенштейн может пока дышать свободно. Раньше наша армия, говорил он, достигала ста человек, а теперь она нам не нужна. Последний отставной солдат умер в 1939 году. После этого беседа перекинулась на русско-германский фронт. Я рассказал кратко о ходе боев, свидетелем которых был сам, о жизни в плену и о побеге из лагеря.

В конце беседы король пожурил Сальвию, что не пришли сразу к нему, он бы дал нам машину, на которой мы могли бы объехать и осмотреть все его владения. Мы отговорились тем, что когда идешь пешком, то видишь больше, нежели из салона машины. Ми-

нистр с нами согласился и сказал, что если бы ему было столько же лет, то он бы предпочел пешую прогулку поездке в металлическом ящике. Обратно на берег Рейна мы тоже пошли пешком. Было бы неразумно в таком романтическом месте, как Лихтенштейн, ехать на машине.

Так закончилось наше «заграничное путешествие» без виз и паспортов. Надо было спешить к поезду, так как Сальвие завтра на работу. Рейн здесь неширокий и переплыть его было нетрудно во всех отношениях. Ни на одной из сторон нам не нужно было скрываться или затаиваться, хотя считалось, что граница здесь закрыта. Движение по мосту действительно было перекрыто и на нем стояла охрана, но сама река, видимо, не считалась закрытой, кому надо — пожалуйста, переплывай. Меня как бывшего пограничника эти порядки удивляли. У нас только попробуй переплыть пограничную реку! Если не застрелят, то приплывешь прямо в Воркуту или Магадан. Но здесь, к счастью, были другие порядки, и «мудрые» указания тов. Сталина и его ближайших соратников сюда не доходили.

Прошли десятилетия, и в 1983 году, почти через сорок лет после нашего заплыва в Лихтенштейн, в журнале «За рубежом» я прочитал, что король Лихтенштейна Иосиф II после 46 лет правления передал руководство страной своему сыну Гансу Адаму. Короли тоже стареют.

Швейцарские будни

Домой вернулись поздно. Поезд из Заргана пришел в Базель уже в двенадцатом часу, причем не на центральный вокзал, который недалеко от «Энгельгофа», а на какой-то новый вокзал, расположенный на правом берегу реки в Новом Базеле. О существовании этого вокзала я раньше даже и не знал. Рядом с этим вокзалом находится еще один вокзал. Он был сдан Германии в концессию под давлением гитлеровского правительства, поскольку напрямую через Швейцарию шли немецкие эшелоны в Италию, в том числе, конечно, и военные. Решили заглянуть сюда. Сальвия сказал, что здесь он тоже никогда не был. На вокзале уйма военных — солдат и офицеров. Это обстоятельство не вызвало у меня особого энтузиазма и ра-

дости: вдруг спросят документы? Ведь людей в гражданской форме здесь почти нет. На вокзале работает газетный киоск, где пожилой немец в валенках торгует газетами. Мы купили всех изданий по одному экземпляру, все они мне хорошо знакомы. В Германии обрывки этих газет я поднимал иногда на дорогах или еще где-нибудь, чтобы узнать, что пишут немцы о положении на фронтах. После этой покупки мы поспешили уйти, незачем искушать судьбу. Сальвие, пожалуй, ничего не угрожало, а для меня это был риск. Позднее мы с Аржановым еще не раз заходили на этот вокзал, когда бывали в районе Нового Базеля, но всегда, купив газеты, быстро удалялись.

Однажды мы были приглашены в гости к одному из наших базельских знакомых, некоему Бозигеру. Он работал в какой-то торговой фирме и самостоятельно изучал русский язык. Предполагалось, что его фирма будет торговать с Россией после окончания войны. Узнав, что в «Энгельгофе» живут русские студенты, он зашел к нам как-то для консультации. Дома был один Аржанов. Представившись и объяснив, зачем он пришел, гость сразу задал Аржанову вопрос, который его, филолога с высшим образованием, поставил в тупик: «Два стола, три стола, четыре стола, а пять столов! Почему?» Аржанов рассказал об этом мне, но я тоже не имел понятия, почему четыре стола, а пять столов. Потом он заходил к нам еще не раз, и мы ему в какой-то мере помогали. И вот теперь он пригласил нас к себе. Пришли мы с опозданием минут на 30. На двери висит записка, что он ждал нас 15 минут и больше ждать не может. Мы прочитали, переглянулись и пошли обратно. Это была заслуженная пощечина нашей русской неорганизованности и расхлябанности. В дальнейшем нам кто-то объяснил, что в Швейцарии принято ждать опаздывающих гостей не более 15 минут, после чего визит уже становится нежелательным.

Оказалось, что дом нашего предполагаемого гостеприимца, красивый двухэтажный особняк с небольшим садиком, находится почти рядом с немецким вокзалом. Решили зайти. На вокзале было пусто. Только тот же немец в валенках сидел и дремал в своем газетном закутке. Купили газеты, разговорились о том о сем, в конце сказали, что дела немцев плохи и скоро Гитлеру капут. Немец вскочил на свои дряблые ноги и начал кричать на весь зал, что мы

коммунисты, иудеи, что Германия еще покажет себя, что уже готово оружие возмездия и все в таком же роде. Такой бурной реакции от него мы не ожидали и поспешили ретироваться. С тех пор на этот вокзал мы никогда уже не заходили.

Старый и Новый Базель расположены на разных берегах Рейна и связаны многими мостами. Один из них, самый широкий, называется Рейнбрюке. Это и самый красивый из всех мостов Базеля, построенный в конце XIX века. Много лет спустя, уже здесь, в Свердловске, Полина Ивановна Энер, мать моего друга Валентина Андреевича Энера, не раз мне рассказывала о главном строителе этого моста. В годы своей молодости она жила в Базеле и хорошо знала семью этого инженера и его самого.

На Рейнбрюке шла оживленная торговля всякой всячиной. Тут было много мелких ларьков и лавок. Здесь же стояли телескопы и за небольшую плату можно было посмотреть на Луну. Здесь же выступали проповедники, бродячие акробаты, фокусники и артисты. В летние вечера мост и его ближайшие окрестности, наравне с казино, в некотором смысле служили увеселительным центром города.

Казино — это едва ли не единственное примечательное место в Базеле, где мы ни разу не были. Расположено оно было в самом центре Старого Базеля. Это было огромное и высокое здание с глухими стенами, окон не было. По форме оно напоминало обувную коробку: крыша была плоская и никаких архитектурных украшений. Ежедневно, иногда по несколько раз, мне приходилось проходить мимо него. Вечерами вокруг этого здания всегда стояли сотни машин богатых швейцарских и иностранных тузов. Я уже говорил, что американские интернированные получали 25 франков в день, огромные по тем временам деньги. Хороший костюм стоил 60—70 франков, а часы — 15—17. Но наши знакомые американцы тоже бывали в казино очень редко, так как и у них не хватало для этого денег. Нас с Аржановым они агитировали посетить казино хоть раз, но зная, что для этого нужно было иметь хотя бы 150—200 франков, мы, конечно, отказались от этого визита. По рассказам, здесь можно было найти все: ресторан, бассейн, игровые рулетки, красивые девочки, театр, спортивные залы, зимний сад, множество интимных кабинетов и прочее. Хотя все эти услуги тогда были значительно дешевле,

чем в довоенные годы, но по нашим масштабам и возможностям все равно это было умопомрачительно дорого. Поэтому казино осталось, так сказать, в тени нашего интереса и внимания.

В начале августа 1944 года Швейцария праздновала 500-летие со дня битвы при Санкт-Якобе. Празднование проходило 5 августа в Базеле, так как битва произошла недалеко от этого города и памятник погибшим был воздвигнут тут же. Не помню точно, с кем сражались швейцарцы в 1444 году, знаю только из чьего-то рассказа, что их было не более пятисот человек и что все они погибли. Это событие отмечалось раз в пять лет, в 1944 году празднество как раз должно было состояться. За много месяцев до него в магазинах появились костюмы времен швейцарского ополчения и предметы антуража — огромные головные уборы, снабженные рогами, оружие того времени, сбруя для лошадей, музыкальные инструменты и многое другое. Народное шествие начинали пятьсот всадников, вооруженных и одетых по моде той эпохи. За ними шел федеральный вице-президент Пиле-Гола, далее члены правительства, а вслед за ними ректоры всех швейцарских университетов. После них шла вся прочая публика, которая, как и ректоры, и члены кабинета, была одета в костюмы середины XV века. Всего в шествии участвовало около 250 тысяч человек, тогда как население самого Базеля было только 170 тысяч. Многие приехали из других городов Швейцарии, чтобы пройти от городской ратуши к памятнику погибшим в той битве. Памятник находился за городом, до него было около четырех километров.

Возле памятника на широком просторном лугу участников шествия ждали сколоченные деревянные столы, общая длина которых достигала нескольких километров. На столах стояло вино и холодные закуски. Тут же на столе к деревянной приставке были приклеены прейскуранты с ценами. Кроме того, в многочисленных палатках можно было купить все, чего не хватало на столах. Было много музыки, в том числе и средневековой, аттракционов, разных спортивных соревнований, в том числе стрельба из лука, метание копья и прочее. Речи ораторов, усиленные микрофонами, были слышны по всему полю. Праздник закончился лишь с приходом темноты. Домой мы вернулись поздно и потом долго обсуждали, сколько же

средств понадобилось властям и участникам, чтобы организовать такое средневековое шествие в середине XX века. Шокировали и контрасты на фоне мировой войны.

Пора домой

Но время идет. На календаре август, а еще 6 июля союзники высадились на побережье Франции. Прорвав оборонительный вал, американские и английские дивизии начали стремительное продвижение на восток. Было ясно, что скоро они достигнут швейцарской границы и нам откроется дорога для возвращения на родину.

Вскоре после высадки, точнее 20 июля 1944 года, было совершено покушение на Гитлера. Под стол в кабинете, где проходило совещание, была подложена бомба. Гитлер уцелел, отделавшись испугом и легким повреждением руки, но для его Третьего Рейха это был еще один серьезный звонок, предвещающий неотвратимую гибель. Подложил портфель с бомбой полковник Клаус Штауфенберг, начальник штаба армии резервов и начальник штаба «Черной капеллы» — военно-политической организации, возникшей еще в 1934 году после «ночи длинных ножей». Гитлер жестоко расправился с заговорщиками. Было казнено 150 человек, из них многие сами покончили с собой.

Париж был освобожден 23 августа, а в середине сентября союзные войска подошли к границам Швейцарии. Наши власти из Лондона через английское посольство в Берне передали директиву — готовиться к отъезду. Председателю Русского комитета в Швейцарии капитану Мамайкину письмо это передал шофер английского посла, русский по национальности, бежавший из России с семьей в 1919 году. Передавая письмо, он сказал: «Поздравляю, для вас открылась возможность переехать из Швейцарии в Сибирь». Далее он добавил, что посол просил передать, чтобы все русские, желающие возвратиться на родину, были готовы к отъезду 14 ноября. Мамайкин позвонил нам в тот же день и уведомил о предстоящем отъезде людей во всех трех лагерях.

Времени оставалось еще около недели. Оставив университет и распростившись со всеми знакомыми и друзьями в Базеле, мы

с Аржановым вернулись в Текнау, точнее в деревню Зеглинген, а Добролюбов, Шуляк и Алиев уехали в свой лагерь, расположенный где-то в итальянской части Швейцарии.

Намечался еще один крутой поворот в нашей жизни, из одной системы надо было переместиться в другую, из капиталистической — в передовую, социалистическую. Но в промежутке между этими двумя точками у нас было еще несколько месяцев. Правда, тогда мы об этом еще не знали. Перебросить нас на родину по суше было нельзя, а доставить морем в какой-либо порт мог только корабль союзников, для которых эта задача в ту пору не была первоочередной.

Ответственным за сбор и организацию отъезда был, конечно, Русский комитет, значит и я в том числе, поскольку был его членом. Накануне отъезда наши политические эмиссары провели во всех трех лагерях соответствующие беседы, все были рады выехать на родину, но ночью по несколько человек из каждого лагеря бесследно исчезли. Из шести сбежавших из нашего лагеря отыскать удалось только одного, но вернуться в лагерь он отказался наотрез. «В России у меня почти никого из близких нет, а здесь я женат и у меня скоро будет ребенок», — сказал он. Примерно такие же объяснения дали и отказники в других лагерях, с которыми удалось побеседовать.

Истинная причина была очевидной. Проработав несколько лет в колхозе с почти нулевой оплатой трудодня, человек уже не рвется более в этот колхоз. Мобилизованный в армию из городского барака тоже не торопится вернуться в свой клоповник. Но это еще не главная причина. В конце концов, можно построить квартиры, поднять благосостояние работников в колхозах. Эти проблемы хоть и нелегкие, но, в принципе, разрешимые. Больше всего людей отпугивала атмосфера лжи, страха и угроза тюрьмы или лагеря за одно неосторожное слово или какой-либо малейший проступок. Наверное, все уезжали с такими мыслями и чувствами, но только редко кто делился ими.

Не знаю точно, когда и при каких обстоятельствах в Швейцарии была интернирована польская дивизия, около семи тысяч человек. Один из них был мне хорошо знаком. Мы познакомились с ним в поезде Ольтен — Базель и потом встречались несколько раз. Лагерь, где размещалась эта дивизия, находился недалеко от Тек-

нау, и узнав о нашем отъезде, Стась, так звали моего польского друга, приехал в Текнау, чтобы «навсегда распроститься», как он выразился. Стась хорошо знал немецкий и плохо русский, но при наших встречах он всегда старался говорить по-русски. Тогда, при нашей последней встрече, мы долго сидели в местном локале, немного выпили, потом еще долго бродили по окрестностям Текнау и деревушки Зеглинген, беседуя о том о сем, а в конце он сказал: «Вы все напоминаете мне баранов, которые, не зная где бойня, идут туда сами, пощипывая траву». Я, конечно, понимал, что это не совсем вежливо, но в сказанном была большая доля истины, и возражать или обижаться я не стал. Я знал и то, что других дорог у нас нет, если мы не хотим поставить под удар наших отцов, матерей, сестер и братьев. Да и вообще, люди покидают родину навсегда только в исключительных случаях, когда уже действительно «возврата нет». У нас же еще были надежды избежать суровых репрессий, поскольку нас очень и очень много. Так что нужно было готовиться к отъезду и делать вид, что ты этому очень рад.

Накануне отъезда в Зеглинген приехала жена Боденмана Марта, ее дочь Лиза, Эмми Гюртлер и еще несколько человек из молодежи, знакомой и близкой нам по Базелю. Несмотря на позднюю осень, стояла теплая погода. Мы долго бродили по окрестностям Текнау у деревушки Зеглинген. У Эммы был фотоаппарат, а местный фотограф успел отпечатать все наши снимки, но почти все эти фотографии были утрачены или конфискованы потом во время обысков по прибытии в Одессу. На фотографиях мы выглядели веселыми, улыбающимися и беспечными, но на душе было тяжело и беспокойно уже только от одного сознания, что этих людей, приехавших за сорок с лишним километров, чтобы проститься с нами, мы никогда больше не увидим. И Базеля, и Швейцарии тоже... Ведь когда осознаешь, что видишь кого-то или делаешь что-то в последний раз, на душе всегда становится грустно. Тогда еще не было понятия «черная дыра». Но сейчас это возвращение ассоциируется у меня с переходом через гравитационный радиус в черную дыру, откуда уже не поступит от нас никаких известий, никакой информации, ни письма, ни звонка, ни телеграммы, да и от них к нам тоже.

Глава 5

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Опять Франция

Ранним утром 14 ноября мы выехали в Женеву. Там час или два сидели на вокзале, а потом погрузились в вагоны и поезд тронулся в сторону Франции. Я плохо помню эту поездку. Из Швейцарии мы захватили порядочно вина. Дорогой пили, умеренно конечно, но пили. Возможно, это и было причиной того, что поездка стерлась из памяти в большей степени, чем некоторые более ранние события. Ехали в товарных вагонах, нары в два этажа, на них только солома. Погода стояла почти летняя. Мы были одеты в американскую военную форму, пальто или шинелей не было, но от непогоды мы не страдали и от голода тоже. Давали нам сухой паек, это красивая картонная коробочка, в которой были консервы, шоколад, галеты, жевательная резинка для чистки зубов после обеда и даже туалетная бумага. Такой харч нас вполне устраивал, он казался даже роскошным. У консервных банок сбоку был прикреплен ключик, его легко можно было снять и открыть банку без всякого ножа. Такие пайки выдавали американским солдатам, когда они не имели возможности получать горячую пищу.

Итак, опять Франция! Чуть более года тому назад я один топал по этой стране пешком, пробираясь в Швейцарию, теперь, покидая ее, я ехал по земле Древней Галлии поездом, и уже не один, а с большой группой русских беделог, которых война закинула в этот юго-западный угол Франции.

К Женеве примыкает Савойя — историческая область Франции, входившая когда-то в Бургундское королевство, только в 1860 году эта область была присоединена к Франции Наполеоном III. В 1942—1943 годах ее оккупировали итальянцы, потом,

в 1943 году, немцы, но сейчас тут нет ни тех ни других. Немцы отступили далеко на восток. Из вагона виден осенний пейзаж. Опадают листья, и деревья стоят уже почти голые. В садах завершаются работы, в полях пустынно, только кое-где можно видеть на дорогах крестьянские повозки, груженные свеклой и другими овощами.

Первая продолжительная остановка была в Шамбери. Рядом с нашим составом, но немного впереди, остановился воинский эшелон с американскими солдатами. Многие из них вышли из вагонов, чтобы размяться, и почти все, разбившись на пары, начали боксировать. Видимо, бокс у них уже тогда был популярен как спорт и как средство против гиподинамии. Однако среди них не оказалось человека, владеющего русским или немецким языком, а английского из нас почти никто не знал. Прошли минуты, их эшелон тронулся, и мы поняли только, что их путь лежит на Лион, ближе к фронту.

Наш поезд еще долго стоял, почти весь день, а к вечеру двинулись и мы. Оказалось, что едем на Лион, а не на Гренобль, как думали вначале. В Лионе были утром. Никто не знал точно, когда поедем дальше, поэтому было объявлено, чтобы никто не уходил далеко. Но время шло, а отправлять нас никто и не думал. Потом стало известно, что мы вообще не сдвинемся еще долго. Где-то что-то разбомбили, надо ремонтировать, а потом дорога Марсель — Лион будет сильно перегружена. Марсель — главный порт, через который шло снабжение американских дивизий, а из него поток грузов направлялся в основном на Лион. В такой обстановке союзным железнодорожным властям было тогда не до нас и нам было сказано, что придется задержаться.

Состав загнали куда-то на задворки Лиона. Туда же было стянуто множество поврежденных и обгоревших вагонов. Между рельсами росла трава и даже кусты, а это значило, что кладбище паровозов и вагонов было заложено еще в 1940 году и с тех пор так и не тронуто. Вот сюда нас и загнали.

Мы собрали совещание бывшего Русского комитета в Швейцарии и рассудили, что без помощи наших властей мы отсюда скоро не выберемся. Из французских газет кому-то из наших удалось понять, что дипломатические представительства во Франции, в том числе и наше посольство, находившиеся всю войну в Алжире,

возвращаются в Париж. Комитет решил послать в Париж своих ходоков, чтобы они объяснили послу обстановку и попросили его содействия. От Лиона до Парижа два часа езды по современным скоростным дорогам, но тогда это расстояние нам казалось громадным и требовало оно намного больше времени.

Выбор пал на Мотору, который немного знал французский, знал плохо, но все же лучше других. Вторым был Ковальчук, который знал английский, тоже не бог весть как, но понять и сказать самое необходимое мог. Третьим был я, назначенный по старой привычке, так как в Швейцарии связь с властями приходилось поддерживать в основном мне, а знание немецкого языка теперь уже значения не имело. Встал вопрос о документах, ведь первый же патруль мог задержать нас как бродяг. Русский текст документа мы составили втроем. Теперь его надо было перевести на английский и французский, но знания наших «лингвистов» для этого были совершенно недостаточны. С помощью американского коменданта вокзала быстро нашли человека, знающего оба языка, текст перевели, поставили печать, и в тот же день мы выехали в Париж.

Ехали чуть меньше 10 часов, приехали рано утром, но где искать советское посольство никто из нас, конечно, не знал. Спрашивали многих, в том числе и полицейских, но указать адрес посольства не мог никто. Один регулировщик, к которому мы обратились с тем же вопросом, направил нас в квартал, где, по его словам, живет много русских, а там непременно должны знать, где располагается наше посольство. Квартал этот мы быстро отыскивали, и действительно, вскоре слышали русскую речь. Обратились к молодому парню, который говорил по-русски не хуже нас, но адреса он тоже не знал и вообще засомневался, было ли тогда в Париже русское посольство. Мы объяснили ему, что слышали по радио о переезде посольства из Алжира в Париж. Тогда парень зашел в ближайший магазин, куда-то позвонил и потом сказал, что французские власти только предложили всем посольствам перебираться из Алжира в Париж, но еще ни одно из них не переехало и не известно точно, когда это случится, ведь Париж освобожден немногим более двух месяцев тому назад.

После этого стало ясно, что затея наша была не очень умной, так как еще в Лионе можно было узнать, переехало ли русское посольство в Париж или еще нет. Сухой паек, которым нас снабдили в Лионе, стремительно таял, денег нет ни копейки, о франках уж и не говорю. Правда, предполагалось, что наша бумага давала нам право на бесплатный проезд в Париж и обратно и билетов никаких нам не требовалось, но этого все же было мало. Мы знали также, что в любой американской военной части нас накормят, заглянув в наши бумаги, но где ее искать? Воинские части ведь не на каждом углу и не на каждой станции между Лионом и Парижем.

Париж только еще оживал от четырехлетнего оцепенения, вызванного немецкой оккупацией. В нем много чего не хватало, плохо было и с транспортом. Мы порядком намучились, прежде чем установили, что делать нам здесь совершенно нечего, смотреть красоты Парижа не время и надо возвращаться. Так прошел день, нам нужно было где-то передохнуть, но без денег это сделать вряд ли возможно. Поехали на вокзал, автобус набит до предела, билетов никто не продает и никто их не спрашивает. Похоже, люди в военной форме вообще освобождались от оплаты проезда в городском транспорте. Прибыли на вокзал, но оказалось, что совсем не на тот, на который мы приехали из Лиона. В Париже вокзалов несколько, и мы поначалу расстроились, но потом узнали, что в Лион можно уехать и отсюда.

На вокзале было много военных, мы попытались с кем-нибудь заговорить, призвав Ковальчука мобилизовать весь свой лексический багаж. Сразу заметили, что наши собеседники вроде бы не американцы и, судя по форме, совсем уж не англичане и не французы, которых мы более или менее знали. Оказалось, что это канадцы. Их бригада или даже дивизия передвигается куда-то на восток. В глаза бросалась удивительная простота в отношениях между офицерами, младшими чинами и рядовыми солдатами. При встрече никто не козыряет, переходя на строевой шаг, а просто приветствуют друг друга легким взмахом руки и только. Форма, по крайней мере полевая форма рядового солдата, ничем не отличается от формы офицера, различие лишь в нашивках на рукаве, да еще на погонах были какие-то отличительные знаки. К нам они отнеслись тоже

без всяких предвзятостей и подозрений, свой документ мы показали какому-то офицеру сами, никто его у нас не спрашивал, а все, что мы рассказали, они приняли как должное, ничему не удивились и ничто не поставили под сомнение.

В то время никто из нас не знал, есть ли у них свой НКВД, спецотдел, оперативники и т. п., но сейчас я знаю, что в Канаде есть королевская конная полиция — эквивалент нашего тогдашнего НКВД по функции, но не по методам и не по масштабам террора и произвола. Оказалось, что по крайней мере часть пути у нас совпадает. Правда, никто из наших собеседников точно не знал, куда направляется бригада, но было известно, что до Дижона она будет двигаться определенно, а это более чем половина пути до города на Роне, куда мы должны были вернуться.

Среди наших знакомых оказались минометчики. У них были небольшие минометы, которые стреляют на расстояние до 5—6 километров. Каждая мина весит 8 килограммов, расчет миномета три человека, но если будет четвертый, то это никому не мешает. Так мы все трое распределились по разным минометным расчетам и решили, что будем подавать мины, если уж такая необходимость возникнет.

Едем. Подолгу стоим, иногда даже вдали от станций, но все-таки едем. Железнодорожный путь проходит восточнее того пути, по которому мы добирались из Лиона в Париж. Здесь еще недавно шли бои, поэтому и задержки происходят гораздо чаще. Почти сутки ехали до Дижона. Приехали днем, но города не видели, так как приказано было выгружаться где-то на перегоне, километрах в шести от города. Погрузились в машины, которые уже стояли здесь и ждали бригаду. На машинах прибыли на полигон, построенный и оборудованный еще немцами, а может быть и французами еще до оккупации. На полигоне уже дымят кухни, которые топят сырой нефтью, стоит множество палаток, каждая на 12 человек, а в них легкие металлические койки, застеленные белыми простынями. Видимо, и до нас здесь перебивало уже немало частей. Полигон был чем-то вроде пересыльного лагеря. Здесь проверялось оружие, проходили тренировочные стрельбы и изучались карты района, где предположительно будет действовать часть.

Наша палатка оказалась заселена полностью, в то время как в других чуть ли не половина коек была свободна. В одной из таких полупустых палаток я познакомился с солдатом, который отлично говорит по-немецки, так как сам происходит из немецкой семьи, переехавшей в Канаду еще в 1912 году. Он тоже был минометчиком и по моей просьбе договорился с кем-то, чтобы меня перевели в его палатку и в его расчет. Так я на время отделился от Ковальчука и Моторы.

Прошло два дня, а мы все еще ничего не делаем. Кто-то играет в футбол, кто-то в карты, иные читают старые газеты и журналы или пишут письма домой. Кормят до отвала, норм никаких, регламента пока тоже никакого. Обедать или завтракать можно в любое время, когда захотел — тогда и приходи. Кухня работает едва ли не круглые сутки. Только на третий или четвертый день всем минометчикам бригады было приказано провести полевые стрельбы. Каждый миномет должен был сделать всего по четыре выстрела. Видимо, снарядов было у них в то время еще не густо. Я прошел курс «подающего». Мины не очень тяжелые, передавать их из ящика заряжающему — не проблема, если, конечно, противник не ведет по тебе прицельного огня.

В это время американские войска вели бои в районе города Эпиналь. На полигоне были репродукторы, сообщались подробные сведения об этих боях. Я ничего не понимал, конечно, но по пересказам моего немецкоговорящего канадского друга, имя которого я сейчас никак не могу вспомнить, знал в целом обстановку и ход событий в районе Эпиналя. Передавали, что позиции немцев волнами бомбили 200 самолетов, выпущено столько-то артиллерийских снарядов и что потери американцев составили четыре человека и несколько раненых. После этого последовало сообщение, что американские войска штурмом захватили город и что дивизии, участвующие в этой операции, получили двухнедельный отдых.

После взятия Эпиналя, на быстрое овладение которым союзники, видимо, не рассчитывали, дальнейший маршрут канадской бригады стал неясен. Прошел слух, что она на продолжительное время задержится в районе Дижона. В таком случае наше дальнейшее пребывание здесь не имело смысла. Сведений о прибытии

посольств из Алжира в Париж все еще не было, и мы решили возвратиться в Лион. Тем более, что там нас наверняка уже ждали. Отрезок дороги Дижон — Лион уже нормально функционировал, и нам не стоило большого труда туда вернуться. Ехали мы в хорошем пассажирском вагоне, билетов у нас не было, но их никто и не спрашивал. Видимо, американская военная форма, в которую мы были тогда одеты, и служила нам пропуском.

Наши в Лионе стояли все на том же месте. Организованно, группами им был разрешен выход в город, но к вечеру все должны были собираться в своих вагонах, так как в городе и на вокзале действовал комендантский час. Мы доложили о безрезультативности своей поездки, рассказали об успехах союзных войск в районе Эпиналя и решили, что нам надо просто чаще тормозить железнодорожное начальство. Сейчас у них больше возможностей вывезти нас из этого тупика и добросить до Марселя.

Наконец поезд был подан — товарные вагоны, приспособленные немного для перевозки людей. Теперь мы уже точно знали, что едем в Марсель — второй по величине город Франции после Парижа. Оттуда, видимо морем, нас собираются перекинуть куда-то дальше. На календаре конец ноября, но погода еще сравнительно теплая. Днем она напоминает наше русское «бабье лето», которое бывает у нас обычно в первой половине сентября. По вечерам и ночью было уже прохладно.

Поезд идет быстро. Расстояние от Лиона до Марселя около 350—400 километров, шесть часов езды без особых задержек. Первая остановка в городе Вьене. Стояли недолго. Кому-то из наших знатоков французского языка удалось выяснить, что городок маленький и особых достопримечательностей не имеет. Затем был Валанс, тоже небольшой город с населением около 40 тысяч жителей. Валанс знаменит собором, построенным еще в XI веке, но увидеть его нам не удалось, так как время стоянки было ограничено. Перед Валансом и еще некоторое время после него из окна вагона была видна Рона. Дорога шла мимо этой реки, временами немного отклоняясь от нее. Это одна из крупнейших рек Франции. Еще в пятом или шестом классе я запомнил: Сена, Рона, Гаронна, Луара. И вот теперь одна из них передо мной — вероятно, самая красивая

из всех рек Франции, так как протекает по южным департаментам с теплым благодатным климатом. После Валанса были еще остановки в Монтелимаре, Боллене, Оранже и Авиньоне, но почти все они были кратковременными и мы даже не покидали вагонов.

Среди нас был бывший преподаватель литературы в Московском педагогическом институте. Фамилия его Трифанов. Он был автором довоенного учебника литературы для девярых классов. Тогда ему было уже за 40 лет и он, конечно, был много образованнее и начитаннее нас. Он хорошо знал Францию, особенно места, связанные с жизнью писателей и других деятелей культуры. От него мы услышали, что здесь, недалеко от Оранжа и Авиньона, в маленьком городе Карпантра долго жил мыслитель и идейный вождь первого поколения итальянских гуманистов Франческо Петрарка, а что касается «авиньонского пленения пап», то об этом некоторые из нас и сами слышали. С 1309 до 1377 года Авиньон был резиденцией пап, и Петрарка жил при дворе папы, но потом переехал в Карпантру, где и прожил в спокойном сельском уединении более двадцати лет. Именно здесь он написал все свои наиболее значительные произведения, в том числе и «Книгу песен».

В сорока километрах от Авиньона находится город Тараскон. Тогда в нем жило всего-то около 10 тысяч человек, но многие из нас знали его, так как читали А. Додэ «Тартарен из Тараскона». Смутно вспоминаются еще остановки в Сена и Экс-он-Провансе, а после них уже был Марсель, где многие из нас впервые увидели море.

Никаких квартир, палаток или другого убежища в Марселе нам не предоставили, полагая, видимо, что быстро отправят нас куда-то дальше, но мы прожили здесь около четырех дней. Вблизи города вдоль берега моря стояло великое множество американских грузовиков. Кузова некоторых из них были закрыты брезентом. В этих машинах мы и разместились. Машины, казалось, никем не охранялись, так как мы не увидели здесь ни военных, ни гражданских. Изредка, правда, появлялись солдаты, брали одну-две машины, куда-то уезжали, а потом ставили машины обратно, и опять тишина.

Марселя мы так и не увидели, только издали. Бывали в порту, но это еще не город. Мы знали, что город большой и старинный. Основан он еще в VI веке до нашей эры, но ни о каких достопримечательностях мы ничего не знали.

мечательностях его никто из нас ничего не слышал. Вспомнили лишь «Марсельезу», которая была как-то связана с Марселем, но суть этой связи ни у кого из нас в памяти не сохранилась. Это уже потом я прочитал, что в 1792 году марсельцы пришли на помощь восставшему Парижу с боевой, только что написанной капитаном Руже де Лилем песней на устах. Это и была «Марсельеза», впоследствии ставшая национальным гимном Франции.

Но вот получена команда — подготовиться к посадке на корабль. Собрав свои альпийские ранцы, мы пошли в порт. Это километра полтора, и здесь мы уже бывали, когда приходили смотреть на море и корабли. В то время Марсель был крупнейшим мировым портом. Через него в основном снабжалась американская экспедиционная армия, поэтому кораблей в порту было много, как военных, так и гражданских. Нас посадили на какой-то большой, старый, сильно потрепанный и обшарпанный корабль. Было видно, что в войну он уже изрядно поработал. Всюду были видны следы поспешного и явно временного ремонта — залатанные повреждения от обстрела или бомбежки. Плыть нам на нем, как оказалось, недолго, только до Тулона. Это час или два, а там предстояла пересадка на американские десантные баркасы.

На море была качка, и уже во время этого часового перехода из Марселя в Тулон многих укачало. Одного даже пришлось снять с корабля и положить в госпиталь. Это был бывший судья в каком-то сельском районе. Фамилию его не могу вспомнить, а лет ему было около сорока. В Швейцарии мы некоторое время находились с ним в одном лагере, он часто рассказывал, как проходили суды в 30-е годы. Приговор выносил не суд, а райком или обком партии. Телефонный звонок «из парторганов» — и о приговоре уже думать было не нужно. Чтобы ликвидировать попов и других служителей культа, их облагали налогом заведомо таким, что оплатить его невозможно, а потом — суд и за неуплату налога 10 лет лагерей в отдаленных районах, что практически означало смерть. Так искоренялся «духовный опиум для народа» в сталинские времена.

Теперь я уже мало что помню о переправе из Марселя в Тулон, разве что этот эпизод с судьей да еще то, что шли не очень далеко от берега, на котором все время были видны белые здания курорт-

ного типа, рыбацкие деревни и портовые города Ла-Сьота и Ла-Сен. В Тулоне задержки не было никакой, почти сходу нас разместили на четырех десантных баркасах, примерно по 250 человек на каждый. На нашем командой была целиком негритянская и только капитан — белый американец.

Вышли из Тулона вечером, когда было уже почти темно. Нас строго предупредили о светомаскировке, на курение был наложен абсолютный запрет до полного рассвета, так как существовала угроза встречи с немецкими подводными лодками. Направление движения никто из нас не знал, плывем и все, а куда и когда пришьвартуемся, об этом знал разве что только капитан.

Абсолютное большинство из нас встретились с морем впервые. Почти сразу же, в первую ночь, попали в порядочный шторм. Не знаю уж, какими баллами он оценивался, но наши маленькие суденышки бросало с волны на волну почти как щепки — временами аж душа замирала. Средиземное море вроде бы не отличается особой свирепостью, но тут оно разбушевало во всю свою мощь. Для нас, новичков, картина этой озверевшей стихии была страшной, но даже и опытных моряков из команды баркаса она начала смущать в первые же часы разгула.

Ночь уже поздняя, но никто не спит. Все лежат посиневшие и побледневшие от качки, многих уже давно рвет, но шторм не стихает. Утро. По времени должен быть завтрак, у всех стандартные армейские пакеты с сухим пайком, а чай или кофе должен готовиться на баркасе. Но завтрак был никому не нужен. К своему удивлению я заметил, что зыбь и бешеная качка шторма на меня не действуют. Немножко даже приятно вот так покачаться на волнах, вцепившись руками в какую-нибудь прочную опору. Аппетит тоже сохранился, и я выпил кофе вместе с матросами, свободными от вахты. Днем меня заметил капитан, дал мне большой кулек с какими-то конфетами и велел всем совать их прямо в рот. Помогали они мало, но все-таки делать это, видимо, рекомендуется.

Как потом оказалось, мы шли в Италию, на Неаполь. Эскорта или какой-то иной защиты у нас не было, поэтому любая встреча с кораблем противника означала бы гибель. Маршрут был предписан обходной, исходя из предположения, что немецкие

подводные лодки разбойничают в основном на более оживленных морских путях, но мы плыли прямо. Прошло около двух с половиной суток, прежде чем мы увидели Неаполитанскую бухту и курящий Везувий, так хорошо знакомый по картинкам из журналов и школьных учебников.

Италия

Не помню точно, какого числа мы прибыли в Неаполь, но определенно это должно было быть в самом конце ноября 1944 года. Теплынь невероятная для нас в это время года! Из Неаполя ехали в Салерно вдоль берега моря на грузовых машинах. По берегу всюду сады, сады, сады: ветви мандаринов и апельсинов перевешиваются через стены и заборы под тяжестью ярких плодов. Тут никто еще нами не командовал, не строил и не считал по головам. Здесь мы были так же свободны, как и в Швейцарии. Лагерь был раскинут на самом берегу моря, жили в палатках по шесть человек в каждой. По утрам ходили бриться на берег моря, где были установлены души с пресной водой, а днем и вечером часто купались. Вода теплая, как у нас в самый разгар лета. Над Салернским заливом поднимаются лечебные испарения, а вдаль, к северу от нас, виден дымок над Везувием.

Немного освоившись в военном лагере в Салерно, мы начали обследовать ближайшие окрестности, делая пешеходные вылазки по всем трем направлениям от лагеря. К югу от нас было море. Незнание языка почти полностью лишало нас возможности беседовать с людьми, но смотреть-то вокруг ничто не мешало. Многие фрукты на ветках мы видели впервые. Цветная капуста и виноград, овцы и тутовый шелкопряд — все это атрибуты здешнего сельского быта. Крестьяне или фермеры, несмотря на военное время, показались нам весьма зажиточными. У нас бы их живо раскулачили и ликвидировали как класс. Многие фермы окружены виноградниками и садами, дома обычно двухэтажные, каменные или кирпичные, как и надворные постройки. Кулаки да и только! Дороги отличные, и не только межгородские магистрали, но и проселочные, ведущие к отдельно стоящим фермам или небольшим селениям.

В детстве у многих рождается романтическая мечта о каком-либо далеком городе или земле. Для меня такой мечтой были Бразилия и Неаполь. Эту мечту заронила в мою душу какая-то книжонка о Бразилии, прочитанная в детстве, и картинка, виденная в каком-то журнале, где на переднем плане высокая пиния, а за ней — голубая подкова Неаполитанского залива и вдали на горизонте вечно дымящийся вулкан. И вот на 25-м году жизни исполнилась моя детская мечта. Вышло так, что вихри войны совершенно случайно забросили меня в Неаполь. Даже сейчас, на исходе жизни, как вспомню об Италии — так перед глазами встает Неаполь, и одно лишь воспоминание об этом городе заставляет трепетать в груди моей какие-то тайные сердечные струны.

От нашего лагеря до Неаполя было около 50 километров. Машины шли туда и обратно сплошным потоком, и мы часто ездили в этот город. Дорога из Салерно идет среди плодородных полей. То и дело мелькают апельсиновые и оливковые рощи, и даже сейчас, когда у нас на родине уже в разгаре зима, холмы покрыты яркими цветами и травами. Дорога обсажена пирамидальными тополями, а между ними натянута проволока, по которой шпалерами вьется виноград. Население Неаполя уже тогда было около миллиона человек. Расположен город узким амфитеатром на северном берегу залива. С востока в двенадцати километрах от него возвышается конус Везувия — ужас и гордость Неаполя. Достопримечательности Неаполя общеизвестны, не буду о них писать. Знаменитый аквариум тогда был закрыт для посетителей, и видеть его нам не пришлось. Несмотря на военное время, туристов в Неаполе и тогда было много, правда в основном военные: поляки, американцы, англичане, а вот теперь и мы, русские.

Для нас тогда этот город был интересен и тем, что он первый из городов Италии поднял восстание против немцев. Началось восстание месяца за два с половиной до нашего приезда, приблизительно в середине сентября. Немцы ввели в городе осадное положение и объявили, что за каждого раненого или убитого солдата — стократная смерть. В этот же день они подожгли университет и на площади, прямо в городе, расстреляли несколько итальянских карабинеров. Огромную толпу народа, согнанную на площадь, про-

держали два часа на коленях. Еще до этого город выдержал сто двадцать воздушных бомбардировок, он был голодный и измученный, как и все города войны, попавшие в зону военных действий.

Союзники уже приближались к Неаполю, но никто не знал точно, когда они придут. И все-таки неаполитанцы взялись за оружие. Триста человек погибло. В ночь с 30 сентября на 1 октября немцы покинули город, а в 11 часов пришли американцы. Весь город 3 октября шел за гробами погибших во время восстания и пел гарибальдийские песни. Похоже, действительно Неаполь поет всегда — в горе и в радости, днем и ночью, за работой и на досуге. Такой уж здесь народ!

Помимо Неаполя любимым пунктом нашего паломничества стал остров Капри — маленький островок площадью чуть более 10 квадратных километров. В мирное время он всегда был Меккой для туристов. Около 3 миллионов человек ежегодно посещает этот островок, тогда как собственное население острова всего 10—13 тысяч. Тогда, в 1944 году, туристов было немного, опять же главным образом солдаты из отведенных на отдых частей, и попасть туда не было проблемой. Иногда нам это удавалось прямо из Салерно на военных катерах (расстояние всего около 60—70 километров). Иногда мы ехали до Сорренто на машинах, а оттуда уже совсем близко и можно было доплыть на гражданских грузовых баржах, которые буксировались какими-то допотопными парходиками. В первые недели нашего пребывания в Италии я бывал на Капри почти ежедневно. В середине декабря было почти так же тепло, как у нас летом.

Остров пересекает горная гряда высотой 500—600 метров, которая делит его на две части: Капри и Анакапри. Капри считается жемчужиной Средиземного моря, здесь в отеле «Эрколано» жил Максим Горький, которого посещал Ленин и другие марксисты, но мемориальной доски, по крайней мере в то время, не было. В 1944 году висела лишь доска, посвященная не известному нам немецкому врачу, который когда-то тут жил. Прелесть острова Капри, кроме его географического расположения, состоит еще в том, что со всех сторон он закрыт небольшими горами и только с южной стороны открыт. Поэтому здесь всегда тепло. Английская короле-

ва тоже об этом знает и потому часто отдыхает именно на Капри. О миллионерах, кинозвездах и просто прожигателях жизни, родившихся с серебряной ложкой во рту, я уж и не говорю.

Вторично Горький приехал в Италию в 1924 году и поселился почему-то не на Капри, а в Сорренто, небольшом курортном городке на берегу Салернского залива, где он прожил до 1933 года. В Сорренто родился итальянский поэт XVI века Торквато Тассо. На площади в городе, на самом берегу моря, стоит ему памятник. Сохранился дом, в котором он жил, и даже сад, в котором он будто бы написал поэму «Освобожденный Иерусалим».

Между тем наше пребывание в лагере Салерно продолжалось. Увезти нас куда-то дальше, видимо, пока было не на чем. Обязанностей здесь у нас нет никаких, забот тоже. Столовая работает все время. На обед и на ужин можно приходить когда удобно, можно обедать по два раза и более, но такой необходимости у нас в это время уже не было. Кино показывают непрерывно и приходить в него можно хоть когда, не обязательно дожидаться конца или начала.

А время надо было чем-то занять. Организовали шахматный турнир. Записалось семнадцать человек. Мне удалось занять третье место. Обошли меня двое: Семериков, учитель математики из города Череповца, и еще один, фамилию которого я забыл. Это был высокий парень с лицом изрытым оспой. В Швейцарии мы были с ним в разных лагерях, поэтому я знал его плохо. Он занял первое место, далеко оторвавшись от нас с Семериковым.

Среди нас было и несколько подростков лет по 12—15, увезенных немцами в Германию, но потом сумевших убежать в Швейцарию. Образование их было в среднем три-четыре класса, и они не учились в школе уже несколько лет. Кто-то подал идею организовать для них школу и продолжить обучение уже здесь, в Италии. Учителями назначили Семерикова и меня. Мы вели все предметы за пятый, шестой и седьмой классы. Учеников было немного, всего шесть человек. Два часа в день занимался Семериков и два часа я. Дела шли хорошо, и за несколько месяцев, несмотря на отсутствие учебников, мы прошли весь курс семилетки в объеме довоенной программы. Но завершилось обучение уже в Африке, а здесь, в Салерно, мы только начали. У меня сохранились две

фотографии, запечатлевшие работу этой школы. На одной из них я стою у географической карты и что-то объясняю, а на другой — мы с Семериковым и наши ученики.

Мы все тогда хорошо понимали, что в Италию уже не вернемся никогда, поэтому старались использовать все возможности, чтобы посмотреть то, что в ту пору было доступно. В Неаполе мы уже обшарили все, что было возможно. Видели несколько замков, церкви и памятники, но все музеи и пинакотеки тогда были закрыты. Мы могли видеть город только снаружи. Он был тогда бедный, голодный и грязный. Сто двадцать бомбардировок с воздуха и восстание не прошли даром, но классическая панорама города с Везувием и сам Неаполитанский залив — все это было так же величественно и прекрасно, как в годы процветания Неаполя.

Об извержении Везувия в 79 году нашей эры и гибели трех городов — Помпеи, Геркуланума и Стабии мы знали еще из школьных учебников, поэтому раскопанная в значительной степени Помпея была для нас самым притягательным пунктом хотя бы уже потому, что мы о ней кое-что слышали. Хорошо помню наш первый приезд туда. Удивило огромное количество людей, которые бродят по раскопанным улицам Помпеи с экскурсоводами и без них, с фотоаппаратами и просто так, стараясь запечатлеть на бумаге или в памяти все увиденное и услышанное. Продавалось много дешевых открыток с видами Помпеи, и мы покупали их пачками, так как фотоаппаратов у нас не было. Потом, после первого обыска в Одессе, все они сгорят в костре, ибо по какому-то «высочайшему» распоряжению вся печатная продукция Запада подлежала уничтожению.

Но вот наша курортная жизнь в Италии подошла к концу. Все когда-нибудь заканчивается. Здесь мы впервые попробовали английский виски, посмотрели десятки американских и английских фильмов, много раз смотрели и слушали, ничего не понимая, заезжих американских артистов, купались в море и загорали на песчаном пляже Салернского залива. Каждый в меру своей любознательности и образованности посещал доступные нам тогда достопримечательности и стремился ко всему, что только можно было там увидеть.

Увы, нам так и не удалось взглянуть на Рим. До предместьев Рима мы с Семериковым дважды добирались на попутных машинах,

но каждый раз какие-то служебные дела уводили машины в сторону от Города на семи холмах. Конечно, можно было пересест в другую машину, но без знания языка и почти без денег решиться на это мы не смогли, а вообще-то, будь мы посмелее, это надо было сделать. Ведь быть от Рима совсем близко и не увидеть его — то же самое, что пройти мимо оазиса в жаркой пустыне и не зачерпнуть даже горсти воды. А Рим в это время был уже освобожден, английские и американские войска вошли в него еще в июле. Боев в Риме не было, так как еще почти за год до этого король Италии и Большой фашистский совет объявили Рим открытым городом.

Но вот пришло время и, погрузившись на машины, мы тронулись в сторону юга. Еще до выезда мы знали, что поедem в Бари или в Таранто (в древности — Тарент). Оба эти порта находятся к югу от Салерно: Бари — на берегу Адриатического, а Таранто — Ионического моря. Нам было известно, что в Бари находится советская авиационная база. С нее наши летчики летали в Югославию и вывозили оттуда раненых партизан, поэтому мы и решили, что едем именно туда. Но привезли нас, однако, в Таранто — большой итальянский порт на полуострове Салентина. Наши познания в истории Италии и Древнего Рима были невелики, но кому-то все-таки было известно, что Таранто как-то связан с именем царя Пирра, а выражение «Пиррова победа» уже было известно каждому. В Таранто мы не задержались. Мы прибыли туда к вечеру, а рано утром уже были в порту для посадки на корабль. Стоял туман, видимость была ограниченной, и я не знаю, как выглядел в то время порт и расположенный поблизости город. Впереди у нас была Африка.

Египет

Сам переход запомнился смутно. Корабль был большой, команда на нем английская. Погода все время была хорошей, качки не было, и, кажется, никто не страдал морской болезнью. Спали в плетеных гамаках, подвешенных в два этажа друг над другом. Питание было по норме английского моряка военного времени, точнее вообще никаких норм, можно было есть до отвала. Днем находились на палубе, смотрели на сопровождавших нас дельфинов. Если

им что-нибудь бросали съестное, они высоко выпрыгивали из воды и хватали добычу на лету. В первое наше плавание, из Марселя в Неаполь, погода была штормовой и эти «интеллигенты моря» нам не показывались.

При входе в Суэцкий канал на самом берегу Средиземного моря расположился город Порт-Саид. На карте он появился совершенно случайно. Первоначально предполагалось, что канал возьмет свое начало восточнее, около развалин древнего эллинистического города Пелузий, но сильно заболоченная местность этому помешала. Пришлось сместить трассу канала на запад. Здесь в 1859 году и был основан город, получивший название в честь халифа Саида. В Порт-Саид мы прибыли рано утром.

Как и в Таранто, над городом висел легкий туман. Дома и улицы едва просматривались сквозь дымку. Мы все высыпали на палубу, ведь перед нами Африка, а мгновение, когда ты впервые видишь синее африканское небо, вершины Атласа или египетские пирамиды, — это целая эпоха в твоей жизни. Остановки в Порт-Саиде не было. Плыдем дальше по каналу, туман между тем рассеивается, вода в канале светлая, трасса его прямая как струна, и далеко впереди просматривается голубая лента в желтой пустыне. Весь канал корабль прошел за 11,5 часов.

Приблизительно через пять часов после выхода из Порт-Саида показалась столица канала Исфаилия. Позднее мне придется бывать здесь много раз. Это самый красивый из всех приканальных городов. Исторически он возник как комплекс административных зданий. В мое время здесь проживало около 100 тысяч жителей, из них более половины европейцы, в основном англичане и французы. Весь город буквально утопает в зелени. Двух- и трехэтажные коттеджи расположены друг от друга на значительном расстоянии, а между ними — сады, фонтаны, теннисные корты. Рядом с городом раскинулось озеро Тимсах — зона отдыха горожан с пляжами, ресторанами и базами. В канале, на всем его протяжении, тоже купаются, но только через некоторое время после прохождения судов, когда вода вновь становится чистой. Канал пересекает Исфаилию, и у многих место купания находится всего лишь в нескольких метрах от дома. В условиях Африки это немаловажно. Интересно, что вода в канале ровень

с уровнем берегов, он производит впечатление гигантской, наполненной до краев канавы, и когда смотришь издали на корабль, идущий по каналу, кажется, что он плывет прямо по земле.

Прошли Исмаилию. С высокой палубы корабля город был хорошо виден. Где-то дальше город Суэц, но до него еще часов шесть, и там наше морское путешествие прервется приблизительно на три месяца. Правда, из Суэца нам еще пришлось ехать, но уже по суше. Железная дорога Суэц — Каир была построена еще в 1857 году, это была первая железная дорога в Африке. Ехали по ней часа два-три, а потом от Каирского вокзала еще порядочно шли пешком до английского военного лагеря, расположенного на краю пустыни вблизи знаменитых египетских пирамид. Лагерь был хорошо благоустроен. Клубы, кинотеатры, столовые — все это во временных строениях сборного типа. Жили мы в палатках, примерно таких же, как в Италии.

Немного осмотревшись и ознакомившись с географией лагеря, мы постепенно увеличивали радиус своих вылазок за пределы лагеря. Пейзаж довольно унылый, кругом песок и асфальт. Нигде ни одного деревца, только около некоторых барачков административного назначения были зеленые лужайки на тонком насыпном слое почвы, который изредка поливали. Больше не на чем было остановиться глазу. Дождей тут не бывает десятилетиями, но как раз в нашу бытность прошел дождь. По нашим меркам это был дождь средней силы, который шел около полутора часов. Газеты писали тогда, что 80 тысяч жителей Египта после этого дождика остались без крова. Сельские хижины, сложенные из необожженной глины, размокли и развалились. Так дождь — редкое и великое благо для Северной Африки — обернулся национальным бедствием.

Вокруг лагеря бродило много шакалов. Я увидел их здесь впервые. Отойдя от палаток метров на 200—300, можно было встретить целые стаи этих трусливых животных. От человека они уходят, но недалеко, отбегут немного и опять смотрят, что будет дальше. Но если днем они относительно безопасны, то ночью одному с большой стаей лучше не встречаться. Встреча может закончиться всяко. В Северной Африке как раз самый большой ареал распространения шакалов.

В лагере шло строительство. Арабы строили казармы или какие-то другие здания из камня. Все они были в белых бунусах,

которые от грязи, правда, более походили на черные. Голова обмотана чалмой. Мы иногда приходили посмотреть на их работу и, при случае, поговорить, но это редко и плохо удавалось, и не только из-за языка, а больше из-за надсмотрщика, который следил, чтобы рабочие не фланировали. В руках такого надзирателя был кнут. Устраивался он где-нибудь так, чтобы иметь хороший обзор. Кнут в его руках — это не символический жезл власти, а реальное оружие начальника, которым он при случае мог весьма чувствительно огреть. Еще когда мы ехали из Суэца в Каир, то на одной из остановок около какой-то деревушки видели, как мужчина бил кнутом подростка. Рядом стояли люди, видимо жители деревни, но никто не возмущался и не вмешивался. Нам сказали, что подросток что-то украл и заслужил наказание.

У нас, да и в любой другой европейской стране, началось бы следствие, потом суд, втянули бы в дело десяток людей, собрали бы кучу бумаг и характеристик, а тут все решалось просто и быстро. Но сама сцена экзекуции нас, конечно, шокировала.

В лагерь часто, почти ежедневно, приходили торговцы с апельсинами и яйцами диких птиц. И апельсин, и яйцо стоили по одному пиастру. Яйца мы покупали редко, разве что ради интереса, а апельсины ели как картошку. По пиастру за апельсин было дешево даже для нас.

Так постепенно мы адаптировались к лагерной жизни в Африке рядом со знаменитыми пирамидами, а где-то там, далеко, в России и в Европе, шла война, люди умирали десятками тысяч, гибли города и деревни, горела и стонала сама земля. Мы же опять пребывали как на курорте. Дел никаких и забот никаких, а столовая — вот она, рядом, ешь хоть весь день не переставая. Каждый из нас чувствовал из-за этого некоторый психологический дискомфорт, испытывая чувство вины или неловкости перед своей совестью. Но ведь никто из нас не был виноват в том, что все так случилось. Ведь и мы прошли фронт в самое тяжелое время и только случайно уцелели. Нам удалось выжить в плену в абсолютно нечеловеческих условиях, поскольку наш «мудрый вождь» отказался от помощи Красного Креста и не платил туда никаких взносов. Наконец, мы сумели уйти из плена, опять рискуя последним, что у нас еще оставалось — жизнью. Рассуждая подобным образом, мы успокаивали себя, что наше

теперешнее благополучие было выстрадано и является воздаянием за сполна испитую чашу лишений в недалеком прошлом.

Поскольку судьба закинула нас в край, увидеть который никто и не мечтал, надо было хоть в какой-то мере воспользоваться этим, чтобы иметь право сказать потом, что я тоже видел пирамиды. И вот однажды мы решили собраться небольшой группой и отыскать экскурсовода, владеющего русским языком. Мы хотели не просто посмотреть, но и узнать историю пирамид, так как тогда мы об этом мало что знали. Экскурсовода нашли сразу. Им оказалась женщина, которая отлично владела русским. Сама она говорила нам, что знает больше ста языков. Я не стану утверждать, что это так и есть, поскольку убедиться в этом мы не могли, но мы видели, что она водила группы греков, индусов и югославов и всем давала пояснения на их родном языке.

Лагерь находился от пирамид не более чем в трех километрах, и мы могли ходить туда ежедневно, но на этот раз мы пришли с целью, так сказать, изучения пирамид. В нашей группе было человек двенадцать. Инициатором был Аржанов, который узнал, что есть экскурсовод, владеющий русским языком. И вот мы стоим у сфинкса. Аржанов собрал пиастры для экскурсовода. Вокруг нас выются арабы, предлагая прокатиться то на верблюде, то на осле. Мы отбиваемся, сегодня у нас другие планы. Дождались Аржанова с экскурсоводом, которая предложила сначала представиться сфинксу. Мы не возражаем, сфинкс рядом, с него и начнем. Немного можно вспомнить спустя более сорока лет после экскурсии. Правда, кое-что я пытался записать еще в начале 50-х годов, но и это уже не по свежей памяти.

Длина сфинкса 57 метров, а высота около 20. Лицо его порядочно изуродовано, в него когда-то стреляли из пушек, к счастью стреляли плохо. Уже много раз его полностью заносило песком, его откапывали, и вот он сейчас улыбается в своем окаменевшем беспокойстве и, наверное, думает: «Вот пришли, дураки! Тут стояли Моисей, Иосиф, Цезарь, Наполеон, и те ничего не поняли, а вы...» Постояли мы тут как скромная тень перед вечной материей, послушали и пошли дальше к пирамидам трех фараонов четвертой династии: Хеопса, Хефрена и Микерина (отца, сына и внука).

Это три горы из гладко отесанного известняка. Самая большая их них — пирамида Хеопса. Сооружена она была из 2 млн 300 тыс. граненых плит, каждая размером больше кубического метра, весом более 5 млн 750 тыс. тонн. Строили ее 100 тыс. человек в течение 20 лет, но работали ежегодно только в периоды трехмесячных разливов Нила. Первоначальная высота пирамиды была 146 метров, но позднее верхушку растащили, так что теперь ее высота достигает лишь 137 метров. Построили пирамиду около 4,7 тыс. лет тому назад. Облицовка со всех трех пирамид была снята еще в XIV веке мамлюками для строительства дворцов. Первоначально вершины всех пирамид были покрыты тонкими золотыми пластинами и при восходе солнца лучи его создавали вокруг пирамид золотой ореол.

Историки считают Хеопса и Хефрена самыми жестокими правителями Египта за всю его историю, а Микерина, как утверждает, египтяне любили. Больше о их жизни сложно что-либо сказать, слишком уж далеки они от нас во времени, и остались от них одни только пирамиды, о которых кто-то сказал, что «все на свете боится времени, но само время боится пирамид».

Экскурсия наша продолжалась около часа. В погребальную камеру пробирались с фонарем, местами почти ползком, там было очень жарко и душно. Камера величиной с большую комнату и высотой три-четыре метра была пустой. Саркофаг фараона (без мумии) находился в другой камере, которую мы не осматривали, так как туда была большая очередь. Но потом, в последующие наши походы к пирамидам, мы видели этот саркофаг не один раз. Рассказывают, что Наполеон, пробираясь в погребальную камеру, почувствовал себя плохо и не любил об этом вспоминать, да и позднее было известно много случаев, когда туристам становилось дурно в лабиринтах пирамиды. Это породило немало домыслов о некоей мистической силе Большой пирамиды и о ее таинственном воздействии на психику людей.

На вершину пирамиды мне приходилось взбираться несколько раз. Там можно было найти и прочитать выбитые на камне имена Брема, Наполеона, многих русских князей и других известных личностей. Вся площадка была исписана. Найти место, чтобы увековечить и свое имя, было трудно, но можно, и я не поленил-

ся это сделать, ведь как еще иначе можно приобщиться к вечности! Наполеон, кстати, отказался подниматься на пирамиду, но имя свое велел высечь кому-то из своих офицеров. Не знаю, насколько это прибавило ему известности, но он, видимо, решил, что кашу маслом не испортишь. Точно так же, как и Наполеон, поступил Шатобриан. На вершину пирамиды он поленился подниматься, но его имя там высечено.

В то время в Каире было наше посольство и военная миссия. Их представители часто приезжали в наш лагерь, читали лекции о Египте и информировали нас о положении на фронтах. Несколько человек из нашего лагеря взяли в миссию в качестве шоферов, поваров и других технических работников. Их переодели в советскую военную форму, некоторым дали офицерские погоны, то есть присвоили звание, действительное только здесь, в пределах Египта, а по приезду на родину они снова станут рядовыми.

Мы с Семериковым продолжали работу в школе, которая началась еще в Италии. Здесь учеников у нас прибавилось за счет вольнослушателей, которые приходили, чтобы вспомнить арифметику и основы других наук. Работали мы в том же режиме, каждый проводил по два урока в день. Жизнь в лагере определялась в основном комитетом, который был создан в Швейцарии. Председателем был все тот же капитан Мамайкин. Ни военная миссия, ни посольство в нашу жизнь и в нашу работу не вмешивались. Иначе они наверняка засадили бы нас за изучение биографии тов. Сталина или короткого курса истории ВКП(б), который многим из нас осточертел еще в довоенное время.

Англичане дали нам два исправных мотоцикла, и мы организовали курсы по вождению. Руководил курсами Горин, тот самый, который был русским комендантом нашего лагеря в Швейцарии, смещенный потом за сотрудничество с немцами в плену. Он прекрасно знал все машины, и курсы работали успешно. Многие из нас научились хорошо водить мотоцикл даже по каирским улицам. Был, правда, случай, когда один из закончивших эти курсы повез Мамайкина в Каир по каким-то делам и там, растерявшись на повороте, влетел то ли в столб, то ли в угол дома. Оба попали в госпиталь и вышли из него только перед самым нашим отъездом из Каира.

Особенно активно работал у нас самодеятельный ансамбль песни и пляски. Он часто выступал на большой концертной сцене лагеря, а на представлениях присутствовали не только мы, русские, но и англичане, и арабы, работавшие поблизости. В лагере дислоцировалась какая-то английская часть, но ее личный состав, как и мы, был не очень занят, поэтому зрителей на концертах всегда хватало.

Однажды на нашем представлении присутствовал молодой человек в форме английского полковника. С ним были еще два английских офицера. Никто из наших не знал, что это за люди, но, учитывая высокий ранг офицеров, решили оказать им внимание, посадив на лучшие места, а мне Савченко, заменявший попавшего в больницу Мамайкина, велел сесть с ними рядом, чтобы при необходимости давать пояснения на немецком языке. Он откуда-то узнал, что все они хорошо владеют немецким языком. То ли из учтивости, то ли искренне, но после концерта полковник сказал, что представление ему очень понравилось, особенно огненные, как он выразился, пляски. У нас действительно были два парня, которые здорово плясали. Один из них Писецкий, шофер по профессии, и еще второй, низенький, рыжий, фамилию которого не помню. На следующий день к нам приехал кто-то из военной миссии и сообщил, что вчера на нашем концерте присутствовал король Норвегии и что об этом стало известно только сегодня из газеты английского военного гарнизона в Каире. Так, уже второй раз в жизни, мне пришлось сидеть рядом и беседовать с живым королем.

Приблизительно в это же время, на первой неделе января 1945 года, в Египте убили премьер-министра. Как раз в этот день мы пытались достать в Каире водку — для торжества по какому-то случаю, но нам всюду говорили, что в стране траур и спиртные напитки три дня продавать не будут. Однако мир не без добрых людей, и нам подсказали, куда следует обратиться, но предупредили, что вино или водка в этот день будут стоить намного дороже. Нас не очень это устраивало, но мы все же пошли по указанному адресу и где-то в глухом тупиковом переулке нашли довольно непрезентабельный винный магазинчик, в котором старый еврей босиком и без рубашки драил шваброй полы. Узнав, чего мы хотим и что мы русские, он продемонстрировал нам свое владение русским языком:

«Маша мила пол, водка, деньги...» — и, проверив, как мы собираемся нести водку, он отпустил нам все по нормальной цене. Купили мы две бутылки. Они были плоские, а на этикетке был изображен молодой Суворов. Мы рассказали потом об этом магазинчике в своем лагере, и хозяин, видимо, ничего не проиграл от того, что продал нам, вопреки запрету, две бутылки по обычной цене.

Возвращались домой мы через центральные кварталы Каира и тут услышали, что в Каир приехал Уинстон Черчилль и что на площади уже выстраивается почетный караул для его встречи. Нас было трое — Нивин, Тищенко и я. Посоветовавшись, мы решили, что это зрелище нам не стоит пропускать. Когда мы еще сможем встретиться с Черчиллем! Пришли на площадь, там уже много людей. На столбиках натянута красная лента, отгораживающая часть площади от мостовой. Воинское подразделение — в парадной форме и в белых перчатках — уже построено. Все в беретах с какой-то тяжелой кокардой, в руках обычные автоматы. Вскоре пришли машины, из одной вышел тучный, слегка сутулый человек в плаще без головного убора и, как обычно, с сигарой в зубах. После гимна он и его свита прошли мимо почетного караула, затем прозвучала короткая речь с микрофоном, в которой мы уловили только имя убитого премьер-министра, и на этом церемония встречи закончилась. Все было скромно и прошло быстро. Не было ни цветов, ни поцелуев, ни длительных рукопожатий.

«Кто не видел Каира, тот не видел мира», — утверждает арабская пословица. Как и любой древний город, Каир — это воплощенная в камне история целой страны. Интересных мест в Каире множество, но в то время мы мало ценили прелесть старины и не использовали все возможности, чтобы увидеть максимум доступного. Почти ежедневно бывая в Каире, мы чаще всего просто бродили по улицам, магазинам, овощным и фруктовым базарам и глазели на чужую, не знакомую нам жизнь, забывая опять-таки о том, что в Египет мы больше не вернемся. Правда, тогда и заботы были у нас другие, и кругозор недостаточно широк, поэтому часто мы просто не знали, мимо каких исторических ценностей проходим, упуская возможность их осмотреть.

Египет стал центром туризма в середине XIX века. Еще за сто лет до нашего прибытия сюда люди специально ехали к берегам Нила, чтобы ознакомиться с достопримечательностями старого Каира. Мы же попали сюда просто так, не затратив на это и пятака, имели много свободного времени, но бездарно растратили его на каирских мостовых и базарах.

Старый Каир находится на восточном берегу Нила недалеко от знаменитой бетонно-гранитной набережной: узкие улицы, двух- или трехэтажные дома. Здесь находится римская крепость времен императора Траяна (97–117), в которой дислоцировался один из трех легионов, размещенных тогда в Египте. Крепость называлась Вавилон, от нее остались теперь только две башни, а все остальное превратилось в развалины. Рядом с Вавилоном находится греческий монастырь и Церковь Святого Георгия. В церкви хранятся цепи, в которые в свое время был закован этот христианский мученик. По христианской традиции Георгий был воином, достигшим высокого положения при Диоклетиане, он был казнен в 303 году за преданность христианству. В России крестьяне почитали его как покровителя домашних животных и земледелия. В Егорьев день выгоняли скот в поле, а на иконах изображали его как всадника на коне, поражающего копьём крылатого змея. Он же считался в старой России покровителем армии и трона. В честь него был установлен орден — Георгиевский крест четырех степеней, которым во время войн награждали солдат за храбрость. Рассказы об этом святом я слышал еще в детстве от своей бабушки по отцу Харитонии Ивановны и вот теперь встретился с ним здесь, в Египте.

На календаре январь 1945 года. Погода отличная, только ночью в палатках иногда было прохладно под одним одеялом и приходилось набрасывать на себя что-нибудь еще. Арабы приносили в лагерь арбузы, иногда мы их покупали, но в январе они для нас были дороговаты, а вот позднее, в феврале, стали доступны и для нас. В январе же мы чаще всего покупали грейпфруты, которые там и зимой были дешевы. Арабы начинают с них завтрак, но в другое время дня они тоже хороши, так как отлично утоляют жажду.

В самом начале января мы открыли для себя в Каире зоопарк. До этого он как-то не попадался нам на пути, а отыскивать его спе-

циально нам не приходило в голову. Зоопарков ведь везде много, и достопримечательностью, достойной нашего внимания, мы его не считали. Но оказалось, что здешний зоопарк мало похож на то, что нам приходилось видеть в других местах. Птиц тысячи и тысячи, и живут они совершенно свободно, без всякого ограждения. Тут были и чибисы, и прожорливые бакланы, и обыкновенные голуби, и розовые пеликаны с громадными клювами, способные проглотить рыбу весом в два-три килограмма, и еще множество других птиц, которых мы никогда ранее не видели и не знали их названий.

На острове, окруженном рукавами Нила, находится ихтиологический отдел зоопарка с гигантскими аквариумами — искусственными коридорами в бетонированных скалах и гротах, а в них, разделенные перегородками из стекла, отдельные аквариумы. В зоопарке богатая и разнообразная флора: тенистые аллеи, тихие пруды, газоны. По громадным каменным скалам прыгают обезьяны. Для павианов и мартышек созданы почти естественные условия обитания. Нигде не видно решеток и клеток, а посетителей и зверей разделяют канавы с водой и изгороди, искусно скрытые в зелени. Слоны, тапиры и носороги живут тоже почти в естественных условиях. Можно идти по парку, как по глухому лесу, и вдруг перед тобой за деревьями появляется тигр, лев или мирно отдыхающий крокодил. Сначала слегка опешишь, но потом сообразишь, что это же зоопарк и такие встречи специально предусмотрены.

В зоопарке мы, конечно, прокатились на верблюде, на ослике, но, пожалуй, не потому, что это так уж интересно, а потому, что отбиться от такого рода услуг было почти невозможно. В одном из кафе мы пили чай, который нам подавала обезьяна, наряженная официанткой. Она же потом проводила нас до выхода из кафе и вежливо помахала ручкой.

Рядом с зоологическим находится ботанический сад, в нем представлена тропическая и субтропическая растительность не только Африки, но и Азии. Здесь я впервые увидел эвкалипты, о которых знал еще из школьных учебников, когда преподавал ботанику в Каргапольской школе. Пальмы со стройными и гибкими стволами высотой 12—15 метров, с пышной кроной темно-зеленых листьев наверху вообще являются украшением египетского ландшафта,

но здесь, в саду, мы видели целые рощи финиковых, кокосовых и саговых пальм. Баобаб, древовидное алоэ, магнолии и тамариск — все это мне было известно ранее только из книг. Тамариск, кстати, тот самый кустарник, который выделяет какие-то летучие сложные эфиры, и они в жаркий день могут самовоспламеняться. «Манну небесную», которой Моисей во время исхода евреев из Египта прокормил свой народ, дает какая-то разновидность тамариска. Весной этот куст выделяет сладковатую жидкость и она затвердевает на воздухе в виде белых шариков, похожих на мелкий град. Ее и сейчас собирают бедуины. Один человек за день может собрать до полутора килограммов, этого вполне достаточно для пропитания.

В январе здесь цветут розы и нарциссы. В садах еще не полностью собраны апельсины и лимоны, идет сбор помидоров и капусты. Дождь здесь, как я уже говорил, большая редкость, а воздух сухой и здоровый. Несмотря на трудную жизнь, в деревнях многие феллахи доживают до преклонного возраста. Правда, в деревнях многие страдают шистосомозом и по этой причине умирают рано. Эту болезнь вызывает паразит, живущий в воде Нила. Он провоцирует внутреннее кровотечение, подтачивает организм и в конце концов губит его. По приезду сюда в лагере нас сразу предупредили, что воду из Нила пить нельзя, и мы строго соблюдали этот запрет.

На севере Африки, начиная от Египта и далее к западу через Алжир и Марокко, протянулся горный массив Атлас. Самые высокие вершины Атласа достигают 2,5—3 тысяч метров. Нам казалось, что горы эти от нас совсем недалеко. Однажды мы собрались группой человек 10—15 и решили подняться на одну их ближайших вершин. Ни один из нас не бывал по-настоящему в горах, и никто не имел ни малейшего представления о том, что значит подняться и спуститься с горы, даже если ее высота всего два-три километра. Мы все думали, что это просто. Собрались и пошли. Идем час, идем два, жара усиливается, а горы, кажется, все на том же расстоянии от нас, что и в начале пути. Воды было у каждого по фляге. Многие уже начали к ней прикладываться, а горы все не приближались. Дошли до какого-то небольшого пустынного озера. На берегах ни травинки, ни деревца и вообще никаких признаков жизни. Озеро небольшое, вода соленая, для питья совершенно не годится, но, ду-

маем, можно хоть немного освежиться. Хотели было уже раздеться, но тут к нам подъехал небольшой военный отряд на верблюдах: все негры и старший у них тоже негр. При помощи небольшого набора английских слов они растолковали нам, что купаться тут нельзя. Причину мы не поняли, но купание отменили.

Продолжаем путь. Горы заметно приблизились, но идти стало труднее. На пути завал камней, некоторые величиной с грузовик и более. Их надо обходить или перебираться через них, а жара все усиливается, все сильнее мучает жажда и все меньше становится в наших флягах воды. Наконец добрались до подножия гор и решили начать восхождение. Сначала это был обычный подъем, потом стало труднее, но мы не сдаемся, карабкаемся на коленках и поднимаемся все выше и выше. Вышли на какой-то гребень. Дальше надо спуститься метров на 100—200, а потом опять начинается гребень, но еще более высокий, нежели тот, на котором мы стоим. Стало ясно, что его нам уже не одолеть. Начали спуск примерно по тому же маршруту, по которому поднимались.

Никто из нас (кроме меня) не думал, что спуск может оказаться намного труднее, чем подъем. При подъеме обычно видишь, что находится впереди, и если путь труднопроходимый или вовсе непроходимый, то можно поискать другой вариант. При спуске же такого выбора обычно нет. Идешь, идешь, а там обрыв. Надо снова подниматься, и так может повторяться много раз. Наконец, подъем можно прекратить и вернуться обратно, а спуск прекратить нельзя. Спускаться все равно нужно. Между тем воды уже почти не осталось, губы начали трескаться и опухать, а силы стремительно убывать. Когда мы наконец спустились, некоторые уже почти не могли самостоятельно двигаться. Двоих пришлось сразу брать под руки и вести, еще один еле двигался, а идти опять трудно — те же камни, среди которых нужно выискивать обходные пути.

Скоро мы поняли, что если пойдем до лагеря тем же маршрутом, которым шли в сторону гор, то у нас просто не хватит сил, и гибель неминуема. Кому-то пришла идея идти не к лагерю, а по направлению к дороге Каир — Александрия и там попытаться найти попутную машину. Так и сделали. Вероятно, именно это решение и дало нам возможность вернуться всем живыми, хотя и далеко

не здоровыми. Это был первый случай в моей жизни, да, наверное, и в жизни других тоже, когда я понял, что значит жажда в условиях раскаленной безжизненной пустыни. Здесь пришлось впервые встретиться и с фата-морганой — особым видом миража, когда кажется, что впереди вода, озера, пальмы, и ты невольно начинаешь ускорять ход, а потом вдруг все исчезает и опять песок, песок и ничего другого.

На подходе к дороге мы вели под руки уже четырех человек, а одного уже не вели, а тащили. Если бы идти осталось еще километра три-четыре, то вся группа достигла бы предела, когда дальнейшее движение стало бы уже невозможным. По дороге шел почти сплошной поток машин. Большинство были машины английских военных частей. Одну из них остановили, и она доставила нас в лагерь за несколько минут.

Об этой прогулке мы долго потом вспоминали, а особенно часто в Воркуте. В Египте чуть не сгорели, а тут льды и снега, другая крайность. Но там это продолжалось недолго, всего один день, а в Воркуте — годы. Только смерть Сталина и последовавшая затем амнистия дали возможность многим нашим «швейцарцам» выбраться из Заполярья.

После этого случая больших пеших прогулок в сторону пустыни мы уже не предпринимали, а проявили интерес к другим египетским городам — Исмаилии, Порт-Саиду и Суэцу. Поскольку с транспортом в этих направлениях никаких проблем не было, мы ездили туда довольно часто.

Из Каира до Исмаилии, столицы Суэцкого канала, ехать около двух часов. Причем, не менее трети этого времени требовалось для того, чтобы выбраться из заторов каирского движения. Главным препятствием в движении были даже не машины, а ослы, разные повозки и люди. Но вот, наконец, машина пошла быстрее, промелькнуло здание каирского вокзала с громадной статуей Рамзеса II, мы вливаемся в поток машин и катим теперь со скоростью около 100 километров в сторону Исмаилии. Шоссе широкое, с твердым покрытием, никаких ухабов и выбоин. Строили его англичане. Дорога идет вдоль канала, снабжающего Исмаилию водой из Нила. Она, конечно, прямая как стрела. В пустыне все равно, как ее проклады-

вать, а прямая, как известно, короче всякой кривой. Об этом еще Эвклид знал. Пейзаж очень унылый: серо-голубое небо, желтый песок да миражи, возникающие у горизонта. Несмотря на большую скорость, кажется, что машина стоит на месте и только дорога серой лентой убегает из-под колес.

Исторических памятников в Исмаилии не было. Город новый, ровесник канала, ему не было еще и ста лет. Но, как и положено столице, это самый красивый город в зоне канала. Аккуратные и чистенькие коттеджи, подстриженные лужайки, обилие зелени на улицах, сады и спортплощадки, клубы и административные здания и, как и в Порт-Саиде, памятник Фердинанду Лессепсу. Никаких окраин и трущоб. Тут живет элита, арабы тогда еще не были хозяевами этого города, если они и были в Исмаилии, то работали в основном в качестве прислуги.

Уже перед самым отъездом на родину, буквально за три-четыре дня, кто-то из наших услышал от посольских работников о музее египетских древностей. Ранее мы о нем ничего не знали, а наткнуться случайно в огромном городе было маловероятно, тем более, что расположен он в стороне от других каирских достопримечательностей, которые мы посещали ранее. Решили отыскать этот музей. Собралась группа человек шесть. Настроение у всех уже предотъездное. Желающих мало, да и раньше их было не очень много. Древности и исторические памятники интересовали в основном тех, кто уже имел о них хоть какое-то представление, а если такого представления не было, то человека, как правило, больше занимали вопросы, где бы найти выпить подешевле или позабавиться с доступными девочками. Но в Египте, кстати, в то время такая возможность была начисто исключена, по крайней мере для тех, у кого в кармане было почти пусто.

Музей египетских древностей был знаменит тем, что в нем находились все сокровища гробницы Тутанхамона, найденные в 1922 году известным английским археологом Говардом Картером. Это единственное захоронение фараона, которое каким-то чудом оказалось не разграбленным. Жил Тутанхамон около 3,5 тысяч лет тому назад. Фараоном он стал в 9 лет, а скончался в возрасте 19 лет. Сам он большой роли в истории Египта не сыграл, но жрецы захо-

ронили его с большими почестями за отказ от новой религии, принятой его предшественниками.

В музее тогда был выставлен саркофаг из гипса, который закрывался плитой весом в 12 тонн. В саркофаге гроб из твердого дерева, позолоченный, форма гроба антропoidная, голова и руки из золота. В этом гробу еще гроб из дерева, тоже позолоченный, длиной около двух метров, а в нем уже гроб из чистого золота весом 460 кг. Длина его была 1,85 метра, и в нем лежала мумия, которая, однако, сильно разложилась и в музее тогда не экспонировалась. Около гроба стояли четыре автоматчика. Это были американцы, и вообще вся охрана музея была тогда американской. Находки из гробницы размещены в 13 помещениях музея. Среди них был железный клинок, самый древний железный предмет, найденный на территории Египта. Если его положили в гробницу, значит он был тогда очень ценным. Сандалии на мумии были из золота, на пальцах рук и ног — золотые футляры и еще масса других вещей из золота.

В то время, да еще и позднее, в печати появлялись публикации, в которых утверждалось, что мумии фараонов Рамзеса II и Тутанхамона лишают рассудка или убивают того, кто заглянул в их могилы. Среди прочего Картер нашел тогда табличку, на которой было начертано: «Смерть покарает своими крылами каждого, кто нарушит покой фараона». И верно, Гамаль Мухтар — директор службы древностей в Египте — умер на второй день после того, как осмотрел маску Тутанхамона, финансировавший раскопки лорд Карнарвон умер вскоре после того, как открыл гроб фараона. Умирая в бреду, он все повторял имя фараона и последними его словами были: «Я услышал его зов, я иду за ним». Помощник Картера, Артур Майлс, скончался тогда же от упадка сил, потом умерли жена Карнарвона, секретарь Картера и еще несколько человек. Но сам Картер пережил всех, кто с ним работал. Полагают, что дело тут в вирусах.

Возвращаясь из музея, мы зашли в посольство и взяли там несколько газет почти месячной давности. Читаем о прибытии в Ялту Уинстона Черчилля и Рузвельта. Последний прилетел на самолете «Священная корова» в сопровождении нескольких истребителей. Из наших прибыли Сталин, Молотов, Штеменко и еще несколько деятелей. На конференции решалась судьба послевоенной Европы,

а также вопрос о репатриации советских граждан, увезенных ранее немцами из оккупированных районов Украины, Белоруссии и России. Тут же было согласовано решение о вступлении СССР в войну против Японии. Обо всем этом мы знали и ранее из английских иллюстрированных журналов, которые ходили у нас по рукам, но поскольку читать почти не могли, то представление об этом совещании было у нас поверхностное. Из своих газет можно было понять, что вступление СССР в войну на Дальнем Востоке либо вовсе не предусматривается, либо оно возможно только при определенных условиях, но каковы эти условия, догадываться должны были сами читатели.

Только через 30 лет об одном из этих условий я услышал по американскому радио. Оказывается, Сталин потребовал тогда в Ялте от союзников насильственного возвращения русских, которые уклонялись от репатриации. Таких было около полутора миллионов и среди них была семья генерала Краснова Петра Николаевича — отец и два сына, один из которых был полковником немецкой армии. Самому генералу было уже 78 лет, он был повешен по прямому распоряжению Сталина в 1947 году. Судьба сыновей и женской части семьи мне не известна. В дореволюционное время Краснов был блестящим офицером и пользовался большим уважением при дворе. Он легко писал стихи, отменно танцевал, был элегантен и остроумен. Старший его брат, Андрей Николаевич Краснов (1862—1914), был ученым-ботаником, профессором Харьковского университета. Он основал Батумский ботанический сад, впервые в России ввел в культуру чай и многие другие субтропические растения. Можно с уверенностью утверждать, что около 1947 года эта семья закончила свое существование.

Суэц — Одесса

Но вернемся в наш палаточный лагерь. Завершается наша вольная жизнь, начавшаяся еще в Швейцарии. Приближается время отъезда. На календаре март 1945 года. В это время здесь дуют ветры с юга. Это печально знаменитый хамсин. Продолжается он 50 дней. Температура повышается до 40 градусов по Цельсию. Воздух насыщен мелкими частицами песка и пылью. Дышать становится

трудно, пыль проникает в нос и в рот, силуэты палаток и барачных рядов едва видны в пыльной пелене. На улицах Каира образуются песчаные сугробы. Это самое малоприятное время в Египте. Около 20 тысяч лет тому назад в силу каких-то земных или космических причин в Северной Африке закончился период дождей, и вот с тех пор ежегодно в марте-апреле пылит этот хамсин, а полоса дождей отступила к экватору.

Около 20 марта 1945 года, погрузившись в машины, мы отбыли в Суэц, а там поднялись на борт английского корабля, команда на котором была норвежская. Не помню, как назывался корабль, но был он большой и комфортабельный. Нас было больше тысячи человек, и все мы разместились с комфортом. Начался последний отрезок нашего пути на родину, в Союз Советских Социалистических Республик. Мы уже знали, что норвежцы доставят нас в Одессу, а сами потом вернутся в Египет.

Нам снова предстояло пройти весь Суэцкий канал, а это 11 часов пути. Большие суда идут по каналу медленно, чтобы не разрушать берега. Но вот вошли в Малое Горькое озеро, и скорость заметно увеличилась. После Эль-Кабрита начинается Большое Горькое озеро. Корабль идет по середине озера, берегов не видно, все как в море, а потом опять канал — и наша громадина поползла как черепаха. Около Исмаилии мы еще раз попадаем в озеро. Это Тимсах — зона отдыха европейской элиты канала. Проходим по Исмаилии, в которой ранее мы бывали много раз и где канал проходит прямо по улице. На балконах и верандах стоят люди, машут нам руками или платочками, мы отвечаем им тем же и мысленно прощаемся с этим городом навсегда. Далее, уже вплоть до самого Порт-Саида, опять медленно двигаемся по каналу.

Порт-Саид — это ворота в Средиземное море. Морские пути здесь расходятся и ведут во многие порты мира. Здесь мы еще раз увидели величественный памятник Фердинанду Лессепсу, только не знали тогда, что стоять ему осталось чуть более 10 лет.

Зимы в 1944—1945 году мы практически не видели. Март в Средиземноморье — это уже почти лето. Теплынь стоит такая, что на палубе можно было не только загореть, но и сгореть, что и случилось с некоторыми, в том числе и со мной. От Порт-Саида

до Крита земли не видели, на пути не было никаких островов. Но вот вдали показался Крит. Он замыкает восточную часть Средиземного моря и отгораживает от него Эгейское море. Остановки на Крите нет, проходим мимо и видим только его пологие холмы и гребни гор на горизонте.

В то время я мало что знал об этом острове. Слышал, конечно, что это центр одной из древнейших цивилизаций, так называемой крито-микенской. Но потом в разное время из книг и путевых заметок наших выездных газетно-журнальных и академических ассов я почерпнул об этом острове множество интереснейших сведений. Здесь жил Минос — мудрый властитель и грозный владыка морей, превративший Крит в могучую морскую державу. Ранее считалось, что это персонаж мифический, но теперь доказано, что он реально существовал. У Миноса служил Дедал, который вместе с сыном Икаром улетел с Крита на крыльях, склеенных воском. Далее на пути нам встретился остров Икарий. Здесь сын Делала упал в воду, подлетев слишком близко к Солнцу, лучи которого расплавили воск его крыльев. По легенде на Крите был лабиринт с Минотавром, которому приносили человеческие жертвы. Минотавра убил Тесей и благополучно выбрался из лабиринта благодаря нити Ариадны. Отец Тесея — афинский царь Эгей — просил сына установить белые паруса, если он победит Минотавра, но Тесей забыл сменить черный парус на белый и Эгей, решив, что сын погиб, бросился в море. После этого оно и стало называться Эгейским.

С палубы корабля мы могли хорошо видеть гору Ида, где пас свой скот Парис и где он встретился с тремя богинями, что привело к Троянской войне — самой знаменитой, может быть, из всех войн, которые пережило человечество. На Крите вырос Зевс, вскормленный и воспитанный нимфой Амалтеей. Однако, хорошо вскормив, она его плохо воспитала. Едва став взрослым, он, приняв образ быка, похитил дочь финикийского царя Европу и спрятал ее на Крите. Минос, о котором я говорил выше, как раз и был сыном Зевса и Европы.

В начале июня 1941 года Крит не сходил со страниц газет и журналов. Примерно за месяц до нападения на СССР немцы бросили на Крит большой воздушный десант и стремительным ударом де-

сантников сломили оборону англичан и греков. Остатки критского гарнизона, кому удалось уцелеть, были переброшены в Египет, где они сражались потом с армией Роммеля.

А корабль наш между тем все движется. Вот уже и Эгейское море. Справа по ходу Южные Спорады, к востоку на горизонте видны гористые берега острова Родос, далее остров Кос и еще какие-то острова. Совсем рядом с островом Родос турецкий берег, но Родос принадлежит Греции. Он известен виноградным вином, оливковым маслом и животноводством в горах, которые достигают там высоты 1200 метров. Слева от нас по ходу корабля виднеется группа островов, которые называются Киклиды. Это Наксос, Андрос, Парос и многие другие. Все это тоже греческие острова. Кто-то из поэтов сказал о Греции:

Вся Греция — синеющее небо,
Вся Греция — сады и острова.

Климат здесь средиземноморский, субтропический. В марте температура близка к той, что у нас на Урале в июле. Эгейское море с разбросанными в нем островами — это вообще один из самых прелестных уголков Земли. Если бы рай существовал, то он находился бы, вероятно, на одном из этих островов Эгейского моря.

Вот уже и Икария — вечный и нерушимый памятник незадачливому сыну Дедала Икару. Именно тут отказали ему крылья и слишком дерзкая попытка приблизиться к Солнцу обрекла его на падение в море. Современные «икары» тоже иногда падают с небес в моря или на сушу, но эти падения, в отличие от легкомысленного одиночки Икара, уносят сразу десятки, а то и сотни жизней. Но самолеты все равно полны: время торопит, часы тикают, жизнь продолжается и надо спешить, иначе останешься за бортом. Таково неразумие нашего времени.

После Икария какое-то время земли не было видно, а потом справа опять появился большой остров. Это Хиос. Еще немного к северу — Лесбос, а слева — Северные Спорады, но это далеко, только изредка на горизонте появляются очертания берегов какого-либо из этих островов. У нас была карта, вырванная из старого английского журнала, и по ней мы могли хорошо ориентироваться

в акватории этой части моря. Впереди нас ждал Лемнос, потом Самофракия, а далее уже — Дарданеллы. Тут мы навсегда распрощались с Эгейским морем и перешли в Мраморное.

По Дарданеллам идем как по каналу. Ширина его от одного до семи километров. Сам по себе этот пролив является удивительным творением природы. Она будто сама позаботилась о том, чтобы проложить путь людям из Эгейского в Мраморное море. Древнее название Дарданелл — Геллеспонт, то есть «море Геллы», — связано с легендой о царевне Гелле, упавшей в воды пролива со златорунного барана, когда она вместе с братом Фриksom пыталась спастись от злой мачехи Ино.

Район Дарданельского пролива был мне немного знаком еще раньше из химической литературы. Тут погиб Мозли, английский ученый, определивший величину зарядов ядер и доказавший, что порядковый номер элемента в таблице Менделеева равен заряду ядра. Так называемая Галлиопольская операция, предпринятая англичанами и французами в 1915 году для захвата проливов, успеха не имела. Стамбул не взяли и проливы не захватили. Десант пришлось эвакуировать, но офицеру связи, 28-летнему Мозли, уйти отсюда было не суждено. Шальная пуля оборвала ему жизнь, когда он говорил с кем-то по телефону.

Мраморное море проходили в основном ночью и почти никаких впечатлений о нем в моей памяти не осталось. Теперь на нашем пути ожидалась только одна интересная точка — Стамбул, и мы заранее старались рассчитать, в какое время суток в него прибудем. Оказалось, что рано утром. Время не самое лучшее, но все-таки приемлемое.

Утром проснулись по тревоге: «Человек за бортом!» Выскочили на палубу, она была уже полна людей. Подошел Володька Нивин и рассказал, что семь или восемь человек, в основном узбеки или таджики, спустили спасательный плот и направились к берегу. Норвежцы, возможно поняв, в чем дело, спасать не спешили, и беглецы благополучно достигли берега. Они правильно рассчитали, что это последняя возможность избежать сталинского рая и связанных с ним злодеяний. Больше таких шансов уже не будет.

Корабль наш, однако, остановился и задержался здесь на несколько часов. Наши ортодоксально настроенные активисты пыта-

лись связаться с турецкой полицией и вернуть беглецов, но из этого ничего не получилось. Никто не знал языка и никто не знал турецких иммиграционных законов, но все мы знали, что общая направленность турецкой политики явно антисоветская. Часа через три наши парламентарии вернулись на борт корабля не солоно хлебавши. Удивляло, что норвежцы согласились так долго ждать и что особую ретивость в этом деле проявили люди, которые во время пребывания в Швейцарии сверхпатриотизмом не отличались, а скорее наоборот — компрометировали нас своим пьянством и алкогольными дебошами.

Вынужденная остановка дала нам возможность оглядеться и хоть с палубы корабля посмотреть на бывший «Новый Рим» и бывшую столицу Византийской империи. Город расположен как раз на выходе из Мраморного моря в Босфор и раскинулся по обеим сторонам пролива. На западном, европейском берегу, располагается большая часть города, а на восточном, азиатском — меньшая. Мы стояли как раз против храма Святой Софии, примерно в полукилометре от него. В свое время это была главная церковь всего христианского мира. Заложена она была в 532 году при императоре Юстиниане I. После падения империи и завоевания Константинополя турками в 1453 году храм был переделан в мечеть. В 1935 году по распоряжению первого президента Турецкой республики в нем был размещен музей. Почти рядом со Святой Софией стоит Голубая мечеть, одна из пятисот мечетей Стамбула — самая величественная и знаменитая.

На корабле прозвенел сигнал к отходу. Наша непредвиденная остановка в Стамбуле заканчивается, и мы идем в сторону Босфора. От собора Святой Софии, против которого мы стояли, подошли ближе к дворцу Топкапы. Тогда я смотрел на него просто как на дворец — огромное, красивое и величественное сооружение, стоящее на самом берегу пролива, и решительно ничего не знал о его истории. Это теперь я знаю, что дворец этот был построен турками вскоре после взятия ими Константинополя в 1453 году по указанию султана Мехмеда II и в течение почти четырех столетий служил резиденцией османских султанов. Здесь находилась голова империи и сердце ислама. Это был не просто дворец, но и крепость, и святы-

лице, и город в городе с многочисленным населением и под защитой целой армии. Здесь рождались, вступали на трон, жили и умирали двадцать пять султанов. Здесь же их нередко свергали, бросали в темницы и зверски убивали. Сюда стекалось золото, здесь лилась самая благородная кровь империи, здесь потрясали в воздухе огромным мечом, сверкавшим над головами почти всех народов мира. В течение трех веков встревоженная Европа и испуганная Азия обращали свои взоры на Топкапы как на вулкан, угрожающий целому свету. Сейчас здесь музей и оружейная палата. В нескольких залах находятся неисчислимые сокровища и исторические реликвии, в том числе трон иранского шаха Исмаила, захваченный в 1514 году султаном Селимом I. Он был весь из кованого золота, выложен рубинами, изумрудами и жемчугом, которые создавали какой-то причудливый мозаичный узор.

Но вот дворец постепенно исчезает из нашей видимости. Мы входим в пролив Босфор. Слева был виден Галатский мост через бухту Золотой Рог, справа Девичья башня. Пролив Босфор представляет собой одно из чудес природы. В древности его и называли восьмым чудом света. Берега его окружены живописными зелеными склонами, изрезанными многочисленными долинами речушек и ручейков. На узкой полосе земли у воды тесно стоят, прижавшись друг к другу, крепости, дворцы и гостиницы. Красивые виллы, дачи, рестораны и кофейни построены так, что создается впечатление, будто стоят они прямо на воде. Длина Босфора 28,5 километров, ширина от 0,3 до 3,3 километра. Живописные предместья Стамбула переходят потом в курортные места, которые тянутся по обоим сторонам пролива на всем его протяжении. Но вот кончается уже и Босфор. Исчезают из поля зрения последние строения последнего иностранного города. Входим в Черное море, а через сутки будем в Одессе. Остались считанные часы нашей вольности, к которой мы так привыкли за последние месяцы. В дальнейшем мы постоянно будем слышать обычное, родное, советское: «на поверку становись», «приготовить вещи к обыску», «отставить разговорчики», «конвой открывает огонь без предупреждения» и другие сентенции, ставшие крылатыми в эпоху правления «великого гуманиста» тов. Джугашвили-Сталина.

Весь день мы шли по Черному морю. Многие из нас видят его впервые. Черным оно не выглядело, и у нас возник спор, почему же море так называется. Правдоподобного объяснения привести никто не мог, и мы решили, что так оно выглядит в непогоду или от случайного впечатления могло получить такое название. Много лет спустя я прочитал у Чивилихина, что раньше его называли Чермное, а не Черное, но потом это непривычное слово переосмыслили и море стало Черным.

Ночь нам предстояло провести еще в плавании, но на корме уже с вечера начала чувствоваться обстановка сборов и подготовки к высадке. Собрать свои мешки нам недолго. Вещей почти никаких, но у всех швейцарские туристические ранцы, в которых лежит запас сигарет, у некоторых одна-две книги, фотографии, бритва, мыло. А у меня еще были шахматы, подаренные Эмми Гюртлер, учебник химии Эрленмайера с дарственной надписью и словарь, который благодаря его небольшому формату мне удалось сохранить, пронеся через множество обысков. Он и теперь лежит в моем книжном шкафу, как реликвия, напоминающая о тех голубых далях — днях моего пребывания в альпийской республике.

Уже поздний вечер, но никто не ложится спать, почти все на палубе. Разбившись на группы, люди беседуют или спорят о том, как нас встретят в Одессе и что нас ожидает в дальнейшем. В нашей группе Аржанов, Бунин, Нивин, Тищенко, Савченко и еще несколько человек. Главным оракулом у нас выступал Бунин. Он старше всех. Ему уже 36 или 37 лет. В прошлом он прокурор области, у него и знаний больше, и опыта. Бунин гораздо тоньше понимал иезуитскую политику сталинских властей, поскольку сам был в некоторой степени ее проводником. Через него мы и пытались разглядеть свое будущее. Его фронтовое прошлое было очень тяжелым. В плен он попал раненым то ли зимой, то ли очень поздней осенью 1941 года где-то под Москвой. Был сильно обморожен. Всех других раненых, взятых вместе с ним, немцы расстреляли, а его оставили, возможно потому, что он знал и мог произнести несколько фраз на немецком языке.

В истории на этот счет есть хотя и неравнозначная, но интересная параллель. Когда афиняне во времена Алкивиада потерпе-

ли поражение в борьбе за Сицилию, около шести тысяч пленных афинян было закрыто в ущелье, где они все и погибли. Сицилийцы освободили лишь тех, кто знал наизусть стихи Эсхила. Вернувшись домой, они потом боготворили 60-летнего поэта.

Немцам такие порывы тоже были иногда свойственны. К тем из пленных, кто хоть немного знал немецкий, отношение было несколько лучше. В лагере наш бывший прокурор выжил и был отправлен потом в Южную Германию. Через Боденское озеро ему удалось достигнуть Швейцарии. Теперь он считал, что живет уже вторую жизнь, а это незаконно, поэтому и бояться нечего, что бы ни случилось — в любом случае он ничего не теряет. Относительно нашей встречи в Одессе он утверждал, что встреча будет сопровождаться музыкой, я же считал, что нас встретят с автоматами. Заключили пари. Если будет музыка, Бунин получит мои шахматы, а если нас встретят с автоматами, то я получаю от него 20 пачек сигарет.

Спать легли поздно. В Одессу мы должны были прийти не рано, и времени на сон оставалось достаточно. После последнего ужина на корабле на столах не осталось ни одного куска хлеба. Каждый брал немного в запас, зная, что лишним кусок не будет, а норвежцы от этого не пострадают. В Одесскую гавань мы вошли около 11 часов утра. После многолетнего отсутствия мы снова ступили на родную землю.



Примерный маршрут побега из Германии в Швейцарию через Голландию, Бельгию и Францию. Начало маршрута — песчаный карьер возле г. Дюльмен (близ Дортмунда, Германия), окончание маршрута — г. Поррантрюи (близ Базеля, Швейцария)



В лагере для интернированных
Швейцария, 1943 г.



С другом Н. Аржановым



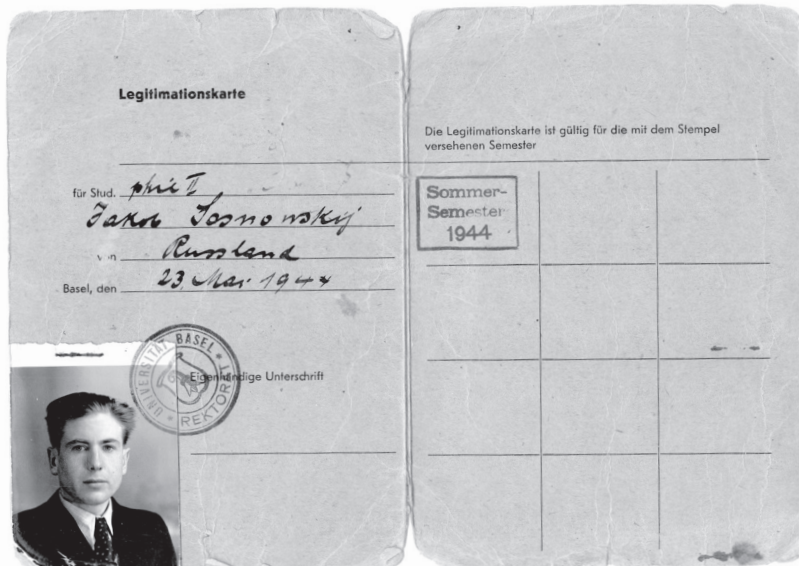
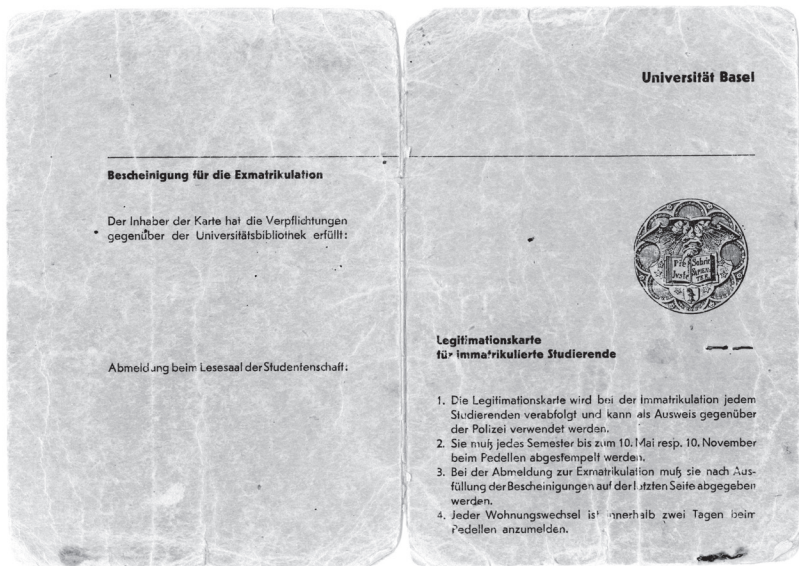
Гостиница «Энгельгоф» в Базеле



В гостях у швейцарских друзей



У входа в Базельский университет



Удостоверение Базельского университета



По дороге домой
Франция, 1944 г.



Школа в лагере для интернированных

Глава 6

РОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

Карантинный лагерь в Одессе

У причала толпа людей. Многие из них, вероятно, работники порта, но немало и простых зевак, привлеченных духовым оркестром, выстроившимся поблизости. Люди поняли, что кого-то будут встречать, и стекались сюда отовсюду. Пассажирские иностранные суда уже давно сюда не заходили, и это не могло не вызывать любопытства. Через несколько минут после подхода корабля к причалу был спущен трап. Команда корабля выстроена на палубе. Грянула музыка. Мы начали сходить по трапу по два человека в ряд, а потом, сойдя, строились по четыре и отходили, чтобы дать место тем, кто шел за нами. Так сошли все, и колонна двинулась по набережной. Кроме наших распорядителей поблизости не было никого. Какие-то военные были, часть из них поднялась на корабль, другие проходили мимо колонны, но никто из них не пытался показать, что они имеют к нам какое-то отношение.

Дорога в город от причала только одна. По ней мы и двинулись вдоль берега. Музыканты продолжали наяривать бравурные марши, под которые легко печатать шаг. Оркестр был даже не один, ибо я хорошо помню две кучки музыкантов, отстоящих друг от друга метров на 150—200.

Стало ясно, что пари с Буниным я проиграл, но утешился тем, что встреча была торжественной и как будто не обещающей ничего плохого. Значит, верно толковали нам в Египте посольские работники, что все граждане СССР, попавшие в плен или увезенные на работу в Германию из оккупированных областей, реабилитированы и ни в чем не будут обвиняться. Было, правда, непонятно, от чего реабилитированы и какая вина с нас снята, но мы все равно

с некоторой долей скепсиса верили в это. Исключением, говорили они, будут лишь те, кто совершил какие-либо противозаконные или антипатриотические действия.

Люди, собравшиеся на пристани, стояли поодаль, не переходя определенную черту. Значит, они были кем-то предупреждены, иначе прямота этой черты вряд ли продержалась бы долго. Похоже, стражи порядка находятся тут же, в первых шеренгах толпы и поддерживают ее стабильность. От берега шли довольно долго, уже и музыка давно замолчала, а мы все идем. Но вот вышли на Дерибасовскую, теперь нам надо повернуть на 90 градусов. Повернули налево — и первая десятка, перешедшая этот рубеж, оцепляется двумя охранниками, следующие 10—12 человек, вышедшие на улицу, тоже получают своих охранителей и так далее. Теперь с корабля нас уже не видно и, стало быть, ничто не мешает вступить в силу тюремным законам сталинского социалистического рая. Скоро мы убедимся, что они действительно вступили в силу во всем блеске своей дикости, каннибализма и бесчеловечности. По городу шли долго и вышли на окраину. Кажется, это была западная окраина Одессы. Тут стояло большое кирпичное здание, служившее ранее казармой. Сюда нас и привели на постой.

Снаружи здание как здание, обычная казарма, какие мы видели в прошлом уже не раз. Но когда нас распустили из строя и мы вошли в здание, чтобы как-нибудь тут устроиться, мы ужаснулись. Многих дверей и стекол в окнах не было. На полу грязная солома и всюду человеческие испражнения. Нам объяснили, что во время оккупации тут стояли немцы и они де все это и загадили. Нам оставалось только удивляться, что немецкие испражнения так долго не высыхают и не стареют. Ведь Одесса освобождена уже много месяцев тому назад. Взялись наводить порядок. Никому из нас в таких «гостиницах» жить еще не приходилось. Убрали солому, вымыли пол и расположились прямо на нем. Никаких коек или хотя бы топчанов, конечно, не было. Голые доски пола и больше ничего. Погода, правда, стояла уже довольно теплая, поэтому от холода мы почти не страдали. Хуже было с питанием. Первые два или три дня вообще ничего не давали. Доедали то, что прихватили с корабля или еще ранее, из Швейцарии. У меня было несколько колотых ку-

сков неправильной формы натурального шоколада, купленных еще в Базеле. Добавок в нем никаких не было, и я знал, что он может долго храниться. Этот резерв и еще несколько кусочков хлеба, захваченных с корабля, облегчили мне период адаптации к условиям существования на родине. Те, у кого ничего не было, голодали или обменивали кое-какие вещи на куски суррогатного хлеба.

Дня через два или три нам организовали «горячее питание». Это была просто вода, в которую закладывалось некоторое количество капусты, и потом нагревалось все до кипения. Этой баланды давали по ведру на десять человек. Хлеба не было ни грамма. Так мы и жили около двух недель. Это был карантин во избежание занесения в стерильно чистую среду сталинского рая каких-либо болезней или идеологической заразы. Во время обысков была изъята вся литература, которая сохранилась кое-у-кого в ранцах, все фотографии — и все это было сожжено в костре.

Дни идут. Физическое и идеологическое выздоровление продолжается. Выхода в город мы не имеем, сколько нас собираются тут держать — не знаем. На все вопросы всегда следует один ответ: «Держать будут столько, сколько потребуется». Слышим, что трое уже арестованы. Собственно, и все-то мы сидим под арестом, под охраной, но этих троих забрали, и где они теперь, мы не знаем. Один из этих троих был Никитин.

Я его хорошо знал. В Швейцарии он учился в Католическом университете в городе Фрибур. Иногда он писал статьи в швейцарские газеты. Я помню по крайней мере две его газетные заметки. Одна из них — безобидный рассказ о пребывании в немецком лагере и о побеге, а в другой статье затрагивался вопрос о судьбе религии и служителей культа в СССР. Это, конечно, уже опасная тема. Западный читатель знал о судьбе церквей в Советском Союзе гораздо больше, чем было сказано в короткой газетной заметке, но все равно такая дерзость сойти даром в сталинские времена не могла. Что стало с Никитиным после ареста, я не знаю. Еще двое других, арестованных тогда же, служили какое-то время во власовской армии. Они были осуждены сразу же на 8 и 10 лет каторги. Судила их тройка НКВД без всяких атрибутов юриспруденции и прений сторон, суд продолжался несколько минут.

Фильтрационный лагерь в Алкино

Прошло 10—12 дней, и, построившись, мы снова пошли через весь город, на этот раз на вокзал. Там мы погрузились в товарные вагоны. В вагоне было только одно маленькое окошечко, старательно опутанное проволокой, нары, сбитые из досок в два этажа, и еще большая железная бочка. Это параша. Такой большой параше нам, собственно, и не требовалось, так как кормили мало и редко, да и места она занимала много, но другой, поменьше, видимо, не нашлось.

Теснота в вагоне была невероятная, и если бы не многочисленные щели в стенах, мы, наверное, погибли бы от удушья. Свет мог проникать только через окно вверху вагона и те же щели, поэтому в вагоне всегда были сумерки. Двери вагона закрывались на засов снаружи. На нарах все лежали впритык друг к другу и только на боку, иначе не уместиться. Поезд шел медленно и часто останавливался. Иногда нас просто загоняли в тупик, и тогда мы стояли сутками. На остановках спрашивали, какая станция. Обычно нам отвечали, и мы приблизительно представляли, где находимся. Выходить никому никуда не разрешалось, за исключением тех случаев, когда надо было опорожнить парашу. Вагон открывался только когда приносили пищу, пополняли запас воды или выносили нечистоты. Это полагалось делать по очереди, но помнится, что чаще всего для этого находились добровольцы. Во всяком случае мне это не приходилось делать ни разу. Дело в том, что выйдя из вагона можно было обменять что-нибудь из одежды или других вещей на самогон и, кроме того, побыть какое-то время на воздухе. Товарообмен обычно производили через охрану, но при этом добрая половина самогона у нее и оставалась и предварительно попробовать самогон было нельзя. Приходилось брать тот, который дадут. Охотников на такой обмен у нас было достаточно. Отдавали обычно часы, предметы одежды, автоматические ручки или даже иголки.

Ехали довольно долго. Проезжали Черкассы, Полтаву, Харьков, Белгород, Курск и Куйбышев, но из единственного окна своего вагона видеть могли совсем мало. Да и остановки были всегда вдали от пассажирских вокзалов, многие из которых в то время лежали в развалинах. Когда на остановках мимо вагона проходили

люди, некоторые из ребят бросали записки с адресом своих родных и просьбой сообщить им о том, что автор записки жив и что такого-то числа, месяца он проезжал такую-то станцию. Я, подумав немного, решил этого не делать, по крайней мере до тех пор, пока как-нибудь не определится наша судьба.

Но вот наконец-то и приехали к месту назначения. Мы уже знали, что находимся в Башкирии и что поезд идет в сторону Уфы. Думали, что она и будет конечной точкой нашего животно-пассажирского марафона. Так, по крайней мере, говорила нам охрана. Но до Уфы мы не доехали километров 30 и на одной из маленьких станций нам приказали выгружаться. Это была станция Алкино. Приехали поздно вечером, тьма кромешная. Не светит ни один фонарь, ни одна лампочка, словно станция затемнена по законам военного времени. Строимся в колонну по четыре. Под ногами хлупает грязь. Идти пришлось километра два или три, и на всем протяжении нашего пути грязина была невообразимая. Ботинки зачерпнули почти с первых шагов. Рядом с колонной шагают охранники, но уже не те, что сопровождали нас из Одессы. Это были заморенные подростки, на вид им можно было дать лет 16—17, и они еле волочили ноги. Уже по одному только виду этих сторожей можно было понять, что ожидает нас в лагере, в который мы идем.

Пришли. У ворот колонну остановили. Группа офицеров, старший из которых был майор, начала нас пересчитывать. Отсчитают сто человек и пропускают в лагерь, затем следующую сотню и так далее. Тут мы еще раз могли убедиться, что «социализм есть учет и контроль».

В лагере нам показали палатки и полуземлянки и велели располагаться кто где хочет. Осмотрев, насколько это можно было сделать в темноте, те и другие, наша группа в составе Тищенко, Нивина, Аржанова и меня решили поместиться в палатке. Они были рассчитаны на пять человек. Пятым к нам поселился крымский татарин. Он был намного старше нас, носил бороду и порядочно хромал — результат ранения еще в 1942 году. Почти все полуземлянки и частично палатки были затоплены водой. Наша палатка тоже. В темноте воду отводить не стали. Нары были сплетены из прутьев. Они возвышались над землей примерно на полметра. Осуше-

ние палатки решили отложить на утро. На нарах матрац, набитый соломой, такие же подушки и обычное армейское шерстяное одеяло. Первая ночь не была холодной. После тесного и душного вагона в палатке спалось хорошо и спокойно.

Так начался новый продолжительный период в нашей жизни — в лагере Алкино, который мы назовем потом «алкинской академией». Официально наш лагерь назывался проверочно-фильтровочным лагерем № 322. Утром мы убедились, что находимся в одном из отсеков огромного лагеря, в котором около 370 тысяч человек. Трудно сказать, что означал номер лагеря — 322. Ведь если считать, что это порядковый номер в системе подобных лагерей, пусть даже не таких крупных, как наш, то все равно окажется, что огромное количество людей, вывезенных из оккупированных ранее районов, а также вернувшихся из-за рубежа, были закрыты в лагерях и фактически на какое-то время исключены из сферы производительного труда. И это тогда, когда страна лежала в развалинах.

Лагерь был разделен на много отсеков, между ними — два ряда колючей проволоки. Общение между обитателями отсеков было возможно только через проволоку, но если с обеих сторон соберется много людей, с вышки раздавалась команда — разойтись, а если сразу не слушались, то следовал предупредительный выстрел, после которого оставаться на месте было уже опасно.

В нашей клетке-отсеке примерно половина людей размещалась в полуземлянках, а другая половина в палатках. Когда погода была хорошей, в палатках жить было предпочтительнее, так как каждая из них была рассчитана только на пять человек, а в землянках было набито около двухсот. Это была длинная яма глубиной около метра, а над ней скатом были поставлены бревна, на которые сверху навалена земля. На всю землянку было две-три маленьких лампочки. Нары сплошные, застеленные соломой, а посередине проход шириной метра два. В одной из таких землянок находился штаб, а в другой такой же работали следователи из СМЕРШ и вершил свою работу суд. Во всех остальных жили люди, ожидавшие решения своей судьбы.

Был в нашей клетке, как впрочем и во всех других, так называемый военный городок или, как бы мы сказали сегодня, спорт-

площадка. Это турник, кольца, канат, лестница и прочее. Однако нам все эти устройства были не нужны. При той норме калорий, которая нам полагалась, никого не манило на турники или на лестницу. Но в отношении природы нам крупно повезло, так как стоял май и погода большей частью была хорошая. Старожилы и охрана рассказывали, что в палатках и землянках, которые не отапливались, люди жили и зимой. Холод и голод настолько выматывали новобранцев, что все они с нетерпением ждали, когда их отправят на фронт, и это стремление потом выдавалось, конечно, как высокий патриотизм формируемых здесь полков и дивизий.

Зная, что в перспективе у нас лето, мы решили пока оставаться в палатке и не искать возможности перебраться в землянку. Ночами под одним одеялом иногда было прохладно, но мы были ничем не заняты и выспаться могли днем, когда было теплее. Правда, днем нас несколько раз строили то на поверку, то на обыск, то по случаю приезда какого-нибудь начальника, но все равно это не занимало слишком много времени.

Заняться днем большей частью было решительно нечем. Люди собирались небольшими группами, рассуждали о том о сем и ждали, когда вызовут для допроса. Кухня находилась за пределами лагеря, примерно в километре от наших палаток и землянок. Три раза в день мы должны были выделять по одному человеку от каждой десятки, чтобы под конвоем идти на кухню за супом и хлебом. Хлеба давали по одной булке на пять человек — это примерно по 250 граммов. Разрезали булку на идеально равные куски и взвешивали их потом на самодельных рычажных весах. Все точь-в-точь так, как мы это делали в немецком плену. Разрезанные и развешенные куски клали рядом, один из пятерки отворачивался в сторону, а другой, указывая на один из кусков, спрашивал: «кому?», отвернувшийся называл кого-либо из пятерки, и тому вручали этот кусок.

Супа полагалось по литру на брата, то есть ведро на десять человек. Разливали его так же старательно и равномерно, как и делили хлеб. Кроме воды и капусты в супе, конечно, ничего больше не было, только изредка попадет кому-то маленький кусочек картошки — и это уже считалось большим счастьем и удачей. Второго блюда не было никогда, чая тоже не было. Только хлеб и суп,

все дни один и тот же. Желających ходить за обедом было много. Очередность при этом соблюдалась с железной непреложностью. Дело в том, что на кухне работали женщины и молодые девчонки, которых можно было упросить отослать письмо на родину или раздобыть табак или другой дефицит, выменяв на что-нибудь. Кроме того, можно было поговорить с кем-то из гражданских и узнать что-либо о жизни за пределами лагеря.

Шли дни и недели, уже и лето в разгаре. Людей в лагере стало заметно меньше. Тех, кого уже «проверили», почти сразу отправляют на стройки, заводы или просто в отдаленные районы Сибири или Дальнего Востока. В точности сбывается предсказание моего друга-поляка в Швейцарии, который сказал тогда, что нас всех ждет Сибирь. Каждые два-три дня отправляют эшелон с людьми, а это примерно полторы-две тысячи человек. Многих моих знакомых по Швейцарии или Египту в лагере уже нет.

С одним из таких эшелонов уехал Бунин. Он потом напишет по моему деревенскому адресу, и я прочитаю его письмо примерно через три года после того, как оно было получено. Их эшелон был остановлен где-то в лесу, приблизительно в 80 километрах от Хабаровска. Там им сказали, что здесь они будут жить, на 10 лет их освобождают от всех налогов, а через два-три года каждый из них получит отпуск и сможет привезти сюда свою семью, если она есть, а если нет, то отпуск для того и будет дан, чтобы ее завести. Вот так начал свою новую жизнь бывший областной прокурор, мой старший друг и товарищ Тимофей Иванович Бунин. Когда они приехали, в лесу кое-где еще лежал снег. Им выдали пилы, топоры, лопаты и прочий инструмент. Стройте, дерзайте и благодарите партию и правительство, а также лично товарища Сталина, за счастливую жизнь.

Хорошо помню, что до конца июня ни меня, ни Аржанова в СМЕРШ не вызывали. Только один раз за все это время меня пригласили туда в качестве переводчика. Судили австрийца, который по чьей-то вине или просто по недомыслию вместо лагеря для немцевких военнопленных попал в наш лагерь. Это был уже немолодой и порядочно больной человек. Лет ему было около сорока. По профессии он столяр. У него сохранились фотографии жены, двух дочерей-подростков и фотография его дома. Страдал он в лагере не толь-

ко от сурового режима и голода, но еще и от того, что ни с кем не могли о чем поговорить — одиночество среди толпы людей.

С его слов я ответил на все вопросы энкавэдэшников, касающиеся его участия в боях на восточном фронте, пересказал его рабочую биографию и думал, что его отправят в лагерь для немецких пленников или сразу отпустят домой. Но не тут-то было! Приговор гласил: «Пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительно-трудовых лагерях». Когда я перевел ему приговор, он заплакал и как-то необычно сильно задрожал. Я помог ему подняться со скамьи, когда рядом с ним уже стояли два солдата, чтобы взять его под охрану, хотя все мы уже давно находимся в охраняемом лагере. После этого я больше уже никогда его не встречал.

Вскоре уехали с очередным эшелоном Нивин и Тищенко. Теперь в палатке нас осталось трое. Еще через какое-то время был вызван на допрос и уже не вернулся крымский татарин. Мы остались вдвоем и решили, что надо идти к людям. Перебрались в одну из землянок, где были свободные места.

К этому времени общая атмосфера в лагере стала гнетущей. Все иллюзии относительно скорого возвращения к нормальной жизни окончательно исчезли. Началась переброска войск на восток, значит предстоит война с Японией. Было ясно, что самое лучшее, на что мы еще можем рассчитывать — это «трудовая армия». Значит, опять барак, проволока и полуголодная или вовсе голодная жизнь.

Несколько человек в лагере застрелились, двое из них в нашем отсеке. Политрук, то ли татарин, то ли башкир, объяснил, что это были враги и пособники Гитлера. Они де боялись революционно-го возмездия и потому застрелились. После этого ужесточились обыски. Они проводились почти ежедневно и всегда неожиданно. Время от времени в землянках учиняли санитарную обработку фенольным раствором, и в это время все наши вещи перетряхивались уже в наше отсутствие.

Во время этих шмонов у меня и у Аржанова забрали и сожгли дневники. Большинство моих записей было сделано на немецком языке, а записки Аржанова были написаны бисерным почерком ради экономии места. Старшина, тоже нерусский, вероятно башкир, полистал блокнот и швейцарские тетради и кинул их в горевший уже

костер. Мы решили обратиться с жалобой к политруку, тому самому, который объяснил самоубийство двух наших людей тем, что они были чуть ли не заместителями Гитлера. Политрук заявил, что существует указание изымать все иностранные издания книг, газет, журналов, а также фотографии, значки и, естественно, холодное и огнестрельное оружие. О дневниковых записях в этих указаниях ничего не говорилось, и он обещал на этот счет еще с кем-то проконсультироваться. «Но дневники-то уже сгорели», — сказали мы. «А вот это он зря. Мы ему на это укажем. Он должен был передать их в политчасть, а уж потом мы бы решили, что с ними делать». На этом наше собеседование закончилось. Позднее, немного подумав, мы решили, что это еще не самое худшее, что дневники сгорели. Если бы они были переданы в политчасть, то, наверное, были бы и прочитаны. Ведь этическая норма, что личные записи без разрешения читать нельзя, на наших политкомиссаров не распространялась, и они бы уж наверняка нашли в них что-нибудь антисоветское и наказуемое.

В середине лета, когда в лагере еще было много людей, к нам неожиданно приехал народный комиссар К. Ворошилов. Мы узнали об этом только за несколько часов до приезда, потому что всюду началась генеральная уборка, лихорадочно подметали дорожки, засыпали выбоины на дороге между станцией Алкино и лагерем, ввинчивали лампочки в землянках, аккуратно застилали одеялами грязные соломенные матрасы и прочее. Но самым убедительным доводом в пользу того, что действительно кто-то приедет, был обед. Нам дали по ложке американского лярда и по ложке сахара, чего раньше никогда не было. Суп тоже был лучше обычного.

Машина с народным комиссаром должна была, видимо, сразу пройти к штабу. Дорога туда шла мимо спортивного городка и прежде чем повернуть направо, непосредственно к землянке, в которой находился штаб, упиралась в перекладину с кольцами, канатом и лестницей. Когда «высокий гость» подъехал к этому спортивному чуду, он увидел на ней человека, висящего с петлей на шее. На груди у него был пришпилен большой лист бумаги. Все три машины притормозили, но без остановки проследовали к штабу. Вокруг перекладки начала собираться толпа, но никто не решался что-нибудь

предпринять. Через несколько минут из штаба, расположенного всего метрах в пятидесяти, прибежали офицеры, оттеснили людей и сняли труп самоубийцы, перерезав веревку. Сделать это было нетрудно, так как он висел рядом с лестницей, по которой раньше и поднялся сам. Близко к трупу никого из наших не подпустили и не дали прочесть, что было написано на бумаге.

Мы тогда подумали, что это, пожалуй, к лучшему и может положительно повлиять на нашу судьбу. Прошло минут тридцать, и машина с народным комиссаром и сопровождавшими его лицами отбыла по направлению к Уфе, а у нас все встало на круги своя. Не изменилось решительно ничего. Так мы и не поняли, зачем приезжал к нам этот старый комиссар, одетый в маршальскую форму. Он ни на минуту не вышел из помещения штаба, не поговорил ни с одним из обитателей лагеря, не заглянул ни в одну землянку. Он просто засвидетельствовал свой приезд, чтобы где-то можно было отметить, что «великий» маршал совершил инспекционную поездку.

После этого высокоперсонального блиц-визита жизнь наша протекала по тем же стандартам. Строились на поверку: не сбежал ли кто. Иногда строились с вещами, а это означало, что будет большой шмон. Время от времени нас посылали на какие-нибудь работы внутри лагеря, или политруки читали нам какие-либо политические проповеди, или сами мы собирались у газетных витрин и прочитывали все до последней строки, так как читать было решительно нечего. Вся печатная продукция, которую мы захватили из Швейцарии, уже давным-давно была реквизирована и сгорела на кострах.

Большую часть времени мы были вольны проводить по собственному усмотрению, обычно собирались небольшими группами и вели бесконечные разговоры на разные темы. Некоторые играли в карты и шашки. Шахмат не было, и я не помню, чтобы кто-нибудь играл в них. Помню, что обсуждалась идея вырезать фигуры из дерева, но, похоже, никто так не взялся ее осуществить. Когда погода была хорошей, мы обычно стирали свою одежду, мылись и брились, пользуясь при этом мылом, привезенным еще из Швейцарии или Африки. Очень скоро мы поняли, что мыло надо расходовать расчетливо и экономно. В лагере нам давали жидкое мыло только в бане, в которую нас водили примерно один раз в месяц, а в теплое

летнее время еще реже. Мыло напоминало черную зловонную жидкость, которой раньше, еще до войны, мыли шерсть.

Постепенно людей в лагере становилось все меньше. Длинные эшелоны товарных вагонов, нагруженных людьми, по-прежнему не реже одного-двух раз в неделю уходили со станции Алкино. Домой отпускали только безнадежно больных из числа тех, кто прошел проверку по первой категории. Все остальные по заявкам министерств и разнарядкам НКВД направлялись на стройки, заводы, шахты или, если лояльность оказывалась под сомнением, просто в лагерь на определенное число лет. Это могли быть исправительно-трудовые лагеря, но могла быть и каторга. Тогда на груди, на шапке и на спине пришивалась белая тряпка с номером. Человек в этом случае терял свое имя и фамилию. Во всех списках и на всех переключках он фигурировал теперь только под этим номером.

Режим в лагере каторжан был значительно более суровым, нежели тот, который мне пришлось пережить в штрафном лагере в плену. Там был просто тяжелый труд и лишения, связанные с недоеданием. Здесь же человек наказывался почти непосильной работой, голодом, холодом, полным моральным уничтожением и страхом за судьбу отца, матери, сестер и братьев, о которых он ничего не мог знать, так как лишен был права переписки.

Но с каторгой я встречусь позднее, в Воркуте, а сейчас мы пока в лагере № 322, подведомственном институту СМЕРШ, что значило «смерть шпионам». А ведь если существует ведомство, созданное с вполне определенной целью, то оно должно работать, должно выполнять и перевыполнять планы, чтобы отработать зарплату и показать свое усердие. И оно работало! Миллионы людей из оккупированных районов страны и те, кто смог вернуться из плена, были закрыты в лагерях или посланы на каторгу. Великий кремлевский гуманист мог быть вполне доволен. За преступно-бездарное ведение войны на первом ее этапе расплачиваются теперь простые люди, а подлинный виновник катастрофы 1941 года носит мундир генералиссимуса и среди своих лакействующих подручных пользуется репутацией величайшего полководца всех времен и народов.

Уже где-то в конце лета, ближе к осени, меня вызвали на первый допрос. Допрос вел старший лейтенант, еврей по национальности.

Я рассказал коротко о судьбе школы, в составе которой принимал участие в боях, о пленении и о побегах из плена. Он ничего не записывал. Я понял, что вызван для первого беглого знакомства. Вопросы он тоже почти не задавал и только в конце заметил, как же это мне удалось через море перебраться в Швейцарию? Я как можно спокойнее ответил, что Швейцария — это не Швеция, она расположена в центре Европы, и моря на моем пути не было. После этого он меня отпустил и больше не вызывал. И только позднее, уже в Коломне, СМЕРШ снова вспомнит обо мне и начнет «фильтровать» по-настоящему.

Вскоре после вызова меня на первый допрос для оставшихся в лагере открылись вдруг строительные работы. Кто-то решил, что нужно строить дома для офицеров. Эти объекты ни в какую номенклатуру, конечно, не были включены, поэтому и строить их было не из чего. Решили лепить дома из соломы и глины. Этот строительный материал известен под названием «саман». Из него, пожалуй, можно слепить что-нибудь в районе, где не бывает или почти не бывает дождей. Но для Башкирии это малоподходящий материал. Однако стройка началась, хотя никто не знал, где взять потом кирпичи, доски, стекло или чем покрыть крыши.

Около лагеря были вырыты ямы, в них клали солому, глину, а потом десятки и сотни людей босыми ногами перемешивали эти строительные компоненты. Когда смесь приготовлена, из нее формовали кирпичи, которые потом сушили на солнце. Пока было тепло, все это казалось более или менее естественным и все работали, полагая, что труд этот не будет бесполезным. Но потом стало холодно. Месить саман босыми ногами стало уже невозможно, но людей по-прежнему загоняли в ямы. Началось массовое возмущение и недовольство. Но всех, кто отказывался пойти в яму, лишали обеда и каждому надо было выбирать, что лучше — переохладиться в яме или опухнуть с голоду.

Мне пока везло в том отношении, что наш взвод и вся наша рота попадала все время не на изготовление самана, а на его транспортировку. Дома решено было строить на возвышенности в километре или двух от глиняных карьеров, где месили саман. Кирпичи надо было доставить на строительную площадку. Таким тяглом

в данных условиях могли быть только люди. Многие сотни людей, а сначала даже тысячи, как невольники Древнего Рима, с двумя кирпичами, связанными ремнем или веревкой и перекинутыми через плечо, двигались цепочкой к месту стройки. Положив кирпичи, они так же цепочкой, мимо расставленной на пути охраны, двигались обратно, чтобы снова взять два кирпича, и так весь день, так много дней подряд.

Как раз к этому времени нас разбили на взводы и роты. После сравнительно быстрой разгрузки лагеря в первые недели и месяцы пребывания в нем теперь личный состав уже почти не менялся. Мы как бы «выпали в осадок». Всех разослали по городам и весям Сибири и Урала, а мы остались, и вся «саманная эпопея» легла на наши плечи, а осталось нас не более полутора тысяч человек.

Нашей ротой командовал, а вернее был в ней старшим надзирателем, старшина, тот самый, который конфисковал у меня во время обыска учебник Эрленмайера, фотографии, дневниковые записи и все уничтожил в огне. Конечно, не у меня одного. Еще больше пострадал Аржанов, у которого кроме обычного дневника были изъяты материалы, касающиеся языка и жаргона в лагерях военнопленных — большое количество рожденных там терминов, метких выражений и слов, возникших в человеческой массе при экстремальных условиях. Все это определенно имело научное значение, но также сгорело в том костре.

Позднее мы беседовали с этим старшиной и пытались объяснить ему, насколько дороги нам были эти записки, книги и фотографии, и он вроде бы понял, но сослался на приказ, который обязывал его изымать и уничтожать все иностранные издания, газеты, журналы, книги, фотографии и открытки. Что же касается дневников, то о них в приказе ничего не говорилось, и старшина признал, что в этом он, возможно, совершил ошибку. После нескольких таких бесед наши отношения с ним несколько потеплели и он стал относиться к нам с большим пониманием, даже с некоторым сочувствием.

Однажды утром он строил роту для обычной утренней переключки. Я чуть-чуть где-то задержался и стал в строй одним из последних. После переключки «за систематическое опоздание в строй» мне было объявлено дисциплинарное взыскание — двое

суток гауптвахты. В таком случае с арестованного обычно снимают ремень, погоны и так ведут на гауптвахту распоясанным. На мне был английский китель, с ремнем он не носится, а полевые погоны пришиты наглухо. Поэтому велено было обрезать на кителе пуговицы и в таком виде доставить меня на гауптвахту. Она находилась внутри лагеря, поэтому вооруженного сопровождения не потребовалось, а отвел меня туда дневальный нашей же роты.

На губе в это время сидело человек пять-шесть, среди них ни одного знакомого. Землянка огромная. Деревянные и совершенно голые нары рассчитаны человек на тридцать. Трое из обитателей этого заведения играют в карты. Карты самодельные. С гауптвахты они не уносятся, а оставляются для последующих арестантов. Один из этих троих обругал матом майора из охраны и посажен на шесть суток. Двое других посажены за попытку пронести в лагерь бутылку самогона, которую они на что-то выменяли, когда пилили дрова на кухне. Еще двое или трое безучастно лежали на нарах и ни в игре, ни в разговорах участия не принимали. Это были нацмены из среднеазиатских республик. Они, как оказалось, даже плохо понимали по-русски. Здесь тепло, сидеть можно, но из еды дают только хлеб и воду, один раз в сутки горячую. Курить тоже нечего, только вот карты да рассказы, кто где был и чего видел.

Утро было холодное, моросил мелкий осенний дождь. Наша рота должна была в этот день месить саман и еще в следующий день тоже. Когда я шел на гауптвахту, ничего этого я еще не знал. Я узнал об этом потом, когда уже отсидел свои двое суток. У многих после такой работы пошли нарывы на лице или на теле, иные слегли с температурой, а у других последствия, возможно, скажутся позднее, в старости, если, конечно, удастся до нее дожить. Даже в плену такое презрение к человеческой жизни и здоровью не было повсеместным и имело место только при грубом нарушении лагерного режима, например при побеге, хищении или саботаже на рабочем месте. После этого случая еще несколько дней месили глину ногами другие роты, а потом массовые жалобы и возмущение достигли опасного предела и в ямы поставили лошадей, нам надо было только формировать саман и таскать его на своих плечах до строительной площадки.

Потом я узнал, что Аржанов тоже был освобожден от саманных работ в холодные дни. На один день — по медицинским мотивам, а на другой — наступила его очередь дневалить по роте. Дневальный от внешних работ освобождался и оставался в землянке наводить порядок. Мы поняли, что надзиратель-старшина в душе своей осуждает свое чрезмерное усердие, проявленное им когда-то при обыске.

Наступила холодная и сырая осень. Землянки не отапливаются. Печки в них есть, но топить нечем. Дрова привозят только на кухню. Людей в лагере становится все меньше, и наконец осталось нас всего пятьсот человек. Теперь все мы были размещены только в трех землянках, которые нам время от времени удавалось протопить. Каждый, кому удавалось выйти за пределы лагеря, не возвращался обратно без какой-либо доски, палки или хотя бы охапки хвороста. Строительные работы были прекращены, ни одного дома не было достроено. Саман, сложенный в кучи, постепенно размыли дожди, а потом разрушились и сами стены, возведенные, но ничем не закрытые.

Из бывших «швейцарцев» в нашей землянке остались только мы с Аржановым. Все остальные были уже профильтрованы и отправлены на работы. Был еще, правда, третий, А. Фурашев, но он жил в другой землянке и часто заходил к нам в гости. В Швейцарии Фурашев какое-то время посещал лекции в Цюрихском университете. Это обстоятельство плохо укладывалось в головах СМЕРШников и наводило на подозрения, поэтому Фурашев, как и мы, не мог проскочить через фильтр вместе с другими. В то же время и предать суду нас было не за что, хотя в то время для этого особых оснований и не требовалось.

Теперь в нашем ближайшем окружении оказалось несколько новых ребят, которых мы с Аржановым раньше не знали. Среди них был Вадим Барсук — москвич, сын профессора, бывшего в то время главным психиатром Московской области. Уже поздней осенью он каким-то образом узнал, что сын его находится здесь, и приехал к нам в лагерь, но допуска в лагерь, конечно, не получил и долго стоял у ворот, не имея возможности вызвать сына. Потом кто-то пришел в нашу землянку и крикнул, что за воротами ждут Вадима Барсука. Вадима в это время в землянке не было. Он помогал кому-то из охранников выпускать стенгазету. Его пошли искать, а я вы-

шел к воротам, чтобы сказать профессору, что Вадим скоро придет. Пришел он, однако, не очень скоро, и я продолжительное время, наверное с полчаса или более того, рассказывал профессору о нашей жизни в лагере, о саманных работах, о приезде Ворошилова, о питании и о тройке НКВД, которая судит быстро, но дает много.

Еще одним запомнившимся обитателем землянки из нашего окружения был Караваев, племянник писательницы Анны Караваевой. Это был еще совсем молодой, стеснительный и застенчивый парень. Было заметно, что вырос он в культурной среде и всю эту лагерную грязь, грубость, цензурщину, несправедливость и насилие он переносил еще труднее, чем многие из нас. Анна Караваева в те годы была уже известной писательницей, автором романов «Лесозавод», «Огни» и «Разбег». Мы, конечно, спрашивали его, как она живет и как вообще живут писатели. Он отвечал, что муж ее работает школьным учителем и зарабатывает только себе на сигареты, а она бывает при деньгах, когда издается ее книга.

Здесь же я познакомился и с Николаем Тарасовым. С ним нам потом придется ехать в Воркуту и «продолжать службу» — ему еще год, а мне два. Николай Тарасов был не «швейцарцем», а «шведом», так как бежал в Швецию из Финляндии. Здесь он тоже оказался без свидетелей и осел на фильтре, в лагере теперь таких осталось примерно пятьсот человек.

Был в нашей группе еще Лившиц, еврей, переживший плен благодаря тому, что внешне не был похож на еврея, а фамилию вовремя сменил на русскую. Он был художником, в лагере работал оформителем. Мыслил он нестандартно, был начитан и со знанием дела мог рассуждать на разные темы. Еще одним мучеником в нашем углу землянки был летчик, единственный из всех в лагере одетый в советскую форму со множеством орденов и медалей. Он был сбит над территорией, занятой немцами, и пробыл там около трех часов. Однако, несмотря на кратковременность пребывания за пределами сталинских владений, он почему-то надолго попал в фильтрационный лагерь.

В это время мы уже не работали на самане и у нас появились шахматы. В них играли все, кого я тут перечислил, а летчик играл чуть слабее других. Кроме того, мы все в какой-то степени владели немецким и иногда подсказывали друг другу на немецком языке. Это бесило

нашего авиатора, и он не раз сбивал с доски все фигуры, а один раз вдребезги разбил и саму доску. Пришлось потом рисовать на бумаге другую. Во всем остальном он был человеком позитивным и продолжал держаться нашего кружка до самого конца пребывания в Алкино.

Коломенский лагерь

Однако всему со временем приходит конец. Пришел он и нашему пребыванию в Алкино. Но еще до этого исчез куда-то наш буйный шахматист-авиатор, и мы не могли установить, куда его направили — обратно в армию или куда-то еще. Излишнее любопытство в этом отношении было у нас не принято. Не стало Лившица и Барсука. Эти поехали в Челябинск с очередным эшелоном. В нашем кружке остались только Тарасов, Аржанов и я. Еще какое-то время мы обретались в своей норе, а потом всем, кто еще оставался в этом лагере, велено было собраться с вещами и двигать на станцию. Там стоял эшелон из товарных вагонов, в который мы и погрузились. В каждом вагоне имелась печка, а сами вагоны были немного утеплены: забиты щели, в окно вставлено стекло, а двери более или менее плотно закрывались. Было видно, что мы уже не первые пассажиры в этих теплушках. Параша и охрана были такие же, как во времена нашего переезда из Одессы в Алкино.

Мы думали, что нас повезут на восток, в сторону Сибири, но оказалось, что едем на запад, в сторону Москвы. Миновали Казань, потом Горький, и где-то тут нам сказали, что остановимся в Коломне. Была середина зимы. В Коломне нас поместили в бараках, стоящих на самом берегу Оки, рядом с паровозостроительным заводом. В бараках для каждого есть койка, есть «красный уголок», где можно полистать газеты и старые журналы, есть даже баня. Словом, бытовые условия здесь были значительно лучше, чем в Алкино. На второй день после прибытия нас определили на работу. Утром, стоя в строю, мы прослушали наставление политрука, прибывшего с нами из Алкино. Он объяснил, как это для нас почетно — работать на одном из гигантов социалистической индустрии, Коломенском паровозостроительном орденоносном заводе, и как сильно нам следует этим гордиться.

В отличие от Алкино, где мы работали только эпизодически, здесь нас сразу определили на постоянную работу. По территории завода проходила железнодорожная линия с ответвлениями во многие цеха. Иногда ее заносило снегом, а в оттепель и в последующие похолодания многочисленные стрелки забивались льдом. Вот мы и должны были долбить этот лед, а иногда и очищать линию от снега. В нашей бригаде было человек 10—12. Работали без охраны, так как охранялась вся территория завода, обнесенная высокой стеной, а бригадиром и распорядителем был у нас пожилой хромо́й мужчина. Когда его не было (он, видимо, был уже сильно больным человеком), заменяла его молодая девушка, которая одновременно была и заведующей складом, где хранился наш инвентарь: лопаты, ломы, метлы и прочее. Они не изнуряли себя руководящей деятельностью и, определив нас на какой-либо участок, обычно смывались куда-нибудь в тепло.

Мы, конечно, тоже работали соответственно, но с места работы в первые дни куда не отлучались. Кормили нас почти так же плохо, как и в Алкино, мы были всегда голодны и всю свою изобретательность тратили на то, чтобы раздобыть что-нибудь из еды. Вскоре кому-то из наших парней удалось познакомиться с директором одной из заводских столовых. У того нечем было топить печи, и он попросил поискать на территории завода что-нибудь способное гореть. За это он обещал всей бригаде по порции картофельного пюре. Топливо мы нашли и пюре съели. Отныне все наши заботы сосредоточились на том, чтобы отыскать где-нибудь бревно или доску, незаметно доставить это добро в столовую и получить тарелку картофельного пюре. Этот промысел существовал у нас довольно долго, и занимались мы им весьма успешно. Он дал нам возможность немного подкормиться и обрести почти нормальный человеческий вид. Когда человек относительно сыт, он лучше следит за собой, у него расширяется диапазон интересов, так как его устремления направлены не только на поиски пищи.

Совмещать свою деятельность по очистке подъездных путей от льда и снега с доставкой топлива для кухни нам помогала, конечно, бесхозяйственность, царившая на заводе, и полное безразличие всех работающих к тому, что происходит вокруг. Доски, бревна,

ящики, которые мы таскали и пилили на дрова, не были все бросовыми и ненужными. Некоторые из них были очень даже нужны и полезны, но никто ни разу нас не остановил, не спросил, куда и зачем мы это несем.

Да что говорить о досках и бревнах, если даже импортные (американские) грузовые автомашины лежали несобранные в ящиках прямо на улице, открытые всем дождям и ветрам. Некоторые ящики были уже разбиты и многие детали расхищены, а из автопокрышек вырезаны куски резины, которыми изобретательные рабочие подшивали свои валенки. Таких машин было около двадцати, но сколько из них еще можно собрать и поставить на колеса, сказать трудно. Я не удивился бы, если бы узнал, что уже нельзя собрать ни одной.

Территория завода огромная, и всюду было что-то разбросано, трудно и разобрать что именно, так как все полузанесено снегом. Разительный контраст с тем, что приходилось видеть на территории немецких заводов. Там все прибрано, все разложено, уложено и занумеровано. Нигде ничего не валяется под дождем или снегом. Да и сама территория обычно невелика, никаких пустырей нет. Не думаю, что там можно было стащить что-нибудь способное гореть и обменять это у директора столовой на порцию картофельного пюре или тарелку супа. Зато лозунгов здесь было полно: «Выполним годовой план к 1 декабря!», «Вперед к победе коммунистического труда!», «Слава нашей великой коммунистической партии!» и многие другие. А вот найти туалет было проблемой, а когда найдешь, не знаешь как в него зайти, чтобы не измазаться с ног до головы.

Приближалась весна, на календаре начало марта. Прямо против наших бараков строили мост через Оку. На стройке работали немецкие военнопленные. Работы было еще много, а до ледохода ее надо было обязательно закончить. Нас, всего около сотни человек, перевели на строительство моста. Работа состояла в том, чтобы большими камнями загружать ледоломы перед мостом. Камни привозили на машинах и сваливали на берегу, а мы должны были загружать ими все шесть ледоломов, построенных перед мостом. Никаких тачек или хотя бы примитивных повозок на полозьях у нас не было. Не было и досок, из которых можно было бы их сделать. Камни таскали на себе, иногда волоком на веревке, а чаще просто на плече.

Питание прежнее, а возможность подкормиться в рабочей столовой теперь напрочь исчезла. Нам, правда, сказали, что будут платить по пять рублей в день, но это ничего не меняло, так как купить на них в то время было решительно нечего.

Здесь мне опять пригодилось знание немецкого языка. Хотя некоторые немцы уже могли немного понимать и говорить по-русски, но эти умения были невелики, и меня часто просили переводить что-нибудь нашему инженеру-прорабу. У немцев был свой начальник, инженер-полковник, который в основном и руководил работой, а наш прораб был все время навеселе и поэтому постоянно находиться на рабочем месте не мог. Он появлялся утром и вечером, а днем обычно «отбывал на базу». Обещанные нам пять рублей в день он выплатил только два раза, а все остальные наши рубли пошли на благоустройство лагеря. Фактически же они были пропиты нашим главным строителем совместно с лагерным начальством. Мы об этом хорошо знали, но возмущаться и поднимать шум в нашем положении было неразумно.

Но вот, наконец, мост был готов. Все свои шесть волноломов мы загрузили камнями, а немцы закончили работы на самом мосту. Приехали взрывники из какой-то воинской части дробить лед перед мостом. При этом произошел несчастный случай: один заряд тола взорвался раньше времени и погиб один солдат. Началось следствие. Работы по дроблению льда остановились или сильно замедлились. Немцы утверждают, что такие мосты можно строить только где-нибудь на южных реках, а если на значительном расстоянии перед мостом лед не будет взломан на мелкие куски, то мост рухнет. Взломать лед, конечно, не успели.

К началу ледохода я и еще несколько человек из бывших строителей моста оказались дома, в бараках. По списку следователей из СМЕРШ мы были оставлены для очередного допроса, а остаток времени, если он случался, работали на кухне или на уборке барачных. Услышав, что лед тронулся, мы забрались на крышу барака, чтобы лучше видеть, как выдержат стихию наши детища — ледоломы. Вот по самому краю реки движется огромная льдина. Она столкнулась сразу с двумя центральными ледоломами и как будто на время замерла, остановилась, но скоро оба ледолома накренились по ходу

льдины и потом рухнули. Лыдина медленно двинулась дальше и скоро столкнулась с опорами моста. Они, конечно, не выдержали тоже, и мост, точнее его центральная часть, провалился. Другие льдины сбили потом еще два ледолома, остались стоять только два крайних. Из опор моста целой осталась только одна. Так в течение нескольких минут было разрушено все, что мы строили несколько месяцев.

Главный наш строитель, всегда подвыпивший представитель мостостроя, получил потом пять лет, немцев перевели куда-то на другой объект, а нас вернули на паровозостроительный завод, где мы и обретались еще некоторое время на разных вспомогательных работах.

На начало апреля 1946 года были назначены выборы в Верховный Совет СССР. Нас ни в какие списки не включили, а на наш вопрос, имеем ли мы право голосовать, политрук ответил, что не имеем, так как с нас еще не снято подозрение в измене Родине. Однако по закону не имеют права голосовать только осужденные по суду и умалишенные. Мы пока ни к одной из этих категорий советских граждан не относимся, поэтому решили послать телеграмму председателю Центральной избирательной комиссии Илье Эренбургу.

Свободного выхода в город ни у кого из нас не было, но работая на заводе и общаясь со многими людьми, мы нашли способ послать телеграмму. Среди нас были несколько энтузиастов, которым очень хотелось голосовать, они и организовали отправку телеграммы. Ответ пришел дня через три. Оказывается, голосовать мы имеем право, несмотря на подозрения, которые с нас еще не сняты. Телеграмму подписал сам Эренбург.

Лагерному начальству наше обращение в Москву не понравилось. Такие вещи, сказали нам, надо решать на месте, а не обременять жалобами высокие инстанции. Этот выговор мы выслушали стоя на очередной вечерней перекличке. Попытка политрука установить, кому конкретно принадлежала идея обратиться в Москву, успеха не имела. Нас теперь уже было немного, меньше трехсот человек, и сикофантствующей сволочи среди нас не нашлось.

На допросе в СМЕРШ мне было как-то предложено информировать НКВД о том, что говорит и думает мой ближайший в ла-

гере товарищ Н. Тарасов, а ему, как выяснилось, поручено следить за мной. Перед отчетом о результатах слежки, мы договаривались и согласовывали, что будем говорить друг о друге. В результате тот и другой выглядел перед опричниками как истинный патриот, беззаветно преданный партии и лично тов. Сталину.

Выборы были назначены, кажется, на 6 апреля. Это был нерабочий день, воскресенье. Утром нас выстроили на перекличку. Мы думали, что она начнется и закончится как обычно, а потом нас распустят или поведут голосовать, но не тут-то было. Погода выдалась гнусная, идет дождь попеременно со снегом. Мы стоим уже час, перекличка не начинается, а охраны в этот раз больше, чем бывает обычно. Идет второй час нашего стояния. Прошла перекличка, но мы продолжаем стоять. Все промокли и продрогли. Стало ясно, что затеяна провокация, издевательство в отместку за телеграмму в Центральную избирательную комиссию.

После двухчасовой купели под дождем и мокрым снегом нас повели, наконец, исполнить свой гражданский долг, отдать свои голоса кандидатам блока коммунистов и беспартийных. Избирательных участков вблизи нас было много. Коломна город достаточно большой, в то время в нем было около 80 тысяч жителей. Один из участков находился в здании техникума, всего в нескольких минутах ходьбы от нас. По наивности своей мы считали, что сюда и поведут. Однако идти нам пришлось через весь город, а потом еще и за городом шагали километра два или три. А дождь все идет и идет, перемежаясь иногда со снегом.

Наконец пришли. Высокий деревянный забор, обтянутый сверху колючей проволокой. Открыли ворота. Рядом полосатая будка. В ней спасается от непогоды часовая. Зашли внутрь двора. Судя по форме здесь расквартирована какая-то воинская часть из охранных войск НКВД. Расходиться не велено, продолжаем стоять в строю, теперь уже не только мокрые, но еще и усталые. Здесь мы простояли еще не менее часа, прежде чем нам разрешили войти в помещение голосовать. Цепочкой друг за другом входим в небольшую комнату, где находится стол, на котором лежат бюллетени, и рядом большая урна, в которую следует их опустить. Возле урны стоит лейтенант НКВД с пистолетом на боку.

Каждый из нас берет два бюллетеня, свертывает их и тут же опускает в урну. После этого мы опять выходим и стоим. Никаких списков, где бы отмечали проголосовавших, конечно, не было, и никаких кабин мы не видели тоже.

Самая передовая советская демократия предстала здесь перед нами во всей своей полноте и в самом омерзительном виде. Потом мы еще какое-то время стояли в строю и уже только к вечеру пришли в свой лагерь насквозь мокрые, голодные и измученные. Политрук не ходил с нами голосовать. Когда мы пришли, он вышел из своей конторы и бодреньким веселым голосом спросил: «Ну как, проголосовали?» Обед и ужин на этот раз были совмещены, после чего мы должны были как-то обсушиться, чтобы утром опять быть готовыми к почетной и славной трудовой деятельности на благо Родины, партии и народа. Вечером, в узком кругу, мы заверили друг друга, что если будем живы и выйдем когда-нибудь из проволочного загона, то никогда и ни при каких обстоятельствах не будем голосовать за эту сволоту. Не знаю как другие, а я так и поступал все эти десятилетия.

Если и были среди нас люди, которые еще не совсем утратили веру в тех, кто правит страной, то после этого урока таких уже точно не осталось. Атмосфера в лагере была накалена настолько, что если бы не энергичное вмешательство старших, политрука убили бы, а потом всем нам пришлось бы идти на каторгу. Среди нас были три бывших генерала, несколько полковников и один доктор технических наук, в прошлом директор института станкостроения в Москве, и еще несколько трезвых голов из молодых ребят. Им и удалось усмирить и успокоить радикальную часть лагерников, готовую пойти на все.

Был среди нас один немолодой уже человек, тогда ему было 42 года. Он еще до войны провел несколько лет в лагере за связь и дружбу с «врагом народа». В войну его освободили, он понадобился партии и правительству для защиты горячо любимой Родины. После лагеря он получил возможность заехать домой в Оренбург, где убедился, что семьи у него уже нет и родственников почти тоже. В Коломне он развлекал нас тем, что часами без перерыва мог петь «Мурку» и другие лагерные песни. Вот он

и предложил себя в качестве камикадзе, утверждая, что одного его удара кулаком в определенное место будет достаточно, чтобы из комиссара навсегда вылетела вся его политграмота. Впрочем, я не знаю, как потом развивались события, так как буквально через два-три дня после этих «выборов» в числе других одиннадцати человек я покинул коломенский лагерь и выехал в Воркуту «для продолжения службы».

Еще будучи в Алкино, мы как-то слышали по радио, что в Швейцарию едет советская военная миссия во главе с каким-то генерал-майором. Был перечислен весь состав миссии, одним из ее членов был майор Фурашев. Аржанов и Савченко сразу бросились искать Сашку Фурашева, чтобы установить, не может ли этот майор быть ему братом. Тот сказал, что у него три брата, все они еще до войны получили высшее образование, но ни один из них не был офицером. Сам А. Фурашев тоже закончил какой-то технический вуз и работал в ЦАГИ — Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, а в нашу бытность в Швейцарии он учился в Цюрихском университете и потому вместе с нами надолго застрял в лагере СМЕРШ.

Решили все-таки, что это вполне может быть его брат. Собрали немного денег, продав кое-что из оставшихся швейцарских вещей, и попросили одну из женщин, работавших на кухне, послать телеграмму в Москву, объяснив ей, что для нас это почти вопрос жизни и смерти. Телеграмма была послана, и оказалось, что это действительно был один из братьев Фурашева. Телеграмма застала его еще дома, но уже почти с чемоданом в руке. Из нее он узнал, что его младший брат жив и находится где-то в Башкирии. Но обо всем этом мне стало известно только много лет спустя. В Швейцарии он встретился с Боденманном и рассказал ему о нашей судьбе. Это и было спасением для всех нас, учившихся в университетах Швейцарии. Распоряжение о нашем освобождении пришло в коломенский лагерь, видимо, из Москвы. Мы узнали об этом вечером, и нам тут же выписали соответствующие документы, не разрешив остаться в лагере даже до утра. Аржанов был постарше, и его отпустили домой, а меня вместе с другими освобожденными направили в Воркуту «для продолжения службы».

Дорога на Воркуту

Перед уходом из лагеря нам выдали норму хлеба, несколько сырых рыб и немного сахара. Все это мы поделили поровну и отправились на коломенский вокзал, где предстояло провести первую ночь после освобождения. В группе отъезжающих в Воркуту было 11 человек. Среди них Н. Тарасов, Ю. Любимов и Колмогоров, а все остальные — азербайджанцы и армяне, почти не говорящие по-русски.

До Москвы рукой подать и уехать туда не проблема, но в Москве мы прочно застряли. Билетов нет, а людей в очереди невообразимое море. Проходят сутки, двое, пошли третьи, а мы все тут. Спим по очереди прямо на полу. Вокзал забит до отказа. Хлеб и рыба убывают стремительно. Вокзальное начальство, к которому обращаемся со своими литерами, не оказывает нам никакого внимания и отмахивается от нас, как от назойливых мух. Становится ясно, что мы можем оказаться в тяжелом положении. Старшим группы был назначен Любимов, у него хранились документы, запечатанные в пакете сургучом. Их вполне можно было потерять, и тогда для нас все могло начаться сначала. Армяне и азербайджанцы могли разбежаться в поисках пищи, а ведь мы направлены для продолжения службы. За большое опоздание или неявку кого-либо из нас могут приписать дезертирство и тогда уж до конца дней своих не отмоешься.

Любимов говорит, что в Москве у него была родственница-железнодорожница. Решили попытаться ее найти. Поехали двое — в помощь Любимову послали еще Колмогорова. Родственницу нашли без труда, так как она жила по тому же адресу, что и до войны, но толку от этого было немного. Она сказала, что может достать один или два билета, но чтобы сразу одиннадцать, об этом не может быть и речи. Ее влияние на железной дороге невелико. Еще она дала понять, что если бы у нас были деньги, рублей хотя бы сто или двести, то все было бы проще. Но денег у нас не было и достать их мы нигде не могли.

На четвертый день нашего пребывания в столице решили поехать в Министерство внутренних дел. Поехали трое — Тарасов, Любимов и я. Протолкались там полдня и наконец попали к какому-то капитану. Описали ему обстановку, но и он сделать ничего не мог

или не захотел. Просто западня. Попросили у него записку, что такого-то дня были в министерстве и сообщили о невозможности выехать из Москвы. Такую записку он нам дал, написав ее на бумажке со штампом министерства.

Вернулись на вокзал. Очередь мы, конечно, не теряли. Один из нас все время днем и ночью стоял в очереди. На четвертые сутки подошла наша очередь, билеты купили, а на пятые сутки покинули столицу, чтобы отбыть в славный город Воркуту.

Вагон был забит до отказа. Мне удалось, однако, занять самую верхнюю полку. По тем временам это было уже достаточно комфортно. Все наши тоже кое-как устроились. Едем, только продукты уже почти закончились, несмотря на жесточайшую экономию. К моменту отъезда хлеба у меня оставалось граммов четыреста, одна рыбина и две-три ложки сахара. У некоторых уже нет ничего или почти ничего, а ехать суток трое, не считая времени, которое придется потратить на пересадку в Кирове. Поезд ползет медленно, останавливается почти на каждом полустанке, да еще эта пересадка! Но самое опасное все-таки уже позади, из Москвы вырвались, а остальное как-нибудь переживем — все мы прошли хорошую школу голодания и недоедания. Упражняться в этом приходилось почти с самого детства.

Важно, что едем мы сейчас не в телячьих вагонах, а в самых настоящих пассажирских, и нет над нами никакой охраны. В вагоне много молодежи, военной и гражданской. С некоторыми пытаемся установить контакты. Вот моя соседка по верхней полке Ира. Она едет в Ухту, там учится в техникуме. В Москву приезжала с группой учащихся на экскурсию в порядке поощрения за хорошую учебу. Группа уже вернулась домой, а она оставалась на день-два у родственников.

Из других попутчиков помню по имени только Олю. Это была достаточно вальяжная девица, в отличие от нас при деньгах и с чемоданом, полным всякой снеди. Москвичка, едет до Кирова. Следы интеллекта у нее почти не просматривались, но для нас она была самой дорогой и желанной попутчицей. Больше всех ее пытался обхаживать Любимов — сухой и длинный как коломенская верста парень с носом и профилем древнего римлянина. Бабушка этой Оли торгует в Москве пирожками вразнос от какой-то столовой или

ресторана, поэтому внучка ехала как баронесса. От нее и нам немало перепало.

При пересадке в Кирове сидели 18 часов. Денег ни копейки, поэтому с вокзала никуда не уходим. Но уже почти в самом конце, когда до отхода поезда осталось часа три, я один решил проехать по городу на трамвае, так как никогда в Кирове не был. Проехал. Кое-где выходил, шел пешком, а потом снова садился в трамвай. На улицах — грязь невообразимая. Была как раз распутица, но такой грязи на центральных улицах я все же не ожидал. Видимо, со времен Салтыкова-Щедрина, который здесь был когда-то вице-губернатором, благоустройство этого города недалеко ушло вперед.

Уезжали из Кирова вечером. Людей на перроне полно. Поезд едва остановился, люди еще не успели выйти, а уже начался штурм вагонов, описать который мог бы разве Зощенко или тот же Салтыков-Щедрин. Любого европейца, если бы ему случилось это увидеть, сразу хватил бы инфаркт и была бы тут ему крышка. Но мы народ выносливый, привычный. Вещей у нас почти не было, и мы без особого труда забились в вагоны, оттеснив тех, кто был с вещами, и заняли хорошие полки. Теперь мы взираем с высоты своих полок на суету перронную и на фасад вокзала. Он украшен портретами Сталина, Молотова, Кагановича и Калинина. Персона Сталина в центре, она намного больше других. Тяжелые каменные скулы и ехидный прищур глаз... А внизу — копошащиеся люди, которых он сам недавно назвал «винтиками в государственном аппарате». Вероятно, в честь приближающегося праздника уже повесили портреты всех «вождей мирового пролетариата», хотя на календаре еще только первая декада апреля. Опоздать с этим делом никак нельзя.

В Кирове и еще до него сошли с поезда и навсегда канули для нас в вечность многие попутчики, ехавшие с нами из Москвы. Здесь сошла и Оля, и теперь уже не видать нам пирожков. Соленых огурцов и вареной картошки, которую она иногда для нас покупала, конечно тоже. В Ухте сошла Ира, а с ней еще две семьи, которые едут в Ухту добывать нефть. С ними мы познакомились еще на московском вокзале, когда стояли в очереди за билетами.

В вагонах становится все свободнее, а после Кожвы вообще в нашем вагоне осталось только человек пятнадцать. До Воркуты

еще четыреста километров, но леса здесь уже нет, едем по тундре. Только кое-где виден чахлый и мелкий кустарник, едва высовывающийся из-под снега. Весна сюда еще не дошла. Снег лежит нетронутым под холодными лучами солнца. Изредка вдоль дороги встречаются поселки. Вокруг них или около видны хорошо знакомые нам вышки и двойные заборы из колючей проволоки. Мы приближаемся к царству Воркутлага, который потом, лет через двадцать, опишет Солженицын в своей знаменитой книге «Архипелаг ГУЛАГ».

В Инту приехали поздно вечером. В наш вагон вошел новый пассажир. Это был мужчина возрастом уже за пятьдесят лет. У него тяжелый чемодан и еще какие-то вещи. Похоже, будет ехать с нами до Усы или Воркуты, так как других значительных населенных пунктов до Воркуты уже нет. Вскоре разговорились. Это бывший полковник. Отсидел в Инте восемь лет и теперь едет на поселение в Воркуту, там ему положено пробыть еще пять лет. В годы «мудрого правления» энкавэдэшники не мелочились, давали сразу по 8—10 лет плюс ссылка в отдаленные края еще на пять лет. Мы рассказали полковнику кое-что о себе, о том, что пришлось надолго задержаться в Москве и что теперь едем голодные, так как полученные на дорогу продукты уже давно закончились. Полковник выслушал, распаковал свой чемодан и выдал нам по куску копченой рыбы и по небольшому куску хлеба. Проглотив все, мы поблагодарили полковника и спросили, не приходилось ли ему бывать в Воркуте и что вообще представляет собой этот город. Он ответил, что первые шесть лет сидел как раз в Воркуте и только на последние два года был переведен в Инту, где он, будучи по специальности военным инженером, строил какую-то котельную. Здесь, в Инте, он уже пользовался правом свободного передвижения в пределах поселка.

Он рассказал, что Воркута — это центр так называемого Воркутлага, во главе которого стоит теперь генерал-майор Мальцев, еврей по национальности. Всего здесь около 70 тысяч заключенных. Большинство из них работают на шахтах комбината «Воркутауголь», а другие обслуживают железную дорогу Кожва — Воркута. Эта дорога не подчинена Министерству путей сообщения, а находится в ведении НКВД, то есть Воркутлага. Ее часто замедает, и для очистки путей требуется много людей. Целая цепь лагерей,

которые мы видели из окна вагона, как раз этим и занимается, а когда нет заносов, заключенные ремонтируют пути, выполняют какие-нибудь погрузочно-разгрузочные работы или их перебрасывают куда-нибудь южнее на лесоповал.

Вот так, еще не доехав до своей новой службы, мы получили о ней кое-какое представление. Но вот уже мелькают за окном копры шахт. Все начали собираться. На прощание полковник подарил нам книгу стихов, на форзаце которой крупным шрифтом были напечатаны только две буквы: К. Р. Мы, конечно, не знали, что это означает, но он объяснил, что это Константин Романов, брат Александра Второго, генерал-адмирал и поэт. Это были стихи об Италии — о Равенне и Венеции, о памятниках итальянской старины и итальянках. Мы долго читали ее потом, вспоминая полковника, пока она у нас где-то не зачиталась до конца.

Глава 7

ВОРКУТА

Шахта № 7, лесозавод

В Воркуту приехали днем. В управлении Воркутлага нас формировали. Тарасов, Любимов, я и еще трое армян были направлены на шахту № 7 — это километрах в пятнадцати от Воркуты в сторону севера. Колмогоров был оставлен в самой Воркуте, а остальные были распределены по периферийным шахтам, разбросанным вокруг города. Больше всех, как оказалось, повезло Колмогорову. Его взяли писарем в штаб охраны, так как у него был красивый почерк. Работа эта нетрудная, да и в городе все же.

Наше назначение оказалось не столь завидным. Маленький поселок в тундре состоял из семи-восьми бараков, в которых жили гражданские вольнонаемные лица. Немного в стороне от поселка стояли еще два барака, в которых жили охранники. Рядом за колючей проволокой находился лагерь, в котором было около 3,5 тысяч каторжан. Примерно в трех километрах к северу был еще один лагерь — для уголовников-рецидивистов. У некоторых из них общий срок заключения по сумме всех судимостей составлял около 200 лет. Там находился завод по производству негашеной извести и еще какое-то силикатное производство. А за ним уже ничего не было до самого Карского моря. Зимой здесь сплошная снежная пустыня, а коротким летом — тундра, ягель и чахлый кустарник, искореженный ветрами и морозами, не более метра высотой.

Хозяевами поселка и самой шахты были, конечно, охранники комбината «Воркутауголь» МВД СССР. Командиром отряда охраны был капитан Харламов, а заместителем по политчасти капитан Ананьев. Я получил назначение сначала на шахту и несколько дней катал вагонетки с углем. Шахта — это, конечно, не курорт, но все эти

дни стояли сильные морозы, а в шахте было тепло, и я думал, что мне даже немного повезло. Вольнонаемных рабочих на шахте было, однако, мало. В самом забое и на многих подсобных работах были заняты в основном каторжане. В то же время все вольнонаемные забойщики сильно перевыполняли норму и много зарабатывали. Это было просто удивительно, так как некоторые из них в иной день даже не спускались в шахту. Оказалось, что уголь за них рубят каторжане, а они им дают булку хлеба или еще чего-нибудь из продуктов питания. А то, что каторжанин не выполнит свою норму, большого значения не имело, разве что только хлеба получит половинную норму.

Через несколько дней меня из шахты перевели на завод. Это был лесозавод, на котором распиливали доски, вернее бревна на доски, и делали еще кое-какую оснастку для бараков: двери, рамы и прочее. Причиной перевода послужило, видимо, то, что с завода убрали группу каторжан, заменив их более надежным контингентом, чтобы можно было снять охрану завода в рабочее время.

В первую мою рабочую смену на заводе мне как раз пришлось охранять лес, доски и прочие стройматериалы в ночь на 1 мая 1946 года, чтобы их не растаскивали жители поселка вольнонаемных. Температура в ту ночь была минус 32 градуса. Валенки, которые мне дали, были мокрыми, просушить их было негде и некогда, так как передавали их друг другу буквально «с ног на ноги». Теплушки не было никакой. К концу смены я обморозил пальцы обеих ног. Оттирание снегом и холодной водой помогли только немного. Обратился в медпункт. Врач, молодой еще парень из каторжан, выписал мне перевод на легкую работу внутри помещения. Около недели я чистил на кухне картошку, когда она была, мыл полы и дежурил у телефона при штабе охраны.

После примерно недельного отдыха я снова вышел на работу в цех лесозавода. На заводе работали немцы из Поволжья и начальником цеха, в который я пришел, был тоже немец. Он определил меня сначала на легкую работу — убирать опилки от пилорамы и грузить в вагонетки, на которых их потом отвозят на свалку. Но была работа и похуже: например, подавать бревна на пилораму или грузить доски в вагоны и на платформы. Тарасов, Любимов и трое армян, прибывших с нами из Коломны, были заняты как раз такой работой.

Завод находился в ведении того же МВД, как и весь комбинат «Воркутауголь» со всеми его обитателями, которые волею судеб попали в эту особую зону. Население комбината состояло в основном из каторжан и заключенных, которые не носили каторжных номеров, а также сравнительно небольшой части вольнонаемных лиц, приехавших сюда добровольно с Украины, где тогда свирепствовал голод. И наконец, были мы, люди с неопределенным социальным статусом — не каторжане, не заключенные, но и не вольнонаемные, а посланные сюда для продолжения службы в трудовой армии.

Так проработали мы на заводе все короткое заполярное лето. С немцами у нас установились нормальные отношения, и мы считали, что устроились в данных обстоятельствах еще не худшим образом, поскольку миновали шахты и тяжелые погрузочные работы. Иметь дело с деревом, даже если это бревно или тяжелые доски, все-таки лучше, чем с углем. Так мы, наверное, и продолжали бы работать, постепенно привыкая к суровым полярным условиям, но эшелоны с заключенными все шли и шли.

Везли людей с Украины, из Белоруссии и особенно много из Прибалтийских республик. Большинство этих людей получили немалые сроки за то, что работали на оккупированной немцами территории. Работали, чтобы получить карточки, чтобы выжить, чтобы не умереть с голоду, но сталинская Фемида с этим не считалась. Работал — значит сотрудничал с врагом, значит предатель и изменник, получай от 10 до 25 лет каторги, а то и расстрел. Смертную казнь отменили только в мае 1946 года. Особенно много в этот период поступало в Воркуту женщин-заключенных. Молодые, в большинстве красивые, все они прибывали с большими сроками за связь, сожительство или сотрудничество с немцами. Размещали их в особые женские лагеря, в которых и надзиратели были тоже женщины.

Были среди них и осужденные по другим статьям, например за растрату, спекуляцию или антисоветские высказывания. На лесозавод иногда прибывали бригады из женских лагерей, чтобы погрузить и отправить в свой лагерь какие-либо материалы для строительства новых или ремонта старых бараков. Запомнился разговор с одной еще очень молодой девчонкой из Риги. Она рассказала, что училась в Риге в медицинском училище и написала мелом на доске:

«Меняю мужа-инженера на милиционера». Эта шутка была инкриминирована ей как антисоветский выпад, и получила она шесть лет.

Словом, летом 1946 года контингент Воркутлага сильно увеличился и не стало хватать охраны. Ведь на десять каторжан полагался один охранник, на пятнадцать человек просто заключенных — тоже один охранник. Эшелоны с заключенными все шли, а охранников почему-то не присылали или присылали мало. Видно, некого было прислать — все уже либо охраняют, либо сами сидят под охраной.

Повышение по службе

В этих условиях руководство Воркутлага сочло, что мы уже оправдали доверие и нам можно поручить охрану каторжан и заключенных. В конце июля или в начале августа вызвали нас всех в Воркуту к начальнику охраны комбината полковнику Козлову. Это был огромный детина — рослый и тучный, изрядно раздобревший на энкавэдэшных харчах. Он и объявил, что нас переводят в охрану, что вручат нам оружие, а мы должны гордиться этим доверием и быть бдительными и беспощадными к врагам нашей Родины, которых отныне нам надлежит охранять. Мы согласно киваем головой и заверяем полковника, что владеть оружием мы хорошо умеем. Тут же, в Воркуте, выдали нам форму охранника, и мы вернулись в поселок шахты № 7, теперь уже в статусе сотрудников МВД.

Лагерь каторжников на седьмой шахте по периметру был не менее трех километров. Вокруг него на расстоянии 200 метров друг от друга стояли вышки, на которых размещалась охрана. Сидеть на вышке в условиях Воркуты, где почти всегда ветра и холод, занятие не из приятных. Во всяком случае, работать на лесозаводе было предпочтительней. В сутки полагалось стоять на посту, если все нормально, восемь часов. Смена делилась на два выхода по четыре часа в каждом. Днем, когда в лагере оставалось мало людей, часовых ставили только на половине вышек, но ночью часовой был на каждой. Хорошо помню, что мне только три-четыре раза пришлось совершить выход на вышку, а потом по счастливой случайности, о которой скажу ниже, я был освобожден от этого удовольствия.

Вероятность побега была близка к нулю. От Воркуты до Кожвы на расстоянии 400 километров не было никаких поселений, кроме нескольких небольших становищ вдоль дороги, где незамеченным не останешься. Пройти четыреста километров по полярной тундре без специальной подготовки вряд ли возможно, да и в Кожве, где начиналась гражданская железная дорога, беглеца тоже не встретили бы с музыкой. У каждого пассажира, вошедшего в вагон, проверяли документы оперативные группы военизированной охраны МВД. Весной или коротким полярным летом побег и вовсе невозможен. Тундра в это время становится непроходимой, за исключением немногих троп, которые заключенным, конечно, не были известны. О нескольких случаях побега мы, правда, кое-что слышали от кадровых охранников, но почти все они заканчивались гибелью беглецов. Достоверно мы знали только об одном побеге, когда заключенному удалось добраться до Ленинграда, но уже через несколько дней он был схвачен и снова доставлен в Воркуту. Срок его заключения при этом увеличился то ли на четыре, то ли на шесть лет.

Рассудив таким образом, я понял, что большая бдительность с моей стороны будет, пожалуй, излишней, что можно брать с собой школьные учебники и потихоньку, осторожно, урывками повторять кое-что из забытой школьной программы. Может, думаю, пригодится, а если и нет, то по крайней мере побыстрее будет идти время на посту. Книг, конечно, не было никаких, да и учебников тоже. Нашелся только учебник немецкого языка для десятого класса и геометрии за шестой и седьмой классы. Так, за две смены я выучил стихотворение Гете «Певец» и повторил одну-две теоремы.

На календаре был май. Большие морозы уже отступили, и это способствовало моим академическим занятиям. Увлекаться, однако, было нельзя. Нужно было смотреть не столько за лагерем, сколько за начальником караула, чтобы он как-нибудь не подкрался незаметно. Командиром нашего взвода охраны был младший лейтенант, коми по национальности. Он жил тут с семьей, у него было двое детей, жена и мать. Никто, кроме него самого, не работал, жить было трудно, в бараке холодно. Фамилию его не могу вспомнить, но весь его образ и манера говорить запомнились хорошо. Передних зубов у него не было ни одного, и это придавало

его речи забавную и даже комическую особенность. Русский язык он знал не очень хорошо, да и грамотность не была безупречной, но человек он был рассудительный и не лишенный сострадания. Однажды говорили с ним о том о сем, я рассказал немного о себе, и он решил, что бывшему учителю можно иногда доверить и более ответственное дело, нежели стояние на вышке.

Вскоре последовало назначение на дежурство по отряду. Работа заключалась в сидении у телефона, сборе и выдаче пропусков или разовых разрешений на бесконвойное хождение некоторых заключенных в пределах поселка. Из нас, репатриантов, я был первым, кого допустили к этой работе. Раньше тут дежурили только кадровые работники охраны, а нашим делом были вышки, оцепление участка, где работают заключенные, а также охрана управления шахты — словом, все то, что требовало пребывания на свежем запоярном воздухе.

Дежурство в штабе иногда чередовалось с назначением на еще более «ответственную» должность — начальника конвоя. В этом случае мне приходилось быть старшим над всей колонной каторжан, идущей на работу, а также над конвоирами и собаками, которые всегда сопровождали колонну. Обычно в колонне было около ста человек, при этом десять конвоиров, а собак только две. Строят колонну еще в лагере, это делают надзиратели, а мы проводим перекличку по номерам, и, если все на месте, колонна выходит за ворота. Номер у каждого каторжанина был нашит на спине, на груди, на козырьке шапки и на коленках — это белые тряпки, на которых тушью были выведены номера. Чтобы тряпку нельзя было отпороть, на одежде вырезалась ткань как раз по размеру этой тряпки. Если бы пришлось метить коров или баранов, то было бы проще — одного номера на холке хватило бы. Но тут были люди, среди которых бывшие офицеры, студенты, артисты, инженеры, ученые и, конечно, колхозное крестьянство в союзе с рабочим классом, бывшим гегемоном Октябрьской революции.

Перед тем как колонна начнет движение, начальник конвоя предупреждает: шаг влево, шаг вправо — и конвой открывает огонь без предупреждения. Эта сакраментальная фраза звучит и потом, когда колонна двинется с работы обратно. Обычно заключенные

работали на разгрузке вагонов с крепежным лесом, который привозили для шахт, а также для строительства новых бараков или административных зданий. Площадку оцепляла охрана. По периметру рабочей зоны устанавливались красные флажки, за пределы которых выход был запрещен. С теми, кто работал на шахте, было проще. Там охрана не требовалась, ибо сама шахта уже была гарантией того, что никто никуда не убежит и бесследно не исчезнет.

Едва ли не во всем Печорском бассейне уголь жирный, черный, коксующийся. Ценится он даже выше, чем антрацит. Все шахты в Воркуте, в особенности первая и наша, седьмая, считались особенно ценными и перспективными. Уголь здесь был высокой чистоты. Поселок седьмой шахты должен стать со временем самостоятельным промышленным районом комбината с широко развитой инфраструктурой. Исходя из этого, уже летом 1946 года решено было строить здесь большой клуб или даже дворец культуры. Проект сделал молодой парень из каторжан. Лет ему было тогда около 24, он был небольшого роста, бледный и худенький. Он больше походил на заморенного подростка, чем на архитектора, руководившего строительством большого и важного объекта. Но художник он был, видимо, с большим талантом.

На стройплощадке начальник отряда охраны капитан Харламов разрешил построить для архитектора небольшую утепленную будку. Мы часто заходили потом в его «архитектурный отдел», состоящий из одного человека, и подкармливали его немного, хотя сами были тоже не очень сыты. Капитан Харламов был типичным солдафоном, высшим моральным кодексом для которого была только инструкция и установленные запреты, но нам удалось убедить его в том, что необходимо сохранить работоспособность автора проекта хотя бы до тех пор, пока строительство не будет закончено.

Теперь, когда почти все мы, прибывшие из Коломны, более или менее адаптировались и частично даже вписались в здешнее «высшее общество», у нас появились и некоторые интересные или полезные знакомства. Тарасов работал в оперативной группе, в которой было пять-шесть более или менее образованных ребят. У них была неограниченная свобода передвижения по всему Воркутлагу. В Воркуте он познакомился с Новиковым, с которым мы потом ча-

сто встречались. Это был артист из Ленинграда, живший там ранее на одной улице с Тарасовым.

В 1940 году он во главе группы из двенадцати человек выезжал в Швецию. Перед поездкой их, конечно, хорошо проинструктировали, что следует об этой поездке говорить, а что не следует. Но в труппе были молодые девчонки — выпускницы театрального училища. «Из дальних странствий возвратясь», они, конечно, рассказали своим друзьям и знакомым о том, как хорошо там все живут. В результате эти юные артистки получили по пять-шесть лет, а Новиков, как старший группы, все десять. Всю войну он работал забойщиком на первой шахте в Воркуте, а сейчас числился в штате труппы воркутинского театра, которая целиком состояла из заключенных, многие из которых в прошлом имели всесоюзную известность. Теперь Новиков имел статус расконвоированного, получил два года в зачет и осталось ему пребывать под солнцем сталинской конституции еще около двух лет.

Работа дежурного по отряду, которым мне сейчас часто приходилось быть, неизбежно предполагает встречи и беседы со многими людьми, вольнонаемными и заключенными, которые приходили в отряд по разным делам и с разными просьбами. Ни один из них не мог миновать дежурного. В это время я уже состоял читателем библиотеки Дома партийного просвещения в Воркуте. Эта была замечательная библиотека со множеством книг, изданных еще до революции в издательствах Маркса, Сытина, Солдатенковых и других. Многие книги были с экслибрисами их бывших владельцев. Видимо, книжный фонд библиотеки комплектовался из частных собраний петербургских домов и когда-то был доставлен сюда, в Воркуту. Именно здесь я познакомился с французскими просветителями-энциклопедистами. Прочитал кое-что из Гольбаха, Руссо, Дидро и Гельвеция. Еще раз перечитал Шиллера, с которым уже был хорошо знаком со времен Швейцарии, а его исторические труды впервые попали мне в руки здесь, в Воркуте. Тогда еще не было принято скрывать от читателей лучшую часть книжного фонда библиотеки, как это бывает теперь, и можно было взять все, что там имелось.

К сожалению, свободного времени для чтения было немного и нельзя было прочитать все, что хотелось. Я старался попасть

на дежурство ночью, когда читать можно было почти без помех. Однажды, сидя на таком дежурстве, очень рано утром, я читал «Политику» Аристотеля. Чтение шло с трудом. Мой философский тезаурус был явно недостаточен, чтобы понять эту вещь. Я уже знал, что Аристотеля все считают одной из сильнейших мыслительных машин человечества и, следовательно, чепухи он написать не мог, но эта «Политика» показалась мне такой абракадаброй, в которой я почти не улавливал логической связи. Мне было, конечно, ясно, что винить тут надо не Аристотеля, а свою ограниченность и тупость, свой явно не философский склад ума. И как-то обидно стало, что вот когда-то древний грек написал книгу, а ты, живя 2,3 тысячи лет спустя, не можешь ее понять.

В один из дней, когда я, сидя на дежурстве, пытался понять что-нибудь в этой книге, в штаб зашел человек лет сорока-пятидесяти и выложил на стол свой пропуск-разрешение на бесконвойное передвижение в пределах поселка. Срок его действия истекал, требовалось продление. И тут он взглянул на книгу, раскрытую на столе. Взял ее в руки, грустно улыбнулся и сказал: «Никогда не думал, что в охране кто-то читает такие книги». Я ответил, что читать-то читаю, но понимаю мало, почти ничего. «Так и должно быть, — сказал он, — в предисловии к этой книге я как раз и предупреждаю читателя, что для неискушенного в философии человека “Политика” может оказаться трудной для понимания, что сначала надо прочитать то, что о ней пишут другие, например Гегель».

Теперь пришло время удивляться мне. Я сказал, что мне тоже не могло прийти в голову, что здесь — на седьмой, или северной, как ее еще называют, шахте — кто-то пишет предисловия к философским трудам Аристотеля. Мой гость ответил, что писал он это еще в Одессе в 1938 году, а в Воркуту переселился только в 1945-м и не один, а вместе с несколькими десятками профессоров и преподавателей Одесского университета, которые остались в оккупированном городе. Теперь мне все стало понятно. На вопрос, как долго он собирается «изучать Аристотеля» в этих краях, он ответил, что в университет и в Одессу возврата нет, а Аристотеля за два года пребывания здесь он впервые увидел на моем столе. Теперь он заведует складом горюче-смазочных материалов и пришел продлить

удостоверение на бесконвойное проживание в поселке. Фамилию этого профессора я не могу вспомнить и встречаться больше нам не доводилось, так как с шахты № 7 я вскоре был переведен в Воркуту. Но когда я вспоминаю свое пребывание в этих краях, он всегда всплывает в моей памяти.

Время от времени в отряде проводились лекции о международном положении. Читал их Непомнящий, по национальности еврей, неизвестно каким путем попавший в Воркуту. Он не был заключенным, каторжанином и административно сосланным. Человек он был осведомленный, читал хорошо и интересно. Он также не был лишен сострадания ко всем, кто сюда попал, и, видимо, понимал аморальность тогдашних форм правления, хотя и не высказывал этого прямо. Мне несколько раз довелось беседовать с ним тет-а-тет, я многое рассказал ему о себе, о своей заграничной одиссее, и он вызвался помочь мне вырваться из ГУЛАГа под предлогом необходимости продолжить образование в вузе. Но для этого необходимо было перебраться в Воркуту, поближе к высшему гулаговскому начальству. Однако был нужен какой-то важный предлог, иначе перевода не будет. Подходящий предлог, к счастью, скоро нашелся.

Заполяное лето 1946 года приближалось к концу. На календаре был август, в иные дни уже пролетали снежинки и дули холодные ветры с Карских Ворот. За все лето дней 10—15 были настолько теплыми, что можно было снять бушлаты и ходить в гимнастерках. При желании можно было даже загореть. Земля оттаивала сантиметров на 40—50 или, может, чуть больше.

На кладбище постоянно работала бригада по углублению могил умерших зимой каторжан и заключенных. В это время захоронения были уже в основном индивидуальные, за исключением тех случаев, когда погибало сразу много людей. Раньше хоронили в общих могилах, без всяких гробов. Наверху ставили столбик с металлической пластинкой, на которой краской писали фамилии и имена умерших. Теперь хоронят в гробах, хотя и примитивно сколоченных из случайных досок. Инициатива индивидуального погребения исходила не от лагерного начальства, а от самих заключенных. Они сами делали гроб, сами и хоронили почти по-человечески. Но в большие морозы это делалось наспех, и некоторые захоронения требовали углубления.

Непомнящий жил в Воркуте и как штатный лектор Дома партийного просвещения знал, видимо, всю верхушку ГУЛАГа, кроме разве самых высоких — генерала Мальцева и его ближайшего окружения. В это время в Воркуте не было ни горсовета, ни горкома партии, было только одно сплошное МВД, или НКВД — как мы его называли по-старому. МВД ведало всем здравоохранением, а лучше сказать здравоохранением (все врачи — заключенные или бывшие заключенные), просвещением (учителя тоже ссыльные и бывшие заключенные), театром (артисты — тоже заключенные). Не знаю, сколько было в Воркуте общеобразовательных школ общего типа, но вечерняя была одна. Непомнящему стало известно, что в эту школу требуется учитель немецкого языка на очень небольшое количество часов, не более восьми часов в неделю, и он рекомендовал меня.

Как раз в это время я узнал, что Тарасова увольняют, вернее отпускают, из охраны и он возвращается к себе на родину, в Ленинград. Нас всех это сильно удивило, так как до сих пор никому отсюда выбраться не удавалось. Даже те, кто уже полностью отбыл свой срок заключения, оставались здесь и продолжали работать на правах вольнонаемных. У нас в отряде были 50-летние старики, ноги которых уже давно свела цинга. Они лежали месяцами, лишённые способности двигаться. Зубов не было, на коже темно-коричневые пятна, но и их не отпускали. Где-нибудь в деревне на картошке, луке и еще какой-нибудь зелени они еще могли бы поправиться, но здесь у них не было никакой надежды. Все они были обречены.

К нам, приехавшим в Воркуту в апреле 1946 года, цинга начала подбираться в октябре-ноябре, то есть месяцев через шесть. Первыми это почувствовали армяне, которым из поселка шахты № 7 выбраться никуда не удавалось. Мы же изредка могли купить дольку чеснока на рынке или даже яблоко, так как имели право свободно ездить в Воркуту. Цинга среди охраны и вольнонаемных возникала не из-за голода. В это время мы уже не были голодны в классическом понимании этого слова. Она была следствием авитаминоза. Свежих овощей и фруктов в нашем рационе не было, а то, что можно было купить на рынке, было недоступно из-за высокой цены.

Особенностью этой болезни является то, что на какой-то ее стадии развивается непреодолимая апатия, из-за которой многие и погибают, не принимая мер к спасению. Одновременно с наступлением подавленности начинают шататься зубы, десны чернеют и опухают, почти закрывают не выпавшие еще зубы. Жевать становится трудно, а потом и вовсе невозможно. После этого наступает гибель.

Уникальный и даже небывалый до сих пор случай — разрешение Тарасову на выезд в Ленинград — объяснился просто. В Ленинграде у него был дядя в чине генерал-полковника, а начальник комбината «Воркутауголь» и обер-охранник ГУЛАГа генерал-майор Мальцев часто выезжал в Ленинград. Там они где-то встретились, и дядя-генерал попросил его, чтобы он отпустил племянника для продолжения учебы в вузе. Позднее, уже в Ленинграде, Тарасов рассказал дяде, что там, в Воркуте, еще есть ребята, которым статус охранника мало подходит и которым тоже еще не поздно учиться. Речь шла прежде всего обо мне, и генерал обещал при случае поговорить с Мальцевым.

Вскоре после отъезда Тарасова нам дали право на переписку, а через какое-то время и право на отпуск. Я впервые за пять лет написал домой письмо и получил ответ. Мне сообщили, что осенью или в начале зимы 1941 года на меня было получено две похоронки. В первой из них сообщалось, что я пропал без вести, а вторая утверждала, что погиб при выходе из окружения в августе 1941 года. Но еще до моих писем из Воркуты дома уже знали, что я жив. Им написала Вера Шелухина, тоже интернированная в Швейцарии, и сообщила, что осенью 1944 года я выехал из Швейцарии во Францию. А потом, через некоторое время после ее письма, пришел запрос в сельсовет, где секретарем работала молодая девчонка, подруга или просто знакомая моей сестры Натальи. По большому секрету она сообщила ей о запросе из «органов» летом 1945 года и о том, что «мы с председателем все хорошо прописали». Председателем сельсовета был тогда Возмилов. В довоенное время он работал у нас «избачем» и хорошо знал меня, так как некоторое время я был активным посетителем его избы-читальни.

Наконец в отряд пришла телефонограмма из штаба охраны, предписывающая откомандировать меня из отряда в распоряже-

ние штаба охраны. Телефонограмму подписал полковник Козлов, один из некоронованных королей ГУЛАГа. Значит, Непомнящий действовал через него самого, чтобы ускорить дело. Узнав об этом, я взял приказ об откомандировании в штабе своего отряда и с очередным рейсом автобуса отбыл в Воркуту — километров на 15 южнее и чуточку ближе к цивилизации. В это время Воркута уже была городом и в ней было больше людей, которые могли перемещаться в пределах города без сопровождения автоматчиков, а самое главное — там была отличная библиотека и несколько более разнообразное и грамотное окружение.

Переезд в Воркуту

Первоначально определили меня писарем по вещевому довольствию в один из отрядов охраны, расположенных в Воркуте. В мою обязанность входил учет бушлатов, валенок, рукавиц, полушубков и прочей рухляди, которая выдавалась людям охраны, несущим свою службу на многочисленных лагерных вышках Воркуты. Работа несложная и не требует много времени. Кроме того, она давала мне возможность выбрать лучший полушубок, шапку, валенки, а потом при случае снова все это обменять на новое. В собственность эти вещи, конечно, не переходили, при увольнении их необходимо было сдать. Удобной работа была еще и тем, что она не была нормированной по времени. Важно вовремя обработать бумаги, которые поступали от кладовщика и снабженцев-интендантов, и не имело значения когда и в какое время суток я это сделаю. Это давало мне возможность вести в школе занятия от шести до восьми часов в неделю, и еще самому иногда присутствовать на некоторых уроках в качестве ученика-вольнослушателя.

Я приехал в Воркуту приблизительно в середине сентября, когда занятия в школе уже начались. Несколько дней мне потребовалось для адаптации и вхождения в должность писаря-счетовода по вещьдовольствию, а около 20 сентября я отправился в школу, чтобы представиться руководству. Директором была какая-то сиятельная дама. Она оказалась в отпуске и загорала где-то на берегах Понта Эвксинского. Меня принял ее заместитель Пухов, матема-

тик и физик, мужчина лет сорока. Он восемь лет уже отсидел под солнцем сталинской конституции, а после окончания своей «восьмилетки» осел здесь, в Воркуте. В войну он работал в шахте, но зачета не получил, так как отношения с кем-то из начальства были неважные. Обо всем этом он рассказал мне уже потом, на наших неформальных встречах, которые мы изредка устраивали.

Русский язык и литературу вел Крестинский, сын того Н. И. Крестинского, который до 1935 года был послом в Германии, а потом вместе со многими другими был расстрелян в 1938 году. Сыну посла было около 30 лет, ко времени ареста и расстрела отца он был уже вполне взрослым и пережил эту трагедию со всей полнотой чувств. Разговаривал он мало. В учительской во время перерывов или до уроков он обычно сидел всегда на одном месте и его стул никто уже не решался занимать. Только один раз, когда он от кого-то услышал, что я на память читал на уроке отрывки из «Фауста», он спросил меня, где я учил язык. Я сообщил ему некоторые сведения из своей биографии, он мотнул головой и более не сказал ни слова. Уже потом я узнал, что в Германии он прожил несколько лет и немецким языком владеет так же хорошо, как и русским. В начале своей учительской деятельности он пробовал преподавать немецкий в обычной школе, но скоро отказался, посчитав эту работу пустой и бесполезной.

Позднее я пытался, насколько возможно, проследить судьбу его отца. Он был осужден в феврале-марте 1938 года по делу так называемого право-троцкистского блока, смертный приговор был приведен в исполнение 15 марта 1938 года. На этом же процессе слушалось дело Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, Г. Г. Ягоды, Х. Г. Раковского, Г. Ф. Гринько, врача-профессора Д. Д. Плетнева и других. В то время это были крупные деятели, их знала вся страна. Из 22 человек только трое не были приговорены к смерти. Плетнев получил 25 лет, Раковский — 20 лет, С. А. Бессонов — 15 лет. Все остальные получили «вышку», в том числе личный врач М. Горького Левин, хотя прямого отношения к политике он скорее всего не имел и никакой угрозы для вождя мирового пролетариата не представлял.

Другие учителя запомнились мало, так как в школе я появлялся не более двух раз в неделю, а моя форма охранника пугала людей, только недавно вышедших из лагеря, и большинство из них со мной

держались настороженно. Кроме того, в то время во всех учреждениях были так называемые сексоты — секретные сотрудники, в народе их потом презрительно стали называть «сиксоты». Некоторые, вероятно, смотрели на меня как на такого вот сотрудника, поскольку в школе я был только один из охраны. Более открытым для меня был завуч Пухов, да и то до известных пределов. Тогда все боялись друг друга, а здесь особенно.

Жизнь в Воркуте была все же несколько менее дремучей, чем в поселке шахты № 7, где кроме заключенных, каторжан и охраны не было почти никого. В свободное время кроме своего барака, который мы звали клоповником, деться там было некуда, а здесь можно было найти кое-какие развлечения, да и различную информацию о событиях в стране и в мире получить было легче. Помню, в октябре на политзанятиях нам сообщили о приведении в исполнение приговора Международного военного трибунала над главными преступниками Германии. Это было 16 октября 1946 года. А на следующем занятии политрук докладывал нам, что В. М. Молотов избран почетным академиком Академии наук СССР, и потом утомительно долго читал его жизнеописание. Сам «мудрейший вождь» был избран в академики значительно раньше, в декабре 1939 года, когда он в основном уже расправился с «врагами народа» и праздновал свое 60-летие.

Я теперь регулярно получал письма из дома и знал, что там тоже трудно. Мать стала плохо видеть, отец вернулся из армии не совсем здоровым, пьет теперь от какой-то желудочной болезни заваренную крушину. Сестра работает в колхозе счетоводом, а брат Иван уже взрослый и тоже работает в колхозе, но повредил себе глаза этилированным бензином и вынужден постоянно лечиться. Младшему брату Сашке было около 11 лет. Дядя Яков Филиппович, младший брат моего отца, вернулся из трудовой армии совсем больным и скончался дома от язвы желудка. Из моих соучеников, друзей детства и отрочества вернулись с фронта только три человека, двое из которых уже спились, а один тяжело болен. Еды почти никакой нет, только картошка, которой тоже немного. Есть корова, но молоко надо сдавать, есть несколько кур, но яйца и еще 40 килограммов мяса тоже надо сдавать. К этому еще денежный налог,

не помню уж теперь сколько тогдашних сотен, которые взять негде, так как колхоз не платит ни копейки. Даже при крепостном праве русский крестьянин не жил так тяжело, бесправно и без всякой надежды на ближайшее будущее.

На календаре между тем уже заполярная зима — холодная и ветреная, темная и бесконечно длинная. Все время метет снег, заносит железнодорожную линию, и это приводит к остановке поездов. Большинство каторжан и заключенных, не занятых непосредственно в шахтах, работают в такое время на расчистке путей. Но случались дни, когда на расчистку гнали всех, кого можно было вооружить лопатой: писарей, медиков, артистов, дежурных, дневальных и даже некоторых вольнонаемных рабочих. Один из наших советских поэтов, бывший в те годы заключенным, так описывает эту ситуацию:

Мела пурга, протяжно воя,
И до рассвета, ровно в пять,
Нас выводили под конвоем
Пути от снега расчищать.
Не грели рваные бушлаты.
Костры пылали на ветру.
И деревянные лопаты
Стучали глухо в мерзлоту.
И, чуть видны в неровных вспышках
Забитых снегом фонарей,
Вдоль полотна чернели вышки
Тревожно спящих лагерей.
А из морозной черной чащи,
Дым над тайгою распластав,
Могучий, огненный, гудящий
В лавине снега шел состав.
Стонали буксы и колеса,
Густое месиво кроша,
А мы стояли вдоль откоса,
В худые варежки дыша.

Здесь все точно и верно, но поэт Анатолий Жигулин сидел где-то в таежном краю, где можно было жечь костры. У нас же только тундра, леса нет, а мелкий кустарник полуметровой высоты занесен снегом. Костров мы не разжигали, но заполярная пурга выла у нас не менее протяжно, чем у них.

Мне в этом отношении, можно сказать, еще везло. Было только два случая, когда я должен был выйти на этот «аврал». Первый раз это случилось еще на седьмой шахте, когда однажды, не найдя никого, чтобы расчистить ведущие к лесозаводу пути, начальник отряда капитан Харламов послал нас — группу оказавшихся свободными охранников в составе шести человек. Путь мы расчистили и пошли домой вдоль той же линии, что и расчищали. По обе стороны от полотна высокие сугробы снега, и мы идем почти как по туннелю. Вдруг кто-то крикнул: «Состав!» Мы рванулись в сторону, в сугроб. Оказалось, что длинный состав шел платформами вперед и кто-то из ребят успел крикнуть, когда он был от нас на расстоянии только двух-трех метров. День морозный, шапки наши плотно натянуты, уши завязаны, слышимость пониженная, и только чудом все мы успели вдавиться в снег. Случаев гибели людей при подобных обстоятельствах было немало. Других дорог нет, кроме железнодорожных линий, всюду глубокий снег, а зазеваться и не услышать поезда, идя по линии, было очень просто.

Второй раз на авральную расчистку снега мне предстояло выйти уже в Воркуте, но, чтобы следовать хронологии, я расскажу об этом позже. А пока что я писарь-счетовод по вещьдовольствию и на одну треть ставки учитель немецкого языка в вечерней школе. Писарская деятельность проходит нормально, она не очень тягостная. В отряде нас было несколько писарей, четыре или пять, сейчас уже не помню точно. Старшим над всеми был Кочуров — кадровый охранник в звании старшего сержанта. У него был красивый почерк, но более, пожалуй, ничего. Если нужно было написать какую-либо справку или требование в штаб охраны всего ГУЛАГа, то писал это обычно я, а он каллиграфически переписывал и нередко получал потом одобрительные отзывы от местного начальства за четкое и толковое написание бумаг.

Зато иногда и он мне помогал. Если телефонный звонок не заставал меня на месте и дело было несложным, то он выполнял эту работу сам. Или, заслоняя меня каким-либо способом, выпрашивал отсрочку, если работа не была минутной. В остальном это был типичный разбитной парень, страстный любитель выпить и поволочиться за женщинами. Позднее, уже после моего отъезда из Воркуты, мне сообщили, что Кочуров поймал то ли гонорею, то ли сифилис, стал пить еще больше и наконец замерз, свалившись где-то пьяным. Воркута — это не тот город, где можно валяться пьяным на улице.

Многие события того времени совершенно выветрились из памяти, так как ничего особо запоминающегося не происходило, дневника я не вел по глупости, а все рутинное и обыденное забывается быстро. Наш отряд размещался где-то на окраине города. От центра это не очень близко, да и от школы, в которой я работал, тоже. Транспорта никакого, везде только пешком, причем почти всегда в темноте, так как зимой здесь сплошная ночь. Правда, ночь не очень темная: луна, северное сияние и белая пелена снега разгоняют темноту.

Новый 1947 год встречали в землянке. Не помню теперь точно, кому она принадлежала. Пили спирт. Кроме нескольких наших парней из охраны присутствовали еще четыре-пять человек гражданских, отбывших заключение или еще заключенных, но получивших право свободного передвижения. С нами был Новиков. Он рассказал о пианисте, племяннике Шаляпина, который живет в такой же точно норе, как эта, и расположенной где-то рядом, и о Б. Дейнеке, певшем до войны по утрам «Широка страна моя родная». Этому дано десять лет и до конца ему еще около четырех лет.

Как раз на этой вечеринке мы услышали по радио об отмене карточной системы и денежной реформе. Радио было не у всех, а в землянках почти ни у кого. Решили собрать деньги, у кого сколько было, и закупить спирт, пока еще не все знают о реформе. Отрядили двоих знатоков, хорошо знакомых с географией земляного города, и они скоро вернулись с тремя литрами спирта.

Через некоторое время получил из дома ужасное письмо. Во время реформы сестра по чьей-то просьбе вместе с колхозными деньгами обменяла сколько-то личных денег, принадлежащих

кому-то из начальства. Получила она за эту услугу семь лет. Это было самое неожиданное и трагичное событие в нашей семье за последние десятилетия. Мы благополучно миновали раскулачивание, оба, отец и я, вернулись с фронта живыми, выкупили свой родовой дом, проданный в голодном 1936 году, и вот теперь эта беда. Она окончательно подорвала здоровье матери и надолго всем нам омрачила существование.

В Воркуте время от времени нам раздавали американские подержанные вещи, которые были присланы в СССР еще в годы войны. Там были костюмы, кожаные пальто, перчатки, рубашки и прочие принадлежности гардероба. Большая часть лучших вещей, конечно, разбиралась начальством или раздавалась по протекции, а нам изредка перепадали только крохи. Начальник административно-хозяйственной части отряда на шахте № 7 еще в мою бытность там получил пять лет за хищение как раз этих американских даров. Я хорошо знал его, поскольку комната дежурного по отряду находилась рядом с его кабинетом. Это был молодой старший лейтенант. Тут же жили его жена и дочь, еще ребенок. Однажды я потерял одну перчатку и просил его, чтобы он дал мне перчатку или рукавичку потеплее, но получил отказ. Осудив, его посадили в лагерь той же седьмой шахты, в котором его многие знали. Через несколько дней его нашли мертвым, зарытым в снег. Предвидеть, что все так и кончится, было нетрудно и, очевидно, заранее было решено принести этого в общем-то мелкого жулика в жертву.

Домой в отпуск

Летом 1947 года мне дали отпуск и я поехал навестить родные пенаты, где не был 8 лет и где меня считали уже дважды погибшим, дважды похороненным и оплаканным вместе со многими другими односельчанами. При одной из раздач американских вещей мне удалось получить пиджак как раз по моему плечу, еще кое-что из гардероба купил у любителей выпить, так что в отпуск мог поехать почти нормально одетым. Из Воркуты выехал не один. Отпускников собралась целая группа, человек шесть, но из репатриантов я был, кажется, один, а остальные из кадровой охраны. Им сколько-то

платили, и у каждого из них было немного денег. Я получил бесплатный билет в оба конца, но обо всем остальном мне надлежало позаботиться самому. Денег было совсем ничего, так как в школе мне платили по низшей ставке, а в охране не более чем требовалось на табак. Небольшую сумму, которую мне удалось собрать к отпуску, я отложил для самых неотложных дорожных и прочих нужд.

Выехав за пределы Кожвы, где начинается министерская дорога и на всех вокзалах работают буфеты с водкой, все мои спутники уже не просыхали, за исключением одного, который совсем не пил. Денег и вещей, которые можно было бы пропить, им хватило до Кирова. Здесь один был арестован и посажен за хулиганство. Его пустой чемодан мы отнесли в милицию, а сами поехали дальше. На Пермь и далее на Свердловск я поехал один, а остальные — на Москву и уже оттуда куда-то еще.

Уже на второй-третий день после приезда в Тамакулье ко мне стали заходить соседи и матери моих погибших друзей, соучеников и товарищей. Первой пришла Пелагея Тремзина — мать Ивана Тремзина, с которым мы учились вместе с первого класса школы и по четвертый курс техникума. Она только плакала и решительно ничего не могла сказать мне о гибели сына. У нее было несколько дочерей и только один сын, самый младший, и сама она была уже пожилая. Тяжелой была эта встреча, и я чувствовал себя как бы немногим виноватым, что вот остался жив, а он уже не вернется никогда. Похоронка на него была еще в 1942 году.

Зашел председатель Вороновского колхоза, отец моего соученика по школе колхозной молодежи в той же деревне Вороновой. Он тоже потерял единственного сына и спрашивал, не встречался ли я с ним на войне. Но нет, конечно, я с ним не встречался. За 20 километров пришла мать Степана Красильникова из деревни Житниковой. Степан был моим младшим соучеником по молочному техникуму, один из наиболее способных студентов. Будучи на первом курсе, он писал стихи, которые печатались на литературных страницах «Челябинского рабочего». Погиб он в последний день войны с Японией от кинжала — то ли примененного в рукопашной схватке, то ли брошенного с расстояния. И много еще было встреч, и из каждой я узнавал что-нибудь о гибели своих сверстников.

Из близких друзей первый, с кем я встретился, был Толька Со-сновских — мой троюродный брат и неперенный спутник детских и подростковых лет. Примерно за полгода до моего приезда он был демобилизован и работал в районе налоговым инспектором. Бывшие солдаты не спешили в колхоз, все старались устроиться где-нибудь потеплее. Ко мне он зашел в военной форме, вся грудь в орденах и медалях. Дважды он попадал в штрафбат и дважды искупал свою вину, оставаясь живым, хотя эти батальоны бросали в самое гиблое место, где остаться живым было так же трудно, как выиграть в «Спортлото» десять тысяч. Сходу он пригласил меня домой «на уху». Я пришел. Там у него был еще один гость, тоже солдат, его родственник из деревни Миасская. У того было 12 орденов и медалей, но достались они ему не столь трудно, как Тольке. Работал он поваром у командира корпуса, и каждый раз, когда корпус отмечался наградами, повар тоже не оставался забытым. Видимо, щедрым был комкор, но такая вот разухабистая щедрость и привела к девальвации орденов и медалей.

Поговорили, выпили. Я еще не знал в то время, что мой троюродный братец стал уже порядочным выпивохой, который превратится потом в профессионального алкоголика. На завтра договорились пойти с неводом на рыбалку. Тогда на нашем лугу еще были старицы и отдельные изолированные водоемы, в которые во время разлива заходила и оставалась там рыба. Несколько раз закинули невод и на уху набрали рыбы. Попала даже одна порядочной величины щука, из которой потом получился хороший пирог. Ну а где уха, там и водка, так что после рыбалки была опять выпивка. Я как гость, к которому деревня еще не привыкла, старался не набираться много, но мои сотрапезники упивались до полного лыконевязания. Денег у меня не было, и я благородно стал воздерживаться от подобных встреч и рыбалок, а Толька ежедневно приходил с работы пьяным.

Деревенская скудность бросалась в глаза везде. Люди были плохо одеты, большинство недоедали, в магазинах пустота. Натуральные и денежные налоги были огромными, оплата трудней в колхозах ничтожная, почти нулевая. Давали только по 200—300 граммов скарлыка и зерноотходов. Жили в основном за счет огородов и личных коров, которые в то время были еще у многих.

В полуразрушенной церкви в Каргаполье оборудовали спиртозавод. Из мороженой картошки и перепревшего зерна гнали спирт-сырец, который тут же без всякой очистки продавали. Рядом с церковью-спиртозаводом был районный рынок, а в центре его стояло деревянное здание амбарного типа, в котором открыли магазин для продажи этого спирта. В воскресные дни на рынке собиралось много людей, и трудно было встретить мужчину, который бы не был пьян. В одно из воскресений мы с отцом пошли на базар. Начался дождь, и мне пришлось забежать в этот магазин. Там торгует молодая симпатичная женщина, жена одного из здешних милиционеров. В магазине шум, гвалт, все курят, ругаются, мат стоит сплошной. Спирт продается на разлив. Из ведра продавщица черпает железным бокалом, наполняя граненые стаканы.

Встретил знакомых. Дали попробовать и мне. Сделал глоток и с трудом проглотил. Отрава много хуже самогона. Ничего более противного из спиртного мне никогда не приходилось пить. Здесь был весь букет сивушных масел, от которых болит голова и появляется неприятный привкус во рту. Примесь метилового спирта, видимо, тоже была изрядная, так как у многих потребителей этой бурды ухудшалось зрение. Пить я отказался. Между тем ведро опустело. Продавщица, видя, что трезвый тут почти я один, попросила меня помочь ей наполнить очередное ведро. Склад с бочками был тут же, но отгорожен от магазина дощатой перегородкой. Бочка тяжелая. Ее нужно поставить на табурет, затем наклонить и наполнить ведро. Но она не удержала свой край, бочка упала, и почти уже полное ведро разлилось по полу. Никаких сожалений и сетований, однако, не последовало. Она махнула рукой, улыбнулась и сказала: «Снова нальем, теперь будет полегче». И мы наполнили второе ведро. Так в эпоху недоразвитого социализма зарождался в наших краях развитый алкоголизм, а бывший храм из носителя духовной сивухи при самом передовом социальном строе превратился в носителя сивухи материальной.

Во время этого приезда в деревню у меня состоялась встреча еще с одним другом детства, соучеником и товарищем ранней нашей юности — Иваном Трифоновичем Туринцевым, а попросту Ванькой Трифоновым. После окончания Чашинского технологического техникума он был направлен или пошел добровольно в военное

училище. Встретил войну где-то около Львова в звании лейтенанта и командовал зенитной установкой из двух спаренных станковых пулеметов, установленных на автомашине. В начале войны попал в плен и благополучно пережил его, вернулся домой и начал работать по специальности на одном из маслозаводов Курганской области. Присмотревшись и как-то устроившись там, он приехал забрать семью. Женился он еще до войны, и у него было двое детей. Я зашел к нему, когда машина уже стояла у ворот и вещи были погружены. Выпив по стопке водки и поговорив минут двадцать, мы распрощались, и он уехал. Это была наша последняя встреча. Через полгода отец написал мне в Воркуту, что Иван Трифонович заболел скоротечной чахоткой, вернулся домой и в марте 1948 года скончался в возрасте неполных 30 лет.

На второй день после этой встречи я решил пройти по местам, где еще до колхозов были наши поля. Озеро Стрелковое, речки Палачиха и Табарка, по берегам которых стояли наши полевые станы и станы наших соседей и родственников. Вышел рано утром, двигался не спеша. Стояло начало лета, и комаров было великое множество. С раскидистым веником из березовых веток я шел по грани — так называлась одна из дорог к Палачихе — и далее к озеру и Табарке. Пройдя сосновый бор, вышел к Калиновке, небольшой, но некогда богатой деревушке, расположенной по другую сторону бора на маленькой лесной речушке Калиновке. В деревне было около десятка домов, утопающих в раскидистых кронах огромных тополей и кустов черемухи. Но бывлой ухоженности и зажиточности уже не видно. Изгороди покосились, вместо стекол в окнах кое-где прибиты фанерки. Единственная улица заросла травой и бурьяном. Было видно, что деревня обезлюдела и дни ее сочтены. Подошел к колодцу, в котором приходилось брать воду еще в доколхозное время. Напился. Вода холодная и вкусная, как и в былые времена. Подошла женщина с ведрами. Я похвалил воду и помог ей наполнить ведра. Она рассказала, что на всю деревню остался только один колодец, а здоровых мужчин двое, но один из них скоро уедет, так как строится или ремонтирует купленный дом где-то на станции Каргаполье. «Магазина в деревне нет, медицины никакой, только животноводческая ферма. Как будем жить, не знаю», — посетовала она.

Лет через десять или около того деревня Калиновка исчезла с географической карты района. Там, где высились тополя и стояли крепкие рубленые дома, теперь колхозное поле, на котором в первые годы после распахки хорошо росли пшеница и кукуруза. Единственное, что еще напоминает о бывшей обитаемости этой части берега маленькой лесной речки Калиновки, — это пруд и стоящие по его берегам несколько старых огромных тополей. Но пруд уже обмелел. В один из своих приездов в деревню в 70-х годах, проходя по этим местам, я решил искупаться. Воды по пояс, дно вязкое и илистое, ноги вязнут чуть ли не по колено. От берегов наступает трава. Плотины размыва дождями и разбита машинами. Скоро исчезнет и пруд — последнее свидетельство того, что здесь когда-то теплилась жизнь.

От Калиновки иду дальше, к Палачихе. Это тоже небольшая речка, протекающая по лесу. Ранней весной она наполняется водой, а летом в иные годы местами совсем пересыхает. По берегам ее березовый лес с примесью осины и буйные заросли черемухи, вишни, смородины, боярышника. Порой бывает много земляники, клубники, грибов и костяники, или костянки, как ее называют в наших деревнях. Здесь были полевые станы Туринцевых и Киприяновых. В доколхозное время к этой речке примыкали и некоторые наши поля. По берегам Палачихи в конце лета мы пасли скот. Тут и трава, и вода и красивые лужайки, на которых наши коровы отдыхали, а мы затевали борьбу, игры или жгли костры и пекли картошку.

Центральным пунктом на берегу этой речки была толстая сосна, около которой была заимка Киприяновых. Об этой сосне я уже писал ранее. Под ее развесистой кроной вечерами собирались люди со многих заимок поговорить, обсудить насущные проблемы, а то и спеть или просто как-то развлечься. Но все это было, конечно, до социалистических преобразований. После создания колхозов тут был стан колхоза «Комбайн». Но теперь тут уже никто не пел, а плакали многие, работая босыми, голодными и совершенно задаром, получая лишь, как сказал Твардовский, пустопорожний трудодень.

Толстую сосну мне пришлось долго искать. Очертания леса изменились, дороги и тропы тоже были не те, что до войны, а не был я здесь лет десять. Наконец отыскал. От нее остался

лишь невысокий пенек, окруженный высокой травой и крапивой. Позднее мне рассказали, что какой-то идиот спилил эту красоту на дрова еще во время войны.

Присев на пенек, я закурил, и в памяти пронеслись лица всех, с кем я встречался под этой сосной в далекое теперь уже довоенное и доколхозное время. Мой ровесник Алешка Киприянов и два его старших брата, Александр и Егор, не вернулись с войны. Младший брат Иван уцелел, сейчас дома, но пьет как лошадь — так, что и смотреть страшно. Стограммовый граненый стаканчик опрокидывает махом и выпивает за один глоток.

По другую сторону речки была заимка наших родственников Туринцевых. Из трех братьев вернулся с фронта один Иван, самый младший, а Михаил и Алексей погибли. Их отец, Василий Иванович Туринцев, был братом нашей бабушки Харитонии Ивановны. Михаил в доколхозное время во всей округе был известен как скандалист и забияка. Пьяным он был, кажется, способен на все. Вооружившись дубиной или саблей, изготовленной из обыкновенной крестьянской косы, он мог разогнать всю деревню. Позднее, с образованием колхоза, он стал каким-то маленьким начальником, ходил с портфелем и пьяные оргии с дикими драками больше уже не устраивал. Средний брат, Алексей, высокий, сильный и добродушный. Ни в каких «коллизиях» он нигде и никогда не был замечен. Иван Васильевич был младшим из братьев. Ему суждена была сравнительно долгая жизнь. Умер он от рака в 1987 году в возрасте 72 лет. В молодости он был лучшим танцором в деревне и непременным участником всякой самодеятельности. Очень вероятно, что у него были какие-то актерские данные, но не было возможности развить их и немного подучиться.

Удивительно, что в те годы, когда люди еще не были насильно загнаны в колхозы, в деревне действительно имели место элементы художественной самодеятельности и культуры. Силами учителей и мало-мальски грамотной деревенской молодежи ставились и разыгрывались пьесы, выпускались так называемые живые газеты, устраивались танцевальные конкурсы, шашечные турниры. Мне тоже приходилось несколько раз играть в спектаклях, где были детские роли. Организатором и активным участником всех этих

культурных начинаний был Никандр Попов. Это был прирожденный комический актер. Я все еще помню одну из песенок, которую по ходу пьесы он распевал на сцене:

Во саду растет малина, в огороде мак цветет,
Мне хозяйюшка Арина полбутылочки нальет.

В годы войны из-за какой-то болезни его не взяли в армию и он был назначен председателем колхоза. Поскольку хлеб в колхозах тогда забирали полностью, весной, когда в колхозе самая ответственная и важная работа, на столе у всех была абсолютная пустота. Председатель решил утаить несколько центнеров зерна и оставил их где-то в лесу, чтобы весной подкормить людей, выдавая на семью по два-три килограмма. Но сделать это одному было, конечно, невозможно, и, как это часто бывает, нашелся стукач, председатель получил восемь лет. Вот и сейчас, когда я сижу на пенке толстой сосны, память, наряду с другими, выхватила из глубин забвения и этого энтузиаста самодеятельности, бедняка и, очевидно, сторонника советской власти, ставшего потом председателем. Ему осталось сидеть еще около пяти лет. Выдержит ли? Нет, видимо, не выдержал. Во всяком случае в деревне он больше никогда не появлялся.

Следующим пунктом моего пешего путешествия по местам детства было Стрелковое озеро. От сосны до него немногим более километра. С волнением ожидал я встречи с колыбелью своего отрочества. С ранней весны и до поздней осени в течение многих лет обретался я на его берегах. И теперь, после долгого отсутствия, в прямом смысле «из дальних странствий возвратясь», спешу я снова поклониться и знакомым березам, иссеченным мною когда-то, чтобы добыть березовый сок, и полям, которые боронил, сидя верхом на нашей Карюхе, и осиновому колку, в котором мы по весне собирали утиные яйца, и самому озеру — розовой жемчужине в белой оправе березового леса.

Дорога вывела меня к бывшей заимке Николаевых, наших соседей и родственников. Фамилия их тоже Сосновских, но называли эту семью Николаевыми по имени ее родоначальника Николая, который жил и скончался, когда меня еще не было на свете. Это

была большая и материально крепкая семья, в которой во времена моего детства и отрочества было три взрослых сына, а всего их было пять. Один из них погиб в Гражданскую войну. Это Аркадий — отец моего ровесника и друга Санко Аркадьева. Санко был года на два-три старше меня, но тогда разница еще не чувствовалась и вся наша деятельность от игры в прятки до пастьбы скота протекала вместе, даже в школе все семь лет мы были одноклассниками. Войну он прошел благополучно, вернулся здоровым. Потом много лет работал на станции Каргаполье директором элеватора и заведующим нефтебазой. Много пил, а затем бросил и последние лет 10—15 был, видимо, полным абстинентом. Накануне своего 60-летия он поехал в Мехонку, чтобы достать каких-то продуктов для предстоящего юбилейного торжества, и скончался в автобусе от сердечного приступа. Так ушел из жизни еще один из моих постоянных и непреходящих спутников детства и ранней молодости.

На заимке Николаевых всегда была лодка и различные рыболовные снасти: сети, морды и прочее. Рыбы иногда попадалось столько, что не знали, что с ней и делать. Нас, ребятишек, посылали по соседним заимкам объявить, чтобы приходили за рыбой. А рыба в этом озере только карась, всегда упитанный, жирный и вкусный. Само озеро сильно заросло камышом, только вдали от берега были кое-где большие участки свободной от камыша воды. Озеро глубокое, но остатки растительности, мох и прочее образуют местами такие прочные подушки, что по ним можно ходить, хотя это и небезопасно. На таких подушках, их называли лабзей, весной гнездились утки, гагары и еще какие-то птицы, а мы иногда собирали яйца. От родителей за это нам сильно попадало, но не за то, что мы собирали яйца (тогда экологические проблемы еще не возникали в сознании людей), а за то, что подвергали себя риску, выходя на лабзю. Она могла провалиться — и тут уж тебя не только никто не спасет, но и никто никогда не найдет. Берега озера по всему его периметру обросли березовым лесом шириной метров 100—200, а в лесу — чермуха, вишня, смородина земляника, клубника и другие ягоды.

Ранней весной, как только сойдет снег, по всем окрестным колкам и на берегу самого озера появляется медуница — небольшое травянистое растение с синими цветами. Мы собирали их охапками

и ели. Это была первая зелень и витамины, которые мы могли получить после долгой и суровой зимы. О витаминах мы тогда, конечно, ничего не знали, но инстинкт и опыт старших подсказывали нам, что это полезно, ведь свежих овощей в деревне зимой было мало, разве что морковь да брюква, а фруктов вообще не было никогда — ни зимой, ни летом. Кроме медуницы, приозерная флора давала нам ранней весной еще лилию, или саранку, как у нас ее тогда называли. Мы находили ее по старому засохшему стеблю, выкапывали луковицу лопатой, а потом, помыв немного или чаще просто обтерев о штанину, ели. О питательной ценности луковицы я и сейчас ничего не знаю, но она точно вкусна и, уж наверное, небесполезна.

От заимки Николаевых метров на 150—200 по берегу к югу была наша заимка. Тут были две отапливаемых избушки, навесы, крытые соломой, и стойла для лошадей. Тогда, в 1947 году, я нашел на этом месте только кучу мусора, заросшую высокой крапивой, и несколько знакомых берез с лунками, из которых я пил когда-то березовый сок. Сами лунки были уже сильно затянуты корой, но хорошо были заметны еще рубцы, по которым их можно было распознать. Спустился вниз до самого озера. Раньше тут был мостик, с которого брали воду, но теперь нет никаких его следов. В точности определил место, где тогда разводили огонь. Около него было несколько плоских камней, на них ставили посуду, чтобы подогреть что-нибудь. Камни эти сохранились и лежат сейчас почти на том же месте. Здесь я решил сделать небольшой привал, так как прошел уже около 12 километров, да и перекусить уже подошло время. Выбрал место под хорошо знакомой березой. Она стоит немного особняком от других деревьев и сильно разрослась, широко раскинув свои могучие ветви. На вершине ее и тогда почти ежегодно вили гнезда то ли грачи, то ли вороны. Вот и сейчас, сидя под березой, я вижу гнездо, скорее всего заброшенное. Не видно, чтобы его кто-нибудь посещал, хотя сейчас как раз время вскармливания птенцов.

Запомнился один вечер из времен далекого детства, видимо еще до школьной поры. Только, я и мой дед Филипп Петрович сидим у костра, как раз вот тут, где лежат сейчас камни. Смеркается, но еще не темно. Над березой, под которой я сейчас сижу, клубятся тучи майских жуков. Их было так много, что порой они почти пол-

ностью застилали обращенную к нам сторону кроны березы. Никто из нас, даже дед, никогда не видел такого скопления этих насекомых. Видимо, это был год, когда по какой-то неведомой природной причине был необычайно большой отрод этих жесткокрылых созданий. Так бывает и с другими насекомыми, например с комарами, численное соотношение которых в «комариные» и «некомариные» годы бывает как 1 000 000 : 1. Этот феномен пытался выяснить еще Тимофеев-Ресовский, но не сумел или не успел этого сделать.

Пробыв у озера около часа, я решил заодно навестить и наши бывшие владения на речке Табарке. От озера это еще три-четыре километра. Пошел по правую сторону от озера, если считать от нашей заимки. На пути деревня Свобода. Расположена она как раз на противоположном берегу озера по отношению к заимке. Возникла она уже на моей памяти. В конце 20-х годов из нашей деревни переселились сюда несколько семей. Они и составили ядро будущей деревни, а позднее к ним присоединились еще несколько семей из других деревень района, так и возник этот новый населенный пункт.

Здесь жил один из моих друзей и соучеников по Вороновской ШКМ Егорка Пермяков. Это был умный и не лишенный юмора парень. Хорошо помню, как мы с ним на уроках обществоведения и истории допекали учительницу, большевичку с 1917 года, Бекетову. Наш крестьянский инстинкт и просто логика нормальных людей подсказывала, что руководимая сыном грузинского сапожника страна заходит в трясину, из которой не все выберутся живыми. Страной для нас тогда была родная деревня, но обстановку в ней мы невольно экстраполировали на район, область и, как оказалось, были полностью правы. Раскулачивание, свидетелями которого мы были, голод, скудность в одежде и во всем, уже тогда делали нас диссидентами, инакомыслящими, а наша большевистская учительница все пыталась нас переубедить. После окончания семилетки Егор закончил среднюю школу в Мехонке и поступил потом на медицинский факультет Пермского университета. Из нашего потока в ШКМ он был, видимо, единственный, кто после окончания семилетки рванул в среднюю школу, а потом и в университет. В последний раз мы встречались с ним в Каргаполье летом 1939 года.

Он рассказывал тогда о своей учебе в университете, о профессорах, которые у них преподают, и я немного позавидовал, что мой путь пролегал далеко от университета.

Первую же встречную женщину в деревне Свобода я спросил, где дом Пермяковых и знает ли она Егора Пермякова. Она ответила, что Пермяковы были ее соседями, но сейчас они здесь не живут, а Егор и его старший брат с фронта не вернулись. Так выяснилась судьба еще одного из моих друзей довоенного времени. Стало ясно, что делать мне в Свободе больше нечего. Других близких мне людей здесь больше не было.

Справа от деревни Свобода находится озеро Черепаново, тоже поросшее осокой, камышом и еще какими-то высокими травами. По размеру оно немного меньше, чем Стрелковое, и воды, в нем меньше, случалось, что вода из него совсем исчезала, причем не обязательно в сухой год. Потом вода появляется вновь и многие годы держится на одном уровне. Я помню, что эту загадку старики обсуждали, когда мне было еще менее 10 лет. Я дошел до озера. Воды было примерно столько же, как и в те далекие годы, только берега его стали менее привлекательны, так как тут пасется скот.

За озером Черепаново протекает маленькая речка Табарка. Берега ее поросли тальником, ивой, смородиной и черемухой. Весной берега полыхают белым полымем цветущих кустов черемухи на многие километры вдоль речушки. В доколхозную пору на этой речке у нас было не много полей, поэтому и настоящей заимки здесь не было. Только навес, крытый соломой, и ничего более. Большой воды здесь не было, а сама речка в середине лета почти полностью пересыхает. Подолгу здесь мы не жили, только в разгар работ оставались на ночь или две.

В 30-е годы здесь был центральный стан нашего колхоза «Красный Пресс», и жить нам тут иногда приходилось подолгу. Помню одно лето, это был 1931 год или, может быть, 1932. Мы, девчонки и мальчишки лет двенадцати-тринадцати, работали на прополке, а из старших был один только пожилой колхозник. Поля тогда сильно были засорены осотом — трудноискоренимым корнеотпрысковым сорняком. Мы его срезали литовками, но толку от этого было мало, так как корни оставались в земле и от них

шли новые побег. В другое лето мы пахали здесь пары. Было нас человек 8—10 и опять только подростки. Старшим был Егорко Маковских, парень лет двадцати или чуть более — сильный, невежественный и грубый. Мы все ненавидели его и просили председателя, чтобы он дал нам другого бригадира. Работать было очень трудно: лошади истощенные, плечи у них стерты в кровь, сами мы полуголодные, а пора — начало лета, самый комариный расцвет. Овод не давал покоя ни нам, ни лошадям. На них трудно было надеть хомут и запрячь, иногда это приходилось делать самому Егорке, а он давал нам подзатыльники за то, что не можем справиться.

Одной из моих лошадей был мерин по кличке Решетило. Это была заморенная и худая лошадица, но ростом очень высокая. Когда я подходил к ней с хомутом, она поднимала голову и становилась похожей на жирафа. В этом случае кто-то должен тянуть голову вниз за повод, иначе не охмутить. Бригадир любил рассказывать каждому, кто готов был его слушать, как мы по трое, а то и по четверо, надевали хомут на Решетило.

Скоро мы, однако, научились извлекать пользу из того, что бригадир наш не очень силен в грамоте. Дневная норма вспашки на один плуг была установлена в 0,8 гектара. Бригадир замерял вспашку саженью, но вычислить вспаханную площадь не мог. Это приходилось делать мне. Я был едва ли не единственным, кто в то время уже хорошо знал таблицу умножения. Когда цифры давали 0,7 гектара на пахаря, я объявлял, что уже 0,8, а после этого загнать кого-либо в борозду было уже невозможно. Мы распрягали своих «росинантов» и двигались на стан. Такая арифметика, конечно, не очень похвальна, но простительна, учитывая, что мы были еще почти дети, к тому же полуголодные, а лошади наши были заморены недоеданием и оводами.

Вот так все это и пронеслось у меня в памяти, когда я пришел на этот стан. Первым, кого я тут встретил, был Александр Андреевич Попов, мой двоюродный брат. Он был еще совсем юным, почти подростком, ехал на тракторе весь черный от грязи, как негритенок. И одежда на нем была такая же, насквозь промасленная. Поздоровались, я спросил, где мне найти своего отца, он указал мне на вагончик, в котором обитали работающие на стане, и, включив

газ, двинулся дальше. Так закончилась моя первая послевоенная прогулка по памятным местам детства, отрочества и ранней юности.

Отпуск мой был недолгим. Приближалось время возвращения в Воркуту. Еще несколько дней, оставшихся в моем распоряжении, я провел дома, помогая кое-что делать по огороду. Вечером уходил в Каргаполье, где можно было выпить пива, но это не часто, да и денег у меня было мало; в читальном зале библиотеки можно было полистать журналы и газеты и встретиться с теми немногими знакомыми и соучениками, которые пережили войну. Именно тут я встретил Генку Белова, с которым учились три года в одном классе Вороновской ШКМ. Примерно за полгода до нашей встречи его постигла беда: утонул 6-летний сын, зимой на санках скатился с берега и прямо в прорубь.

Потом в кафе-ресторане столкнулся с Сашкой Суровцевым. Это тоже мой одноклассник. Ранее он где-то слышал, что на меня получено две похоронки и при встрече был удивлен не меньше, чем если бы встретил здесь в кафе доисторического динозавра. «Тебя, вроде, не должно быть», — сказал он. Во время нашей учебы в ШКМ Сашка был порядочный шалопай и забияка. Он числился предводителем каргапольских ребят, и у нас, тамакульцев, нередко случались с ними потасовки, в которых Сашка Суровцев был непременным участником и наиболее опасным противником. После семилетки он нигде больше не учился, а сейчас работает в колхозе шофером. Договорились, что через день, когда мне надо будет уезжать, он довезет меня до станции.

В читальном зале библиотеки встретился еще с одним соучеником по ШКМ — Костей Жилиным. Он шел на один класс впереди меня и по возрасту был на два-три года старше. На фронте он получил тяжелое ранение, и здоровье его уже тогда было далеко не блестящим. Он рассказал о судьбе некоторых своих ровесников и одноклассников. Почти никто из них здоровым с войны не вернулся. «Все наше поколение испепелено в войне», — сказал он тогда.

Так оно и было. На памятнике жертвам войны, что стоит теперь в центре Каргаполья, можно прочитать их фамилии, но не всех. Некоторых нет в этом скорбном списке. Это пропавшие без вести — категория людей, как бы не существовавших вовсе. Если человек, на-

пример, погиб в плену, то считается, что он вроде и не воевал вовсе, будь он хоть трижды герой до этого. Дети и внуки его не имеют права сказать, что их отец или дед погибли на войне, и никакие льготы, установленные для семей погибших, на них не распространяются.

Возвращение в Воркуту

В Воркуту я вернулся в самый разгар заполярного лета. Стояли, помнится, очень теплые дни. Бывает там несколько таких дней, когда солнце печет, как на юге. Можно загореть и даже сгореть. Но к вечеру потянет полярный ветерок, становится прохладно, и если собираешься отойти от дома подальше, то бушлат взять не помешает.

Приступил к исполнению своих обязанностей писаря по вещевому довольствию. За время моего отсутствия особых событий в штабе, да и во всем лагере, не произошло, только прибыло много новых людей, в основном с Украины и из западных областей страны. Люди приезжали и раньше, но в конце весны и в начале лета 1947 года переселенцев было особенно много. По их рассказам, лето 1946 года было сухим и жарким. Палящий зной висел от зари до зари. Над опустошенными районами страны навис злобный призрак голода. Летом и осенью 1946 года гнали табуны лошадей и коров из Сибири и Казахстана в разоренные войной области. Животные падали на дорогах от истощения, а жители окрестных деревень и сел растаскивали их и ели. От такой жизни побежишь хоть куда. Воркута для них казалась раем.

А время идет, дни бегут. Мне уже скоро тридцать, а жизнь еще и не начиналась, разбитый горшок никак не склеивался. Барак с общими нарами, матрас, набитый древесными опилками, и чемодан, сбитый из фанеры одним каторжанином еще на седьмой шахте, — вот и все, чем я владею накануне своего 30-летия. На седьмой шахте у меня все же была отдельная комната, хоть и на двоих, а здесь вроде и должность чуть повыше, а жить приходится в общем бараке. Но не я один тут такой несчастливый. Есть еще много ребят, которые до войны учились в вузах и, не закончив образования, пошли на фронт. Теперь вот обретаются здесь, в Заполярье, кто в охране,

кто в шахте, а кто и сам под охраной. Последних, конечно, подавляющее большинство. Пробуем писать в высокие инстанции, просим, чтобы отпустили доучиваться. Ответ приходит сюда же, в штаб охраны, и гласит всегда одно и то же: «На усмотрение». А усмотрение тоже было всегда стандартным: «В настоящее время отпустить вас не представляется возможным». Я писал тоже. Первый раз председателю Комитета по делам репатриантов генералу Голикову, а второй раз самому Сталину. Оба ответа были: «На усмотрение».

Заполярное лето приближалось к концу. Август дышит здесь глубокой осенью, а в конце его уже пролетает снежок. В школе работы у меня больше не предвиделось, но когда начались занятия, я продолжал там бывать. Чаще других приходил на уроки физики и математики к Пухову. В том и другом предмете он был виртуоз, но объяснял как-то скомканно и говорил очень быстро. Понимал его сходу только один совсем молодой парень по фамилии Бергер, еврей. Отец этого парня в прошлом был математиком в каком-то техническом вузе Ленинграда, отсидел срок и теперь оставлен на поселение в Воркуте с правом вызвать сюда семью, что он и сделал. Некоторые признаки понимания обнаруживали еще два ученика, а остальных Пухов называл пнями и никакой заботы об их знаниях не проявлял. Что касается девчонок, а их было немного, всего три или четыре, то за учеников он их вообще не считал и никогда не спрашивал. Положительные оценки, однако, ставил, иначе ученики могут уйти и тогда сократят класс.

Бывал я и на уроках литературы Крестинского. На одном из них проходили Горького. Был разбор пьесы «На дне». Образы Сатина и Луки остались и сохранились в памяти так, как будто я их видел на сцене. Но общего представления о системе работы этого очень образованного человека у меня сложиться не могло, так как слишком мало бывал я на его уроках. Запомнилась только некоторая академическая строгость и, возможно, чуть излишняя угрюмость его самого: никогда ни одной шутки, в отличие от Пухова, ни одной улыбки. Но это, возможно, следствие обреченности и безысходности его существования в заполярной кочегарке после европейских столиц. «Сын врага народа» — тогда это очень много значило. Никаких путей, никаких перспектив и никаких надежд.

Удивляюсь еще, как ему разрешили работать в школе! Впрочем, сыну кулака или сыну попа было не лучше. У всех у них была одна судьба и одна подорожная. А вот сыну наркома — даже если он бездарь, алкоголик или просто вор и бездельник — открыты все пути и дороги. Именно из таких вот «советских детей» выросла в основном руководящая элита, которая в эпоху Брежнева привела страну на край морального и экономического краха.

Однажды, это было приблизительно в конце октября, телефонограммой я был вызван в штаб охраны. Поскольку видимого повода для такого вызова не было, эта телефонограмма меня сильно встревожила. Как раз в это время вышел то ли указ, то ли другой какой-то правительственный циркуляр об отмене денежных вознаграждений за ордена. В нем утверждалось, что Президиум Верховного Совета пошел на это исходя из настоятельных требований самих трудящихся-орденоносцев. По этому поводу у нас вспыхнула бурная дискуссия, которая то затихала, то разгоралась с новой силой. Почти у всех офицеров и рядовых охранников, бывших фронтовиков, имелись ордена. Так что безучастных в той дискуссии было мало. У меня же никаких орденов не было и меня эта отмена напрямую не затрагивала, но я имел неосторожность выразить сомнение в том, что это «настоятельное требование» действительно было. Я спросил присутствующих, кто из них первым подал такую идею Президиуму. Ни один из них, конечно, таких идей не подавал. Подобные аргументы не понравились политруку, и я думал, что вызов может быть связан с этой дискуссией.

На деле, к счастью, оказалось все иначе. Из Ленинграда доставили в Воркуту около 15 тысяч книг. После разгрузки их свалили в бараке как попало. Барак был заброшен и не отапливался, на полу лежал снег, некоторые стекла в окнах выбиты. Груда книг на слегка очищенном от снега полу возвышалась почти до потолка. В этот барак привел меня какой-то капитан из политотдела штаба охраны, которого я до этого никогда не встречал. Показав мне все это, он спросил: «Сможешь навести здесь порядок?» Я ответил, что смогу, если дадут двух плотников и одного-двух помощников на некоторое время.

Капитан обещал. Вернулись в штаб, где я и получил письменный приказ о назначении меня библиотекарем штаба охраны. В этот же

день я должен был передать свои писарские дела кому-то другому, переселиться из казармы своего отряда, расположенного на окраине города, в общежитие-казарму в центре, а уже завтра с утра приступить к работе в библиотеке. Так я получил работу, которая в данных условиях была для меня почти идеальной. На следующий день дали плотников для ремонта барака, они осмотрели здание, подключили отопление, которое, к счастью, оказалось в основном исправным, и начали сколачивать полки. Со стеклом была задержка, разбитые окна пришлось забивать фанерой. Вскоре в помощь для разбора и регистрации книг мне были даны две женщины, жены офицеров.

Среди книг было много ценных, изданных еще в прошлом веке в издательствах Сытина, Солдатенковых, Павленкова, Маркса и других: роскошные издания Шекспира, Шиллера, Гете в тисненых переплетах издательства Маркса, лекции Куно Фишера по философии Гегеля, история Древнего Рима Момзена, древние авторы — Апулей, Плиний, Тацит, Геродот и многие другие. На многих книгах были экслибрисы их бывших владельцев. Некоторые издания я вообще видел впервые, а то и вовсе не знал, что такие книги существуют.

Работа продвигалась. Часть полок была уже сколочена, и можно было начинать разборку. Ни о какой системе раскладки книг я не имел ни малейшего понятия, поэтому пришлось придумывать свою, хоть и примитивную, но все же приемлемую систему расстановки книг по стеллажам. В бараке теперь было сравнительно тепло, и вечерами я иногда надолго задерживался здесь, читая книги или продолжая их разборку и регистрацию. Пришлось пожалеть, что в Швейцарии, когда я бывал в библиотеке знаменитого библиографа Н. А. Рубакина, мне и в голову не приходило вникнуть в теорию и практику библиотековедения и библиографии. Первые читатели появились, когда библиотека еще не была официально открыта. Это были некоторые из моих знакомых по школе.

Однажды я остался в библиотеке после работы, когда ремонтники и помогавшие мне женщины ушли домой. Времени было, наверное, около шести часов вечера. Весь день мела пурга и было холодно. Я уже подумывал остаться в библиотеке на всю ночь и не возвращаться в казарму. Здесь стояли два подержанных дива-

на, привезенных недавно из какой-то конторы, и были старые што-ры из плотной тяжелой ткани. Ими можно укрыться.

Но вот скрипнула дверь, пришел дневальный из штаба и со-общил: «Приказ — всем на аварийную расчистку путей». Где-то в окрестностях города застрял поезд, идущий из Ленинграда или, на-оборот, в Ленинград. Делать нечего, такие авральные работы бывают часто, но меня они как-то обходили стороной, а вот сегодня нет. Надо идти. Догадываюсь, чья это идея. Позднее оказалось, что так и есть. В штабе дежурил заместитель начальника штаба в звании капитана, то ли чуваш, то ли мордвин по национальности. По-русски говорит с сильным акцентом, ума небольшого, но начальственных амбиций хоть отбавляй. Отношения у меня с ним уже давно неважные, но как раз к нему надо обращаться с некоторыми просьбами в связи с ремон-том и благоустройством библиотечного барака.

Забежал домой, собрался, оделся соответственно и пришел к штабу. Морозец пока средний, на освещенной площадке уже стоит группа людей, человек двадцать. Это санитары и фельдше-ры из санчасти, повара, люди из административно-хозяйственной части и свободные от нарядов охранники. Скоро подошла колонна заключенных, многие из которых, видимо, тоже обретались в лагере на различных вспомогательных работах. Собралось всего человек около пятисот. Заключенные пришли уже с лопатами, а мы должны были еще взять их где-то на складе около вокзала. Кто-то из наших был определен в старшие или взял на себя эту роль по собственной инициативе. Прозвучал приказ: «Разобраться по четыре».

Начали строиться. Я оказался в первой четверке. В это вре-мя с крыльца штабного здания спускался начальник военной под-готовки охраны капитан Наймушин, знакомый мне еще по лагерю на седьмой шахте. Увидев меня, он спросил, умею ли я рисовать. Ответил, что не умею, но добавил, что чертить мишени, пожалуй, смогу. Ранее мне уже приходилось их чертить, когда я был еще пи-сарем по вещьдовольствию. «Завтра стрельбы, надо приготовить мишени. Пошли со мной, я договорюсь, чтобы тебя освободили», — сказал он. В штабе он показал мне комнату, где я смогу этим занять-ся, там уже было все необходимое, а сам ушел, сказав, что вернется часа через два.

Я приступил к работе, а снегоуборочная колонна между тем ушла — ушла в вечность, чтобы больше уже не вернуться никогда. Замерзли все: заключенные и охрана, даже собак потом не нашли ни одной, видимо, они разбежались, почуяв неладное. Это был циклон. Температура упала почти мгновенно до -52 градусов. Пронизывающий ветер, дышать становится трудно, укрытий никаких. Выбраться никто не смог. Только несколько человек нашли потом на самом подходе к административному зданию первой шахты, но и у них не хватило сил добраться или, может, они просто не увидели здание. Вот так трагически закончилась эта снегоочистительная кампания.

В древности верили в предопределение. Считалось, что каждому назначена своя роковая минута и, пока она не пришла, человеку ничто не угрожает. Если это так, то моя минута еще не наступила и я еще раз прошел невредимым по самой кромке бытия. Ведь капитан Наймушин мог немного задержаться или пройти чуть раньше, и тогда бы он не встретил меня. Стрельбы могли быть назначены не на завтра, а на послезавтра, и тогда мишени были бы не к спеху. Наконец, и сам я пришел к месту сбора именно тогда, когда нужно. После всего этого невольно становишься фаталистом, как лермонтовский поручик Вулич. Старые солдаты, вся жизнь которых проходила в походах и войнах, будто бы умели читать на лице человека, обреченного на скорую смерть, какой-то странный отпечаток. Но для этого надо быть, видимо, очень наблюдательным. Мне, например, ничего не удалось прочесть на лицах людей, жить которым оставалось совсем уж немного.

Но удивительнее всего то, что это, казалось бы, страшное событие было воспринято в штабе, да и вообще в охране, почти как нечто само собой разумеющееся. Никто не удивился, никто не возмущился и не ужаснулся. Все происходило так, как будто ничего и не случилось. Конечно, поговорили немного и скоро перестали, ведь и без этого в лагере ежедневно погибало очень много людей. Мы все тогда настолько привыкли к смерти, что даже одновременная смерть почти 500 человек мало кого удручила или удивила.

Вскоре после этой трагедии, в самом конце 1947 года, была отменена карточная система и одновременно проведена денежная

реформа. Эти события и вовсе вытеснили из памяти произошедшую катастрофу. Отмена продуктовых карточек подавалась как огромная победа и успех социалистического сельского хозяйства, что оказалось возможным только благодаря правильному руководству партии и ее вождя товарища Сталина. Ранее карточки на основные продукты питания вводились в 1928 году и существовали до декабря 1935 года. За это время страна пережила голод в Поволжье и на Украине, в результате которого, по признанию Хрущева, погибло около пяти миллионов человек, а в действительности, может, и больше, так как погибали люди не только в пределах этих районов. На Урале, например, было то же самое, только в меньших размерах. Отмену карточек в 1935 году я хорошо помню, так как ознаменовал ее покупкой в буфете техникума 200 граммов каких-то слипшихся в один кусок конфет, которые до этого нам были недоступны, да и буфетов в техникуме никаких не было.

Организатором голода 1933—1934 годов Раскольников называет самого вождя мирового пролетариата Сталина. Он решил наказать Украину и Поволжье за то, что они не хотели идти в колхозы. Если многие заслуги приписывались Сталину из лести и угодничества, то титул организатора голода и судебных подлогов был дан ему по праву. Даже Адольф Гитлер не смог бы этот титул оспорить.

Денежная реформа 1947 года сильно ударила по тем, у кого было много денег, но нас в Воркуте она не затронула никак. Три тысячи можно было поменять рубль за рубль. Следующие десять тысяч — один к трем, но это было далеко за пределами того количества денег, что хранились в наших карманах.

Новый 1948 год мы встречали где-то на окраине города в землянке. Пили спирт и ели яблоки — деликатес и величайший дефицит в тогдашней Воркуте. Накануне всем нам продали их по одному килограмму за 14 рублей. В то время я еще не чувствовал у себя никаких признаков цинги, но по опыту других знал, что она уже стоит у меня за спиной, поэтому старался употребить этот килограмм с максимальной пользой. Мы хорошо знали, что кажущаяся относительная сытость от цинги не спасает. В пятом отряде у нас был поваром молодой парень из расконвоированных заключенных. Голодным он, конечно же, не был, но цинга подобралась к нему на третий год

пребывания в Воркуте, а еще через год он лишился зубов и на ногах появились злоеющие синие пятна. Это уже последний сигнал к тому, что надо что-то делать, пока еще можно что-то сделать. Дальше начинаются необратимые процессы, а за ними и смерть. На рынке мы иногда покупали лук, не килограммами, конечно, а штучно, так как он был дорогой. Одна луковица стоила около 10 рублей, но мы отдавали последнюю десятку ради того, чтобы отодвинуть цингу.

После Нового года я продолжал работать в библиотеке. Книги рассортировали и разложили по полкам. Составили каталог. Барак подлатали — в нем стало тепло и сухо. По вечерам здесь собирались иногда любители книг, не только из охраны, но в целом их было немного. Внешне жизнь, можно сказать, вошла почти в нормальную колею. Из писем и рассказов приезжих мы знали, как тяжело живут люди там, на большой земле, особенно в городах. Тарасов писал, что в Ленинграде почти голод и жизнь протекает на крайнем пределе возможностей. Мы собрали тогда и послали ему небольшую продуктовую посылку — фасоль, немного рыбы и еще что-то. Он сообщил потом, что получил ее в самый критический период, и она показалась ему даром небес, посланным из преисподней.

Приблизительно в феврале или в марте я обнаружил, что у меня начали шататься некоторые зубы. Других признаков цинги еще не было заметно, но было понятно, что она уже пометила меня и теперь не отпустит до самой смерти, если в ближайшие недели или месяцы я не покину Воркуту. Я усилил попытки вырваться отсюда. В Москву уже не писал, знал, что бесполезно. Необходимо было опереться на некоторые знакомства здесь, но их было мало, а денег не было совсем. При наличии пяти-семи тысяч выезд можно было оформить быстро, но где их взять эти тысячи? По совету одного агронома-каторжанина я начал регулярно пить настой сосновой хвои, но и она не всегда была под рукой: ближайший к нам сосновый лес находится на расстоянии 400 километров. Чаще, чем раньше, начал покупать на рынке лук и чеснок. Продавал валенки, которые когда-то удалось получить без оформления, и все деньги пошли на спасение от цинги.

И вот в апреле 1948 года вызывают меня в штаб и сообщают об увольнении из охраны с выездом из Воркуты. Но без права проживания в Москве, столицах союзных республик и городах-героях.

В Москву я не собирался, в города-герои тоже, так что эти ограничения меня не сильно ущемляли, но они, однако, однозначно свидетельствовали о моей гражданской неполноценности. Никакого недовольства от такой дискриминации я в штабе не высказал и попросил оформить мне документы с выездом в Курганскую область.

Восьмым отдельным дивизионом, в личном составе которого я формально числился, командовал гвардии капитан МIRONENKO, человек в общем-то положительный. Он правильно оценивал обстановку и избегал усложнять жизнь своим подчиненным, по крайней мере в тех пределах, которые ему были доступны. У меня, да видимо, и у всех других работающих в штабе дивизиона, сложились с ним вполне нормальные отношения. Своему заместителю, лейтенанту БУДАКОВУ, он велел дать мне хорошую характеристику и кроме официальной справки, которую мне должны были выдать в штабе охраны комбината, дал еще и свою. «Справки потом будут нужны, а избыток их не помешает», — сказал он на прощание.

Я так и не понял тогда, кого нужно было благодарить за то, что меня наконец-то отпустили. Ведь раньше, когда я писал ГОЛИКОВУ, БУГАНИНУ и самому СТАЛИНУ, все ответы сводились только к тому, что вопрос об увольнении должен решаться по усмотрению местных властей, а они всегда усматривали так, что отпустить невозможно.

Дорога домой

В самом конце апреля 1948 года я уезжал из Воркуты. Попутчиком и соседом в вагоне был начальник седьмой шахты, ехавший с женой в отпуск то ли в Москву, то ли в Московскую область. Фамилию его не помню. Ехать нам вместе до КИРОВА. Тут мне предстояла пересадка, а они намеревались остаться в Кирове на несколько дней у родственников жены. За разговором вспомнили, что в августе 1946 года, когда он приехал в Воркуту, я был одним из встречающих нового начальника. Нас послали в Воркуту отыскать его в управлении комбината и помочь добраться с багажом до поселка седьмой шахты. Багажа, однако, почти не было — один чемодан да еще чайник вне чемодана. Оказалось, что это офицер, уже около 10 лет прослуживший в армии. Разбогатеть в войну не удалось,

и он решил, будучи инженером по образованию, рвануть на Север, чтобы поправить свои финансовые и гардеробные дела. Решение оказалось правильным. В шахтах Воркуты тогда можно было хорошо заработать даже если ты рядовой шахтер, а уж если начальник, то тем более. За пачку махорки или булку хлеба каторжане могли выполнить за тебя норму, а тебе не обязательно для этого даже спуститься в шахту. Какую конкретно выгоду мог извлечь из каторжан и заключенных сам начальник шахты, я не знаю, но, судя по зарплате, которую шахтное начальство получало, она была значительной. И вот теперь судьба снова свела меня с ним в одном вагоне, и даже купе наши оказались по соседству.

Поскольку мы были немного знакомы, а других знакомых, равных ему по рангу, в вагоне не было, мы часто вместе выходили в тамбур покурить и, естественно, разговаривали о том о сем. Я рассказал, что до войны начинал работать учителем в школе, но сейчас не имею никаких документов об образовании и никакой путной специальности. Хотелось бы учиться, но для этого требуется кое-какое материальное обеспечение, у меня же его нет и рассчитывать не на кого. Дома в деревне почти полное разорение, да и лет мне уже немало. Садиться за школьную парту уже поздно. Услышав, что я еще и беспартийный, мой собеседник посоветовал освоить какую-либо профессию, не связанную с твердым окладом, оклады почти всегда невелики. Можно заняться, например, фотографией или каким-нибудь ремонтным делом. Сам же он источал довольство и оптимизм удачливого и процветающего человека. Было очевидно, что в отпуск он едет не с пустыми руками.

Приехали в Котлас. Поезд здесь стоит долго, около 35 минут. Мой попутчик попросил меня присмотреть за его вещами, так как сам он с женой собирается выйти на некоторое время. Вагон был плацкартный, и я встал у окна напротив их полки. Свои вещи мне охранять было не надо, так как мой чемодан, сколоченный из фанеры, скорее мог отпугнуть, нежели привлечь жуликов. Мои соседи взяли из своих вещей тяжелый рюкзак и вышли из вагона. Вагон скоро почти опустел. Зная о продолжительной стоянке, почти все пассажиры вышли на перрон. Но вот до отхода поезда остаются уже считанные минуты, все снова зашли в вагон, а моих попутчиков

все нет. Меня уже охватило беспокойство: что же я буду делать с этой кучей узлов и чемоданов, если они опоздают к поезду. И тут буквально за минуту до отправления вбегает запыхавшийся начальник, хватает два самых тяжелых чемодана и просит меня и еще одного мужчину помочь вынести остальные вещи. Жены не видно. Не могу понять, почему он решил сойти в Котласе, когда собирался остановиться только в Кирове, а потом ехать до Москвы. Его растерянность говорила о том, что случилось что-то неожиданное и неприятное, но спросить я не решился, да и некогда было, поезд вот-вот должен был тронуться. Когда последние узлы были сняты с вагона и поставлены на землю, поезд тронулся и проводница оттеснила нас от дверей. Ей надо было убрать подножку.

Через несколько месяцев после этого события, уже из своей деревни я написал письмо Любимову. До войны он тоже начинал работать учителем и так же, как и многие другие из нас, пытался вырваться из холодных объятий каторжного комбината «Воркута-уголь». В конце 1947 года ему дали отпуск и он поехал на свою родину в Курскую область. Там он увидел, как живут люди в деревне, и решил, что рыпаться ему пока не стоит, а лучше оставаться в Воркуте. В отпуске он женился, взял жену с собой в Воркуту и продолжил работать в отряде военизированной охраны, который охранял каторгу на седьмой шахте. В письме я, конечно, спросил Любимова, работает ли еще у них прежний начальник шахты, бывший мой попутчик, когда я возвращался из Воркуты домой. Любимов сообщил, что он работает и что ни в какой отпуск тогда не съездил, а вернулся из Котласа снова на свою шахту. Оказалось, что тогда они с женой решили немного разгрузить себя от лишнего багажа и где-то недалеко от вокзала попытались продать часть банок с мясными консервами. Продавала жена, а он оставался сторонним наблюдателем. Продажа шла, конечно, не по номиналу. Жену арестовали и судили тут же, в Котласе, буквально на второй или третий день после ареста. Приговор — пять лет исправительно-трудовых лагерей строгого режима. Впрочем, о режиме точно не знаю, так как Любимов об этом ничего не писал, но знаю, что лагерей с другим режимом тогда не было. Вот так и закончился долгожданный отпуск угольного начальника комбината Воркуты. В одночасье рухнуло все. После такого нелегко скле-

ить свою жизнь заново, она останется надломленной уже до конца. Любимов писал, что он начал много пить. О дальнейшей судьбе этого человека я больше ничего не знаю, но вполне возможно, что это было уже началом его морального падения.

Вообще пьянство в стране в послевоенные годы стремительно, даже лавинообразно нарастало и достигло своего апогея в 70-е годы во время правления Брежнева, который и сам был выпить не дурак. Это время теперь принято называть «застойным», но остряки называют его и «застольным», ибо юбилеи, банкеты и прочие торжества следовали одно за другим решительно во всех слоях общества. Пили на работе и дома, в школе и в институте, в больнице и на курорте, в колхозе и в министерстве. Пили везде, где можно и где нельзя. Кажется, что если бы любители выпить из всех стран объединились вместе, составив сборную мира, то в соревновании с нами эта сборная с треском проиграла бы.

Корни этого порока уходят в глубь десятилетий и закладывались еще в сталинские времена. Нередко, правда, утверждается, что пьянство — это национальный порок русских, что уже наши предки скифы были порядочными выпивохами и научили даже просвещенных греков пить неразбавленное вино. Все это может быть и так, но такого массового, почти тотального пьянства в России все же не было никогда. Оно расцвело как результат опустошенности и психического перенапряжения во время рассказывания, раскулачивания, репрессий, войн, а также как протест против лжи, вранья, несправедливости, двоедушия и лицемерия, царивших в обществе. Свою лепту внесло и почти полное отсутствие возможностей культурного и разумного проведения досуга для подавляющего большинства населения.

Не буду утверждать, что спекуляция дефицитом дело благое и полезное, но, во-первых, кто виноват, что у нас все время чего-то не хватает, и во-вторых, давать пять лет за несколько проданных банок тушенки — это уж слишком жестоко и свидетельствует лишь о полном пренебрежении к личности и человеческой жизни вообще. Только что победоносно закончилась война. Страна и народ понесли невообразимые потери, и теперь, когда в сверхстрогостях уже вроде бы нет большой необходимости, людей сажают тысячами и во многих случаях почти ни за что.

Глава 8

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Неласковая встреча

Домой я приехал перед пасхой. До нее оставалось, кажется, два-три дня. На второй день после приезда сидел дома один. Мать, в то время уже почти слепая, хлопотала на дворе, кормила кур. Приходит налоговый инспектор, молодой мужчина с орденскими планками на груди, и вручает мне извещение-квитанцию на сдачу полутора овечьих шкур. Я осведомился, почему полторы, ведь овечка-то одна. Орденоносец объяснил, что овечки рожают иногда одного ягненка, а иногда двух, поэтому в среднем надо сдавать полторы шкуры. Для этого рекомендуется объединиться с каким-нибудь другим двором и на двоих сдать три шкурки, а уж потом как-нибудь рассчитаться между собой.

Это была первая, но не последняя встреча с уполномоченными по сбору натурального оброка. Через день-два приходит женщина с большим мужским портфелем. Поздоровались, она села на лавку и пожаловалась, что вот уже обежала полдеревни, но мало кого застала дома, придется еще не раз бежать, прежде чем закончит. Я спросил, что она хочет закончить и почему бежит по деревне из конца в конец. «Да вот квитанции на сдачу яиц. С каждого двора полагается собрать по сто яиц, из них половину к первому мая. Если кур нет, то сдавать все равно надо — купи или выменяй, а с государством рассчитайся», — ответила она. Было видно, что «яичная инспекторша» понимает, что большой радости от ее визита никто не испытывает, но деваться-то некуда, работа есть работа. Вручив нам извещение, она удалилась. Не помню, каким был в ту пору денежный налог, но знаю, что платить его было трудно даже для жителей наших районов, непосредственно не затронутых войной,

а уж для бывших оккупированных районов все эти поборы были просто губительны.

Когда-то во времена Петра I князь Яков Долгорукий на глазах царя разорвал указ о повинностях, наложенных Петром на разоренные войной губернии, а Петр ведь умел брить не только бороды, но и шеи. Переचा ему, можно было запросто угодить на плаху, но князь не побоялся, а царь, вначале вспыхнув, одумался и повинности отменил. В наше время министр финансов Зверев, как утверждали, тоже нашел мужество возразить Сталину в споре о доходах колхозников в послевоенные годы, когда тот хотел обложить их дополнительным налогом. Налог тогда не повысили, а даже снизили на одну треть. Редкий случай, когда Сталину пришлось уступить, а Звереву избежать тюрьмы или лагеря.

Торжество по случаю моего возвращения было скромным, но все-таки было. Стол не ломился от яств, но выпить было что, ведь рядом работал спиртозавод и в магазинах его продукции было навалом. Но вот отшумело застолье, поутихли восторги, истинные или мнимые, по поводу возвращения в родные пенаты еще одного, уже дважды похороненного и подзабытого многими солдата, и надо было подумать «о светлом будущем», надо было как-то адаптироваться к жизни. На дворе весна, самый разгар работы в огороде. Колхоз тогда не помогал в обработке приусадебных участков, надо было все копать вручную. Огород у нас был большим, около 22 соток, но я вскопал его весь за несколько дней. Вскоре посадили картошку и кое-какие овощи. Теперь можно было надеяться, что «прожиточный минимум» мы себе обеспечили при условии, что будет удовлетворительный урожай. На оплату трудодней в колхозе не рассчитывали, так как за них давали граммов по двести каких-то отходов, а денег — ни копейки.

Иногда по вечерам я уходил в Каргаполье. Познакомился там с некоторыми учителями и встретил кое-кого из бывших своих соучеников и знакомых, уцелевших на войне. Иногда в клубе сражались в шахматы, но чаще на спортплощадке возле клуба играли в волейбол или пили пиво, когда оно было. Но это случалось не часто, так как нужны были деньги, да и завозили его очень редко. Однажды в читальном зале библиотеки я встретил Владимира Ивановича

Кубасова — завуча Скоробогатовской школы в предвоенные годы. В 1938/39 учебном году, когда я там работал, у него уже было неважное здоровье, но войну он благополучно пережил и теперь опять работал в той же школе, только уже не завучем, а директором.

Он очень обрадовался встрече, сказал, что не чаял встретить меня живым и здоровым, а когда я рассказал, что только недавно вернулся из Воркуты и еще нигде не работаю, и вовсе был в восторге. Он сразу же предложил мне работу в своей школе и обещал даже оформить немедленно, несмотря на конец учебного года и предстоящие каникулы. «В школе работа найдется и летом, будешь помогать завхозу в подготовке школы к зиме», — сказал он. Меня это, в принципе, устраивало, так как огородные работы дома были в основном закончены, делать больше было нечего, а жить на что-то надо.

РОНО был в десяти шагах от библиотеки, в которой произошел этот разговор, и Кубасов попросил меня зайти туда немедленно, сегодня же, сказав: «Я бы и сам тебя туда проводил, но за мной сейчас пойдет попутная машина райисполкомовская, а у меня зарплата на всех, упустить машину я не могу». Я пообещал, что зайду сегодня же. Заведующим районо был тогда Вагин — высокий и вальяжный дубина, носивший галифе, толстовку и партийную фуражку, как все районное партийно-советское руководство. Зайти я решил часа в четыре, к концу рабочего дня. В это время посетителей будет меньше, а разговор может оказаться не минутным.

Около четырех пошел. В библиотеке меня остался ждать Костя Жилин, один из немногих моих соучеников по Вороновской ШКМ, переживший войну. Он был чуть старше меня. Друзьями тогда в школе мы не были, но были хорошо знакомы. Теперь, когда вакуум ощущался на каждом шагу, когда почти никого из наших прежних друзей не осталось, мы сблизились на основе шахмат и воспоминаний об общих знакомых, учителях, работах и девчонках. Костя был дважды серьезно ранен, имел звание капитана и тоже только недавно вернулся в Каргаполье. Работать он еще не начал, но предложения ему уже были. До войны он, как и я, начинал работать учителем и теперь ему предлагают работу в райкоме или директором одной из школ района. В ближайшие дни ему надо было решить, на чем остановиться.

В районо я пришел ровно в четыре. Посетителей никого. Вагин диктует что-то секретарше. Подождал, диктовка скоро кончилась и секретарша осталась одна. Спрашиваю разрешение пройти к заву и сразу его получаю. Прохожу, здороваюсь, представляюсь, говорю, что до армии работал один год в Скоробогатовской школе-семи-летке и встретил сегодня директора этой школы Кубасова, который предложил мне просить назначение в его школу. Выслушав, ответственный дубина, представлявший советскую власть в просвещении района, изрек, что все вакансии у него заполнены, свободных мест нет и что «учителя нам не требуются». Вопросов я больше не задавал и утверждений не оспаривал. Тут все было ясно. Скромно заметил только, что два часа тому назад, по крайней мере в одной школе, работать было почти некому, а теперь уже все расхватали. Вернулся в библиотеку. Там меня еще ждал Костя Жилин. Рассказал о результатах визита, и тот сказал: «Ну и скотина».

Понятно, что дело тут не только в этом солдафонистом сов-партработнике. На календаре — 1948 год. Генералиссимус в это время свихнулся уже почти окончательно. Нарождающуюся кибернетику он назвал буржуазной контрреволюционной наукой управления, которой нет места в социалистическом раю, а холуи от идеологии и пропаганды называли кибернетику продажной девкой империализма. Лысенко под эгидой своего параноидального вождя расправлялся со своими противниками в биологии. В это же время повторно начали бросать в лагеря бывших военнопленных. На этот раз уже окончательно, на всю жизнь. Всем давали по 20—25 лет. Эшелоны с людьми, жившими какое-то время в оккупированных районах, двигались в Сибирь и на Север. Началась бессмысленная и глупая кампания за приоритеты. Папиросы «Норд» переименовали в «Север», французская булка стала называться московской, лампочку изобрел не Эдисон, а Яблочков, братьев Райт опередил Можайский, а Уайта обскакал Ползунов, открытие закона сохранения массы стало приписываться исключительно Ломоносову. В Ленинграде исчезла улица Эдисона, началась борьба с космополитизмом, была «разоблачена» антипартийная группа театральных критиков и литературоведов. Вот каким был 1948 год!

Дело принимало явно нехороший оборот. Стало ясно, что учительская работа в районе мне не светит никакая и другая, видимо,

тоже. Оставалась, правда, дорога в колхоз. Сюда меня даже приглашали, но я уже понимал в то время, что вступить в колхоз просто, а выйти — не очень. Паспортов у колхозников нет, а без справки от колхоза людей нигде не имели права принять. Новая крепостная зависимость, еще похуже той, что существовала до 1861 года.

Для начала устроился в сельсовет выписывать налоговые извещения колхозникам. Плата ничтожная, но хоть что-то. Тем временем написал в Серовский район, где работал до призыва в армию, с августа 1939 по январь 1940 года. Оттуда пришел ответ — приезжайте. Так я оказался в Серове. В районо меня встретила Иптышева, она же за девять лет до этого увольняла меня в связи с уходом в армию. Встретили хорошо. В отличие от Вагина, звериная бдительность здесь отсутствовала начисто, ни о каких документах, насколько помню, меня не спрашивали, да и не было у меня ничего, кроме справки об увольнении из Воркуты.

И вот 16 августа 1948 года я получил назначение в семилетнюю школу в качестве учителя химии и биологии. Школа была небольшая, и мне поручили еще вести и немецкий язык. Учебных часов было достаточно, зарплата по тому времени вполне приличная. Было много свободного времени, и я не терял его даром. Поскольку я вернулся в школу после десятилетнего перерыва, приходилось читать специальную педагогическую литературу. Я старался быть в курсе современных событий, много читал и художественной литературы: Тургенева, Толстого, Горького, Шекспира, Гете, Гейне, Чехова и других классиков, произведения современной советской литературы, которые выходили из печати. В дальнейшем это помогло мне сдать экстерном экзамены за десятый класс и поступить в институт иностранных языков, который я закончил в 1954 году.

Серов, деревня Филькино*

Филькинский период в воспоминаниях Якова почему-то отсутствует. Неизвестно, по какой причине получился разрыв в два года: то ли об этом времени он не писал, то ли записи потерялись. Поэтому

* Раздел написан женой, Татьяной Сергеевной Сосновских. – Ред.

му я, его жена и мать двоих сыновей, постараюсь как-то восполнить этот пробел и написать о том времени, как оно мне запомнилось.

Начну с того, что он, испытавший на себе все ужасы войны и плена, ни в чем не виноватый перед Родиной, вернулся домой и хочет работать. И здесь, в родном краю, где он родился, учился и где прошла его юность, его встретили с недоверием, почти как врага народа, которому не место в школе (к сожалению, такое повторится и в дальнейшем). Еще раз обращаться с просьбами и искать какого-либо покровительства было не в его правилах. Прожив в своей деревне на положении изгоя несколько месяцев, он решил написать в Серовский районо Свердловской области, где работал еще до войны.

В это время я работала в том районо в качестве инспектора и по совместительству вела несколько часов в семилетке деревни Филькино, что в десяти километрах от города Серова. В районо его письмо получили. Заведующая районо поручила мне написать ответ, пригласить на работу и заверить, что часами он будет обеспечен.

В августе 1948 года Яков появился в Серовском районо и получил назначение в Филькинскую семилетнюю школу в качестве учителя химии и биологии. Здесь и началось наше знакомство. В тот же день я представила его тогдашнему директору школы Татьяне Дмитриевне Пермяковой прямо у нее на квартире, так как школа была уже закрыта. Так, в школу, где незамужние учительницы составляли большинство, пришел новый учитель, симпатичный и весьма эрудированный молодой человек.

Работалось ему, я думаю, у нас неплохо: классы по количеству учеников небольшие, учебных часов хватало, зарплата по тому времени вполне приличная. Оставалось и свободное время, в которое он много читал классической и современной литературы. Я в июле 1948 года закончила Свердловский пединститут и тоже читала все современные произведения. Мы часто обменивались мнениями о прочитанном, разговаривали обо всем, он много рассказывал мне о пережитом в годы войны и после нее (Яков доверял мне, тогда ведь было много стукачей). Это сближало нас, мы стали чаще встречаться и полюбили друг друга. Понемногу его душа, как он сам говорил, замороженная в снегах Воркуты, стала оттаивать.

Потом наша любовь выдержала испытание вынужденной трехлетней разлукой (в июле 1950 года его направили в Свердловск на курсы повышения квалификации). Расставание было грустным и нелегким. Перспектива была туманная, потому что все эти годы, вплоть до 1956-го, ему приходилось существовать с туго затянутой петлей на шее, которая только после так называемой реабилитации была немного ослаблена. Мы продолжали поддерживать отношения перепиской и три-четыре раза в год встречались, приезжая друг к другу. О дальнейшем он рассказывает сам в следующих главах. Меня же тогда назначили завучем Филькинской школы, где я и проработала до конца учебного 1953 года.

Переезд в Свердловск

25 июля 1950 года меня направили в Свердловск на курсы повышения квалификации. Здесь я познакомился с руководителем курсов Оскаром Семеновичем Альстером. Он-то потом и порекомендовал облоно перевести меня на работу в Свердловск, мотивируя необходимостью обеспечения города знающими язык учителями иностранного языка. Так, 16 августа 1950 года я был освобожден от работы в Филькинской семилетней школе и направлен в распоряжение Свердловского облоно, а 21 августа 1950 года осчастливил своим прибытием Свердловск, где и проработал в школах Эльмаша (тогда он назывался Куйбышевским районом) до пенсии.

Поезд опоздал на два часа. В районо уже никого не было. Ночевать пошел к Василию Александровичу*, а у него в гостях оказался Козлов — директор Полевского криолитного завода, старый друг его и сотрудник еще с довоенных времен. Закупили десятка полтора бутылок пива и провели вечер обсуждая различные проблемы. В то время на политическом небосклоне страны всходила новая звезда — Гришин. Козлов хорошо знал его и в нашей беседе дал ему просто уничтожающую характеристику, назвав безмозглым манекеном и приспособленцем, который вылез благодаря

* Видимо, знакомый по филькинскому периоду, по которому воспоминания не сохранились. — Ред.

своей внешней представительности и умению хорошо держаться при встрече с иностранными делегациями. Но прошло, однако, более тридцати лет, прежде чем там, в верхах, поняли то, что давно знал директор провинциального завода. Горбачев отправил Гришина на пенсию, но Москва, где он много лет подвизался в качестве партийного губернатора, в это время была уже до предела запущена, деморализована, а значительная часть кадров выродилась, загнила и коррупционировалась.

Послушав рассказ о моем прошлом и о не слишком радостных перспективах на ближайшее будущее, Козлов посоветовал мне бросить все и пойти заведовать пивным ларьком где-то тут, почти в центре города, на улице Хохрякова. При этом сказал: «Для этого надо дать взятку в семь тысяч рублей. Мы тебе эти деньги дадим, а потом ты через год-два вернешь их нам». Василий Александрович эту идею поддержал, но я знал, что мои коммерческие способности близки к нулю и не спешил соглашаться. Я решил сначала посмотреть заведение, хорошенько подумать и уже только потом дать окончательный ответ. Спешить было некуда. Назначения такого рода и таким способом практиковались достаточно широко, и пойти на это можно было в любое время при наличии определенных рекомендаций и поддержки. Пивных ларьков и разных забегаловок уже тогда в городе было много.

На следующий день я вернулся на Эльмаш, пришел в районо и впервые встретился там с Ксенией Александровной Бабуриной — штатной матерью учителей и учительниц района. Обо мне она уже знала по звонку из горono. Предварительно позвонив, она направила меня в школу № 66. Там нашли маленькую клетушку площадью около 4,5 метров, в которую меня и поселили. Рядом со школой стоял деревянный домик деревенского типа без всяких удобств и уже покосившийся по всем направлениям. В нем жило несколько семей учителей, некоторых из них я и теперь еще изредка встречаю на улицах городка, но фамилии их не помню, кроме Марии Нестеровны Олховской, которая жила тогда тут же.

Одна из учительниц дала мне железную койку, но предупредила, что дает только на время. К ней должна приехать мать, и тогда

койка понадобится. Так и случилось, через месяц-два койку забрали, но поначалу она меня хорошо выручила. Из школы притащили стол, который как раз оказался по габаритам комнаты. Будь он на сантиметр длиннее, пришлось бы отпиливать. Купил плитку за 38 рублей, чайник за 21 рубль, два стакана по 86 копеек и матрас за 127 рублей. Теперь уже хоть как-то можно существовать. Столовой поблизости нет. Обедаю в ресторане «Отдых», а иногда хожу на Уралмаш в «Север». Судя по дневниковым записям первый обед в ресторане «Север» с одной бутылкой московского пива стоил 8 рублей 30 копеек. По нынешнему 83 копейки, вроде бы недорого, но тогда казалось, что за один обед это слишком высокая цена. С таким размахом ежедневно обедать я, конечно, не мог, а только иногда, по случаю.

В сентябре, 24 числа, проходила районная конференция учителей Куйбышевского района (Эльмаш) в коридоре 67-й школы. Присутствовали 175 человек, это почти все учителя района. Это собрание не произвело на меня особого впечатления. Помню, что после доклада Бабуриной выступали в прениях пожилые учительницы Серокурова и Цикина, и я подумал, что наши серовские ораторы вполне сошли бы здесь за ораторов «на уровне». Затем выступала учительница истории Жернакова, тоже уже сильно «в годах». Ее выступление настолько густо было замешано на высоких лозунгах и материях, что у многих вызывало ироническую улыбку. Гениальный труд товарища Сталина о языкознании, критика Марра, партия, патриотизм, преданность и прочее — так и били нам по теме-ни в течение многих минут. Слева от меня сидела элегантно одетая и красивая молодая женщина. Она читала какие-то стихи в газете «Уральский рабочий». Когда Жернакова закончила и раздались жиденькие аплодисменты, она сказала: «Слава Богу!» Это была Анна Берман. Потом еще было выступление молодой маленькой учительницы, больше похожей на ученицу. Говорила она бойко и шустро, из-за трибуны была еле видна. Содержание ее речи не помню, но часто, как заклинание, слышалось: «комсомол, комсомол». Я подумал, что это будущий, может быть уже и настоящий, ортодоксальный комсомольский деятель, который потом перебросится на партию. Но прогноз не оправдался. Она как-то скоро перегоре-

ла, ушла из школы в техникум, а потом, когда прошли годы, вышла на выслугу, не доработав даже до пенсии.

На следующий день я пришел в школу. Это была школа № 108, временно располагавшаяся в здании 66-й школы. Знакомился с учителями и писал списки 5-го «Д» класса, в который меня определили классным руководителем. Директором была Евдокия Варламовна Константинова, а завуч, помнится, еще не был назначен. Впервые встретил здесь Валентина Андреевича Энера, Юрия Ивановича Бай-Бородина и Шибкова. Других мужчин, кроме директора Александра Ивановича Курбатова, ни в той, ни в другой школе не было. Во второй половине дня проходила тарификация. Мне определили ставку в 765 рублей как не имеющему законченного высшего образования. Недельную нагрузку определили в 21 час, потом она возросла до 35 часов за счет уроков немецкого языка в третьих и четвертых классах.

Совещание методической секции учителей немецкого языка проходило 29 августа. Тут я впервые встретил всех «немецких языков» города. Руководил совещанием Оскар Семенович Альстер. В то время он заведовал методическим кабинетом немецкого языка в областном институте усовершенствования учителей, в юридическом институте и еще где-то. Крутился как Фигаро, но и денег имел много. По его словам, зарабатывал он тогда около семи тысяч рублей в месяц — сумма для меня в те годы совершенно непостижимая. Однако жить ему приходилось в общежитии облоно в комнате площадью 15—16 квадратных метров на двоих, причем никаких шансов на улучшение жилищных условий у него не было, так как кооперативы тогда еще не появились.

Тут же, в общежитии, жил Пилиповский — корреспондент «Учительской газеты» по Свердловской области, один из ближайших в то время друзей Альстера. Это был человек физически невзрачный, почти ущербно малого роста, ноги кривые, уши непропорционально большие, но интеллект могучий, по крайней мере по моим тогдашним представлениям. Все трое мы в то время изредка встречались у Альстера за шахматами и при этом всегда немного выпивали. Оскар Семенович наливал себе сразу полный стакан, выпивал залпом и больше уже не брал в рот. В то время только нача-

ла появляться «Столичная». Запросто купить ее было еще трудно, но Альстер где-то доставал. У него я с ней впервые и познакомился. Пилиповский пил нормально, когда дома не было жены, и почти полностью воздерживался, когда она была дома.

Учебный 1950/51 год

Первого сентября начались занятия, и мой педагогический дебют в Свердловске оказался трудным и малоудачным. Классы переполнены, по 45—46 человек. На весь класс обычно не больше пяти учебников и только в одном, помнится, было восемь. Даже с нормальными детьми в таких условиях работать было бы невозможно, а тут в каждом классе до десяти и более кретин, которым немецкий язык был до фонаря. Дисциплина ужасная почти на всех уроках.

Юрий Иванович Бай-Бородин преподавал историю. Он предложил нам, мужчинам, заводить по одному из самых больших пакостников в туалет и давать там взбучку без свидетелей. Так и сделали, повторив эту операцию несколько раз. Метод позволил унять некоторых, но общая картина изменилась мало. Работать по-прежнему было трудно.

Третьи и четвертые классы занимались в здании, где сейчас находится бухгалтерия района. Тогда оно стояло особняком и вокруг него не было ничего. От школы № 66 к нему ходили напрямик. Занятия проходили в три смены. Поздней осенью и зимой в третью смену заниматься приходилось уже при электрическом свете. Иногда, а это было не один раз, придешь, а учительницы чуть не плачут. В классах перебиты все лампочки. Тьма почти египетская. Окна открыты настежь, гвалт невообразимый, одни выпрыгивают в окно, другие в него залазят.

Завучем над этими классами была немолодая уже женщина с довольно твердым характером. Ученики ее боялись и как-то еще слушались. В ее присутствии таких сцен обычно не случалось. Учителя, все молодые женщины — Слободчикова, Завильская и другие, на уроках еще как-то могли поддерживать порядок, но во время перемены теряли контроль и не могли предотвратить погромы. За счет вот этих классов у меня и повысилась нагрузка с 21 до 35 часов

в неделю, но шел я на эти уроки как на Голгофу и большой радости от прибавки не испытывал. Учителя обычно не очень любят, когда администрация или кто-нибудь из посторонних идет к ним на урок, но я в ту пору молил Бога, чтобы он послал ко мне на урок если уж не директора, то хотя бы учительницу, ведущую класс. Когда нас двое, то все-таки легче.

На исходе октября. Живу и работаю в Свердловске уже более двух месяцев, а прописки нет и в школе не прописывают. Ясно, что самому мне не прописаться, нужна чья-то помощь или заступничество, но никакой такой «крыши» здесь у меня нет. В одно из воскресений поехал на Хохрякова посмотреть со стороны на тот пивной бар, которым мог бы заведовать, если бы захотел и если бы мне дали кредит в семь тысяч рублей.

Приехал в середине дня. Обыкновенный деревянный дом деревенского типа, вросший в землю так, что окна его находятся почти на уровне земли. Людей тьма. Много пьяных, некоторые распластались в самом баре, другие на улице, хотя там уже не очень тепло. Работают три женщины, все в халатах неопределенного цвета и сомнительной чистоты. Шум, мат, дым, как и всюду, где пьют. Решил, что это не для меня, что это не лучше, чем уроки немецкого языка в третьих и четвертых классах. Побыл там час, сам выпил кружку пива и отбыл обратно, сказав себе, что на такое можно пойти разве что уж в самом крайнем случае, когда беда и невезение обложат со всех сторон и деваться будет совсем некуда.

Но вот сейчас я, кажется, близок к этому. С утра 10 октября не было уроков. Просидел в милиции до двух часов и не прописался. Очередь огромная, движется медленно, но дождался. Сказали: «В школе прописать не можем, ищите жилплощадь». А где ее искать, если все бараки заселены трудящимися почти так же густо, как и клопами. Пошел к Бабуриной, ее влияние в районе было достаточно велико, чтобы решить вопрос с пропиской, если захочет. А если нет, то, может, это и к лучшему, хотя никакой альтернативы у меня тогда не было, кроме призрачного заведования пивным ларьком. Отношения с шахиней от просвещения в ту пору были еще нормальными или, лучше сказать, не было никаких отношений, ни плохих, ни хороших, и я надеялся, что заботу о прописке она возьмет на себя.

Пришел в районо, там очередь к Бабуриной. Две пожилые учительницы пришли устраиваться на работу, они переводятся из другого района города. Попов, историк из школы № 99, привез жену из Кировской области и привел ее тоже определить куда-нибудь в школу. У него все было просто: инвалид войны, без ноги, кроме того приходится каким-то близким родственником секретарю райкома. Едва успел он привезти жену, как сразу получил двухкомнатную квартиру. Никто из нас, начинающих тогда работу в районе, о такой квартире не мог даже и мечтать. Правда, работа в школе у него тоже была трудная. Дисциплиной он не владел совершенно и скоро с помощью своего высокопартийного родственника уволился из школы и определился в каком-то институте читать историю партии. Ни большой эрудиции, ни широты интересов в нем я не замечал, но в институте он, однако, адаптировался, работал там долго и только в 60-е годы я потерял его из виду.

Но вот очередь дошла и до меня. Захожу, здороваюсь и объясняю цель своего визита. Бабурина снимает трубку и звонит то ли начальнику милиции, то ли в паспортный стол. После некоторого препирательства там пообещали прописать на полгода. Значит, на шесть месяцев мне будет обеспечен покой и снята угроза санкций за нарушение паспортного режима. Спасибо и на том, а дальше, может, виднее будет, что надо делать.

А дни между тем идут, 11 декабря 1950 года школа переехала в новое здание и получила номер 108. В учительской холодно и тесно. Контингент учащихся собран из нескольких школ района, а давали нам, конечно, не самых лучших. Работать все так же трудно, как и до переезда. В школе несколько уроков ведет Бабурина. Это не означает, конечно, что она приходит на уроки и работает как все. Нет, она просто пишет на бумажке задание для класса и передает его Бай-Бородину, а тот перед началом урока записывает его на доске. Ученики-пятиклассники должны работать самостоятельно. Но если и в нашем присутствии многие из них ничего не делают, то что же можно было ожидать от «самостоятельной» работы? Конечно, они просто носились по школе, заглядывали в классы и мешали работать другим. Все это видели, все знали, но молчали и делали вид, что это нормально и естественно, так как Ксения Александровна человек

очень занятой и ее часто куда-то вызывают. Иногда, впрочем, она забегала в школу, проводила один-два урока, давала «ценные указания» и снова исчезала.

Запись в моем дневнике за 16 декабря 1950 года повествует о взбучке, которую мы с Николаем Ивановичем Люлюковым получили от Бабуриной. Была перемена. В коридоре школы свалка, шум, визг и топот. Мы стояли у окна и о чем-то разговаривали. Откуда-то появилась Бабурина и подняла крик, заглушающий стоголосый коридорный содом. Я понял только, что оба мы ничего не делаем и что скоро вся эта орава «сядет нам на шею». Мы переглянулись и пошли наводить порядок.

Люлюков преподавал рисование и черчение. Он закончил художественное училище в Свердловске и хорошо рисовал. Но работа в классах у него тоже шла очень трудно. У многих учеников просто не было ничего, чем можно было бы чертить и рисовать, и они, естественно, пытались проявить себя в чем-то другом. В то время Люлюков еще не был женат и жил в бараке на Третьем километре. Мы иногда встречались с ним за столом у него дома или где-нибудь в другом месте.

Закончились зимние каникулы, 11 января — первый день занятий во втором полугодии 1950/51 учебного года. Во всех классах уроки прошли относительно нормально, за исключением 5-го «А» класса. Здесь запели на уроке «По долинам и по взгорьям». Запевалу я заметил. Это был некий Кульчицкий, один из кретинот от генетики. Подошел к нему разъяренный, резко двинул ладонью по лицу, взял за шиворот, поставил на ноги, двинул еще раз и вышвырнул из класса. После этого до конца урока была мертвая тишина. В перемену рассказал об этом классному руководителю Л. Ф. Демехиной и Бай-Бородину. Думал, последуют какие-либо эксцессы со стороны родителей или администрации, но ничего. На этот раз все обошлось, а от учителей, работающих в этом классе, я встретил понимание и молчаливое одобрение.

На второй день после этого унтерпришибеевского приема в педагогике кого-то стукнул на уроке Бай-Бородин. Тут вмешались родители, угрожали жалобой в партийные инстанции, и дело получило скандальный оборот. После этого я дал себе зарок не ввязываться в подобные истории, что бы ни происходило на уроке.

Но как ни трудно и плохо идет жизнь, а дни бегут, из них складываются недели и месяцы, а там, смотришь, уже и году конец. Отпуск получил в самом начале июня. Из деревни пишут, что в магазинах нет сахара и вообще ничего нет. Мать, почти полностью слепая, совсем обносилась, не из чего сшить юбку. Закупил килограммов десять сахарного песка, кое-что еще и двинул в деревню. Так и закончился мой первый год работы в Свердловске. Мало помню, как прошел отпуск в деревне. Знаю только, что часто ходил в лес, сначала просто так, а потом за ягодами — вишней, смородиной, земляникой. Обошел все поля, которые были «нашими» в доколхозную пору, и все колки, в которых по осени мы пасли скот, а весной искали и нередко разоряли птичьи гнезда.

Около Стрелкового озера работал на тракторе Попов Сашка. У него были сплетены из прутьев несколько нехитрых приспособлений для ловли рыбы. Одно из них он дал мне. Внутри я клал размельченный жмых и оставлял плетенку в озере на несколько часов. Рыболовецкий опыт и умения у меня были весьма ограниченными, и чаще всего я вытаскивал плетенку пустой. Караси, словно заговоренные, никак не хотели в нее заходить, но иногда на них нападал такой жор, что жмыха не оставалось и следа, а в плетенке, или попрошайке, как мы ее еще называли, плескалось множество карасей. Лето 1951 года в деревне большим изобилием не отличалось. Кроме картошки и хлеба не было почти ничего, поэтому добытые мною караси, ягоды и грибы были хорошим подспорьем к столу.

Учебный 1951/52 год

Отпуск закончился 2 августа. Я вернулся в Свердловск и только вышел на работу, как уже на второй день меня вызвали в районо и предложили часы по биологии и химии. Работавшая ранее Л. Д. Глухова то ли уже уехала, то ли собиралась уехать в Ленинград. Химик она была весьма посредственный, некоторые ученики и их родители были не очень довольны, и Бабурина, зная, что я ранее вел химию и биологию, решила эти часы отдать мне. Тут же предложили мне и комнату с печным отоплением в коммунальной квартире. Ранее эта комната принадлежала Глафире Ивановне Ива-

новой. Сейчас ей дают что-то другое, вероятно лучшее, а меня хотят всунуть в ее комнату. Попросил день на размышление. Узнал, что комната холодная, дров надо много, а соседство неприятное, и на следующий день отказался.

Через пару дней в школе мне сообщили, что биологию у меня забирают, остается немецкий язык и химия, но это тоже порядочная нагрузка, что-то около 35 часов, так что изъятие биологии большого огорчения у меня не вызвало. В эти же дни Николай Иванович Люлюков, Мария Прохоровна Мисник и еще незнакомый мне еврей, только что приехавший в Свердловск с женой и почти взрослой дочерью, получили квартиру на троих. Каждому по комнате. В отношении Люлюкова и Мисник планы у Бабуриной были вполне определенные — поженить их, а у вновь прибывшего еврея, как говорили, есть тут какие-то высокие покровители, и поэтому он получает комнату в обход всякой очереди. Впрочем, очередь тогда едва ли была, разве что формально, а на деле в распределении жилья господствовал полный произвол.

Впоследствии все так и получилось: Люлюков и Мисник поженились и стали обладателями двух комнат, а в третьей, самой большой, обитала эта семья, фамилию которой я сейчас не могу вспомнить. Сам глава семейства какое-то время преподавал математику, и жена его тоже работала некоторое время в школе. Но уже месяца через два из школы ушел на какую-то другую работу сначала муж, а потом, промучившись до конца года, и жена. Она совсем не могла держать дисциплину. Таким образом, комната, выделенная для учителей, оказалась для них, по сути, потерянной.

Я продолжаю жить все в том же закутке, в котором меня поселили в 1950 году. Работать стало вроде бы легче. Бывшие пятые классы, в которых я вел немецкий язык, теперь стали шестыми, чуть повзрослели, да и знал я их уже лучше. Так что большая часть уроков проходила относительно нормально.

Завучем в нашей 108-й школе была тогда Нина Фоминична Гнипп. Звездой первой величины в педагогике она, как и все мы, не была, но, безусловно, была порядочным человеком. Ко мне, как очевидно и к другим, по долгу службы она иногда приходила на уроки и большей частью была довольна ими. Ни окриков, ни ментор-

ских поучений мы от нее не слышали, и уже одно только это давало нам моральное право считать ее на посту завуча персоной вполне уместной. Директором, как я уже упоминал ранее, была Евдокия Варламовна Харламова (или Константинова), человек, как мне тогда казалось, близкий к Бабуриной и пользовавшийся в районе некоторым влиянием. В самом начале она производила на меня вполне благоприятное впечатление. Внешне отношения со всеми были нормальные, и любой из нас запросто заходил к ней в кабинет, даже когда большой необходимости в этом и не было. Позднее мне, однако, придется убедиться, что человек этот при определенных условиях может оказаться небезопасным и может нанести удар в спину, если ей или кому-то из вышестоящих это окажется выгодным. Но об этом мне еще придется говорить далее.

В конце ноября неожиданно вернулась из Ленинграда Глухова. Оказалось, что ленинградский климат для нее не подходящий. Бабурина снова направила ее в нашу школу, и у меня забрали химию. Теперь у меня осталось 26 часов, и это уже меньше того, что я хотел бы. Поскольку я один, без семьи и без квартиры, относительно здоров и пока еще молод, работать можно было бы и больше, чем 26 часов в неделю. И не потому, что такая уж у меня потребность, а потому, что надо было зарабатывать — ведь у меня все еще решительно ничего нет, да и своим в деревне надо хоть чуточку помочь. Нищета и разорение там такие же ужасающие.

Накануне нового 1952 года я провел ревизию всем своим прежним намерениям и планам и выбрал линию поведения, которой и решил неукоснительно следовать. Положение мое в то время выглядело малоперспективным. До меня то и дело доходили сведения о вторичном аресте бывших военнопленных. Надежды на получение сколько-нибудь сносного жилья не было никакой. В этих условиях казалось разумным бросить все и снова искать себе место, «где оскорбленному есть чувству уголок». В смысле обретения жилья эта перемена ничего не даст, но, может быть, отсрочит арест, так как на новом месте я был бы, возможно, последним в очереди на получение топчана в лагерном бараке.

Все обдумав и взвесив, я решил, однако, что от судьбы не уйдешь и надо попытаться улучшить свое положение здесь, насколько

ко это возможно. Вспомнил, что приговоренный к смерти Фрунзе, сидя в камере смертников, изучал иностранные языки. Мое же положение хоть и плохое, но все-таки менее безнадежное, ведь к смерти меня пока еще никто не приговорил. Словом, программа моя, судя по дневниковым записям, сводилась к немудреной истине: меньше и реже пить.

Нельзя сказать, что мы тогда часто пили, но когда это случалось, набирались частенько до полного лыконевязания. Чаще всего наши симпозиумы происходили в ресторане «Отдых». Участие в них принимали В. А. Энер, Ю. И. Бай-Бородин, А. Г. Янкин и другие. Водка тогда стоила еще недорого и даже за коньяк, помнится, мы платили шесть тогдашних рублей за 100 грамм. Около нынешней трамвайной остановки «Заря» был тогда пивной ларек с поэтическим названием «Голубой Дунай» и в нем продавалось не только пиво. Скорее, даже наоборот, пива часто не было, а вино, водка и коньяк были всегда. Так что кроме «Отдыха» у нас был еще один «центр», где можно было выпить или даже набраться до полной невесомости.

Лично у меня особого пристрастия к вину или водке тогда не было, но и не поддержать компанию, отказаться, когда пьют другие, я обычно тоже не мог, а уж когдахватишь немного, то дальше все идет уже почти независимо от твоей воли. На следующий день пытаешься вспомнить, как все было, но, оказывается, многое из того, что говорил и что делал, не помнишь, и тут начинаешь презирать и ненавидеть себя. Поэтому я и записал тогда в канун 1952 года — «меньше и реже пить». Зарок этот я в значительной степени выполнил, так как никогда больше не пил у ларька или у винной стойки в магазине.

Другим моим обязательством на Новый год было сдать экстерном экзамены в областной заочной школе и получить аттестат, чтобы поступить в педагогический институт. Документов об образовании в то время у меня не было решительно никаких, кроме справки нотариуса, выданной на основании свидетельских показаний, об окончании Челябинского учительского института. Оформляя я эту справку в Шадринске, так как именно там оказался один из моих соучеников, а другого с большим трудом удалось отыскать в соседнем районе. Оба они подтвердили, что учились со мной в одной группе в Челябинском

учительском институте в 1937—1939 годах. Архив в институте не сохранился, он был уничтожен пожаром во время войны, и получить какой-либо дубликат или справку было невозможно.

В числе других задач планировалось и обустройство семейных дел. Надо было перевезти Татьяну с ребенком сюда, в Свердловск, и юридически упорядочить отношения. Но крыши над головой не было и социальный статус мой был столь неопределенным, что говорить об этом можно было только теоретически.

С января моя рабочая нагрузка увеличилась на шесть часов за счет уроков немецкого языка в вечерней школе № 6. Это немного подняло мое настроение, тем более, что вести уроки в этих классах было легче, чем в своих. Здесь было много серьезных учеников, которые старательно занимались, работая на перспективу, зная, что им это потом пригодится при обучении в институте или техникуме. Тут у меня дела сразу пошли хорошо, и мое реноме как учителя было высоким.

Многие тексты учебника были посвящены истории и природе Германии, Рейну, стоящим на его берегах старинным замкам, а также великим немцам — Гете, Шиллеру, Гёйне и другим. Я всегда пытался максимально использовать познавательную ценность этих текстов, чтобы оживить и разнообразить урок. Мне пришлось даже слышать, что ученики на немецкий язык идут как на праздник. Это было, конечно, изрядным преувеличением, но фактом было то, что с уроков не сбегали, даже если они были последними в расписании. Эта маленькая удача — увеличение учебной нагрузки и небольшой успех в работе со взрослыми — вскоре был, однако, омрачен неприятным и опасным эпизодом.

На уроке в одном из шестых классов, в момент когда я поворачивался спиной к классу, в доску летели пульки из бумаги. После первых двух-трех обстрелов я без всякого раздражения предупредил, чтобы оставили эту игру, тем более, что до сих пор урок проходил в нормальной атмосфере. Несмотря на это обстрел доски продолжался всякий раз, как только я поворачивался лицом к доске. Пульки приклеивались к доске, я перестал их убирать, делая записи там, где их еще не было. Новых предупреждений я уже не делал и старался вести урок на прежней тональности. Хотя внешне я оставался спокойным, раздражение во мне все нарастало и достиг-

ло предела, когда одна из этих пулек попала мне в ухо. Меня словно ударило током, я быстро повернулся к классу и увидел, как один из учеников, некий Сячин, дернулся на парте и сразу покраснел. Подойдя ближе, на сидении парты я увидел трубочку, из которой велась стрельба. Внутри меня бушевала гормональная буря, меня трясло от гнева и возмущения, хотелось задушить негодяя, но сидел он так, что дотянуться до него с прохода было почти невозможно. Велел пакостнику выйти и, когда он подошел к столу, закатил ему резкую пощечину правой рукой и потом еще одну левой по другой щеке. Затем взял его за шкуру, оторвал от пола и резко двинул ногой по направлению к выходу. До дверей было метра три. Он пролетел это расстояние, открыл дверь своим туловищем и потом летел еще столько же по коридору.

Сам не знаю и долго не мог понять, откуда у меня взялась такая сила, известно ведь, что природа не наградила меня большим могуществом. Это был, видимо, «случай Сота», о котором я тогда, правда, еще ничего не знал. Много лет спустя в одном из журналов я прочитал об антропомаксимологии — науке о физических возможностях человека в экстремальных условиях. В статье рассказывалось, как во время пожара пожилая женщина вынесла шкаф, который потом заносили трое взрослых мужчин; мать подняла легковой автомобиль, под который попал ее ребенок; летчик запрыгнул на крыло самолета высотой два метра, когда неожиданно рядом с собой увидел медведя, и так далее. Вот что-то похожее было в данном случае и со мной. Все энергетические ресурсы, какие у меня были, взрывообразно выбросились за какую-то долю секунды. Всякая соразмерность при этом, конечно, отсутствовала, и закончиться этот экссесс мог тоже по-всякому. Обычный срыв психического стереотипа, но понять это можно только тогда, когда все уже произошло и ничего нельзя ни вернуть, ни исправить.

Прошло несколько дней, я ждал, какой резонанс вызовет эта история. Знаю, что Сячин живет с матерью, отца у него нет. Мать работает на ЗИКе, но не у станка, а где-то в отделе. Сам я ее не знаю, но слышал, что человек она в общем-то положительный, не чаёт души в своем единственном сыне, оправдывает и защищает его в любом случае. Приблизительно через неделю, 31 января,

мне была передана телефонограмма: явиться к заведующему гороно Сухову. Я решил, что вызов связан с этим инцидентом и тщательно обдумывал, что и как скажу в свою защиту, не отрицая, конечно, самого факта «антипедагогического воздействия».

Приехав в гороно к указанному времени, я встретил там и свою директрису Е. В. Константинову, которая тоже была вызвана к Сухову. Это укрепило во мне уверенность, что вызов сопряжен именно с этим. Однако оказалось, что история с Сячиным никакого отношения к вызову не имеет. Ни Сухов, ни сама директриса, как позднее мне стало известно, решительно ничего об этой истории не знали. Сячин ни слова не сказал матери о том, что получил взбучку на уроке. Он сам рассказал мне об этом спустя двадцать с лишним лет, будучи уже отцом такого же по возрасту сына, каким был тогда сам в далеком 1952 году.

Сухов не знал меня лично. У него не могло быть ко мне никаких претензий как к учителю. В городе много учителей, есть лучше меня, но есть и хуже. И если меня вызвали, то должна же быть для этого какая-то причина. Так размышлял я, сидя в приемной. Первой в кабинет к Сухову вошла Константинова, секретарь вскоре куда-то вышла и в приемной никого не осталось. Я нервно расхаживал из конца в конец большой комнаты. Массивная и тяжелая дверь в кабинет была немного приоткрыта, и когда я ненамеренно приблизился к ней, то отчетливо услышал фразу: «Конечно, Сосновских оказывает очень разлагающее влияние на коллектив». Меня сразу передернуло, я отошел от двери и сел на стул в ожидании конца аудиенции и своего вызова.

В столь высокую инстанцию как гороно меня пригласили не из-за истории с Сячиным, а совсем по другой причине. Беседу Сухов начал с вопроса о плене, о Швейцарии и об учебе в Базельском университете. Мне стало ясно, что поступил донос. Иначе откуда бы он знал о Базельском университете. Я ответил, что есть инстанции, для которых такое дознание является профессиональной обязанностью, я все им об этом уже рассказал, а они все записали. В плену был, потом был в Швейцарии и еще во многих странах, а в университете учился очень недолго, за подробностями можно обратиться по адресу Ленина, 17.

Заглянув далее в листок, который лежал перед ним, Сухов изрек, что у меня нет диплома. Я сказал, что диплома у меня действительно нет, но его нет у 60 % учителей. У многих его никогда и не будет, а у меня будет диплом в ближайшие годы. Справку о поступлении в институт я смогу предоставить уже в этом году. Далее пошла речь о том, что я где-то и когда-то непочтительно отозвался о выборах. Пришлось сослаться на плохую память, мол не помню, когда и что я говорил о выборах, но думаю, что не все, что мы иногда говорим между собой, надо обязательно доводить до сведения высоких инстанций.

Если бы Харламова-Константинова дала мне тогда положительную или хотя бы нейтральную характеристику, то никакого воздействия эта «телега» не возымела бы. Но она решила внести свой вклад в борьбу с чуждыми элементами и заявила, что я оказываю разлагающее действие на коллектив. После этого Сухов уже не мог отмахнуться от доноса, и беседа закончилась тем, что мне было разрешено работать до конца года (учителей-то не хватало), а потом будут сделаны соответствующие выводы.

Прошел месяц после вызова, прошел второй, я продолжаю работать. Приближается конец учебного года, когда должен определиться мой статус. В апреле или в мае вдруг узнаю, что Сухов сошел с ума и отправлен на «агафуровские дачи». Ну, думаю, такое могло произойти только от страха перед чуждыми и враждебными элементами в учительском корпусе города. Но мое положение от этого хуже не будет. Новый-то завгороно, кто бы им ни стал, не знает ведь, что я нехорошо отозвался о выборах, да и вообще не подозревает о моем существовании. Так и случилось. В гороно пришла Комова, а она ничего не знала о том, что меня надо выкорчевывать.

Долго я потом размышлял, кто же написал эту филиппику. Попытка разглядеть почерк на листке, лежащем на противоположном конце огромного стола, ничего не дала. Но кто бы ее ни писал, я абсолютно уверен, что сделано это было по заданию Бабуриной, да и Харламову соответственно настроила она же. У последней не было решительно никаких поводов катить на меня телегу. Составить ей конкуренцию как директору я не мог даже при желании. Работал как все. В отличие от Подъяпольской, второго преподава-

теля немецкого языка в школе, я не пропускал занятия по болезни. Во всей школе я не мог назвать ни одного, кто бы имел основание быть моим явным или потенциальным врагом, и вдруг на тебе: оказывает разлагающее влияние на коллектив.

Аттестат зрелости

В феврале или в начале марта я зашел к директору областной заочной школы и спросил, можно ли сдать экзамены за среднюю школу экстерном. Он ответил, что экстерната у них нет. Экстерном сдавать нельзя, но если я в школьных науках достаточно продвинул, то мне уже сейчас надо сдать экзамены по предметам, которые на государственный экзамен не выносятся, и хотя бы часть зачетов по предметам, которые придется сдавать на экзамене. Он сразу выдал мне зачетную книжку, велел позднее принести фотографию и предложил немедленно начать сдачу зачетов.

Выйдя из кабинета директора, я отыскал завуча и спросил, могу ли я сегодня сдать дарвинизм, географию за девятый класс, а также химию и немецкий язык. «Так много сразу?» — спросила она. Я ответил: «Да, мне надо форсировать». Она решила, что лучше всего начать с немецкого и переговорила с учительницей, весьма пожилой натуральной немкой. Привела меня потом к ней в кабинет, где та занималась с двумя-тремя учениками, и сама осталась тут же. Немка дала мне текст на готическом шрифте и сказала, что надо перевести и потом ответить на несколько вопросов по тексту. Рядом с учебником она положила и словарь. Я заметил, что могу читать и переводить сходу, без предварительной подготовки. Прочитал абзац — перевел, прочитал другой — перевел. Теперь они обе смотрят на меня, как на заслуживающий внимания артефакт. На третьем абзаце меня прервали, сказали «довольно» и записали в зачетку первую пятерку.

Дальнейшие зачеты по немецкому языку мне разрешено было не сдавать и считать себя допущенным к экзамену по этому предмету. Затем, уже в другом кабинете, завуч представила меня преподавателю по дарвинизму. Это была тоже уже немолодая учительница по фамилии Соллогуб, у которой сидела небольшая группа учени-

ков, в основном военных. Они рассматривали таблицы и перерисовывали шкалу геологических эпох Земли. Поняв, что от нее хотят, биологичка достала пачку с билетами по дарвинизму, раскинула ее веером по столу и велела тянуть. Вытянул и прочитал: происхождение видов по Дарвину, сессия ВАСХНИЛ 1948 года и что-то еще. «До конца урока осталось 20 минут, желательно, чтобы вы подготовились за это время», — сказала она. Я был готов отвечать не дожидаясь конца урока, и минут через десять мне записали в зачетку вторую пятерку. Но тут мне пришлось рассказать, что я сам преподавал биологию в пятых, шестых и седьмых классах, внимательно читал стенографический отчет сессии, был на областном семинаре для учителей по мичуринской биологии, где меня самого зачислили в морганисты, после чего биологию пришлось оставить.

Через неделю я сдал географию за девятый класс, Конституцию СССР, астрономию и получил первый зачет по всем остальным предметам. Запись в книжку производилась не тем числом, когда я сдавал, а в соответствии со школьным графиком. В июне 1952 года я получил аттестат об окончании школы, в котором была только одна четверка за письменный экзамен по литературе. Вскоре я отнес его на Разина, 25 — в Свердловский институт иностранных языков, в который и был принят без экзаменов. Справку о зачислении в институт брать не стал, так как Сухова уже не было и предъявлять ее было некому. А в школе ни одна душа не знала, что я сдавал на аттестат зрелости и поступил в институт.

С тех времен сохранилась у меня фотография группы заочников, сдававших экзамены в областной заочной школе в мае-июне 1952 года. Сейчас, спустя 36 лет, из 17 человек я помню фамилии только двоих. Одна из них Шура Бекленищева. Она работала тогда инструктором в каком-то райкоме партии, но в некоторых науках была не очень сильна, и мне не раз приходилось выручать ее на экзаменах. Благо, передачу шпаргалок учителя старались не замечать. Второй, кого я еще помню, — это Куприянов. Он живет здесь, на Эльмаше, и мы иногда встречаемся. В первом ряду в центре фотоснимка сидит учительница литературы и русского языка, но и ее фамилия стерлась из памяти.

Смутно вспоминается лето 1952 года. Помню только то, что в отпуск ушел рано. Через Бай-Бородина Бабурина дала понять, что из отпуска я могу выйти и попозднее. Маневр этот был понятен: зарплату выпишут, я ее получу, а потом отдам Харламовой или самой Бабуриной «для нужд школы». Тогда это практиковалось довольно широко и аналогичные предложения делались не мне одному. Такой оборот дела меня мало устраивал, и на работу я вышел сразу, как только кончился отпуск.

Поступив в институт, на установочную сессию я, однако, не остался. Считал, что в языке я все-таки не новичок и сидеть там месяц или более рядом с начинающими нет смысла. Поехал в Серов, вернее в Филькино, где уже подрастал мой наследник. Позднее отправился в Челябинск и предпринял попытку достать путевку за наличный расчет на озеро Кисегач. Василий Александрович Епифанов договорился с Лаптевым, тогдашним первым секретарем Челябинского обкома, что он поможет мне достать путевку в каком-нибудь обкоме профсоюза.

Всем тогда казалось, что это просто, так как речь идет о приобретении путевки за наличные и за полную стоимость. Однако на деле вышло все не так просто. Во-первых, чтобы пройти в обком к Лаптеву, надо было предъявить партийный билет или пропуск. У меня не было ни того ни другого. Попытка дозвониться до Лаптева по телефону тоже не увенчалась успехом. Прежде чем соединить, меня спрашивали, кто звонит и по какому вопросу. Мне было трудно объяснить и то и другое, и секретарша бросала трубку. Решил позвонить Лаптеву домой и переговорить с его женой, а уж потом, через нее добратсья до самого Лаптева. Маневр удался: она позвонила ему из дома и он дал команду милиционеру пропустить меня. С королями мне уже приходилось встречаться, а тут в первый и последний раз в жизни я попал в кабинет первого секретаря обкома.

Вопрос о путевке был решен быстро, ибо в то время путевка за наличный расчет, да еще по звонку секретаря обкома, большой проблемы не составляла. Путевка нашлась в первой же инстанции, куда он позвонил. Казалось, выкладывай деньги и получай. Но не тут-то было! Неистребимая способность бюрократов все усложнять, тор-

мозить и не давать проявилась здесь весьма просто. Когда я пришел в эту контору, то оказалось, что путевка — вот она, но взять за нее деньги от частного лица они не могут, только от организации. Значит, мне надо найти какую-то другую контору, у которой есть счет в банке, и человек из этой конторы с бумагой и печатью придет в это бюро и заплатит. Словом, работы на целый день. Я попытался было найти выход через обком союза учителей, но мне объяснили, что работы много и заниматься этим у них некому. После этого я решил, что если все бросить, то больше сохранишь здоровья и нервов, чем получишь на курорте. Из обкома союза учителей пошел прямо на вокзал. В Челябинске делать больше было нечего.

Учебный 1952/53 год, студент-заочник

Новый учебный год начался с нагрузки в 50 часов. Если учесть, что теперь я еще и студент-заочник, то можно понять, что от безделья скучать не приходилось. По тарификации мне снизили ставку, тарифицировали как имеющего среднее образование, а справку из нотариальной конторы перестали признавать. Почему ранее она могла служить документом, удостоверяющим окончание учительского института, а теперь перестала быть таковым, мне не объяснили. Было понятно, что это просто придирка: нагрузка де большая, 50 часов, хватит ему. Спорить не стал, да и бесполезно это было, так как к фаворитам Бабуриной я не принадлежал. Кроме того, я уже знал, что надо закончить три курса института и тогда меня снова должны будут протарифицировать по учительскому институту. Я собирался это сделать в течение того же года.

А работать было все так же трудно, особенно в пятых классах. Кроме всего прочего, в этом году было плохо с учебниками. В 5-м «Б» классе из 43 человек учебники были только у трех девочек, а в других классах было около пяти учебников на те же сорок с лишним человек. В конце октября началась проверка школы. Учителей немецкого языка в школе было двое. Кроме меня работала еще одна молодая еврейка, имени которой я сейчас не помню. Она закончила институт иностранных языков по факультету французского языка, а немецкого не знала почти совсем. Было ясно, что проверяющих направят ко мне.

Проверяла Глафира Ивановна Иванова. Тогда она была методистом и, кажется, заведующей методическим кабинетом в институте усовершенствования учителей. Ее направили ко мне на урок как раз в 5-й «Б» класс, в котором было всего три учебника и почти никто не умел читать. Урок признали плохим, каким он и был на самом деле. Как единственное достоинство была отмечена активность учителя и преобладающее звучание немецкой речи на уроке в классе, где никто ничего не понимает. С оценкой я согласился и только спросил Иванову, как бы она работала с 43 учениками при наличии трех учебников. В ответ было молчание. В других классах, особенно в шестых, положение с учебниками было несколько лучше, но проверка ограничилась посещением только одного урока. Вывод был сделан, больше ничего не требовалось.

Январские каникулы 1953 года были страшно морозными. Зимняя сессия в инязе для заочников проходила в какой-то школе. Помню, что в последний день сессии, видимо 10 января, я поехал в кожане и изрядно замерз. Ничего более теплого у меня тогда не было. За эти несколько дней зимней сессии я сдал все предметы за первый курс. Тройки не было ни одной. Этот успех меня немного согревал, но не настолько, чтобы можно было обойтись без зимнего пальто.

На следующий день поехал в город и купил шубу за 800 рублей. После покупки пришел в школу. В учительской было много людей, покупку одобрили, а завуч Нина Фоминична попеняла слегка, что все эти дни я мало бывал в школе, что зимние каникулы — это отпуск для учеников, а не для учителей. Я обещал учесть замечание и впредь меньше отдыхать в зимние каникулы. В школе никто не знал, что за истекшую неделю я закончил первый курс иняза.

В первый день занятий после зимних каникул, 12 января, иду в школу по холодной утренней тьме. На столбе клокочет хорошо отработанным негодованием репродуктор. Врачи-убийцы, окопавшиеся в Кремле, изводили высокопартийных народных благодетелей и замыслили сжить со свету еще многих других. Через день или два читаем в «Правде» большую подвальную статью, в которой утверждалось, что рядовой врач Лидия Тимашук разоблачила банду убийц в белых халатах. Вскоре был опубликован указ о награждении ее орденом.

Несмотря на огромную мою занятость, а временами и усталость, дни все-таки летят быстро. В марте начались весенние каникулы длинной в одну неделю, с 22 по 29 число включительно. И как раз 29 марта я сдал последний экзамен за второй курс. Иногда в день приходилось сдавать по три-четыре экзамена или зачета. После сдачи экзаменов я получил справку для предъявления на работе, что в весеннюю сессию работал продуктивно и выполнял программу с опережением графика. Показывать ее никому не стал, так как в школе по-прежнему никто не знал, что я студент-заочник. Пару раз пришлось отпроситься под каким-то предлогом, день или два были даны нам для работы над планами, и еще один-два раза мое отсутствие то ли не было замечено, то ли было замечено, но потом забыто.

На мартовской сессии нам объявили, что вводится второй язык, на нашем факультете это английский. Меня это не очень обрадовало. Ясно, что английский может меня сильно задержать. Оказалось, однако, что требования по второму языку были ничтожными. Сколько-то раз я был на установочных занятиях по фонетике, а потом сдал зачет без особых затруднений. Помню, что мои сокурсники даже не верили, что английского языка я никогда ранее не изучал.

В промежутке между мартом и маем никаких особых событий не запомнилось. В это время я уже жил в 8-метровой комнате в доме № 37 по улице Краснофлотцев. В квартире, кроме меня, жили еще две семьи. У Соловьевых было пять человек в одной комнате, а в другой жила Котлюба, не очень уже молодая женщина с четырьмя почти взрослыми детьми. Вход в мою комнату был через кухню, и только тонкая фанерная и дощатая перегородка отделяла меня от общего квартирного пищеблока. Тараканов на кухне было великое множество. Вывести их не было никакой возможности, в то время еще почти не продавали инсектициды, но потом Соловьева, работавшая в столовой, достала-таки дуст — ДДТ наивысшей концентрации. Обильно посыпали им все углы на кухне, и эта нечисть вроде бы исчезла.

Холодная война между Анной Соловьевой и Котлюбой была перманентной, и я к ней уже более или менее привык, но иногда она переходила в горячую фазу, и тогда мне приходилось выступать в роли арбитра. Однажды после очередной словесной перепалки или, вернее, во время ее, внезапно дверь в мою комнату

с грохотом отворилась и более слабая и менее молодая Котлюба распласталась на полу: ноги на кухне, а голова в моей комнате. Нокаут был настолько сильным, что мне пришлось помочь ей обрести вертикальное положение.

Тем временем учебный год опять подошел к концу, наступили летние каникулы, а с ними и очередная сессия в институте, в течение которой я планировал сдать зачеты и экзамены за третий курс. Среди предметов, которые предстояло сдавать, была латынь. Она потребовала усилий. Никаких знаний, приобретенных ранее, по этому языку у меня не было, и надо было начинать с азов. Готовились вместе с Борисом Ивановичем Федосеевым, жившим рядом. В результате удачной женитьбы у него уже была квартира, где мы и тренировались какое-то время в переводах и грамматических правилах латинского языка. Изучение латыни меня так захватило, что на какое-то время я почти оставил все другое и почувствовал, что работа обретает реальное значение. Становятся простыми и понятными многие научные и медицинские термины, которые казались ранее мудреными и непонятными, и, будь я помоложе и не столь сильно загружен в школе, я бы, наверное, выучил латинский язык основательно.

Экзамен я сдавал первым и получил высшую оценку. Преподавал и принимал латынь Глебов. Имени и отчества его не помню. Это был уже порядочно пожилой человек. Он представлялся мне реликтом вымершей или погубленной старой русской интеллигенции. Расписываясь в зачетке, он сказал: «Изучайте латынь дальше, иначе вам скучно будет жить». Этот завет, к сожалению, мне не удалось выполнить, но интерес к латинским словам и изречениям сохранился у меня на всю жизнь. Многие из них я помнил хорошо и частенько употреблял.

Будучи как-то членом месткома и оказавшись перед необходимостью дать по какому-то случаю объявление, я в качестве заголовка написал: «*Urbi et orbi*» («городу и миру», то есть «Риму и всему миру») вместо обычного «Объявление». Это был 1952 или 1953 год — времена, когда шутки не принимались и во всем виделась идеологическая диверсия. В школе работала тогда Кузнецова, тогда известного впоследствии кинодеятеля Ермаша, та-

кая же ошеломленная Карлом Марксом, как и ее зять. Прочитав это, она ахнула: «Как это можно в советском учительском коллективе допускать такие космополитические призывы. Вы подумали, как это могут расценить?» Пришлось объяснять, что под «всем миром» здесь надо понимать обращение к своим коллегам, употребленное лишь для разнообразия.

Резерв моих знаний по немецкому языку все еще был достаточным, чтобы все языковые предметы сдавать почти без труда и на высокую оценку. После окончания мною второго курса за неполные полгода в деканате уже стало известно, что один заочник шагает слишком широко. Меня решили, видимо, попридержать путем ужесточения требований по языку. Закончить институт слишком быстро — это ведь тоже плохо.

Все мои письменные контрольные работы проверяла молодая преподавательница Рудауская. За все работы она непременно ставила мне пятерку, но теперь проверку передали старушке-пенсионерке Славниной, работавшей в институте почасовиком. Язык она знала отменно. В моих сочинениях она отмечала хорошее содержание, но всегда находила стилистически корявые или грамматически неверные выражения. Оценка снизилась до четверки, но мне она сказала, что в беседе с деканом дала ему ясно понять, что мое стремительное продвижение вполне объективно и является следствием хорошего знания языка. Но, конечно, все в мире относительно. Мои знания могли казаться ей хорошими только на фоне совсем уж слабых знаний подавляющего большинства учителей-заочников из глубинки.

Получив 30 июля справку об окончании третьего курса иняза, я снова приобрел право тарифицироваться по учительскому институту.

Хорошо запомнился день 10 июля 1953 года. Мы с Валентином Энером во время перерыва стояли у окна в институтском коридоре. К нам подошел человек в военной форме, видимо тоже студент-заочник. Мне он не был знаком. Энер во время летней сессии работал в институте в качестве преподавателя, к нему-то и подошел этот парень в форме. Поздоровавшись, он сообщил нам потрясающую новость: выведен из ЦК КПСС и исключен из рядов партии как враг советского народа Л. П. Берия. «Об этом сегодня утром передали по радио», — сказал он.

Услышав это, я спустился этажом ниже. Там на стенде висели портреты всех членов политбюро. Смотрю — точно, Берии нет, осталось только пятно на том месте, где висел портрет. На душе стало как-то немного легче. Эта зловецкая фигура уже много лет подряд господствует над моей судьбой и душой, и не было никакой надежды от этого освободиться, поскольку бывшие военнопленные все время оставались под надзором. Еще во время службы в армии в Брестском погранотряде я много раз слышал, что о каждом нарушении границы докладывают лично наркому внутренних дел Берии и что он в основном и решает, как поступить с задержанными или с теми, кто допустил переход, не задержав нарушителя. А потом фильтрационные лагеря в Алкино и в Коломне, каторжный комбинат «Воркутауголь» — все это в итоге подчинялось тому же наркому и члену политбюро. Арест этого негодяя был первым ветерком предстоящей хрущевской оттепели.

Учебный 1953/54 год, переход в ШРМ

Приблизительно в середине августа из Серова приехала Татьяна. Славке было уже около двух лет. Поселились, конечно, в той же 8-метровой хормине нашей развеселой коммуналки, в которой я уже некоторое время жил один. Брак зарегистрировали 1 сентября. Татьяна начала работать завучем в школе № 107, а я стал преподавать химию и немецкий язык в ШРМ № 33, располагавшейся тогда в том же здании. Бытовых удобств не было, в то время они вообще мало у кого были, но один плюс все-таки имелся. От школы до квартиры — менее пяти минут ходу. Даже во время окна можно было сбегать домой, если возникала такая необходимость.

Директором ШРМ тогда был Ю. И. Бай-Бородин. Больших «америк» в педагогике он не открывал, но все в общем-то шло хорошо. Учились в вечерних школах тогда люди серьезные, пришедшие в школу добровольно. Силой тогда за парты не садили, закона об обязательном 10-летнем образовании еще не было. Я хорошо помню многих выпускников именно этих лет. Некоторые потом закончили вузы и стали специалистами на заводах или руководителями разных рангов в районе.

Переход мой из 108-й школы в ШРМ № 33 официально был оформлен еще 20 мая 1953 года. Предыстория была такова. В конце учебного года в школе работал киоск по продаже учебников. Бай-Бородин купил кому-то из своих родственников задачник по химии и, то ли шутя, то ли серьезно, спросил меня, умею ли я решать задачи по химии. Я ответил, что умею и что вряд ли в задачнике он найдет задачу, которую я не решу. Он выбрал в конце задачника одну и предложил мне ее решить. Вызов пришлось принять. Задачу скоро решил, он заглянул в ответ — сошлось, дает другую, третью и по ответам убеждается, что все решено верно. Тут он мне и предложил перейти на химию в ШРМ, куда его за год до этого назначили директором. Часов по химии до полной нагрузки не было, так как один химик там уже был, но он обещал догрузить меня уроками немецкого языка. Я согласился. Бабурина он легко уговорил, и вскоре был получен приказ № 402-к за подписью Комовой о переводе меня из 108-й школы в ШРМ № 33.

Одним из моих, скажем так, хороших знакомых был в то время Афанасий Георгиевич Янкин. Он был значительно старше меня, в войну был офицером, а потом, демобилизовавшись, стал преподавать физику в 99-й школе. Жил он первое время в маленькой квартире здания, где занимались начальные классы 108-й школы, а теперь находится бухгалтерия района. Семья у него в то время уже была большой — жена и три дочери, одна из которых, приемная, была уже взрослой. После войны он женился на бывшей жене его погибшего фронтового друга. Работал Афанасий Георгиевич очень много, зарабатывал прилично по учительским масштабам того времени, и жили они в условиях почти нормальных, тогда как все мои коллеги и знакомые из мужчин, кроме Бай-Бородина, вели почти бивачную жизнь.

Настоящим бедствием для Афанасия Георгиевича было то, что шпана постоянно гадила ему на крылечке или в тамбуре при входе в квартиру. То же самое не раз приходилось испытывать и мне, когда я жил в 66-й школе, но реже, так как у меня в коридорчике был водопроводный кран и люди из соседнего неблагоустроенного дома часто приходили за водой. Однажды одного такого пакостника мы поймали. Янкин взял его за уши, прижал к наваленной куче и так почти начисто вытер его щеками все наваленное.

Учебный 1953/54 год проходил значительно легче, чем предшествующие годы. Работа со взрослыми у меня сразу более или менее наладилась, и мое учительское реноме, по крайней мере среди учащихся, было достаточно высоким. Из прочих событий этого времени достойно упоминания 17 декабря 1953 года. В этот день газеты сообщили об окончании следствия по делу Берии и о приговоре его к смертной казни. Одновременно с ним были осуждены Меркулов, министр Госконтроля СССР, Деканозов, министр внутренних дел Грузии, и еще Абакумов, один из заместителей Берии. Приговор был приведен в исполнение через неделю после его обнародования. Все они были расстреляны 23 декабря, а трупы, как тогда говорили, были растворены в кислотах и слиты в канализацию. Вот так хоть несколько бандитов правящей коммунистической мафии получили по заслугам. А сколько их еще таких же или помельче жили и живут сейчас, имея высокие персональные пенсии, или умерли и похоронены как заслуженные деятели партии и государства?

Приближается к концу 1953 год. Вчетвером (жена, сын и теща, Варвара Федоровна Лумпова) живем в 8-метровой комнатке все той же коммунальной квартиры в доме на Краснофлотцев, 37. Шансов на лучшее не предвидится. Идти просить — бесполезно, но один раз, однако, я был на приеме у председателя Куйбышевского райисполкома Емлина. Это было еще при жизни генералиссимуса. Пришел, изложил суть просьбы и услышал типичный ответ в духе советского бюрократа того времени: «Квартиры даем только семьям погибших». Спрашиваю: «Что же делать тем, кто не погиб? Погибать?» На это председатель не решился дать утвердительный ответ. Видимо, сказать «погибай» было все-таки не по Карлу Марксу. Позднее Емлин пожаловался Бабуриной, что с учителями трудно разговаривать, а Бабурина дала понять, что этот мой визит к председателю не ускорит получения комнаты. Произвол в распределении квартир и комнат в то время был полнейший, а любое недовольство или возражение расценивалось как выпад против самой советской власти и подрыв ее устоев.

Время летит, мне уже далеко за тридцать, а жизнь все еще вроде и не начиналась, и склеить из разбитых черепков бытия какое-нибудь ее подобие все никак не удается. Правда, теперь уже то-

варищ Сталин «проживает» в мавзолее, расстрелян его подручный Берия, но на местах ничего не изменилось. Всюду пока все те же служители культа усопшего чудовища. Через несколько недель после моего визита председатель райисполкома Емлин был снят с поста за финансовые нарушения, а точнее за воровство. Он присвоил каким-то образом 18 тысяч казенных рублей и за это был пересажен в кресло директора какого-то завода. Там, я думаю, воровать проще и сподручнее, чем в райисполкоме.

Одна молодая учительница, работавшая в первом классе 108-й школы, в конце 1953 года рассказала мне, что на ее глазах была арестована соседка по коммунальной квартире — женщина лет за тридцать, у которой было двое детей младшего школьного возраста, один из них учился как раз в ее классе. Арестовали ее за то, что в беседе с какой-то другой женщиной она выразила удовлетворение тем, что мудрейший вождь, наконец-то, скончался. Так что за первые девять месяцев после большой смерти сколько-нибудь заметных перемен в нашем обществе еще не было.

После смерти Сталина председателем Совета министров стал Маленков. Его кандидатуру на совместном заседании ЦК, Совета министров и Президиума Верховного Совета выдвинул Берия, а Маленков, в свою очередь, назначил Берию своим первым (всего их было четыре) заместителем. Кроме того, он возглавлял объединенное Министерство госбезопасности и внутренних дел. Центр власти предполагалось перенести из секретариата ЦК в Совет министров, поэтому пост Первого секретаря ЦК считался второстепенным и сюда назначили Хрущева. Считают, что Берия был близок к тому, чтобы захватить власть полностью. Министерство внутренних дел, возглавляемое Берией, 4 апреля 1953 года сделало в печати сообщение, что арест врачей, произведенный бывшим Министерством внутренних дел, был необоснованным. Игнатьев, бывший глава этого министерства и теперь работающий секретарем ЦК, был освобожден от работы. На самом деле арест врачей был произведен по прямому указанию Сталина, а Виноградова он лично велел заковать в цепи. Так Берия нажил себе некоторый политический капитал и избавился от одного из своих потенциальных противников.

Пленум ЦК после ареста Берии продолжался неделю. О нем было сказано много, ибо Берию поймали за руку буквально накануне захвата власти. Он, как и Сталин, не понял, недооценил и не разглядел Хрущева, считая его круглоголовым дурачком, а на деле он оказался орлом. Сталина на этом пленуме старались выгораживать, и пройдет еще немало времени, прежде чем Хрущев на XX съезде КПСС расскажет, что делалось «на кухне» этого всероссийского Калигулы. Впрочем, Калигула, вероятно, обиделся бы, узнав, что его ставят в один ряд с этим людоедом. Ведь по числу совершенных убийств он выглядит, по сравнению с мудрейшим, всего лишь учеником начального класса школы палачей.

В 1954 году были выборы в Верховный Совет СССР. Проходили они точно так же, как и в годы правления Сталина. Никаких изменений в сторону демократизации не произошло. За день-два до выборов ведущие кандидаты в депутаты выступали с речами перед избирателями, 10 марта мы слушали речь Ворошилова. Опять чугун, сталь, уголь, нефть, все в духе прежних времен, хотя в это время чугун и сталь уже не были главными показателями экономической мощи государства. Уже началась научно-техническая революция и главным индикатором прогресса было уже нечто совершенно другое. В конце этой речи он сказал: «Поставлена задача, чтобы через два-три года в каждом городе и в каждом сельском районе можно было купить все необходимые товары. Задача, товарищи, нелегкая, но она будет выполнена».

Прошло 35 лет после этого хвастливого заявления, теперь вареную колбасу можно купить только по карточкам и то не каждый день. После этого «первый маршал» какое-то время еще подвизался в высших сферах управления, был председателем Президиума Верховного Совета СССР — должность больше церемониально-протокольная, чем ответственная и важная, но все-таки это еще высота. Позднее Хрущев назовет его среди тех, кого наименовали антипартийной группой Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего к ним Шипилова. Но это будет позднее, а пока все они выступают с предвыборными речами.

Однажды мы с Татьяной шли по улице, это была просто весенняя прогулка, поход в никуда. Было тепло. На открытом окне одного

из домов стоял приемник, передавали речь Маленкова. Слышимость была хорошая, и мы остановились послушать. Говорил Маленков как раз о коллективном руководстве, которое, по его мнению, «является гарантией правильного и успешного решения стоящих перед нами задач». Перейдя к внешнеполитической части своего выступления он, конечно, заклеил империализм и дал понять, что «у них ничего не выйдет». Закончил он эту часть выступления известной притчей: «Шалишь, кума, не с той ноги плясать пошла». Под кумой подразумевался, видимо, американский империализм. Больше мы не стали слушать и пошли дальше. Тогда мы еще не знали, что нынешний председатель Совета министров — лучший друг Берии, один из авторов печально знаменитого «Ленинградского дела» и верный подручный Сталина в его грязных и кровавых делах.

В Ереване в эти предвыборные дни выступал Микоян. Этот хвалился тем, что в городах у нас теперь живет 80 миллионов человек, тогда как в 1926 году в них жило только 26 миллионов человек. Он обещал снижение цен на некоторые товары, но не сказал на какие и на сколько. Говорил он также о критике и самокритике и в порядке юмора, чтобы развеселить дремлющих армян, процитировал известную сентенцию: «Нам нужны подорожники Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали».

Окончание института

Еще в октябре 1953 года я закончил сдачу всех зачетов и экзаменов и благополучно вышел на выпускные экзамены. На все это мне потребовалось около 14 месяцев. Если учесть, что другие студенты-заочники учились в институте по пять-семь лет, мой темп можно было назвать стремительным. Среди моих соучеников по институту было и несколько этнических немцев. Они, как правило, знали язык, но неязыковые предметы их сильно задерживали. Некоторым было трудно сдать литературу страны изучаемого языка, другим мучительно трудно было с политическими предметами. Поэтому все они были тоже «долгоиграющими» студентами. Дело тут, видимо, не только в общем развитии, недостаточной начитанности и некоторой узости интересов, но и в способностях. Мне же было

почти все равно, что сдавать — литературу, химию, язык, биологию или философию. Вундеркиндом я не был, но и больших затруднений не испытывал при освоении дисциплин в школе или в вузе, если не считать музыки, пения и рисования.

Экзамены начались в июле. Комиссия была одна на оба факультета — на немецкий и английский. Примерно половина ее членов была специалистами по немецкому языку, другая — по английскому. Главной фигурой в немецкой половине был Береснев, кандидат наук, заведующий кафедрой иностранных языков в медицинском институте. Это был приблизительно мой ровесник, значит в то время человек еще сравнительно молодой, с развитым чувством юмора, с артистическими способностями и неиссякаемым оптимизмом.

На выпускном вечере мы оказались с ним рядом за столом. Анекдоты и разные байки так и сыпались из него, как из дырявого мешка. Он был тамадой, и временами вокруг нашего стола раздавался гомерический хохот. Сам он, как я потом понял, знал немецкий не так уж блестяще, поскольку изучал его только в школе и в вузе, а в языковой среде не обретался и за границу не выезжал. Однако тылы у него были крепкие. Диплом кандидата наук, партийный билет и некоторые знакомства в руководящих кругах города обеспечивали ему стабильность положения. Да и уровень компетентности его как заведующего кафедрой по тем временам был вполне достаточный.

Не могу сейчас рассказать в деталях, как проходил экзамен по языку, но помню, что надо было прочесть достаточно большую газетную статью, пересказать ее и ответить на вопросы, относящиеся к содержанию этой статьи. Кроме языка сдавали еще педагогику и, конечно же, основы марксизма-ленинизма. Все экзамены я сдал на пятерку. Язык сдавали вместе с Борисом Ивановичем Федосеевым. Хотя он был «шанхайцем» и считалось, что язык знает очень хорошо, сдал он только на четверку и был этим очень доволен. Я же всегда считал, что язык знаю посредственно. Но на экзамене убедился, что и этнические немцы, и евреи, язык которых сходен с немецким, и приехавшие из Шанхая со знанием английского языка, владеют языком не лучше. Только самореклама, свойственная многим из них, создавала вокруг них некий ореол.

Диплом я получил 28 июля 1954 года. Всем, кто успешно сдал экзамен, полагалась небольшая стипендия, около 240 рублей, но получить ее нужно было не в институте, а по месту работы. Мне как закончившему институт в рекордно короткий срок и с высокими академическими показателями выдали, кроме справки на право получения стипендии, еще сопроводительную записку декана по заочному обучению, в которой высоко оценивалась моя работа как студента-заочника и было указано, что институт я закончил практически за 14 месяцев. При этом декан, конечно, не знал, что недельная нагрузка в школе в это время у меня была около 50 часов.

С этими бумагами я пришел к Бабуриной, и тут она впервые узнала, что я учился заочно. Для меня не имели очень уж большого значения 240 рублей, но я решил, раз полагается, то почему бы и не получить. Но не тут-то было! Бабурина начала доказывать, что эта стипендия полагается только тем, кто имеет зарплату менее 1000 рублей, у меня же она была значительно выше. Я возразил, что в справке об этом ничего не говорится и нет никаких ограничений. Стипендия полагается всем, кто сдал госэкзамен. Только и всего. Даю ей номер телефона и предлагаю убедиться, что это так и есть. Звонить она отказалась и вызвала бухгалтера. Бухгалтером тогда была некая Галя, молодая еще, но очень корпулентная дама. И теперь они уже вдвоем доказывали мне, что я требую незаконное.

Пришлось махнуть на все рукой, но теперь я по крайней мере окончательно убедился, что К. А. Бабурина — штатная мать только для избранных учителей нашего района. Фаворитизм свой она даже не считала нужным скрывать. Всем, кто перед ней пресмыкается, несет мелкие подарки, оказывает холопские услуги, поздравляет по случаю дня рождения и прочее, она протезирует, не стесняясь и не опасаясь, что это будет понято и замечено другими. А тем, кто не идет на холуйство и не прислушивается к ее советам, часто сомнительным с точки зрения элементарной порядочности, она всегда найдет способ насолить. Например, не дать полной нагрузки, отодвинуть очередь на комнату или место в общежитии, а то и просто лягнуть в докладе на конференции.

Муж ее работал бухгалтером в одном из строительных управлений, контора которого находилась тогда рядом с районо. Встре-

чатся мне с ним не приходилось, но косвенно я о нем кое-что знал, да, видимо, и он обо мне тоже. Однажды по поручению райкома союза учителей, членом которого я тогда был, мне пришлось пойти в эту контору для обмена курортной путевки. Договоренность об этом уже была. Я принес путевку на один курорт, а получить должен был на другой. Предназначалась путевка какой-то учительнице, только что вышедшей на пенсию. Незначительную разницу в цене, уже полученную с этой учительницы, я принес наличными. Оформлял обмен Бабурин. Получив и сосчитав деньги, он выразил недовольство тем, что их мало. Я попросил еще раз сравнить цену и убедиться, что все верно. «Но ведь я даю вам путевку по профилю, которого у вас нет, а это должно повысить ее цену», — сказал бухгалтер. Пришлось напомнить, что путевки государственные и уж если они обмениваются, то только по номиналу, а кроме того, объяснить, что путевка эта вовсе не для меня и я только выполняю поручение нашего райкома союза. После этого, хоть и со скрипом, обмен состоялся.

Будни второй половины 50-х

За 1954 год в моем дневнике не сделано почти никаких записей и только в самом конце года помечено, что год этот прошел более или менее благополучно и больших потрясений не было. По совместительству в 1954/55 учебном году я преподавал химию в седьмых классах школы № 107. Уроков тут у меня было немного, от четырех до шести часов в неделю, а в остальное время в химическом кабинете проводились другие уроки. Днем в водопроводе почти никогда не было воды. Ученики развешивали краны и оставляли так, не закрутив. Ночью вода появлялась и шла на проход, но однажды одна из раковин оказалась сильно засоренной, вода пошла на пол. Этажом ниже располагалась квартира А. В. Меняйло, в которой промочило потолок.

На следующий день Семен Ильич Николаев, только что ставший заврайоно вместо Бабуриной, вызывает меня в свой кабинет и сходу объявляет строгий выговор, не уточняя, правда, «с занесением» или «без занесения». По национальности Семен Ильич татарин, по-

русски говорит с сильным акцентом, запас слов не очень велик, но начальственного апломба уже достаточно. Разговаривал он со мной так, как разговаривал бы китайский император со своим подданным. Я ответил, что выговор принимаю к сведению, но справедливым его не считаю. Накануне затопления я только два урока проводил в этом кабинете, а потом еще две смены там работали другие учителя. В будущем я готов принять на себя ответственность за подобные эксцессы, если в кабинете будут проводиться только уроки химии.

— Иначе кабинет обезличен и никто не сможет доказать, когда и кем были раскручены краны. Напишите, пожалуйста, такое распоряжение, и я буду нести полную ответственность за кабинет, в том числе и материальную.

— Не учите меня, понимаешь, что и кому надо писать. Мне еще Ксения Александровна говорила, что Вы много на себя берете и считаете себя умнее всех.

— Насчет ума не знаю, — заметил я. А вот к элементарной порядочности я, пожалуй, действительно ближе, чем она. Вы, вероятно, читали в «Уральском рабочем» заметку «Комбинаторы из обкома». Вот на такое, в отличие от Ксении Александровны, я бы действительно не пошел.

В заметке шла речь о том, что председатель обкома союза работников начальных и средних школ Левашова и ее «прихлебатели-пенсионеры», как было сказано в заметке, за два года нанесли ущерб государству на 26 тысяч рублей, расхищая средства, продукты питания и имущество в пионерском лагере «Учитель». В числе «прихлебателей-пенсионеров» первой была названа Бабурина, бывший заведующий Куйбышевским районо. Она нигде никогда не терялась, если чуяла возможность где-то что-то урвать. После разговора с Николаевым я понял, что Бабурина постаралась передать ему в наследство свое отношение ко мне.

В конце сентября или в начале октября 1955 года по предложению Береснева я решил принять участие в конкурсе на открывшуюся в медицинском институте вакантную должность преподавателя немецкого языка. Претендентов, кроме меня, было двое. Это были женщины, обе значительно старше меня и, как потом выяснилось при собеседовании, язык они знали не очень, практики разговорной речи

у той и другой было маловато. Я сразу понял, что имею шанс пройти. Сам я туда не рвался и даже не знал, что объявлен конкурс. Береснев сам пригласил меня к участию, а это означало, что выбор в какой-то мере уже сделан. Так и получилось. Я заполнил необходимые бумаги и стал ждать официального приглашения на оформление. Сначала я чуть было не уволился с работы, узнав, что выбор остановили на мне, но потом, подумав, решил не спешить. Директором школы был Бай-Бородин, договориться с ним можно и, когда придет время, держать он меня не будет, хотя магарыч может потребоваться.

Но вот жду месяц, жду два, уже и третий пошел, а ответа нет никакого. Дома о предполагаемом переходе я тоже не говорил, словно чувствовал, что все может сорваться. Неопределенность эта меня уже начала угнетать, и я решил сам съездить к Бересневу домой. Адрес у меня был, Береснев жил в Пионерском поселке, снимал комнату в частном доме. Приехал удачно, застал дома, он сразу выложил на стол все мои бумаги и сказал: «Все не решаюсь тебе их передать, вот смотри, что он написал». Читаю резолюцию на заявлении: «Люди такой категории для работы в вузе нежелательны». Далее указаны должность и звание: начальник спецотдела полковник — и стоит неразборчивая подпись.

Было это 31 декабря 1955 года. Дома предстояло предновогоднее торжество. Жили мы в то время уже на улице Донской в коммунальной квартире, соседом в которой был профессиональный алкоголик с женой и двумя детьми. Этажом ниже обретались его родственники — брат, сестра и еще кто-то. Все они тоже были непросыхающими пьянчугами. В этот день они сожгли что-то в рас пределительном щитке, и во всем нашем подъезде не было света. Так что праздник «удался» во всех отношениях.

Сюда, на улицу Донскую, мы переехали только недели за три до описываемых событий. Комната была раза в два больше, чем та, которую мы оставили на улице Краснофлотцев, 37, и жить было бы можно, если бы не такое соседство. В целом 1955 год выдался опять очень тяжелым. У меня воспалился правый глаз, и долго не удавалось его вылечить. Зрение, как мне казалось, заметно ухудшилось, и я уже думал, что грядет глаукома — болезнь, которая лишила зрения мою мать. В науке у нас в то время еще господствовала так

называемая мичуринская биология. Генетика была под запретом, но жизненный опыт указывал, что многие болезни имеют наследственную природу и мои опасения насчет глаукомы не были беспочвенными. Примерно в это же время Славка заболел коклюшем, болезнь протекала временами очень тяжело, но наша передовая медицина была совершенно бессильной против нее. Оставалось полагаться только на господ Бога, на время и на защитные силы организма самого ребенка.

Страна постепенно отходила от шока, вызванного бедствиями сталинских времен. Начала оживать и разграбленная деревня. Оживать, конечно, только в том смысле, что теперь она не пухла от голода. В городе стали строить больше жилья. С надеждой и радостью следили мы, как вырастают 4—5-этажные дома, по форме напоминающие обувную коробку, с малогабаритными квартирами и совмещенным санузелом. Потом их презрительно стали называть «хрущобами», но в середине 50-х годов квартиры даже в таких домах были пределом наших желаний.

Иной стала внешнеполитическая деятельность. Сталин безвыездно сидел в Кремле или на даче в Волынском, где его охраняли три тысячи человек одновременно. Аджубей, который не раз бывал на этой даче, пишет, что даже охрана не могла видеть Сталина в полный рост, когда он прогуливался по дорожкам. Светильники, прикрытые металлическими колпаками, висели так низко, что они освещали только дорожку, а фигура идущего оставалась в темноте.

Хрущев и Булганин посетили Англию, Китай, Югославию, заключили мирный договор с Австрией. Летом 1955 года приехал премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Он посетил Свердловск, и огромные толпы свердловчан приветствовали его на улицах города. К его приезду у нас была издана его книга «Открытие Индии». Тогда мы ее читали с большим интересом, она и сейчас стоит на полке моего книжного шкафа.

В феврале 1956 года состоялся XX съезд партии, а 28 марта в актовом зале райкома нам читали доклад Хрущева, сделанный на закрытом заседании этого съезда. Доклад целиком был посвящен сталинским преступлениям. Мы с Татьяной сидели в первом ряду. Я приготовил было блокнот и ручку, но одна партийная дама

(это была А. И. Вихрова) велела все убрать. Она, видно, считала, что тут сидят идиоты, которые сразу все забудут, когда выйдут из зала. Но я кое-что все-таки записал: из 138 членов ЦК, избранных на XVII съезде, было расстреляно 98, из 1966 делегатов съезда было уничтожено 1108. Было сказано и о завещании Ленина, и об оскорблении Сталиным Крупской, и многое другое. Все это тогда было для нас откровением. Хотя мы и знали, что в стране царил террор и беззаконие, но о масштабах этого беззакония многие все же не догадывались. Пройдут еще годы, и только потом, в эпоху гласности, в середине 80-х годов, мы узнаем, что Хрущев сделал этот доклад «как бы неожиданно». Он не мог обсуждать его с членами политбюро, которые в немалой степени сами были причастны к преступлениям.

С работой в ШРМ у меня все было относительно нормально. Нагрузка была достаточной. Все эти годы я вел два или три предмета: немецкий язык, химию, а иногда еще и астрономию по совместительству в других школах. Справок на право совмещения тогда еще не требовали. Директором по-прежнему был Бай-Бородин, завучем — Лидия Дмитриевна Павлинина. Контингент учащихся в середине 50-х годов был еще вполне нормальным, многие ученики приходили в школу не только за аттестатом, но и за знаниями. Были видны результаты нашей работы, потому что давалась правильная оценка учительского труда снизу. Через учеников мы знали, чего стоит каждый из нас.

Была, например, у нас биологичка Абдулова, не помню ее имени, молодая и обычно элегантно одетая дама. Ученики ее звали лягушкой и никакого респекта ей не оказывали. В конце учебной четверти она обычно спрашивала: «Кто претендует на урок в таком-то классе? Я там уже всех аттестовала». Позднее она стала членом коммунистической партии и даже депутатом райсовета.

Осенью 1955 года пришел к нам в ШРМ № 33 Е. Г. Гохфельд. Он закончил филологический факультет Уральского университета и некоторое время работал по направлению где-то в Сибири. В те годы школы работающей молодежи начинали занятия на месяц позже, так как многих работников заводов и учреждений отправляли на уборочную в колхозы. В 1955 году решено было послать

и некоторых учителей. Заврайоно Николаев и секретарь райкома (не помню его фамилию) собрали нас в районо и объявили, что мы направляемся в колхозы. Желания, конечно, не спрашивали, все делалось в приказном порядке. Секретарь, правда, обещал, что командировка будет дополнительно оплачена, но никаких денег мы не получили, как потом оказалось по вине Николаева. Этот деятель был типичным для тех времен. Даже спустя два года после осуждения культа личности на XX съезде в его кабинете все еще висел портрет Сталина.

Так вот осенью 1955 года я вернулся из колхоза только 15 сентября. Школа работала уже около двух недель. Придя утром на занятия, я встретил среди давно знакомых учителей молодого человека с пышной шевелюрой и типично семитской наружностью. Это и был Гохфельд. Еще в раздевалке зашла речь о шахматах и среди прочего я сказал, что играл когда-то с Кристофелем, но он давал мне фору — коня или слона. Гохфельд сразу встрепнулся: «Как, Кристофель ведь швейцарский мастер, живет в Базеле!» — «В Базеле и играл», — ответил я. Уже после этого эпизода мне стало ясно, что этот человек особенный, и, видимо, не только в шахматах.

Впоследствии так и оказалось. Университетское образование, хорошая личная библиотека, высокообразованное окружение в семье — все это давало ему преимущества по сравнению с такими самоучками, как я, вышедшими из малограмотных крестьянских семей. Недостаток нашего образования в области литературы, искусства, истории, иностранных языков во многом можно объяснить еще и тем, что не было соответствующей литературы. Мы не читали даже самых известных и знаменитых иностранных авторов, а из своих издавались только конъюнктурщики и конформисты. В изучении языков просто не было стимула, так как никто из нас даже и мечтать не мог вырваться когда-нибудь за границу или получить доступ к иностранной литературе.

В этих условиях я предложил создать в школе «малую академию», чтобы обмениваться имеющимися у каждого книгами, обсуждать прочитанное и таким образом повысить немного свою осведомленность. Президентом избрали меня, действительными членами были Гохфельд, Шимкин, Бай-Бородин, а членом-кор-

респондентом — работавший у нас совместителем Янкин. Позднее добавились Дружинин и Поляков, но это уже было года через два. Эта шуточная академия действительно сыграла определенную роль в повышении нашей эрудиции, расширении общего и профессионального кругозора.

На одном из «заседаний» меня как-то спросили: смогу ли я любой урок по своим предметам провести достаточно грамотно без всякой подготовки. Я ответил, что по немецкому — безусловно, по химии — с небольшим исключением, а по астрономии мне требуется основательная подготовка по многим разделам. В химии как учитель я был еще новичок, работал только третий год. Пройдет еще год-два — и так называемые рабочие планы по этому предмету мне будут совершенно не нужны. По инерции я сначала продолжал их писать в основном так, «для прокурора». Потом стал писать их на немецком языке, чтобы хоть какая-то была от них польза, а потом и вовсе перестал писать, когда почувствовал, что мало кто решится спросить их у меня для проверки.

Однажды в школе был большой инспекторский шмон. Зная об этом заранее, я решил планы все-таки писать, но на немецком языке. Председателем комиссии была Дыхнич. На уроки ко мне никто не пошел, но планы Дыхнич решила проверить. Новая школьная тетрадоchка, в ней два-три плана, но на немецком языке. Она долго-долго молча смотрела на них, а потом вернула.

— А что если завуч захочет проверить их?

— Пусть проверяет, если способен разобраться, а если нет, то и не надо. Ведь планы я пишу для себя, а не для завуча! Мне так удобнее. Одновременно я немножко работаю и над языком. Да и часть химической литературы у меня на немецком языке.

На этом наша беседа и закончилась.

В этом году я впервые почувствовал некоторую аномалию в своем здоровье. В правом боку временами стали возникать какие-то резкие колющие боли: невозможно сделать глубокий вдох. С 1 сентября 1956 года я бросил курить и начал обтирания полотенцем или мочалкой, смоченной холодной водой. Не курил я десять месяцев, и неприятное колотье вроде бы прошло. Но в магазинах появились болгарские сигареты в красивой упаковке, и я совершил великую

глупость — снова стал курить. Если бы тогда хватило ума не погружаться больше в эту трясину, то теперь, может быть, не пришлось бы задыхаться от астмы. Что же касается холодного влажного обтирания, то этот рефлекс выработался у меня достаточно прочно, я продолжаю это делать и сейчас, накануне своего 70-летия.

Но вернусь к действительным членам нашей «малой академии». Николай Борисович Шимкин встретился мне впервые на районной учительской конференции в августе 1954 года. Выйдя в перерыве на ступеньки портала Дворца культуры завода «Уралэлектроаппарат», я заметил среди немногих других курильщиков совсем еще молодого человека, элегантно одетого, с дорогой папиросой типа «Казбек» или какой-то аналогичной марки. Обменялись несколькими фразами по только что прослушанному докладу и вскоре разошлись.

Позднее я узнал, что это Н. Б. Шимкин — физик из только что открывшейся 46-й школы. Жил он тогда в квартире при школе и занимал одну из комнат этой квартиры. В другой комнате жила убежденная большевичка Нина Степановна Кулебина, историк и завуч школы. Вскоре совместное коммунальное проживание стало невозможным, на работе начались придирки, и он перешел к нам в ШРМ № 33, а жить стал примерно в такой же комнате при школе № 99. Работал он у нас долго, сначала был просто физиком, а потом вторым завучем. Его учительская репутация была достаточно высокой, хотя апломба, как мне тогда казалось, было многовато. Большую карьерную активность, неумное стремление куда-нибудь продвинуться он объяснял просто — надо заработать. Трудно жить на зарплату, если она ниже 2500 рублей. Жена у него тогда еще не работала, училась в институте иностранных языков. Мы в общем-то понимали это, но знали и то, что будучи беспартийным, да еще и выходящем из репатриированных шанхайцев, хорошей карьеры не сделаешь. Да и какая вообще карьера возможна в просвещении! Завучем он потом стал, но это очень немного. Директор — это чуть больше, но и забот, особенно хозяйственных, существенно прибавляется.

О нашем главном «академике», Е. Г. Гохфельде, я кое-что уже сказал ранее. Добавлю теперь, что он у нас был консультантом, справочником и источником информации по самому широко-

му кругу вопросов. Да и «президентом», по существу, надо было быть ему. Но, ссылаясь на свою некомпетентность в науках точных и естественных, он наотрез отказался. Пришлось этот «пост» взять мне: все-таки немецкий язык, химия, биология, астрономия плюс некоторый интерес к литературе, истории и социальным проблемам. Кроме того, мой радикализм суждений шел гораздо дальше, чем у него, а в академии нашей были хорошо заметны акценты диссидентского мышления.

Из женской части коллектива наиболее близка к нашей академии была Ида Львовна Баскина. Она преподавала литературу, была начитанной, хорошо знала современных авторов, мыслила радикально и всю нашу действительность оценивала так же, как и мы. Позднее, когда наступила хрущевская оттепель и начали издавать закрытых ранее авторов, у нее можно было взять для прочтения произведения Булгакова, стихи Мандельштама, а позднее и идущие нарасхват номера «Нового мира», редактором которого стал Твардовский.

Афанасий Георгиевич Янкин был физиком в школе № 99, а у нас он работал по совместительству и статуса «академика» не имел, был только «членкором». Он был значительно старше нас, но многие интересы его совпадали с нашими, и потому мы считали его близким к нашему кругу. Он любил выпить, сыграть в преферанс, сходить на футбол или иное какое-либо зрелище на стадионе. Все это было не чуждо и нам, особенно первое. В преферанс, впрочем, я не играл, отказался принципиально и даже не захотел освоить правила игры, которые мне предлагал преподавать Гохфельд.

Дело в том, что в молодости был заядлым картежником мой отец. Иногда он порядочно выигрывал, но чаще, видимо, все-таки проигрывал. Мой дед, конечно, знал это, давал ему взбучку, а когда я подрос, он взял с меня клятвенное обещание, что я никогда не буду играть в карты на деньги или другие ценности. Нарушил я это обещание только один раз. Это было в плену, в штрафной рабочей команде на песчаном карьере где-то в Вестфалии. Нам платили по 5 марок в месяц особыми бонами, выпускаемыми специально для военнопленных. Купить на них было абсолютно нечего, и я решил, что греха не будет, если спущу их в очко, ведь деньги-то не наши. Стал играть, и через два-три вечера все деньги собрались у двух игроков.

В команде было 28 человек, а всех денег, наверное, около 700 марок. Удачливыми игроками были я и парень из Курска по фамилии, кажется, Колосов. При последней встрече за ломбертом, которым служили нары, я решил пойти ва-банк — и мой партнер проиграл. На эти деньги я через возчика, привозящего нам пищу, купил несколько ящиков фруктовой воды и полную бричку свеклы, или бураков, и все это богатство разделил поровну. С тех пор в карты на деньги я больше не играл.

Вернусь к Янкину. Как я уже писал, у него была большая семья и он единственный из всех нас, некоренных свердловчан, имел квартиру. В войну он был офицером, а в Свердловск приехал после демобилизации. Работал много, в школе № 99 оборудовал физический кабинет, в котором активно и регулярно собирался кружок, состоящий из ребят, интересующихся физикой. В то время это было еще большой редкостью. По убеждениям он был типичным сталинистом, и мы часто с ним спорили, а иногда и ругались, но потом, когда культ был развенчан, он признался, что был не прав, что он не представлял себе истинных размеров сталинских преступлений. Вскоре он заболел раком пищевода и скончался в 1957 году.

В июне 1956 года вышло постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Почти вся интеллигенция встретила это постановление с большим энтузиазмом. Появилась надежда, что начнутся какие-то позитивные изменения в жизни нашего запуганного и забюрократизированного общества, а десталинизация будет необратимой. Но надежды эти стали постепенно развеиваться, пришло новое похолодание, а потом и вовсе наступил ледниковый период. В замороженной империи Брежнева уже и вовсе ничего не происходило. Одним из первых признаков регресса была травля Пастернака. Эта позорная акция достигнет своего апогея позднее, года через два, когда ему будет присуждена Нобелевская премия.

Но на календаре все еще 1956 год. В прессе много звону об успехах на целине. Там распахали несколько десятков миллионов гектаров пастбищ и залежалых земель и в этом году получили хороший урожай. Хрущев ликует и торжествует. Это была его идея — распахать целину в Казахстане и в Восточной Сибири. Но эйфория продолжа-

лась недолго. Оказалось, что хороший урожай на целине выдается только раз в четыре года. Кроме того, отсутствие дорог и хранилищ приводило в урожайные годы к порче большого количества зерна. Через несколько лет после распашки в этих степях начались пыльные бури, в 1965 году на огромном пространстве юга России машины днем ходили с зажженными фарами, а самолеты временами не могли летать. Стояла тьма от поднявшейся пыли. На территории 5 миллионов гектаров плодородный слой полностью был потерян. Теперь эта земля на много лет вышла из оборота. Такова цена непродуманных решений. Но когда ошибки стали очевидны, у власти находился уже другой «богдыхан» и спросить было не с кого. Персональная ответственность за глупые решения у нас не предусмотрена.

В связи с тем, что в институте иностранных языков был введен для изучения второй язык, преподавателей потребовалось больше. Заведующей кафедрой немецкого языка была тогда Марта Адольфовна Лауфер. Она меня знала, так как я сдавал ей раньше несколько экзаменов и зачетов по истории языка и исторической грамматике. Через В. А. Энера она предложила мне взять несколько часов в институте на правах совместителя. Я согласился. Такими же приходящими преподавателями были тогда В. К. Козлов, В. А. Энер, Волегов и еще кто-то из женщин.

Дали мне группу третьекурсников с факультета французского языка. Начинать, конечно, надо с фонетики по программе, рассчитанной примерно на месяц. В фонетике я знал не больше, чем холмогорский баран в философии, но раз назвался груздем, надо полезать в кузов. Пришлось учить, пришлось оберучь взяться за эту туманную для меня науку. Времени потребовалось гораздо больше, чем я предполагал, а зарплата всего 500 рублей в тогдашнем исчислении. Правда, те 500 рублей это не нынешние 50, но все-таки мало. Работа на первых порах оказалась малорентабельной, да и ехать до института не близко. Но вот фонетика, наконец, закончилась. Начались обычные занятия — лексика, грамматика, перевод. Стало легче, и так доработал до конца семестра.

В январе экзамен. Принимали его штатные преподаватели института, а нам разрешалось только присутствовать на нем. При одной неудовлетворительной оценке группа в целом довольно хорошо

сдала экзамен. Таким образом, я как бы получил моральное право и дальше работать в институте, но совмещать становилось все труднее, все чаще приходилось просить перестановку в расписании, так как уроки там и тут совпадали по времени, и я решил просить отставку сразу после экзаменов в моей группе.

И еще одно важное событие произошло в этом году. На самом исходе года, 2 декабря, мое семейство увеличилось еще на одного человека. Родился Коля, и теперь нас стало пятеро. Роды были трудными, и, видимо, только условия более или менее оборудованного городского роддома и квалификация персонала позволили довести их до благополучного исхода. После 27-дневного пребывания в роддоме Татьяна вернулась домой, и 1956 год ушел в небытие.

Кончились зимние каникулы в школе, а потом и в институте, где меня уговорили все-таки остаться до конца года. Не помню значительных событий в первой половине наступившего года. В дневнике записей почти нет, да и в памяти почти ничего не запечатлелось. Только маленькие радости в выходные дни и в праздники и не очень большие огорчения, связанные то с болезнью кого-либо из близких, то с какой-нибудь неприятностью на работе. Чувство неопределенности и страха, постоянное ожидание ареста или депортации постепенно исчезло. Оттепель набирала силу, дышать становилось легче.

Хорошо запомнилась весна 1957 года. В это время невидимой тучей нависла над городом эпидемия гонконгского гриппа. В конце мая была его первая волна, и я оказался одной из первых жертв. Ежедневные поездки в переполненном транспорте — хорошая возможность вдохнуть какой-нибудь нокаутующий микроб или вирус. Со мной так и случилось. Гонконгский вирус, как тогда утверждали, совершенно новый штамм вируса, возникший в результате мутации какого-то другого, может быть совершенно безвредного, вируса. Ни у кого не было иммунитета от него, поэтому он многих уложил и протекал тяжело, особенно у тех, кого захватила первая волна. Тогда всюду только о нем и говорили. Помню, в бане один старик рассказывал, что у него в семье болеют или уже переболели все и только сын-алкоголик оказался вирусу «не по зубам». Позднее я где-то прочитал, что алкоголики действи-

тельно успешно противостояли гонконгскому вирусу. Сам я лежал неделю. Перед этим в школе шли экзамены, а я сидел ассистентом на экзамене по немецкому языку. Все заметили, что вид у меня никуда не годный, я ушел домой и лежал пластом около шести дней. Вирус поджаривал меня словно на раскаленной плите, через неделю я встал — и только герпес на губах еще свидетельствовал о встрече с новым гонконгским вирусом.

Вскоре после этого, в июне 1957 года, вся страна была поражена сенсационной новостью. Мы были в деревне в это время, и однажды жена моего брата Васса Васильевна, работавшая бухгалтером в сельпо, сказала нам: «Слышала по радио, что Молотов и Ворошилов — враги народа». Я опешил: верить, не верить? Потом включил радио — и верно, все так и есть. Оказалось, что атаку против курса XX съезда начали семь членов политбюро, которое называлось тогда Президиумом ЦК, это Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин и Сабуров. Шипилов, не будучи членом президиума, просто «примкнул» к ним. Они, конечно, помнили о списках арестованных, где стояли их резолюции, и боялись разоблачения.

Много позднее, уже в 80-е годы, мы узнали, что жены Постышева и Косиора, например, были расстреляны по единоличной резолюции Молотова. Ежегодно сотни списков Ягода, Ежов и Берия представляли в политбюро ЦК для утверждения приговора, в каждом списке было от нескольких десятков до нескольких сотен человек, и ни один из списков не остался неутвержденным.

Юлиан Семенов в «Ненаписанных романах» приводит такой эпизод. Берия передал секретарю Сталина Поскребышеву список с 493 лицами, которых предполагалось арестовать и уничтожить. Среди них Поскребышев обнаружил имя своей жены. Он заплакал и на коленях пополз в кабинет Сталина просить о сохранении жизни своей жены. «Мудрейший вождь» и «великий гуманист» утешил своего секретаря, проработавшего с ним около 20 лет, тем, что мы де найдем тебе другую жену, русскую, и она будет лучше, чем эта. Словно речь шла о кобыле, а не о жене. Спасти жену Поскребышеву не удалось, но самое удивительное в этом эпизоде все-таки то, что и после этого он, как ни в чем не бывало,

продолжал работать секретарем в приемной Сталина. Не означает ли это, что все сталинское окружение состояло из пигмеев, боявшихся даже пикнуть, и все они достойны своей участи? Жена Калинина 10 лет провела в лагерях, то же — у Молотова, у Кагановича был арестован брат, но все они воскурляли вождю фимиам, пресмыкались и не смели ослушаться. И это твердокаменные большевики из когорты нестигаемых, это верные ленинцы! Ведь будь тот же Поскребышев хоть чуточку человеком, он должен был бы раскроить череп вождю мирового пролетариата первой же попавшейся табуреткой или просто задушить этого тщедушного грузина, который и роста-то был небольшого, всего 160 сантиметров. Но он не сделал этого, и народ продолжал платить свою страшную дань этому людоеду.

Но вернемся пока в деревню. На календаре конец июня. Лето стоит прекрасное: в лесу много ягод и грибов. В Каргаполье тогда жил мой двоюродный брат Иван Андреевич Попов. У него был двухместный мотоцикл, на котором он поочередно десантировал женщин к Стрелковому озеру, а я на велосипеде двигался сам. Так мы добирались до озера, где собирали клубнику, вишню и черемуху, а потом так же, «скачками», возвращались домой.

Позднее Иван переехал в Курган и изолировался от всех родственников. Особенно большие нелады были у него со своим братом Александром. Постепенно всякие отношения прекратились и с нами, хотя я совершенно определенно могу утверждать, что не по моей вине. Во время моего последнего приезда в Курган, это было в начале 80-х годов, я позвонил ему из гостиницы «Москва». Мне ответили, что он в ванной. В номере был телефон, я продиктовал свой номер и попросил передать ему, чтобы он позвонил мне в гостиницу. Но звонка не последовало. Так среди житейского моря окончательно исчез с моего горизонта еще один человек — мой родственник Иван Андреевич Попов.

Некоторые симптомы предстоящего разрыва были слегка заметны, впрочем, и ранее. В войну он не был на фронте, а обретался где-то в Сибири и на Дальнем Востоке в погранвойсках и был там каким-то «опером», то есть представителем бериевского НКВД. Некоторые его рассказы мне не очень нравились, и я не скрывал

этого. Может, это содействовало отчуждению, но оно все-таки не могло быть единственной причиной, так как и с моим братом Иваном впоследствии он тоже оборвал всякие связи.

Каргаполье и соседние с ним районы издавна славилась маслоделием. То ли пастбища, то ли вода или, может быть, мастерство маслоделов всегда обеспечивали изготовление высококачественного масла. До войны я и сам некоторое время работал на маслозаводе в Далматово будучи практикантом техникума, и мы производили тогда 9-балльное масло, а это очень высокий балл. Этим летом в Каргаполье продавали масло с местного завода, и оно было таким ароматным, вкусным и приятным по консистенции, что им не могли нахвалиться. В городе мы такого масла, конечно, не видели. Но в последующие годы масло с Каргапольского завода здесь уже не продавалось, все куда-то уходило, словно в песок.

В самом конце июня в газетах была опубликована речь Хрущева, в которой он, со свойственным ему хвастовством, заявил, что по душевому потреблению молока, мяса и масла мы догоним и перегоним Америку через два-три года. Вскоре, как в деревне, так и в городе, появились размалеванные таблицы с диаграммами: сколько и чего у нас будет в 1960 году. Но прошел 60-й год, а потом и еще почти тридцать лет. Америка с ее рыночной экономикой по-прежнему ест мясо и масло, а мы со своим передовым плановым ведением хозяйства, со своими болтливыми и беспорочными лидерами, несмотря на все преимущества социализма, стоим в затылок друг к другу, чтобы купить установленные граммы по карточкам.

Из деревни мы вернулись в конце июля. В это время как раз начали появляться телевизоры. Кое у кого из наших знакомых уже были «КВН» с линзой и водой. Изображение на них было неважное, экран маленький, работали они плохо и часто выходили из строя. Поэтому и расшифровали аббревиатуру КВН так: купил, включил, не работает. Но этим же летом стало слышно и о другой модели, она была получше, а экран побольше. Это был «Рубин». Я решил приобрести именно его, но купить его «просто так» было, конечно, невозможно. В магазинах они вообще не появлялись, их разбирали прямо с базы.

Татьяна тогда работала в 46-й школе, завхозом там был разбитной и пронырливый Бишов. В деле доставания и пробиования он был почти незаменимым человеком. Если бы ему поручили, он, кажется, мог бы достать партию обезьян в Воркуте или выбить фонды на лечение в жарком Ашхабаде и не потребовал бы за это много. Всего одну-две бутылки водки. Выпить он был великий мастер. Вот этот человек и достал мне «Рубин» прямо с базы, а в магазин заехали только за тем, чтобы оформить документы и зафиксировать дату продажи на случай гарантийного ремонта.

После этого я его хорошо угостил и поехал проводить до дома, поскольку мозжечок его был в сильно расстроенном состоянии. Но, проехав пару остановок на трамвае, он решил ехать не домой, а куда-то в другое место. Мое присутствие, то есть сопровождение, стало для него нежелательным, и я оставил его одного. На остановке «Третий километр» уже много лет стояла непросыхающая лужа, а сейчас, в августе, она была особенно полноводной, воды в ней было по колено. Бишов, как я потом узнал, вышел из трамвая и сразу же завалился в эту лужу. Его доставили в милицию и дали 15 суток. Потом я его не раз встречал и он, улыбаясь, всегда вспоминал, как «хорошо мы тогда клюкнули».

Антенна к телевизору не прилагалась, а попытка применить самодельную комнатную не давала результата. Изображение было плохим или исчезало вовсе. Я уже начал думать, что напрасно выбросил 2600 рублей. Но потом антенну удалось купить. Янкин помог мне припаять штекер, и телевизор стал работать лучше. Служил он у нас долго. Один раз сменили кинескоп, работал не безупречно, но все-таки работал вплоть до 1975 года. Потом мы его сдали и взамен купили цветной «Электрон», которому в июне 1988 года исполнилось уже 13 лет.

Мир, видимо, так устроен, что когда у человека кончается одна забота или неприятность, как тут же начинается другая. Впрочем, может быть, это распространяется не на всех людей. В начале сентября заболел Коля. На лице появилась диатезная сыпь. Покраснело и чешется все лицо, ребенок не спит, а радикально помочь нечем — только ждать. Может быть, поможет время и иммунные силы

самого организма. В народе диатез называется золотухой. Медицина в то время лечить его не бралась.

В школе № 46, где работала Татьяна, неожиданно сократили один класс, учебная нагрузка у нее упала до 14 часов в неделю. Если учесть, что других доходов у нас не было, то это сокращение тоже не доставляло много радости. Надо сказать, что я сам был виноват в том, что сокращение провели за ее счет. Директором у них тогда была Бушманова. Работать с ней вместе мне не приходилось, но мы не раз сталкивались на заседаниях райкома профсоюза, поскольку в течение примерно восьми лет я был его членом. В те годы путевок нам давали всегда немного, примерно одну на 80 членов профсоюза. Если объективно их распределять, то каждый мог получить путевку один раз за 80 лет. Из газет мне было известно, что, например, в Госплане на 1500 работающих ежегодно выделяется 1500 путевок и все на летние месяцы, а поскольку все работники враз уехать не могут, то многие просто продают путевки по спекулятивным ценам. Военные тогда получали одну путевку на 6—8 человек, работники заводов — на 15—20 человек, а вот учителя — на 80. Таковы были нормативы «социальной справедливости».

В нашем районе в самом начале 50-х годов председательствовал в райкоме А. И. Курбатов. Путевки распределялись келейно, учителя и даже некоторые члены райкома союза ничего не знали о том, как они распределяются. Путевки доставались Бабуриной, директорам школ и еще, может быть, кое-кому из членов райкома. Одним из постоянных «пенсионеров» райкома союза, наряду с Бабуриной, была Бушманова. С 1956 года, когда председателем был уже Матвеев, а я числился его заместителем, было решено упорядочить систему выдачи. Посоветовавшись с некоторыми коллективами, мы стали распределять путевки по школам пропорционально числу членов союза в школе. А далее школа уже сама решала, кому дать эти путевки.

Однажды, это было в 1955 или 1956 году, на заседание райкома союза пришла, не будучи его членом, Бушманова. Она довольно настойчиво начала требовать себе путевку на какой-то определенный курорт, хотя все путевки были уже давно распределены и многие выданы. Матвеев, в то время капитан в отставке, бывший

военный, служивший начфином какой-то части, в районе был человеком новым, людей знал мало. Он начал было давать какие-то туманные обещания: мол, может быть, дадут какие-нибудь дополнительные путевки и тогда... Но тут я попросил казначея уточнить, не получала ли Бушманова путевки за последние три-четыре года. Та посмотрела и тут же назвала курорт и дату, когда была получена последняя путевка. Все переглянулись, но молчат, я же заметил, что из профсоюзного котла все должны черпать примерно одинаковой ложкой. Балазович добавил, что перед профсоюзом, как перед Богом, все равны. На этом и закончилась «пресс-конференция» с Бушмановой. Кто-то из присутствующих добавил, что ранее Бушманова работала в железнодорожной школе и получала путевки почти ежегодно. Не имея ни малейшей возможности как-то ущемить меня, она решила перенести возмездие на мою жену и определила ей столь маленькую нагрузку, какой ни у кого другого не было в школе.

А между тем на большой сцене произошло важное событие: 4 октября 1957 года в нашей стране был запущен первый искусственный спутник Земли. Надо было быть свидетелем этого события, чтобы представить себе, сколько звону, шуму и хвастовства, сколько сарказма было отпущено по адресу американцев, которые в этом отстали. Спутник весил 83 килограмма и обращался вокруг Земли за 1 час и 36 минут. Тогда это сильно впечатляло и, бесспорно, было большим достижением наших ученых и инженеров. Приблизительно в это же время американцы запустили ракету, которая, поднявшись на 350 километров, не облетев вокруг Земли, где-то упала на Землю. Хрущев заявил, что они еще находятся на стадии прыгания, а мы уже летаем.

Свой первый спутник американцы запустили только через четыре месяца — 2 февраля 1958 года, и весил он всего 14 килограммов. Ракета «Сатурн», которая позволила им потом высадиться на Луне, будет создана только к 1964 году. Президент Эйзенхауэр мало верил в возможность запуска спутников в ближайшие годы и тормозил эти работы, не обеспечивая достаточного финансирования. Эту ошибку пришлось исправлять 35-му президенту США Джону Фитцджеральду Кеннеди, который в 48-минутной речи убедил сенат и народ в необходимости финансировать проект «Апол-

лон», с тем чтобы через 10 лет забросить человека на Луну и благополучно вернуть его обратно.

Начало 1958 года ознаменовалось в нашей стране отменой выпуска и насильственного распространения государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР. Люди вздохнули с облегчением. Но облигации займов за предшествующие годы консервировались на 20 лет. Отменялись как тиражи, так и погашение. «Дорогой Никита Сергеевич» выступил где-то в Горьком и объявил об этой консервации от имени трудящихся, но тут же пояснил, что капиталистам этого не понять. Так свершилось великое ограбление народа — миллиардов, примерно, на 300 в том стоимостном выражении рубля. Потом, лет через 15, когда сам Хрущев уже вышел в тираж, облигации стали все-таки погашать, но по капле. Заем каждого года погашался в течение двух-трех лет по эквиваленту 10:1. Но получали в основном уже не те люди, которые выплачивали.

Другим интересным событием этого года было присуждение Нобелевской премии Б. Л. Пастернаку, за которым и последовала его вселенская травля в литературных кругах и на всех уровнях разбухшего пропагандистского аппарата. Премия Пастернаку была присуждена за всю его литературную деятельность и за роман «Доктор Живаго», опубликованный в Италии. Написан был роман за два года до этого, кажется в 1956 году, когда писателю стало ясно, что не оправдываются ожидания перемен после победы в войне. Рукопись романа была отдана сначала в журнал «Новый мир», но журнал отказался ее печатать. Редакция в составе Агапова, Лавренева, Федина, Симонова и Кривицкого написала и опубликовала осуждающее письмо, в котором обвиняла Пастернака в том, что в романе у него революция «не удалась», что он предательски оклеветал советский народ, а марксизм попросту объявил ненаучным.

После отказа издать роман в СССР и после письма, которое было не чем иным, как доносом, Пастернак, видимо, махнул на все рукой и передал рукопись для публикации в Италии. Кроме редакции «Нового мира», роман никто не читал, но от этого не уменьшилось количество ослов, которые готовы были лягнуть поверженного льва. Почти все отзывы на роман в прессе начинались так: «Романа я не читал, но скажу...», и далее пожизненно ошеломленный «патриот» объ-

являл автора Иудой, человеконенавистником, циником, пасквилянтом, клеветником, изменником, предателем, отщепенцем, внутренним эмигрантом, озлобленной шавкой, лягушкой в болоте и т. п.

В октябре 1958 года в Москве состоялось общее собрание членов Союза советских писателей. Председателем собрания был С. С. Смирнов. Резолюция, принятая на этом собрании, поддержала решение руководства Союза писателей и лишила Пастернака членства в нем. Но этого было мало. Собрание обратилось к правительству с просьбой лишить его еще и советского гражданства. Семичастный, тогда он был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, в одном из своих выступлений сказал: «Паршивую овцу мы имеем в лице Пастернака, который взял и плюнул в лицо народу. Свинья не делает такого. Он нагадил там, где ел». Вот так выражались тогда первые и всякие другие секретари.

Через неполные два года Пастернак умер. На похороны многие приходили тайком, только Каверин, Тарковский и Паустовский пришли открыто. Жена Пастернака получила телеграмму соболезнования от шведского короля, а Д. Неру такую же телеграмму послал на имя Хрущева. На похоронах играл Рихтер, гроб несли на вытянутых руках, как Гамлета. Сестра Пастернака жила (и сейчас живет) в Оксфорде, и ей не дали визу на въезд. Речь произносил В. Ф. Асмус, известный литературовед и философ, за что его впоследствии хотели уволить из университета.

Вот такие сценки разыгрывались вокруг писателя в стране с «самой передовой и прогрессивной идеологией». В послесталинское время это была одна из позорнейших страниц в истории нашей культуры. Мы тогда в своем кругу так или иначе обсуждали эти события и ни один не высказался в духе Семичастного, а вот отзывы в прессе были все как один именно в таком духе. Сейчас, в эпоху гласности, мы хорошо понимаем, как это делалось.

В июне-июле я ездил на турбазу Ильменского заповедника. Мне было тогда уже почти 40 лет. Все мои ровесники, а также те, кто значительно моложе, просто сидели на базе и купались в озере, словом, вели себя как в доме отдыха. Я же, вместе с еще одним примерно моего возраста парнем, решил участвовать с молодежью сначала в радиальных походах, а затем и в зачетном походе на 200

километров по маршруту первой категории трудности. Маршрут пролегал по горам, подъемы были иногда тяжелыми, кроме того почти не переставая три дня шли дожди. Некоторые участники похода не выдерживали. Мне как старшему группы приходилось перераспределять груз: палатки, булки хлеба, консервные банки и прочее. Был в группе и врач, молодая женщина из Якутии. В первые дни она хорошо помогала туристам, стершим ноги или обгоревшим на солнце, но в последние дни уже сама не могла идти, и нам пришлось полностью освободить ее от груза.

Раньше я сравнительно легко выдерживал большие армейские походы. Но это было еще на том, на «довоенном берегу», почти двадцать лет назад. Теперь я решил проверить себя и проверку выдержал. Значит, еще есть впереди время. Вот теперь, когда я пишу эти строки, передо мной лежит «Удостоверение туриста СССР от 9 июля 1958 года». В нем сказано: «Сосновских Яков Андреевич прошел зачетным маршрутом первой категории трудности 198 километров при 9 ночлегах в полевых условиях». В ту пору Ильменское озеро было почти девственной красоты. Прилегающая территория еще в 20-е годы была объявлена минералогическим заповедником и поэтому в какой-то мере охранялась. Браконьеры, правда, орудовали там уже тогда, причем браконьеры из высокой сволоты, которым научные работники и охрана заповедника указать, по сути, ничего не могли. На лекции для отдыхающих директор заповедника рассказал, что только минувшей зимой два генерала из штаба местного военного округа убили двух оленей, а в войну дичь в заповеднике была выбита почти полностью и сделать что-либо в ее защиту было решительно невозможно.

Татьяна со старшим сыном Славиком, который в этом году должен был пойти в школу, ездили летом в Сочи. По рассказам, им удалось более или менее удачно устроиться у какой-то пожилой хозяйки и поездкой они были в целом довольны.

ШРМ № 33, в которой я тогда преподавал химию, вечерами работала в здании 99-й школы, а днем — в общежитии № 1 завода «Уралэлектроаппарат». С начала 1957/58 учебного года директором стала Александра Ивановна Федорова, а бывший директор Ю. И. Бай-Бородин был переведен в ШРМ № 37, которая полу-

чила тогда собственное здание — теперешний интернат для слабо-видящих детей, что на улице Краснофлотцев. В общежитии, где мы проводили уроки днем, не было даже учительской, раздеться было негде, ученики и учителя раздевались прямо в классах. С приходом Федоровой появились занавески на окнах, стало чище в классных комнатах, была найдена и комната для учителей. В школе запахло живым духом, стало уютнее. Бай-Бородина вся эта бесприютность трогала мало, а мы все думали, что сделать действительно ничего нельзя. Когда его перевели в ШРМ № 37, никто из нас не высказал большого сожаления, а попал он в школу с более комфортными условиями не за какие-то особые заслуги или дарования, а просто потому, что играл в преферанс с Николаевым. Одновременно с ним ушел из нашей школы и Гохфельд — тоже член той же картежной коллегии, его Бай-Бородин взял завучем. Так окончательно распалась наша «академия», просуществовавшая около четырех лет.

Между тем в рядах просвещенческих кадров в районе произошла некоторая перестановка. Заведующим районо стал Петр Васильевич Гришанов. Ранее он преподавал историю в ШРМ № 37 и, кажется, был там завучем во времена, когда там директорствовала Галина Михайловна Печерских, потом он работал директором интерната, а оттуда попал в районо. Он, как и я, бывший военнопленный, но, в отличие от меня, никуда не бежал, сидел в лагере, был освобожден нашими войсками и после прохождения проверки в СМЕРШ вернулся домой в Свердловск, где мы с ним и встретились впервые в конце лета 1950 года. Позднее ему удалось как-то адаптироваться к той обстановке, которая тогда царила в нашем обществе, удалось вступить в партию, что дало зеленый свет для дальнейшей карьеры. После районо он перешел на работу в пединститут, стал кандидатом наук, а в конце жизненного пути даже доктором по истории партии. Скончался он скоропостижно 6 августа 1987 года, инфаркт уложил навсегда еще одного из тех, с кем я начинал работу в Свердловске в 1950 году.

С улицы Донской, где у нас была одна комната на пять человек, 6 ноября 1958 года мы переехали на Баумана, 19 в две смежные комнаты общей площадью около 25 метров. Третью, большую по размеру комнату, получила Русакова, учительница географии

114-й школы, с мужем, тренером спортклуба УПИ, и сыном пяти лет. Комната им была, видимо, не очень нужна, так как жили они большей частью у родителей и только время от времени наведывались сюда, чтобы засвидетельствовать, что комната все-таки обитаема. Позднее они эту комнату на что-то обменяли, дав нам в соседи двух противных старух-евреек.

Эта «синагога», как я их называл, стоила мне немало нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. Непрерывный шлеп по коридору каких-то невероятных по размеру тапочек, постоянный запах жареной рыбы самых залежалых сортов, который почти невозможно выносить. Был у них телевизор КВН. Смотреть там почти нечего, экран ничтожный, но звук включался на полную мощность от самого начала передачи и до конца. Мне иногда приходилось вставать и вывертывать пробки: утром нам надо было на работу. Норма жилплощади в Свердловске, по заявлению председателя горсовета Муравьева, составляла около четырех метров на человека. У нас же получалось около пяти метров, поэтому рассчитывать на скорый разъезд со старухами не приходилось. Надо было приспособливаться, адаптироваться.

Работа в вечерних сменных школах в то время еще не была самой худшей. Регресс и дегенеративность были уже заметны, вранье и липа уже процветали, но в каждом классе еще были люди, которые пришли в школу не по принуждению и стремились к знаниям. Ради них и работали. Тогда еще можно было найти людей, способных пойти на районную, городскую или даже областную олимпиаду и что-то там решить. Команда из нашей ШРМ не раз занимала призовые места, а меня награждали грамотами. Однако тотальный кретинизм был уже не за горами. Деградация продолжалась, вранье усиливалось, порядочных учеников становилось все меньше.

Именно в такой обстановке в школах все шире стали развиваться «социалистические соревнования» и лавинообразно увеличивалось количество «изобретений», имитирующих бурную деятельность. Учительские коллективы брали на себя обязательства, которые на огромных планшетах вывешивались на видном месте. Среди обязательств были и такие: не опаздывать на работу, добиться качества 20—25 % (процент четверок и пятерок). И это тогда,

когда и на тройку-то знают единицы, когда работа делается почти впустую и КПД ничтожен. При этом появляется указание умышленно делать в расписании окна всем учителям, чтобы они больше могли посещать уроки друг друга.

Впервые я столкнулся с этим в школе № 37. Меня послали туда в качестве внештатного инспектора с целью посетить несколько уроков у А. П. Меньшиковой и дать заключение о ее работе. Взглянув на расписание, я увидел, что при небольшой средней нагрузке, не более 30 часов, у всех учителей очень много окон. Высказав учителям свое удивление, я услышал, что у них завуч специально делает так, чтобы усилить взаимопосещаемость. Заметив, что им можно позавидовать, а их завуч мог бы стать хорошим экспонатом на выставку достижений народного хозяйства, я сказал, что высшая форма административного кретинизма до нас еще не дошла, возможно потому, что наша школа находится несколько дальше от руководящих центров просвещения. Но через несколько дней то же самое я услышал и от своего завуча: окна, взаимопосещение. Пришлось объяснить завучу, что на уроки к своим коллегам пойду, если она мне укажет, у кого и чему я должен поучиться, а что касается окон в расписании, то их должно быть не более одного-двух в неделю. В противном случае буду считать, что завуч не умеет составлять расписание.

Мое расписание осталось без изменений. Предложили только сделать экран успеваемости и посещаемости. Это тоже было новшеством, изобретенным для имитации нашей бурной педагогической деятельности. Вскоре все вывесили экраны, в которых не отражалось никакой реальности, поскольку в соревновании по социалистически все хотели выглядеть не хуже других. Однажды я пришел к начальнику какого-то цеха паровозоремонтного завода, принес ему сведения о посещаемости и успеваемости учащихся — рабочих этого цеха. Там были графы: учебных дней за семестр столько-то, пропущено столько-то. У одного учащегося из 65 дней было пропущено 60, но аттестован он по всем предметам положительными оценками. Начальник спрашивает: «Как это они у вас за пять дней успевают все выучить?» Отвечаю: «Это очень трудный вопрос, сам размышляю над этим уже не один год и все не могу понять, кому и зачем все это надо».

Но начавшееся умопомрачение в школе не ограничивалось только фиктивным соревнованием, липовыми отчетами, фальшивыми экранами и окнами в расписании для перманентных взаимовизитов. Оно шло дальше. В некоторых школах начали разводить кроликов, чтобы сдавать мясо государству, в других развели кур, начали обязывать городских учащихся заготавливать траву и т. д. В нашем районе 107-я школа однажды на районную учительскую конференцию доставила петуха в специально сколоченной деревянной будке. Петух даже пропел несколько раз, и его рулады громко раздавались под сводами дворца культуры УЗТМ.

В райкоме союза в том году я был председателем конфликтной комиссии. К нам часто поступали жалобы от техничек на то, что им недоплачивают. Уборку они ведут на площади, которая должна оплачиваться полутора или даже двумя ставками, а им платят одну. Мы, конечно, проверяли и всегда находили, что жалоба обоснована и подлежит удовлетворению. Как правило, дело на этом и кончалось — жалобщик получал то, что ему положено. Проверить это нетрудно: площадь классов и коридоров в школе известна, норма на ставку тоже. Только в 107-й школе так просто дело не решалось. Правила там тогда Сазыкина — большой любитель выпить и закусь за чужой счет. Жалобы из этой школы шли косяком. Сторожем и на раздевалке работал Филимоныч, который хорошо знал и понимал, что там происходит, но жил он в школьной квартире и все терпел, боясь, что выгонят и жить будет негде. Но потом он пришел ко мне домой и рассказал все подробно. Разобравшись в махинациях, мы предложили Сазыкиной оплатить все сполна, пригрозив, что в противном случае приказ о нарушениях, а фактически о преступлениях, будет доведен до сведения всех коллективов района. Только после этого, и то временно, поток жалоб прекратился.

В конце августа 1958 года начались работы в коллективном учительском саду. В нем получили участки около 30 человек, по три сотки каждый участок. Начали работу 22 августа по раскорчевке полузасохших деревьев и установке забора на площади будущего сада, а закончили ее поздней осенью. Каждый отработал не менее 120 часов.

Главными распорядителями работ были Н. С. Дорохин и Степин, работавший военкомом Куйбышевского района. Они же

оформляли в инстанциях и юридический статус сада. В этом году саду исполнилось уже 30 лет, и все это время он был частицей нашей жизни, источником небольших радостей или огорчений. Учредителей сада сейчас уже осталось очень мало. Одни продали свой участок, другие умерли, оставив его своим наследникам. Приходят новые люди, большей частью уже не учителя.

Председателем сада долгое время был тот же Н. С. Дорохин. О нем стоит немного сказать. В Свердловске, вернее в нашем Куйбышевском районе, он появился, кажется, в 1951 году и заврайоно Бабурина сразу назначила его директором 107-й школы. В те годы мне нередко приходилось забегать в ресторан «Отдых», так как поблизости не было ни одной столовой, и там частенько можно было встретить Дорохина, всегда под изрядным градусом. Тогда он был большим любителем «клюкнуть», а точнее сказать — уже алкоголиком. Выпив, он любил поговорить и рассказывал иногда такое, что лучше бы он молчал. На одной из первых наших встреч он рассказал, как боролся с врагами народа, когда еще до войны работал замзавоблоно. Самого завоблоно он, конечно, тоже сразу разоблачил. Тогда, в 1951 году, подобные вещи еще можно было ставить себе в заслугу. Позднее с директорства его пришлось все-таки снять, так как бороться с врагами было уже менее необходимо, а пил он по-прежнему слишком много. После этого он работал рядовым учителем и в порядке совмещения руководил становлением сада. Здоровье его в последние годы сильно пошатнулось, пить он бросил и стал абсолютным абстинентом, но возраст в это время был уже предпенсионный. Работу в школе он оставил сразу по достижении соответствующего возраста, но продолжал еще работать в обществе «Знание» в качестве председателя и лектора. В наличии некоторых организаторских способностей и склонностей ему не откажешь.

Во время закладки сада осенью 1958 года как раз вышло постановление Совета министров и ЦК КПСС о развитии пригородных совхозов. В нем, в числе прочего, ставилась задача довести цену картофеля до 20 копеек за килограмм. Некоторые даже начали рассуждать о том, что сад затевать не имеет смысла, все будет дешево и всего будет навалом. Споры по этому постановлению вспыхивали много раз. Я утверждал, что пройдет три-четыре года, о постанов-

лении забудут, издадут много других, а цена картофеля как была около рубля за килограмм, так и останется. Так что сад лишним не будет. Дорохин хоть и не собирался бросать сад, но был самым горячим сторонником и защитником всего того, что утверждалось в постановлении. После этого еще примерно в течение восьми-девяти лет я ежегодно осенью спрашивал его: «Почем нынче картошка? Скоро ли установится 20-копеечный картофельный рай в нашей империи?» Отвечать было нечего. Кроме веры в постановления, надо еще, чтобы кто-то работал, хотя бы на тех же картофельных полях и складах, где собранная картошка наполовину сгнивает. Теперь Дорохина уже нет, не удалось ему дожить до полного краха своих надежд и верований. Впрочем, может и не было никакой веры, а был просто конформизм и привычка выступать в соответствии с установившимися лозунгами.

Вследствие перенесенной ранее цинги у меня стало плохо с зубами. В стоматологии очереди, к врачу трудно прорваться даже с острой зубной болью. А протезирования и вовсе будешь ждать месяцами или даже годами, если нет льгот или блата. Помещение тесное — две квартиры в обыкновенном доме. В комнате ожидания не хватает мест, чтобы присесть. Тут же свалены мешки с цементом, которые занимают почти половину комнаты. Помещения для врачей и протезистов тоже тесные и неудобные. Когда я рассказал одному стоматологу, что в Америке любой протез делают за два часа, он ответил: «У них там для этого целые фабрики. Все делается при помощи электронно-вычислительной машины и почти ничего руками. Вот попробовали бы они здесь изготовить протез за два часа! Тут их хватит инфаркт через день работы».

Если наше отставание в экономике и многих областях науки оценивается в 10—20 лет, то в лечении зубов оно, наверное, потянет на полвека. Чего стоят только допотопные сверла с рычагом, от одного вида которых душа уходит в пятки. Невозможность попасть к врачу даже под эту гильотину всегда вынуждала меня не лечить, а удалять зубы, что я и завершил примерно к пятидесяти годам. Отставание в протезировании я не берусь оценивать даже приблизительно. Тут уже надо сравнивать не с западными странами, а с Эфиопией или Нигерией, тогда, может быть, мы окажемся на уровне.

Заметным событием 1959 года была поездка Хрущева в Америку. Состоялась она в сентябре, ШРМ еще не работала, многие ученики были в колхозах, но учителя уже все в сборе и мы с большим интересом следили за этой поездкой. Вот передо мной фотография: Хрущев в Гайд-парке возлагает венок на могилу Ф. Рузвельта. Рядом жена Рузвельта и еще много людей, видимо в основном американцы. Хрущев шагает бодро, штаны широкие, по этому показателю он явно обставил американцев. Голова голая, как коленка, смотрит вниз, как бы печален немного. Возложение венка на могилу церемония все-таки не очень веселая. А вот другая фотография: Хрущев на трибуне в большом зале Организации объединенных наций. На той самой, где он снимет ботинок и будет стучать им по трибуне, чтобы призвать слушателей к порядку, и где он произнесет свою знаменитую фразу: «Мы вас похороним». Президентом США был тогда Эйзенхауэр. Встреча с ним проходила в загородной резиденции президента, расположенной где-то в живописном лесу недалеко от Вашингтона, построенной в годы войны. До войны Рузвельт обычно отдыхал на яхте, которая по реке Потомак выходила в океан, но в войну это стало опасно. Первоначально лагерь назывался Шангри-Ла. Это название заимствовано из романа Хилтона «Потерянные горизонты», но потом Эйзенхауэр изменил его на Кэмп-Дэвид по имени своего внука Дэвида.

Год 1960-й начался с эпизода, который опять свел нас с американцами и в какой-то мере содействовал взаимопониманию и сближению. Где-то на Дальнем Востоке, кажется на Курилах, сорвало с причала и унесло в море баржу с солдатами. Носило их в море около 18 дней, а запас продовольствия был всего на два дня. Они съели все ремни и даже гармошку, потеряв в весе по 15—16 килограммов. Наконец, они были замечены с американского самолета, подняты на борт корабля, где им была оказана медицинская и другая помощь. Этот эпизод широко и шумно освещался в печати, а четверо солдат — Зиганшин, Крючковский, Поплавский и Федотов стали на некоторое время героями.

Но если это событие можно расценивать как содействующее взаимопониманию между нашими странами, то другое, случившееся через четыре месяца после этого, привело к явному осложне-

нию отношений и к противостоянию. Речь идет о самолете, сбитом 1 мая 1960 года в районе Свердловска. Это был разведывательный самолет типа У-2, пилотируемый Ф. Пауэрсом. Такие полеты, как мы сейчас знаем, совершались не раз, но сбить самолет не удавалось, и потому о них молчали, а на этот раз все-таки сбили. Пауэрса взяли живым. В газетах было очень много шума и раздражения. Не состоялась запланированная встреча в верхах между Хрущевым и Эйзенхауэром. О том, что сначала сбили свой самолет и уж только потом американский, конечно, не сообщалось. Знать об этом нам в ту пору не полагалось. До гласности было еще очень далеко, около 25 лет.

А дни все бегут и бегут. Приближается мое сорокалетие. Это вроде бы расцвет и трудовой, и творческой деятельности, но все еще я ничего не сотворил. Живу в коммунальной квартире со старухами-еврейками. Зарплата тоже невелика, сводим концы с концами в основном только благодаря ограничению своих потребностей и максимально предельной учебной нагрузке, которую обычно удавалось, хоть и не без труда, получить. В долг я никогда не брал ни у кого ни одного рубля и жене запретил брать без моего разрешения больше трех рублей. Терпеть не могу людей, которые любят подзаниять, а потом тянуть с отдачей, да еще и спрашивают: «Так сколько я тебе должен?» Как будто это не его обязанность помнить, сколько и кому он должен. Такие мне встречались не раз и не два. Как правило, это во многом неважные людишки, полагаться на которых ни в чем нельзя. Честность в расчетах — это все-таки важный критерий в оценке человека.

В саду после каких-либо общественных работ или после субботника мы иногда сбрасывались по два-три рубля, чтобы немного выпить. В те годы это было просто и купить можно было рядом. Почти всегда у некоторых на это не было денег, просят: «уплати за меня» или «дай рубль, рубля не хватает». Обычно даешь, но чтобы потом сами вернули — почти никогда, нужно напомнить, а если не напомнишь, считай, что деньги пропали. Что это? Амнезия или расчет на таковую у кредитора? Когда говорят, что Русь уже не та и люди у нас уже не те, то с этим я, в сущности, согласен. Вопрос только в том, в какую сторону изменилась Русь и люди. Безусловно, не в лучшую.

Десятки лет мы подгоняли жизнь под лозунги. Были «ростки коммунизма» — бригады и коллективы коммунистического труда, кассы без кассиров, общественные конструкторские бюро, курсы подготовки в институт на общественных началах, но все эти ростки завяли, так и не успев расцвести, так как все это было искусственно и фальшиво. Общество было к этому совершенно не готово. Хрущев слишком спешил к коммунизму, но истории нельзя навязать свою волю. Она развивается по своим законам, и от того, что мы их не знаем, их объективность и неумолимость не уменьшаются. Пытались, например, вместо личных машин ввести прокат, но дело это быстро замерло; вместо личных садовых или дачных участков предполагалось построить пансионаты, но и с этим ничего не вышло. Стремление к собственности, к своей даче, машине, корове или библиотеке запрограммировано генетически, и никакие догмы никаких классиков не смогут это стремление заглушить или подавить.

Памятуя об известном изречении, что человек состоит из трех элементов — души, тела и документов, я решил в этом году собрать бумаги, необходимые для установления стажа. Приближается время, когда мой педагогический стаж достигнет 25 лет. После этого должна немного повыситься и ставка, но в моей биографии, а следовательно и в стаже, много неясного и документами не подтвержденного. Написал в Воркуту, в Министерство внутренних дел, в юридический отдел «Учительской газеты». Два года пребывания в Воркуте в стаж не засчитали, а значит, ожидаемое повышение зарплаты отодвигается на 1963 год.

В январе 1961 года была проведена денежная реформа. Один новый рубль эквивалентен теперь десяти рублям старым. Покупательная способность его теперь стала значительно больше, и некоторое повышение в зарплате было бы хорошим стимулом для понижения кровяного давления. Реформа эта, в сущности, была следствием скрытой инфляции, которая от этого, конечно, не оставилась. Пройдет немного лет, и покупательная способность нового рубля опять будет падать.

В 1988 году, когда я пишу эти строки, покупательная способность рубля по сравнению с 1960 годом снизилась на 60 %. Это осо-

бенно бьет по старикам-пенсионерам, которые за годы своей работы сделали кое-какие накопления. Если у кого-то было в 1961 году в Сбербанке 10 тысяч рублей, то теперь он может приобрести на них столько товаров, сколько можно было приобрести тогда на 4 тысячи рублей. В других странах подобная потеря восполняется государством, но у нас нет. Не такое у нас государство, чтобы восполнять. Зато есть лозунг: «У партии нет других забот, кроме забот о благе человека», но это только лозунг, а в жизни все по-иному.

Кто-то сказал, что воспоминания обычно пишут тогда, когда уже ничего не помнят. И верно, вот я дошел до 1961 года и пытаюсь вспомнить, что было со мной и со всеми нами в этом году, и ничего не приходит на ум. Вроде и не было этого года вовсе. Припоминаю только, что именно в этом году наша ШРМ получила собственное здание, вернее один этаж в доме по Шефской, 15а. Теперь утром и вечером мы занимаемся в одном помещении. Не надо бегать из одного здания в другое, не надо таскать журналы. Стало удобнее. Помню, что вместе с Федоровой и Барминым, моим соседом, я ходил смотреть это здание. Бармин был тогда заместителем директора «Уралэлектрораппарата» по быту и от него зависело, отдадут нам первый этаж или нет. Отдали. Я выбрал комнату для химического кабинета, рядом с которой была еще маленькая комната, в которой можно было разместить препаратную. В этом кабинете мне предстояло проработать 10 лет.

Летом этого года я был в деревне. Зашел в Каргапольское районо в надежде получить справку о том, что я начинал тут когда-то свою педагогическую деятельность. Такая справка могла бы добавить мне полгода стажа. Встретил там двух своих бывших соучеников по Вороновской ШКМ — Гусева и Каргаполова. Они шли на один класс впереди меня и к близким моим друзьям не принадлежали, но знакомыми все-таки были. Они направили и даже проводили меня в районный архив, но там документов районо за 1937 год не оказалось. Можно было попытаться найти свидетелей, и тогда написали бы справку на основании их показаний, но я решил бросить все. Не так уж много эта справка мне бы добавила, а искать свидетелей дело не простое. В школе была одна учительница, но второго свидетеля надо было искать в пределах района.

Татьяна в это лето ездила на курорт Тимки. Ребята оставались с бабушкой. Сам я в ту пору больших недомоганий еще не чувствовал и не очень рвался на курорты и в поездки на дикие пляжные места. Тысячи голых тел, лежащих на горячем песке, всегда казались мне ужасающей нелепостью.

В октябре этого года состоялся XXII съезд партии, который, как и XX, был посвящен в основном разоблачению культа Сталина и его преступлений. На этом съезде, по предложению секретаря Ленинградского обкома партии, было решено вынести тело Сталина из мавзолея. Вынос состоялся ночью. За гробом шла только дочь Сталина Светлана Аллилуева. Гроб зарыли у стены без всяких речей и салютов. Сейчас на этом месте установлена плита и бюст. Так прошел 1961 год.

Дальше писать, думаю, не имеет смысла. Дальнейшая жизнь моя проходила уже на глазах взрослых моих сыновей и моих близких. Не скажу, что я описал все и рассказал обо всем, что в жизни со мною случилось. Жизнь слишком сложна и многослойна, и есть в ней зоны абсолютно запретные. Есть черта, через которую трудно переступить человеку даже наедине с собой.

МВД СССР

Управление

Комбината Воркутауголь

ОТДЕЛ КАДРОВ

„8 апреля 1948г.

Справка

Выдана тов. Сосновских Эдуарду

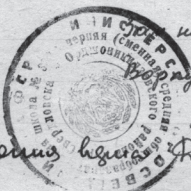
Андреевичу в том, что он нес службу

в комбинате Воркутауголь

и 6/44-222.

с 21 апреля 1946г. по 31 апреля 1948 года

в должности стрелка охраны и уволен из-за невозможности использования по военной специальности а выезде в Курганскую обл. Кургано-лесной р-он и что на основании постановления №3219 Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 декабря 1945г. „Об улучшении бытовых условий и расширении льгот для работающих в негостеприимном угольном бассейне и Чухломском комбинате МВД СССР исчисление стажа, дающего право на получение пенсии по старости, и инвалидности, за выслугу лет, а также для получения отряд и присвоение очередных званий один год считается за два года работы с 30 XII 45г.



наз управление комбината

Воркутауголь МВД СССР по кадрам

канотан

/Иванов/

Копия выдана. Директор имени Рубин

Справка из отдела кадров комбината «Воркутауголь»

Служебная характеристика.

На отряде Арктического Севера
Комбината «Воркутауголь» Сосновского
Икова Андреевича 1918 г. рождения
Сл. производство из. крестьян, с/х, образование
Среднее.

За время работы в Арктическом Севере
Комбината «Воркутауголь» с 1 апреля 1946 г.
по 28 апреля 1948 года в качестве мастера
зав. Вильямовской т.в. Сосновский, проявил
себя как дисциплинированный и активный
в выполнении служебных обязанностей
работник. За время своей работы
имел несколько благодарностей от
Командования. Постоянно работал над
повышением политического и общеобразовательного
знания. Индивидуальные задания не выполнял
исключительно сдержан, морально устойчив
Нарушений революционной законности не допускал.

Восп. Ком. д. на
В.В. Комитет
В.В. Комитет
по полит. части, 11.1.50

С.В. Комитет
С.В. Комитет

Служебная характеристика,
выданная на комбинате
«Воркутауголь»

Справка об окончании
Челябинского учительского
института

Справка

Зав. Научной частью Иова Андреевича
В.И. и, что он действительно по своему
учебным занятиям закончил Арктический
север 1919 года рождения и Арктический Север
Бетровых 1920 года рождения, окончил в 1930 году
Специальную учительскую школу по
Специальной биологической специальности
что и удостоверяет.

С.В. Комитет
С.В. Комитет
С.В. Комитет
С.В. Комитет

СЕРОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Свердловской области
ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО

18 августа 1950 г.

№ 6-42.

г. Серов

Справка

Дана настоящая учительская справка
биологии, химии, немецкого
языка Филькинской
семилетней школы Серовско-
го района Свердловской
области Сосновских Якову Андре-
евичу в том, что его трудовой
стаж в школе Серовского рай-
она составляет:

1. С 15 августа 1938 года по январь
1940 года учителем биологии
и химии в Андриановской средней
школе, откуда освобожден в связи
с уходом в РККА 12/1 - 1940 г.
2. После демобилизации из Советской
армии принят на работу
16 августа 1948 года на должность
учителя биологии, химии и

иностранных языков в Филькин-
скую семилетнюю школу.
Уволен в связи с переводом в
город Свердловск 17 августа
1950 года.

Зав. Районо: Е. Г. Гусев
Инспектор: Г. П. Лукин

Справка об учительском стаже в Филькинской
школе Серовского района



Дома
Каргапольский район. 21 августа 1949 г.



На добрую память от Татьяны Лумповой
18 июля 1947 г.



Группа экстернов и заочников
Свердловск, июнь 1952 г.

Выписка из зачетной ведомости

(без диплома недействительна)

Тов. **Сосновских Яков Андреевич** за время

пребывания в Свердловском государственном педагогическом институте иностранных языков 195 2 г. по 195 4 г. сдал экзамены и зачеты по следующим дисциплинам:

1. Основы марксизма-ленинизма.	ОТЛИЧНО
2. Политическая экономия.	ХОРОШО
3. Диалектический и исторический материализм.	-
4. Психология.	ХОРОШО
5. Педагогика.	ОТЛИЧНО
6. История педагогики.	ОТЛИЧНО
7. Школьная гигиена.	-
8. История страны изучаемого языка.	ОТЛИЧНО
9. География страны изучаемого языка.	-
10. Литература страны изучаемого языка	ОТЛИЧНО
11. Русская литература XIX в. и советская литература	ОТЛИЧНО
12. Введение в языкознание.	ОТЛИЧНО
13. Современный русский язык.	ОТЛИЧНО
14. Латинский язык.	ОТЛИЧНО
15. Второй иностранный язык (_____).	-
16. Методика преподавания иностранного языка.	ХОРОШО
17. Фонетика теоретическая.	ОТЛИЧНО
18. Фонетика практическая.	ХОРОШО
19. Грамматика теоретическая.	ХОРОШО
20. Грамматика практическая.	ОТЛИЧНО
21. Лексика.	ОТЛИЧНО
22. Перевод.	ОТЛИЧНО
23. Лексикология.	ОТЛИЧНО
24. Педагогическая практика.	ХОРОШО

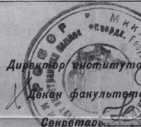
25. История языка.	Хорошо
26. Физическое воспитание.	-
27. Спелсеминар по педагогике.	-
28. Физическое воспитание.	-

29. _____

Сдал _____ государственные экзамены по следующим дисциплинам:

1. Основы марксизма-ленинизма.	ОТЛИЧНО
2. Иностранный язык.	ОТЛИЧНО
3. Педагогика.	ОТЛИЧНО

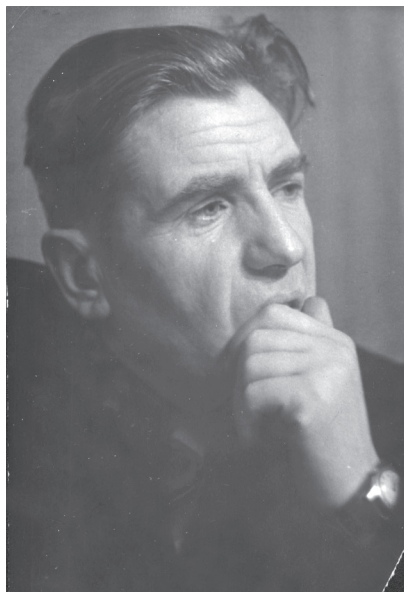
4. _____



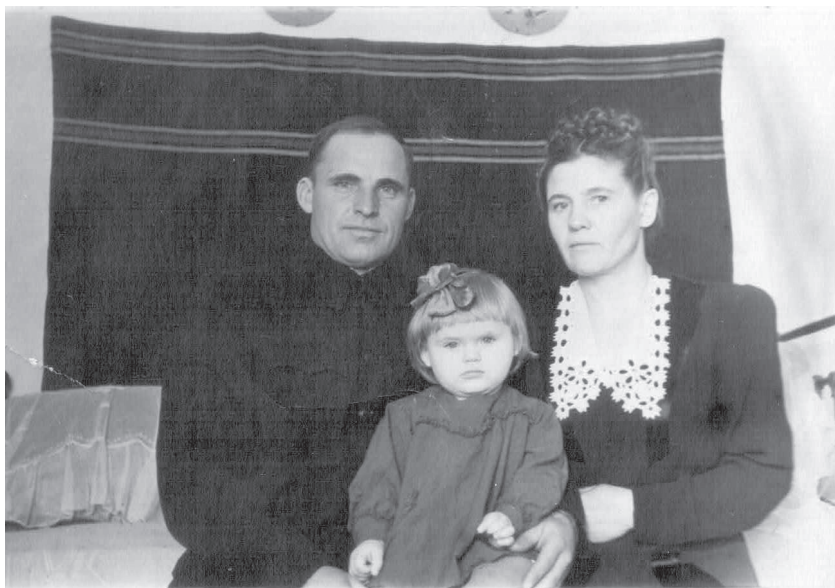
29. Июля 195 4 г.

Регистрационный № 841

Выписка из диплома об окончании института иностранных языков



Я. А. Сосновских
Конец 50-х годов



На добрую память брату Якову от сестры Натальи
Декабрь 1956 г.



Семья в полном составе
1958 г.



Поход в Ильменский заповедник
1958 г.



Урок в ШРМ № 33
14 января 1959 г.



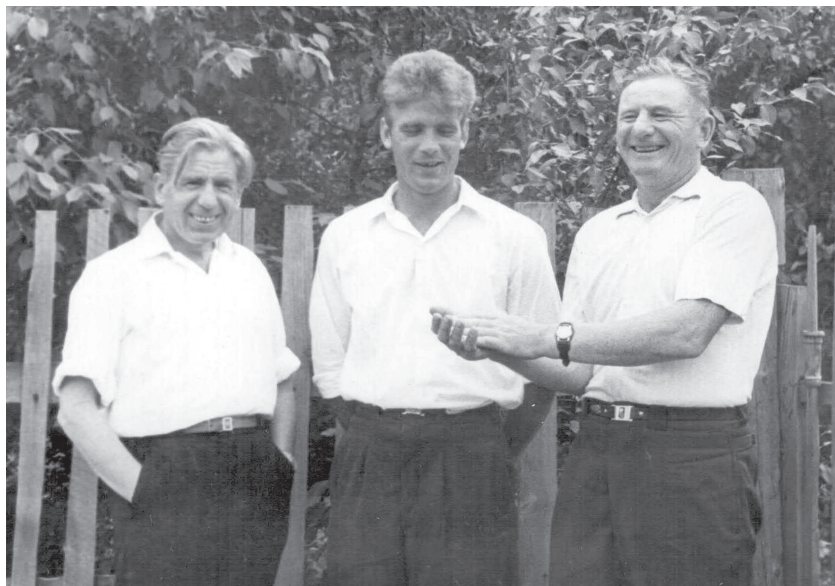
С учениками девятого класса ШРМ № 33
Начало 60-х годов



С семьей и друзьями
9 мая 1967 г.



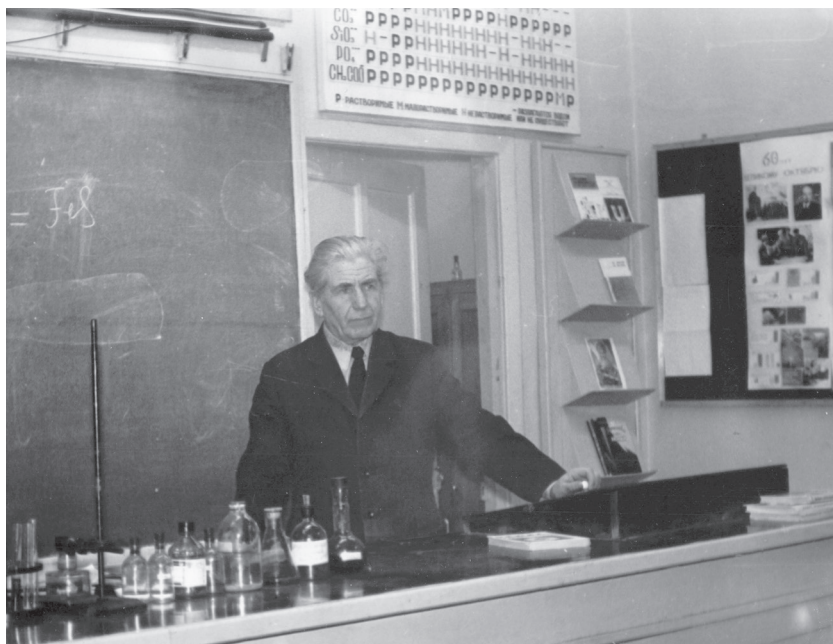
Младшему сыну Коле 11 лет
2 декабря 1967 г.



С братом Иваном и его зятем Леонидом
Июль 1967 г.



Выпускной в ШРМ № 37
Вторая половина 70-х годов



Урок химии
70-е годы



Внук Рома с бабушкой и дедушкой
26 декабря 1975 г.



Шахматный турнир
Февраль 1984 г.



Празднование дня Победы
Май 1987 г.



Правнук Сережа в колонне «Бессмертного полка»
9 мая 2019 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К СКАЗАННОМУ

Детство и юность

1

Зима 1929 года. Поздний вечер. На столе стоит керосиновая лампа. Я лежу на полатах. На кухне орудует моя бабушка Харитония Ивановна. Топится большая русская печь, собираются варить пельмени. Пришел отец, выпивши. Не раздеваясь, снял только шапку, со вздохом опустился на лавку.

— Ну, мои дорогие, положил я свою головушку на плаху, вступил в коммуну.

В доме поднялся рев, как на похоронах.

Так началась колхозная эра в нашей семье.

К 1932 году в стране было объединено в «кумынию» 19 миллионов дворов — это около 100 миллионов человек. И чумное облако вырождения повисло над русской деревней на много лет.

2

Мой двоюродный дядя Василий Иванович Сосновских был человеком сильным, красивым и статным. В Первую мировую войну он был офицером, награжден Железным крестом и именной шпагой.

К началу великого загона в «кумынию» ему уже было далеко за сорок. Кто-то из коммунистической бедноты настучал, что в соломенной кровле крыши у него спрятана шпага и еще какое-то оружие.

Ему стало известно об этом доносе. Не дожидаясь обыска и ареста, он бежал на Урал, как позднее оказалось — в Лысьву.

Там он работал на лесопильном заводе. Розыск, видимо, не был объявлен, и никто его там не тревожил. Через какое-то время он стал начальником, точнее директором завода. Перед войной, кажется это было летом 1940 года, он приезжал в деревню, уже не очень опасаясь репрессий.

3

В доколхозную пору в нашей деревне было десять семей, которые имели фамилию Сосновских. Две семьи жили на отшибе, дома остальных стояли все рядом. Это были не самые худшие дома, не самые маломощные хозяйства. Три семьи были раскулачены и изгнаны в ссылку, глава одной семьи бежал на Урал, не дожидаясь ссылки и раскулачивания. Остальные были признаны середняками и остались нетронутыми.

Раскулачены были два сына Алексея Николаевича Сосновских — Валентин и Иван и сам он с двумя младшими, еще не женатыми сыновьями. Валентин и Иван были сосланы, а сам Алексей Николаевич был выселен из дома и освобожден от всего своего имущества. Последние годы он доживал в нищете и лишениях.

Один из его младших сыновей, Александр, когда подрос, был принят в колхоз и работал первое время учеником сапожника, а самый младший, мой ровесник Костя, в колхоз не пошел. Он стал работать на лесозаготовках, и имя его тогда гремело. О нем часто писали в газетах как о самом лучшем стахановце. Мой отец рассказывал как-то, что на лесоповале они вдвоем едва успевали сделать столько, сколько Костя делал один.

Все четверо сыновей Алексея Николаевича были рослыми и сильными, особенно двое старших. На сенокосе, когда стоговали сено, каждый из них поднимал на вилах почти целую копну, а двухпудовой гирей они оба играли как резиновым мячиком.

Позднее, в войну, все они были взяты в армию и попали на фронт. Вернулся один Костя. После войны, немного где-то подучившись, он стал начальником леспромхоза, который часто ставили в пример другим.

Нашу деревню пересекают два ручья, стекающие с изрезанных оврагами окрестных возвышенностей. Через оба ручья перекинуты деревянные мосты. Во время обильных дождей или снеготаянья они наполняются водой и бурно стекают в реку Миасс. На берегу одного из этих оврагов в доколхозное время жил Александр Иванович Тремзин. За достоверность отчества, пожалуй, не ручаюсь, но фамилию и имя привожу точно. У него был взрослый сын, звали его в деревне Егорко Троегубов, так как верхняя губа у него была рассечена и казалось, что у него три губы. Он обладал диким и неукротимым нравом и был непременным участником всех пьяных деревенских потасовок. Тремзины были одной из наиболее зажиточных семей в нашей деревне, хотя никаких работников они никогда не держали и никого не эксплуатировали.

Зимой 1929 года Александр Иванович был раскулачен и сослан на Урал, а его сын бежал в леса. В компании с несколькими другими такими же парнями из разоренных семей он долгое время наводил страх на местных большевиков из комитетов бедноты. Считалось, что делом его рук был и поджог нашей деревни, в результате которого сгорели задворки в нескольких усадьбах, в том числе и нашей.

Сам Александр Иванович был сослан в Сухой Лог и работал там на цементном заводе. Образование его было всего два-три класса церковно-приходской школы, но это не помешало ему стать лауреатом Сталинской премии за 1939 год. В 1940 году он приезжал в деревню на побывку будучи опять много богаче, чем та коммунистическая беднота, которая его раскулачивала.

Поздняя осень 1931 года. Я ученик пятого класса школы колхозной молодежи (ШКМ), которая находилась тогда в деревне Вороново, в четырех километрах от моего дома. В сентябре и октябре занятия не проводятся. Под надзором учителей мы копаем картошку на колхозных полях.

Погода уже холодная, по утрам подстывает и под ногами хрустит корочка льда. Картофельная ботва уже давно пожухла и среди множества сорняков почти не видна. Руки исколоты осотом и жабреем, от сырости и холода стынут ноги. Лет нам по 12—14, но все мы работаем как взрослые, с утра и до вечера.

По дороге к полю подъезжает легковая машина, за ней еще две. Из первой вышли двое. Один в длинном кожаном пальто и в партийной кепке, другой в короткой куртке, тоже из кожи. Это Лазарь Моисеевич Каганович и нарком земледелия Чернов. Они приехали инспектировать уборочные работы и хлебосдачу в Уральской области. Поговорив минуты две с колхозным бригадиром и нашим директором, народные комиссары сели в машину и отбыли.

Через пару дней мы прочитали в районной газете о том, что несколько председателей колхозов и районных работников сняты с работы и преданы суду как пробившиеся в колхозы классовые враги и подкулачники, которые саботируют уборку урожая и сдачу хлеба государству.

6

Ранняя весна 1933 года, приблизительно середина марта. Я ученик шестого класса все той же Вороновской ШКМ. Школу немного расширили, передали ей еще два дома раскулаченных и сосланных на север крестьян. Голодуха страшная. Хлеба нет совсем. В колхозной столовой дают по куску какого-то суррогата, который мы называем скарлыком. Класс наш элитный. В нем собраны более сильные ученики. Выделялся Митька Жилин. Учился он легко почти по всем предметам, а по математике особенно. Отец его был комиссаром Шадринского уезда по продовольствию и был убит зажиточными мужиками во время реквизиции зерна в одной из деревень округа. Похоронен он в райцентре Каргаполье.

В классе висел бумажный портрет Сталина в деревянной рамке. Митька проткнул дырочку в портрете на месте рта и вставил туда кусок скарлыка. Первым заметил это наш физик Петр Ефимович Березин. Это был хороший учитель — тихий, добрый и много знающий. Но его отец был священником, и потому больших дорог ему не было.

Увидев портрет с куском скарлыка, Петр Ефимович сказал: «Что вы делаете, ведь это погубит нас всех!» — и вышел. Скоро пришел директор Геннадий Иванович Санников и с ним еще несколько учителей.

Спросили, кто это сделал. Митька сразу встал и сказал: «Я!»

— Что же ты делаешь, подлец! Разве ты не знаешь, за что боролся твой отец?

— Мой отец боролся не за то, чтобы его сын ел скарлык!

Из школы Митьку исключили, но недели через две вернули. Седьмой класс он закончил у нас с наивысшим баллом и продолжал потом учебу в Мехонской средней школе. С фронта Дмитрий Александрович Жилин не вернулся.

7

Каждый раз, когда я приезжаю в деревню и иду от своего старого родового дома к реке Миасс, я прохожу мимо ныне отремонтированного, а ранее сильно покосившегося домика в проулке. При этом мне вспоминается такая история. В далекие 30-е годы в этом домике жила Пелагея Васильевна Попова. У нее был взрослый непутевый сын. За воровство и пьянство он был посажен на три года. Жена его скоростижно скончалась, и остались трое детей. Старшему было около 15 лет. Дети остались с бабушкой Пелагеей, которой к тому времени было далеко за 60 лет. Голода-ли страшно, а весной особенно.

Работая в поле на посадке картофеля, она положила себе в корзину около семи картофелин и получила шесть лет. Скоро ее отправили в исправительно-трудовой лагерь, который лучше бы называть истребительно-трудовым. В лагере она прожила около недели и умерла. Дети остались круглыми сиротами.

А вот еще эпизод, столь же маловеселый, как и предыдущий. Опять весна. В колхозе идет посевная кампания. Многие культуры тогда сеяли еще вручную. Просто идет человек по полю с лукошком на плечах и разбрасывает семена, а потом бороной их заделывают в землю. Один из наших односельчан по фамилии Чегадаев сеял вику. Дома семья, внуки, а на кухне хоть шаром покати. Не удер-

жался старик, положил в карман горсть-другую чечевицы в надежде сварить потом похлебку, но не тут-то было. Какие-то активисты-коммунисты или комсомольцы из района устроили обыск всех занятых на севе и обнаружили у него в кармане две чайные чашки зерна. Составили протокол и передали бумаги в прокуратуру.

Не дожидаясь вызова к следователю, наш сеятель поднялся на геодезическую вышку и бросился с нее вниз головой. Смерть наступила мгновенно, суд не состоялся. Так было! Пишу без гнева и пристрастия.

Много лет спустя в своем знаменитом конфиденциальном докладе на XX партийном съезде Хрущев рассказал, как был принят закон «Об усилении ответственности за хищение социалистической собственности». Сталин взял перо и за две минуты написал закон. Никаких прений, никаких обсуждений. «Мудрейшие» не ошибаются.

8

Пашни нашего колхоза находились вдалеке от деревни, частично у Стрелкового озера, но большей частью еще дальше, на речке Табарке — в Дали, как тогда называли у нас этот пахотный клин. Речка невелика. Летом в иные годы она совсем пересыхает, но во время осенних дождей и весной при таянии снега она наполняется водой и образует поток шириной метров шесть. Однако пойма Табарки довольно широкая и вся она поросла тальником, ивой, черемухой и другими кустами. Наша семья имела там поля еще до колхоза, но основная часть нашей пашни находилась у озера и эта Даль всегда мне казалась скучноватой по сравнению со Стрелковым озером. Займка наша стояла на некотором расстоянии от речки, и леса поблизости не было. Другое дело у озера — там лес и вода, а в лесу много грибов и ягод. На озере уйма птиц и рыбы. «Красивая была пашенка», — как-то однажды сказала моя мать.

Но теперь колхоз, в нашей деревне их даже два. Пашни у озера отошли колхозу «Комбайн», а нашему колхозу «Красный Пресс» досталась Даль. Летом 1934 года мы, подростки, почти все лето жили в Дали. Сначала пололи сорняки, потом работали на сенокосе, сгребали траву. Лет нам было 12—15, но работали как взрослые.

Во время уборки возили снопы и складывали их в скирды. Один подает снопы вилами, другой выкладывает их, привозим, разгружаем и снова в поле. Кормили плохо и мало. Мы все время были голодные и при малейшей возможности старались заглянуть в лесок в надежде найти гриб или пощипать немного ягод.

Председателем колхоза был в то время Павел Андреевич Со-сновских, наш сосед и родственник. Человек он был хороший, нам сочувствовал, но почти ничем не мог помочь. Колхоз был начисто ограблен плановыми хлебопоставками. Все, что собирали и намолачивали, немедленно отправлялось на элеватор. Колхозникам оставались только отходы и скарлык — сорная трава, которая после социалистических преобразований в нашем краю всюду стала считаться съедобной.

В порядке компенсации за постоянное недоедание коммунистические дистрофики, работающие на полях, получали определенную дозу культурно-воспитательных и общественно-политических мероприятий. Иногда показывали кино. Прямо на полевом стане разворачивали кинопроектор с приводом от ручной динамо-машины. Крутили ее по очереди взрослые парни. Перед началом кинокартины обычно показывали киножурнал. Однажды это была лента о пионерском лагере где-то под Москвой. Там, в киножурнале, наши ровесники, красиво одетые и сыто накормленные, играют в мяч, поют песни у костра, стучат в барабаны, устраивают спортивные игры и соревнования, а мы, неумытые, разутые и голодные, с утра и до ночи работаем на полях. Так нам был преподан первый урок о братстве и равенстве, «за которое бились наши отцы и старшие братья».

Через день или два после показа этой картины приехал к нам на полевой стан председатель облисполкома только что созданной Челябинской области Столетов. С ним был еще секретарь обкома комсомола. Они приехали в наш район проверять выполняемость и перевыполняемость уборки и хлебосдачи. Взрослых на стане в это время никого не было, кроме поварихи, но я и еще несколько ребят, моих сверстников, оказались на стане. Завязалась беседа. Мы рассказали о пионерском лагере из киножурнала и сопоставили с этим свою жизнь. В ответ слышали только сочувствие и заверение, что с питанием положение скоро улучшится.

Перед отъездом высокие гости оставили нам пачку газет, журналов и брошюр о Коминтерне, конгресс которого недавно состоялся в Москве. Каждый из нас с удовольствием променял бы все это на одну вареную картошку, но картошки у них не было. Были только брошюры о Коминтерне, которые нужны нам были не более, чем моему заморенному коню Решетилу шелковые чулки. Посоветовав нам делать по вечерам громкие читки газет и журналов, областные товарищи отбыли в направлении другого стана.

Прошло около трех лет. В декабре 1937 года я приехал в Челябинск на курсы подготовки учителей, а в начале лета 1938 года должны были состояться выборы в Верховный Совет РСФСР и одновременно в местные, районные и областные советы. Наш избирательный участок находился в здании самого облисполкома, и тут я вторично встретился со Столетовым. Это был все такой же здоровяк в ситцевом кепи, как и тогда, на стане. В помещении избирательного участка было много людей, предстояло выступление Столетова перед избирателями. Мы решили остаться и послушать его. Говорил он хорошо, без бумажки, но все это было уже знакомо, все это мы уже много раз слышали и хорошо знали преимущества социалистической демократии перед демократией капиталистических стран с парламентской системой.

После этого митинга-собрания мы пошли в библиотеку и, прежде чем войти в читальный зал, остановились покурить в коридоре. Тут висел репродуктор, мы прислушались к передаче и ахнули. Оказалось, что первый секретарь Челябинского обкома Кузьма Иванович Рындин — враг народа и вместе с другими такими же врагами народа он хотел реставрировать капитализм в Челябинске. Второй секретарь обкома скоропостижно скончался за несколько недель до этого, но и он был объявлен врагом народа. Теперь из верхушки областных деятелей оставался на свободе только Столетов. В одном из своих выступлений перед избирателями несколькими днями позже он заявил, что если бы он знал, что за человек этот второй секретарь Огурцов, то не дал бы ему даже досок на гроб. Когда до выборов оставалось уже совсем немного, мы узнали, что за связь с врагами народа снят со своего поста и арестован председатель облисполкома Столетов. Так ненасытному молоху сталинского террора была брошена еще одна жертва. А сколько их было всего?

На календаре зима 1934 года. С 1 сентября 1934 года я начал учиться в Чашинском технологическом техникуме молочно-масляной промышленности. От моей деревни это километров тридцать. Живем в общежитии. Это длинное двухэтажное кирпичное здание барачного типа. Посередине узкий коридор, а по обе стороны от него большие комнаты, в каждой из которых жило по 12 человек.

Через дорогу, напротив общежития, кладбище. Наша комната на первом этаже, первая по коридору справа. Однажды открывается дверь и входит мужчина, закутанный в тряпье, худой, небритый и грязный, мало похожий на человека. Он встал у дверей на колени и плачет: «Ребята, помогите похоронить, я привез жену и дочь». Мы все встали со своих мест, молча переглянулись и пошли копать могилу.

Газеты в эти дни сообщали об огромных успехах в деле социалистического преобразования в деревне, достигнутых партией под руководством вождя товарища Сталина.

Так называемая сталинская конституция, главным автором которой, кстати, был не Сталин, а Бухарин, была принята в 1936 году, а первые выборы в Верховный Совет проводились в 1937 году.

Первым кандидатом в депутаты от нашего Шадринского избирательного округа был, конечно, товарищ Сталин, а вторым — моя учительница Дарья Константиновна Попова. Она работала в нашей деревне много лет, одна в трехклассной школе. Это была типичная подвижница советского просвещения тех лет, и очень многие мои односельчане старших поколений обязаны ей своей начальной грамотностью.

Портреты того и другого кандидата были в изобилии развешаны на стенах домов и заборах. Хорошо помню сценку: пьяный мужик идет по улице с вилами. На воротах моего дяди, Якова Филипповича Сосновских, висит портрет Сталина. Гуляка берет вилы наизготовку и с криком: «У, сатана!» — всаживает вилы в ворота, разумеется прямо по портрету.

Не знаю, кто, кроме меня, был еще свидетелем этой сцены и кто сделал донос, но мужика этого скоро не стало в деревне. Он получил десять лет по 58-й статье Уголовного кодекса и из лагеря не вернулся.

Андриан Максимович Сосновских был родственником нашей семьи, но степень родства не очень близкая и определить мне ее сейчас уже трудно. Он был ровесником и другом моего отца и на всех празднествах, которые время от времени устраивались в нашем доме, Андриан был непременным гостем. Он был человеком музыкальным, играл на всех инструментах, которые тогда были в деревне, любил петь и плясать и слыл большим весельчаком.

После так называемых социалистических преобразований в деревне он работал пекарем в колхозной пекарне и умел выпекать замечательный хлеб (если было из чего), хотя ремеслу пекаря он нигде и никогда специально не учился. Однажды, это было в конце лета 1937 года, изрядно выпив, он сидел с балалайкой около своего дома и пел:

«Сидел бы ты, Буденный, на своем коне,
Крутил бы хвост кобыле, ковырял в...»

Мимо проходил парикмахер, человек пришлый, неизвестно откуда появившийся. Песенку он запомнил. После этого наш деревенский весельчак ночевал дома только одну ночь. Он получил десять лет, из них девять отсидел, а на десятом скончался. Два его сына были тогда еще подростками. Одному не более десяти, а другому около двенадцати лет. Спустя 43 года старшего из них я встретил на похоронах моего отца и он сказал: «А ведь они были ровесники, вот до каких пор он мог бы жить!»

Конечно, мог, но не жил, как миллионы других. В те годы было уничтожено в стране не меньше людей, чем унесла война. Сталин и его правление — это чума России, которая свирепствовала долгие годы, и много-много потребуются вранья, чтобы как-то это скрыть или завуалировать.

Декабрь 1934 года. В Ленинграде некий Николаев выстрелом в упор убивает С. М. Кирова. Нас всех собрали на траурный митинг в актовъй зал техникума. Речь держал парторг Тарасов, инвалид Гражданской войны. Одной ноги у него не было, ходил он на костылях. В техникуме он вел политэкономию и преподавал в общем-то плохо, читал по конспектам или по учебнику, и мы почти ничего не понимали из его чтения.

На митинге он сказал: «Кирова убили, но взамен его мы дадим партии тысячи таких кировых». Назавтра и во все последующие дни политэкономии у нас уже не было. Что стало с Тарасовым — было известно только НКВД.

Много лет спустя, во времена Хрущева, была создана комиссия по расследованию обстоятельств убийства Кирова. По сообщениям западного радио, комиссия закончила свою работу и собранные материалы представила бюро ЦК КПСС, где решался вопрос о целесообразности опубликования этого материала в прессе. Большинство в один голос было принято решение — не публиковать.

Существует мнение, а у многих даже полная уверенность, что убийство было подстроено агентами НКВД по заданию Сталина. Все, кто на XVII съезде ВКП(б) голосовал за избрание Кирова генсеком, были позднее ликвидированы физически. По данным конфиденциального доклада Хрущева на XX съезде КПСС из 1961 делегата XVII съезда было расстреляно больше 1000 человек, а из 132 членов ЦК, избранных на этом съезде, было ликвидировано 92 человека.

В июне 1936 года, после окончания второго курса техникума, мы были направлены на производственную практику. Мне пришлось проходить ее на Далматовском заводе, в то время крупнейшем в Челябинской области. Вместе со мной на этот завод ехали Сергей Парнищев и Феня Бабич — единственная девчонка из всей нашей учебной группы.

Работали мы около двух с половиной месяцев, выполняли обязанности лаборанта, помощника мастера или технолога. Первое время чаще всего пастеризовали молоко, сепарировали его, сбивали масло и выполняли еще много других работ. Далматовский завод тогда гремел в системе молокопрома и занимал призовые места. Здесь получали масло, которое оценивалось дегустаторами в 96—100 баллов, что было большой редкостью. Такое масло, как говорили, идет на экспорт, в основном в Германию.

Директором завода был выпускник Ленинградского технологического института молочно-масляной промышленности, назначенный лично Микояном, который был тогда наркомом пищевой промышленности. Фамилию его я не могу сейчас вспомнить, но хорошо помню, как он выглядел. Брюки-галифе заправлены в сапоги, китель полувоенного покроя, как носили тогда все партийные вожди и административные деятели, начиная от Сталина и кончая самым последним коммунистическим подмастерьем где-нибудь в глухом сельском районе. Живот громадный, нрав свирепый. На заводе все его боялись и все ненавидели. Но в стенах завода, к нашему счастью, он бывал редко, больше сидел в конторе, что давало возможность почти нормально работать. Высокие показатели завода объяснялись вовсе не наличием директора с персональным микояновским окладом, а трудом и опытом двух мастеров, которые умели хорошо делать масло и другие молочные продукты.

Мы с Сергеем жили на одной квартире рядом с заводом. Около дома протекал ручей, где мы стирали свои носки, платки и рубашки. Когда я проезжаю через Далматово, из окна вагона вижу этот ручей и завод, где прошло несколько в общем-то счастливых дней моей ранней молодости. Хорошо помню, что 7 июля произошло полное солнечное затмение. Мы коптили стекла и следили за ним через стекло. День был жаркий и безоблачный. Затмение было полным и имело максимальную продолжительность, что-то около семи минут. Когда солнце полностью закрылось, стало темно, на небе показались звезды, стало прохладно, коровы с пастбища пошли домой, собаки завывали, куры уселись на насесты. Картина была действительно жуткая, и можно поверить, что в старину подобные явления вызывали ужас и смятение.

И еще одно событие осталось в памяти из времен практики в Далматово. Это смерть Максима Горького. Все газеты заливались тогда проклятиями по адресу «троцкистско-зиновьевской банды», которая, якобы, убила Горького.

13

Три года моей ранней молодости прошли в стенах химико-технологического техникума молочно-масляной промышленности. Находился он в селе Чаши, вдали от городов и больших дорог. До ближайшей железнодорожной станции Твердыш — 40 километров, а до станции Каргаполье — около 50 километров. В то время село Чаши было районным центром. Позднее оно утратило этот статус и стало просто большой деревней, расположенной по кольцу вокруг озера, которое тоже называется Чаши. В селе была большая и богатая церковь, но в годы моего учения колокола с нее уже были сняты, звонница разрушена и купола сломаны, а в том, что еще осталось, сделали столовую, в которой не только ели, но и пили водку. Еще раньше здесь был склад МТС, в котором хранили горюче-смазочные материалы и запасные части к тракторам. Между церковью и техникумом находился маслозавод, где мы проходили краткосрочную практику. Он и сейчас там стоит, только рядом построили еще один заводской корпус и вид около заводской территории стал другим. Во время моего последнего посещения села все дороги, ведущие к заводу, были разбиты и грязь во дворе завода и на подходах к нему была ужасающей. Это было летом 1982 года.

Профилирующим предметом в техникуме была химия. Мы изучали общую химию, неорганику, органику, аналитическую, коллоидную, физическую химию и химию молока. Более подробно изучалась органика. Преподавал ее Аркадий Иванович Немчинов — доцент, работавший ранее с академиком Лискуном в области животноводства. Он не был большим знатоком химии и, когда запутывался в написании какого-нибудь уравнения реакции, вызывал к доске меня, чтобы распутать, а сам бежал в препараторскую посмотреть в конспекте или учебнике.

Изучали мы органику по учебнику Павлова, но так как этих учебников было мало, Аркадий Иванович рекомендовал некоторым из нас учебник Чичибабина, рассчитанный не на учащихся техникумов, а на студентов химических вузов. В августе 1936 года, вернувшись с каникул, мы получили эти учебники уже без обложек, а фамилия автора на внутренних листах была замазана тушью. Выяснилось, что академики Чичибабин и Ипатьев отказались вернуться на родину после зарубежных командировок. Наша пресса тотчас объявила их изменниками, предателями, а имена их потом на многие годы были преданы забвению.

Много лет спустя, во времена хрущевской оттепели, учебник Чичибабина был снова переиздан, а в химической литературе изредка стали упоминать и имя академика Ипатьева, генерала старой армии, химика без диплома, который, однако, очень много сделал в химии нефти и полимеров.

14

После окончания третьего курса техникума в мае 1937 года мы должны были выехать на практику. Места прохождения практики были разбросаны по всей стране, некоторые из них были довольно далеко от техникума. Мне надлежало выехать в город Себеж Калининской области, но город этот находился в 50-километровой пограничной полосе и для поездки туда требовался особый пропуск. В Чашинском районном отделе НКВД такой допуск мне отказались дать. Благонадежность моя, видимо, уже в то время была недостаточной. Полицейская слежка за учащейся молодежью тогда была тотальной, а наш местный сотрудник НКВД, видимо, уже имел на меня какие-то компрометирующие материалы. После этого местом прохождения практики мне определили город Невель, тоже в Калининской области, он находится восточнее Себежа и в приграничную зону не попал.

Лето 1937 года, да и все другие времена этого года были, как известно, ужасными для огромного числа наших людей. Как ни стараются это заретушировать нынешние вожди, но правду истории надолго скрыть все равно не удастся. Рано или поздно люди будут

знать, что творилось на кухне коммунистических людоедов в тридцатые годы. «Черный ворон», как нечистый дух, носился по городам и селам России. Сотни тысяч, даже миллионы, матерей, жен и детей оплакивали жертв кремлевского тирана, которого наши штатные пропагандисты-агитаторы пытались представить миру как великого гуманиста и мудрейшего вождя.

Будучи на практике в Невеле, я узнал из газет о расстреле большой группы военных специалистов: Примакова, Путны и других. Жил я тогда на квартире бухгалтера маслозавода, который только за неделю до моего приезда вышел из заключения, просидев в лагерях около двух лет. Он, как и многие другие в ту пору, считал, что это действительно враги и что в случае войны мы были бы преданы и проиграли бы войну. Двухгодичное заключение за попытку скрыть на заводе какое-то мелкое хищение, видимо, ничему его не научило. Он продолжал верить в непогрешимость и всемогущество «мудрейшего вождя». Через несколько лет раболепствующие подданные назовут его еще и величайшим полководцем всех времен и народов, будто бы в насмешку над тем, что на одного погибшего немца мы потеряли трех советских солдат, что под оккупацией оказалась почти половина населения страны и что страна, застигнутая врасплох, не была готова к войне.

15

С сентября по декабрь 1937 года я работал в Каргапольской средней школе — преподавал ботанику и арифметику в пятых классах. К этому времени я закончил три курса техникума и был исключен в самом начале четвертого за чтение и хранение запрещенной литературы, в основном за хранение томика стихов Есенина. Учителей тогда не хватало, и заведующий районо Санников, мой бывший учитель по Вороновской ШКМ, предложил мне работу в этой школе. В то время мне было все равно, что преподавать. Я не знал ни одного предмета и потому мог взяться за любой.

Директором школы был некий Баландин, человек не слишком большого ума, но подхалим и конформист до неприличия. Проходила районная партийная конференция. Наш директор был, конечно,

большим членом в партии и присутствовал на конференции в качестве полноправного делегата. Выступая в прениях, он закончил свою речь возгласом: «Да здравствует вождь каргапольских большевиков товарищ Потатуев!» Через несколько дней после конференции первый секретарь Каргапольского райкома ВКП(б) Потатуев был объявлен врагом народа и арестован. Не был забыт и наш директор, его исключили из партии и сняли с работы. Вот уж действительно усердие не по разуму! Человек хотел, чтобы его заметили и оценили, а на деле все обернулось полной противоположностью.

16

В конце декабря 1937 года заврайоно Санников вызвал меня к себе в кабинет и после короткой беседы о том о сем предложил поехать на девятимесячные курсы подготовки учителей в Челябинский педагогический институт. Курсы начались в сентябре. Мне предстояло наверстать упущенные четыре месяца, закончить курсы к началу нового учебного года и вернуться в район уже более или менее подготовленным учителем. Я согласился, тем более что окончание этих курсов приравнивалось к окончанию первого курса учительского института. Второй курс мне предстояло закончить заочно.

Сборы были недолгими, и уже на второй день после беседы в районо я выехал в Челябинск. Это был уже самый конец декабря. Приехав, я получил место в общежитии где-то в районе ЧеГРЭС, на самой окраине города. Огромное кирпичное здание барачного типа, в котором громоздились станки или только станины от станков, а между ними стояли койки. Тут размещалось все мужское население курсов, человек, наверное, около пятидесяти.

Первая лекция, на которую я попал, была лекция по ботанике. Читал ее молодой лектор с сильным украинским акцентом. Слушаю: ксилема, флоэма, камбий, спорангий и прочие заумные слова. Решительно ничего не понял. Но вот лекция закончилась и лектор объявляет, что через несколько дней он уедет, а кто хочет сдавать экзамен по курсу должен это сделать в ближайшие три дня, иначе сдавать придется только летом. Все ахнули: так мало дней на подготовку и сдавать такой огромный курс! Я пошел в библиотеку, взял

учебник Александрова — огромный и толстый фолиант в твердом зеленом переплете. Страниц там уйма, правда и рисунков много. Прочитал все за два дня в свободное от лекций время, укоротив ночной сон, насколько было возможно. Сдавать пришла примерно одна треть нашей группы, человек десять. Я один сдал на пятерку, еще два или три человека сдали на тройку, а остальные не сдали совсем, получив двойки. Экзаменатор оказался требовательным и принципиальным.

Экзамен по ботанике за первый курс учительского института, конечно, не бог знает что. Но единственная пятерка на фоне тотального завала, в условиях когда я прослушал только одну лекцию, была для меня успехом. Даже больше того, это было моим звездным часом: я понял, что при желании для меня не будет большой проблемой наверстать упущенные четыре месяца занятий.

Лекции по зоологии на курсах читал профессор Шухов. Он считался большим знатоком птиц и был автором известного в ту пору определителя птиц, а также нескольких книг и учебников. Бывал он и во многих экспедициях, в том числе зарубежных. Лет ему было уже около шестидесяти, это был ученый с дореволюционных времен, но все время под хмельком, а иногда и вовсе под изрядным градусом.

Замечательный лектор был у нас по педагогике. Тоже профессор с дореволюционных времен. Фамилию его я не могу сейчас вспомнить, но хорошо помню, как он выглядел на кафедре. Без всяких конспектов и прочих бумажных костылей он мог говорить и говорить — логично, красиво и понятно. Деятельность его в институте сорвалась неожиданно, но типично для тех времен, о которых я сейчас пишу. В приказе по институту было сказано, что профессор такой-то изъят органами НКВД как антисоветский элемент. Канул в лету еще один представитель старой русской интеллигенции, и в этом отношении мы стали еще немного беднее.

Генетику читал Барков — человек огромного роста и физической силы. Говорили, что он легко сгибает в руках подкову, и это могло быть правдой. Не могу сказать, какой у него был научный статус, но профессором его не называли. Возможно, это был кандидат наук, доцент, но читал он тоже хорошо и доказательством

тому служит хотя бы то, что я не забыл его за прошедшие 47 лет. Мичуринской биологии тогда еще не было, Лысенко только еще закладывал фугасы под классическую генетику в Москве, а здесь, на периферии, генетика преподавалась пока без помех. Интерес к этой науке у меня возник именно тогда, на курсах, и сохранился на всю жизнь. Даже сейчас, почти полвека спустя, не будучи биологом, я читаю иногда лекции на темы генетики. После пресловутой сессии ВАСХНИЛ, когда генетика была фактически запрещена, интерес к ней у меня только усилился. Репрессии по отношению к ученым-генетикам и осуждение этой науки как реакционной и буржуазной — это одна из позорнейших страниц нашей истории.

17

После окончания курсов летом 1938 года все мы были переведены на второй курс учительского института. Девятимесячные курсы были, как нам и обещали, приравнены к первому курсу учительского института (двухгодичного), который готовил учителей для пятых-седьмых классов.

В январе 1939 года я ездил на двухнедельную зимнюю сессию, на которой сдавал физику, дарвинизм, историю ВКП(б) и слушал лекции еще по некоторым предметам, а летом приехал снова, чтобы закончить учительский институт. Все предметы я легко сдавал и быстро приближался к диплому. Большинство моих сокурсников имели весьма примитивную подготовку, иные, пожалуй, имели образование чуть больше начального, и на этом фоне я выглядел едва ли не Аристотелем. Аттестат за среднюю школу для поступления в учительский институт тогда не спрашивали.

Запомнился экзамен по истории партии. Четвертая глава пресловутого «Краткого курса истории ВКП(б)» была целиком философской, автором этой главы считали самого Сталина, а общая редакция учебника приписывалась Жданову и Сталину. В аудиторию вошли сразу человек восемь. Все мы взяли билеты из стопки, разложенной на столе веером, и приступили к подготовке. Я думал, что буду отвечать первым, так как вопросы были мне знакомы и много

времени для подготовки не требовалось. Но меня опередил мужчина, совершенно мне не известный, на курсах он с нами не учился. Я хорошо запомнил его внешность: курчавые волосы, крепкое телосложение, лет за тридцать. Он подошел к столу экзаменатора без приглашения и напоминания, как это нередко бывает на экзаменах. Настроение у него было, видимо, бодрое. На лице улыбка и во всей его фигуре чувствовалась уверенность. Я подумал, что этот человек, наверное, отлично знает курс, раз вышел отвечать почти сразу, как только прочитал вопросы.

После этого я на какое-то время перенес внимание на схему своего ответа, уже частично написанную, и не слушал разговор за столом. А немного погодя, прислушавшись, понял, что товарищ буксует, причем на самых простых и очевидных вопросах курса. Не знаю, как были сформулированы вопросы в его билете, но один из них, видимо, касался проблемы случайности и необходимости, так как я отчетливо услышал его фразу: «Октябрьская революция не была случайностью, а то, что товарищ Сталин пришел к власти, — это уже случайность». В четвертой главе учебника было утверждение, что французская революция не была случайностью, а то, что Наполеон пришел к власти, — случайность. Наш мудрец решил экстраполировать итоги Французской революции на нашу Октябрьскую революцию и сделал это как нельзя более неудачно. Хотя тут вряд ли была допущена какая-то ошибка, но подобную аналогию в сталинской России лучше было не делать.

Скоро мы узнали, что этим «философом» был директор одной сельской школы и что скоро его не стало. Он был арестован вечером того же дня в школе, которая была приспособлена на лето под наше общежитие. Глупость человеческая беспредельна, как утверждал Шопенгауэр, и подобная экстраполяция одной революции на другую меня не очень удивляет, но подлость экзаменатора поистине достойна удивления. Ведь наверняка не на крыльях патриотизма и верноподданничества летел этот партийный кандидат или доцент в управление НКВД, туда несла его опасная разновидность рафинированной трусости, из-за которой плакали тогда в России миллионы жен, детей и матерей.

Друзья моего детства

1

Только Сосновских был одним из самых близких моих друзей в пору жизни примерно до 13 лет. Его дед Иван Петрович и мой дед Филипп Петрович были родными братьями, и обе семьи жили на одном дворе, а до 1905 года даже в одном доме. Семьи разделились, когда мой дед, младший по возрасту, построил свой дом. Это было в 1905 году. Дом этот стоит и поныне — обычный, крестовый, покрытый железом. Моя бабка Харитония Ивановна говорила мне, что тогда, в начале века, дом этот был чуть ли не лучшим во всей деревне.

Семья Ивана Петровича осталась в старом доме. Это был старинный дом, сложенный из огромных кондовых деревьев. В доме было две больших комнаты, разделенных холодными сенями. Крыша двухскатная, крыльцо с приделом, высокое. Внизу дома огромный подвал с ямой, где летом хранились продукты.

Иван Петрович скончался еще в доколхозное время. Была страда, обе семьи работали на полях у Стрелкового озера, убирали пшеницу. День был жаркий, старик работал без головного убора. Летом он вообще никогда ничего не носил на голове. Все вязали в снопы скошенную пшеницу. Вдруг он, закручивая вязку, упал и сразу утратил речь и способность двигаться. Это был паралич, или, как сказали бы теперь, инсульт. В тот же день его отвезли домой, а еще через несколько дней он скончался. Было ему в это время около 70 лет. За год-два до коллективизации Василий Иванович, отец Тольки, перестроил свой дом. Разобрав старый дом, из этих же бревен он срубил крестовый, 3-комнатный дом и тоже покрыл его железом. Поставили этот дом на соседней усадьбе, которая случайно освободилась из-за переезда ее хозяина в другую деревню. Однако жить в этом доме Василию Ивановичу почти не пришлось. Началась коллективизация и связанные с ней социалистические преобразования. В силу сложившихся обстоятельств, о которых я уже рассказывал, ему пришлось бежать на Урал, чтобы избежать ареста, раскулачивания и высылки всей семьи.

С Толькой мы были не только родственники, но и ровесники, поэтому и жизнь наша детская все время протекала в одном русле. Займка наша у озера была совместной, сено косили тоже всегда вместе, поэтому и летние работы не разлучали, а работать нам приходилось немало: боронить, возить копны на сенокосе, катать комки глины, когда делали кирпичи, пасти скот осенью — все это была наша работа. Где-то посередине общей ограды были сложены две печи с большими котлами. Поздней осенью и зимой в них варили картошку свиньям. Обе семьи держали много свиней, иногда 10—12 штук, и жрали они немало. Печки топились не менее двух раз в день, и нашей обязанностью было поддерживать в них огонь, рубить хворост и т. д. Однажды Толька залез в загон к свинье с поросятами. Свинья была огромной и свирепой. Она сбила его с ног, искусала ему в кровь ноги и чуть не напрочь откусила ухо. Это несколько охладило наш интерес к свиноводству, но у печей работать все равно приходилось.

Но время идет, закончена начальная школа, и оба мы поступили в пятый класс ШКМ. Учился Толька посредственно. У него, правда, был очень красивый почерк, которым он удивлял всех. Но больше, пожалуй, ничего. Заметны были еще музыкальные способности. Он рано научился играть на отцовской гармонике и потом до ухода в армию был заметным деревенским гармонистом. Школу он бросил не закончив пяти классов. Пошел работать сначала в колхоз, а потом куда-то еще, кажется на МТС. Я тем временем поступил в техникум, встречаться приходилось уже только изредка, а затем армия и война. Так жизнь развела нас на долгие годы.

Еще до войны он женился, но скоро развелся, не знаю уж по какой причине. В эти же годы он начал помаленьку выпивать, затем этот порок укрепился за счет наркомовской нормы спирта на фронте, и, может быть, именно эта склонность была причиной того, что военные годы прошли у него очень бурно. За какую-то провинность он попал в штрафной батальон, который бросали всегда в самое гиблое место. В одном из боев от штрафбата остались в живых только трое. Одним из них был Толька. К ранее имевшимся наградам за этот бой он получил Орден Красной Звезды и прощение всех старых грехов. Ему вернули снятое ранее воинское звание старшего сержанта и все

старые награды. После этого он воевал какое-то время в обычных частях, был дважды ранен, но возвращался в строй и опять воевал. В 1943 году, когда его часть находилась на отдыхе, в пьяном угаре он угнал какую-то важную штабную машину и вторично попал под военно-полевой суд. Его снова лишили воинского звания, сняли все ордена и медали и опять послали в штрафбат. Но судьбе, видно, было угодно, чтобы этот человек жил. В составе этого батальона он участвовал в отвлекающих операциях, когда люди сознательно приносятся в жертву ради каких-то более высоких целей. Тут были и рукопашные схватки в окопах, и стояние насмерть, когда стоять уже некому, и многодневное голодание, и прозябание в промерзших окопах на самой передовой линии, и многое другое. В одном из боев где-то севернее Ленинграда он принял на себя командование одной из рот, в которой, правда, было всего восемь человек, и удерживал рубеж до установленного срока. После этого он опять получил полную реабилитацию, ему вернули награды, повысили в звании до старшины и дали еще один какой-то орден.

С фронта он вернулся в звании старшего лейтенанта. Был относительно здоров и работал в райфинотделе Каргапольского района налоговым инспектором. Встретился я с ним уже только в 1948 году, когда вернулся из Воркуты. В это время он был женат уже третий раз, но и этот брак был тоже близок к концу. Пил он страшно: каждый день и помногу. С работы его сняли, и позднее я уже из писем узнал, что он уехал куда-то в Сибирь, работал на золотодобыче бульдозеристом и деньги зарабатывал, видимо, порядочные. Из рассказов отца мне известно, что один раз он приезжал в отпуск и в течение двух недель поил за свой счет всех выпивох деревни. После этого он еще сколько-то лет держался на плаву, а потом спился окончательно и закончил свою жизнь в Кургане.

2

Колька Харитонов — еще один друг. Фамилия его была Попов, а Харитонов — это по деду. Всех потомков его деда Харитона в деревне называли Харитоновыми. Жил Колька на самом берегу оврага, на правой стороне, если двигаться от деревни Вороновой. В годы

нашего детства и ученичества деда Харитона уже не было в живых. Не было и отца Кольки, который то ли погиб, то ли пропал без вести еще в Гражданскую войну. Жил он с матерью, двумя братьями и двумя сестрами, которые были его старше. Братьям в то время было лет 25—30, это были рослые, могучие парни. Одна из сестер, Степанида, тоже высокая и сильная, а вторая, Мария, помельче, почти полностью глухая, но тоже очень выносливая, в колхозе всегда работала на мужских работах. Такой же рослый, атлетического сложения, в зрелые годы был и Колька.

В начальной школе мы учились в одном классе. В учебе были лидерами, а в играх и детских проказах — соперниками. Это нередко приводило к столкновению, а иногда и к дракам. После окончания третьего класса учиться нам больше было негде, поблизости четвертого класса не было. Все наши соученики-ровесники на этом закончили учебу и пошли работать. Один год после этого не учились и мы, но потом, через год, открыли четвертый класс в деревне Тагильской и мы с Колькой пошли туда. От нашего дома это километра три. В Тагильской мы проучились около двух месяцев, а потом и в нашей деревне открыли четвертый класс, и мы оба вернулись в свою альма-матер.

В тагильской школе мы учились лучше других — бегло читали и хорошо успевали по арифметике. Как раз перед нашим переходом в свою школу прибыл инспектор в тагильскую школу. Проверка школ тогда уже была, видимо, обычным делом. Учительницей была молодая красивая девушка, только закончившая училище в Шадринске. Как и большинство учителей она, конечно, боялась проверки. Она попросила нас, чтобы мы не уходили из класса пока не закончится проверка. Об этом она просила даже Колькиного брата и моих родителей. Мы согласились и еще более двух недель ходили в тагильскую школу. Инспектор проверял у нас чтение на время, и мы с Колькой прочитали значительно больше нормы. Контрольные примеры по арифметике мы тоже решили быстро и успели помочь немного своим соседям. После этого мы перешли в свою школу, которая была только через один дом от моего дома.

Во время учебы в тагильской школе нам не раз приходилось отбиваться от целой ватаги тагильчан и это сделало нас близкими

друзьями. В самой школе серьезных угроз нам не было, так как мы учились уже в старшем классе. Имел значение год перерыва, поэтому ребят сильнее и старше нас в школе не было. Но за пределами школы наши соученики-тагильчане привлекали своих более сильных и старших друзей, и тогда нам приходилось уповать только на свои ноги. Бывало и так, что после уроков мы с дороги домой возвращались обратно в школу, и тогда учительница сама провожала нас до окраины деревни.

После окончания четвертого класса большая группа ребят из нашей деревни поступила в ШКМ (семилетнюю школу колхозной молодежи, которая только что открылась в деревне Вороново). Там было два параллельных пятых класса, но после первичной проверки мы почти все попали в один, тот, который формировался из более сильных учеников. Если считать по баллам, то в этой школе Колька Харитонов был в числе самых результативных учеников и заметно выделялся своими способностями, а позднее также ростом и физическим развитием. Его старший брат работал на мельнице механиком, и в материальном отношении Колька был обеспечен намного лучше нас всех. Наши родители работали в колхозе и практически ничего за свой труд не получали.

Помню, с какой завистью мы смотрели на настоящие фабричные коньки, которые купил ему брат. У всех нас коньки были самодельные. В деревянную колодку врезали толстую железную пластинку и привязывали эту колодку к валенку веревками, а те, фабричные, были наглухо привинчены к ботинкам и все блестели никелем или хромом. Мы даже и не представляли, что такие коньки вообще где-то могли существовать. Одевался он тоже по тем временам шикарно. Когда мы стали постарше, в седьмом классе, он уже был кумиром всех девочек нашего класса, которых, правда, и было-то всего три.

Весной 1934 года мы закончили ШКМ и перед нами встал вопрос, что делать дальше. В колхозе дела шли гнусно. Заморенные кони и люди, ничтожный урожай, пустопорожние трудодни, нищета катастрофическая. В этих условиях никто из нас туда не торопился. По совету своего брата Колька пошел учиться на курсы шоферов. Силы и роста у него для этого уже хватало, а возраст пришлось накинуть — год или два. Тогда работа шофера была еще очень пре-

стижной. Даже просто проехать в кузове грузовой машины было для нас соблазнительно. Вскоре он стал работать на машине, появились деньги, и он начал понемногу выпивать. Я же после ШКМ поступил в техникум и встречался с Колькой уже не часто. Наши пути сильно разошлись.

Но когда я приезжал домой, мы все-таки встречались, иногда и выпивали вместе, но пока все было почти в норме. Потом я уехал из района, далее армия и война. Всякие связи со старыми друзьями были, конечно, прерваны. С Колькой мы встретились только в 1948 году, более чем через десять лет. С фронта он вернулся невредимым, но почти уже законченным алкоголиком. Права работать на машине в это время у него уже не было, работал он где-то ремонтником и пил ежедневно. В одной из бесед со мной он признался, что пропито уже все и больше пропивать нечего. С первой женой, Тоней Габовой, нашей соученицей и первой красавицей в школе, он развелся. Она была учительницей начальных классов и, естественно, не захотела жить с алкашом. Теперь он жил уже с третьей женой, которая и сама была выпить не дура. Мольбы его сестер, матери и наши уговоры и советы «взять себя в руки» ни к чему не приводили. Старших братьев у него теперь не было. Оба они погибли на фронте.

Наконец он бросил все и, собрав то, что у него еще осталось, подался на Север в надежде, что вдали от своих постоянных собутыльников ему удастся овладеть собой и прекратить неумеренное питье. И действительно, через несколько лет он вернулся с Севера хорошо одетым, вид его был здоровый и настроение жизнерадостное. Там он не пил. Работал в районе какой-то стройки, где спиртное то ли было запрещено, то ли его просто не привозили. Он стал там даже комендантом большого поселка и, следовательно, пользовался доверием властей. Однако дома через какое-то время он опять стал пить, и это было уже окончательным падением.

Летом 1976 года я приезжал в свою деревню, а потом, уже из деревни, уехал в Курган дня на два или три. Когда я вернулся из Кургана, отец рассказал мне, что он только пришел с похорон. Это были похороны моего друга детства и ранней молодости Николая Александровича Попова.

Ванька Трифонов был моим ровесником, соседом и сподвижником по играм и забавам в детском и подростковом возрасте. Жили мы рядом, учились вместе в своей деревенской четырехклассной школе, потом три года посещали ШКМ в соседней деревне Вороново, а после этого еще около трех лет изучали маслоделие и сыроварение в Чашинском технологическом техникуме молочно-масляной промышленности.

Отец его, Трифон Иванович, был несколько более грамотным, чем большинство наших мужиков в деревне. В Гражданскую войну, вместе с моим отцом, он был мобилизован колчаковцами и служил у них командиром взвода, а потом оба они, вместе с другими, попали в плен к Чапаеву и были оставлены в его дивизии. Через некоторое время он и здесь стал командиром взвода. После организации колхоза в нашей деревне Трифон Иванович стал счетоводом в колхозе и оставался в этом амплуа вплоть до начала войны, с которой ему не суждено было вернуться.

В этой семье было только три человека, и жили они значительно лучше, чем большинство других в нашей деревне. У Ваньки был даже велосипед, в то время единственный в нашей деревне, и голодать ему, видимо, тоже не приходилось.

Техникум он успешно закончил и получил звание технолога маслодельно-сыроваренной промышленности, но потом добровольно или по направлению попал в военную школу и через два года закончил ее в звании лейтенанта. Приехав домой на побывку, он женился на Паньке Черепановой — девчонке из очень бедной многодетной семьи, в которой не было отца. Троих или четверых детей воспитывала одна мать. Панька была далеко не красавицей, более того, она была, пожалуй, самой невзрачной девчонкой нашего возраста, но была исключительно умной и во всех отношениях порядочной. Некоторых девчонок уже тогда по праздникам можно было видеть порядочно выпившими, но Паньку — никогда. В школе она училась превосходно и была круглой отличницей, но смогла закончить только шесть классов.

Начало войны застало молодую чету во Львове. У них к этому времени уже было двое детей. Иван командовал зенитной установ-

кой, смонтированной из двух станковых пулеметов. Жену с детьми он успел отправить из Львова в свою деревню, и она благополучно добралась до дома. Сам он в ходе войны попал в плен, вернулся потом домой, прошел проверку в фильтрационных лагерях, демобилизовался и начал работать по специальности на одном из маслозаводов в Челябинской области.

В начале лета 1947 года я был отпущен из Воркуты в двухнедельный отпуск и услышал, что друг моего детства и ранней юности находится сейчас дома. Зашел к нему, а он буквально «сидит на чемодане» — ждет машину, которая доставит его к месту работы. Вид у него был здоровый, цветущий. Выпили по рюмке-две водки, и машина подошла. Посетовали, что не удалось поговорить, и он уехал. Через несколько дней отбыл и я обратно в Воркуту. Одновременно с отпуском воркутинские энкавэдэшники даровали мне право переписки со всеми городами и весями страны, и теперь я регулярно писал домой и получал оттуда письма. Осенью или в конце лета отец написал мне, что Иван Трифонович заболел скоротечной формой туберкулеза и живет теперь дома, а еще через месяц я получил письмо, в котором сообщалось, что его уже не стало.

Прасковья Ивановна, мать Ивана, осталась теперь одна. Муж не вернулся с фронта, сын скончался, не дожив до тридцати лет. Сама она долгое время работала в деревне разносчиком почты, и я иногда встречал ее во время своих приездов в деревню, но это были грустные встречи и кончались они всегда слезами.

4

Митька Марковских был года на два старше меня, но в детском и подростковом возрасте наши интересы и увлечения совпадали. Играли вместе, иногда ссорились, но чаще все-таки мирно сосуществовали.

На колхозном конском дворе была сборня — так называлось помещение, где хранились и ремонтировались хомуты, шлеи и прочая сбруя. По вечерам тут собирались мужики, курили, обсуждали различные проблемы и играли в шашки. Здесь же собирались и мы, ребяташки. Спортивных игр в нынешнем понимании этого слова тогда

мы не знали и никакого спортивного инвентаря у нас не было, но физически мы развивались достаточно активно, если не считать времени, когда недоедали или голодали. Одним из видов наших развлечений в то время была борьба. Расстилали кругом солому и начинали соревнование «на высадку». Проиграл одному — вылетел из круга, а победитель борется со следующим и так до конца. Собиралось нас обычно на такие состязания человек пятнадцать-двадцать.

В 1933 году я был еще в «подростковой группе», а Митька как-то сразу перешел к взрослым. Он уже умел немного играть на гармонике, был одет по последней моде того времени, в физическом развитии он превосходил многих и был недурен собой. Благодаря этому он скоро стал центром, вокруг которого по вечерам собирались взрослые девчата и парни.

Осенью 1934 года я уехал в Чаши и начал учебу в техникуме, а Митька остался в деревне, и наши пути после этого надолго разошлись. Позднее я услышал, что во время транспортировки зерна он украл один мешок с зерном, был судим и получил четыре года исправительно-трудовых лагерей. Заключение он отбывал в Челябинске. Это не очень далеко от дома, но мало что давало в смысле облегчения судьбы, так как передачи в первую половину срока запрещались, а во вторую хотя и разрешались, но передавать было нечего.

Не знаю, отбыл ли он срок полностью или получил какой-то зачет, но мне известно, что еще до войны он успел отслужить в армии и вернуться домой. Потом, в начале войны, он был взят вторично и вернулся с фронта относительно здоровым. Множество орденов и медалей, а также несколько ранений свидетельствовали о том, что во время войны он не обрелся в тылу. В 1948 году я вернулся из Воркутлага, шел вечером из Каргаполя по старому мосту и тут встретил Митьку. Поговорили бегло о том о сем. Он шел с женой, которая была мне незнакома.

После этого я вскоре уехал в Серов и встретился с ним снова только в январе 1970 года на похоронах своего брата Александра. Осенью 1979 года Дмитрия Михайловича Марковских не стало, но тогда я еще не знал об этом. Летом 1980 года во время своего очередного приезда в деревню я шел по кладбищу и натолкнулся на могилу, фотография на памятнике сразу как бы обожгла меня.

Это была еще одна неожиданная встреча с другом моего детства и ранней молодости Митькой Марковских.

5

Ванька Лупанов жил на самом берегу Марьяновки в старинном доме, две жилых комнаты которого разделялись холодным коридором. Таких домов в деревне в годы нашего детства и ранней юности было два или три. Все остальные были уже более совершенные.

Отец Ваньки, Лупан Иванович, был шорником в колхозе, чинил хомуты и шлеи. Мне он запомнился тем, что был мал ростом, много курил и кашлял, как вот я сейчас, когда пишу эти строки. Умер он рано, когда Ваньке было лет около тринадцати. Все последующие годы Ванька жил с матерью — женщиной худой, высокой и доброй. Тут же жила и его старшая сестра, которая после развода с мужем вернулась в дом матери.

Были мы с Ванькой друзьями и соучениками с самого первого класса и вплоть до третьего курса техникума. Все наши детские и подростковые забавы проходили при непременном его участии. Игра в чижики, в шарики, летние купания в Миассе, рыскание по оврагам — все это было нашим обычным занятием и ничего этого я не могу представить без Ваньки Лупанова. Он был всегда и везде с нами.

В школе он был средним учеником и в техникуме тоже. Он никогда нигде не высывался, но и не числился в отстающих. Ванька всегда был благополучным и не причинял никому никаких хлопот. Ко времени нашей учебы на втором-третьем курсе техникума он стал уже представительным парнем, играл на мандолине по нашим масштабам весьма неплохо, немного пел и хорошо танцевал. У девчонок он пользовался успехом и был немного донжуанист.

Одевался он, правда, бедно и плохо, но таких у нас было много и большим пороком это не считалось. За джинсами мы тогда еще не гнались и не знали о их существовании. Все наши потребности находились в полном соответствии с временем — скудным, тяжелым и жестоким. Два последних года учебы в техникуме он был казначеем в профкоме и получал небольшую материальную поддержку. Это

и позволило ему закончить техникум, тогда как до этого он не раз говорил мне, что намерен искать работу и бросать учебу.

В летние каникулы у себя в деревне мы устраивали иногда вечеринки с выпивкой и они всегда проходили в доме его матери. Кроме огурцов и лука она ничего не могла нам предложить, но мы были рады и тому, что нас не гонят. Из любого другого дома нас бы непременно выставили. Тогда еще не было такой большой моды пить, как сейчас.

После моего исключения из техникума встречаться с Ванькой мне уже не приходилось. Работал он где-то вдали от дома, а потом был взят в армию. С фронта Иван Лупанович Тремзин не вернулся. Его мать Пелагею я встречал еще много лет спустя после войны во время своих приездов в деревню, она была все такой же высокой, но стала еще более худой и грустной. Я как-то пытался выспросить, что было с Иваном после окончания им техникума, как и где он погиб на фронте, но ответом были только слезы. Сын у нее был только один, и он был славным парнем.

6

Еще один мой друг — Сашка Аркадьев. И Аркадьев — это опять не фамилия. Аркадием звали его отца, а фамилия у него была тоже Сосновских. Он был мне родственником, соседом и спутником моих детских походов с ранних лет и до поры полного взросления. Его семья жила от нас через один дом, а заимки в поле у Стрелкового озера стояли друг от друга на расстоянии одной сотни метров. Многие работы, требовавшие большего числа рук, чем могло быть в одной семье, делались совместно. Молотили, например, всегда вместе. Косили сено тоже вместе, иногда объединялись и для каких-либо строительных работ. В деревне семья Алексеевых, как их тогда называли, была довольно сильной и влиятельной. От раскулачивания и высылки их спасло только разделение семьи на три отдельных дома, произошедшее незадолго до этой кампании. У них была жатка, молотилка и еще кое-какие простейшие сельскохозяйственные машины. Заимка у озера представляла собой довольно капитальные строения, окруженные хлевами для скота. На берегу

были лодки, висели сети, плетеные морды и прочий рыболовный инвентарь. Один из этих трех братьев и сейчас еще жив, когда я пишу эти строки в 1985 году. Это Николай Алексеевич, ровесник моего отца. Ему уже далеко за 80, и последние год-два он с трудом передвигается самостоятельно. В прошлом это был красивый и сильный мужчина. Он хорошо разбирался в сельскохозяйственных машинах и пользовался большим уважением на селе.

Отец Сашки, Аркадий, был родным братом Николаю Алексеевичу. Он трагически погиб через год или два после своей свадьбы, а жена его вышла вторично замуж за родного брата своего погибшего мужа — Дмитрия. Это тоже был мастеровой человек и умел делать многое. После организации колхоза он нелегально наладил выделку кож в колхозе, но во время случившегося пожара это производство было обнаружено, и дело запахло судом. Пока шло следствие и пока он не был арестован, Дмитрий Алексеевич запил. Однажды вместо этилового спирта он достал где-то метиловый, выпил его и ослеп. Это и спасло его от суда и ареста. Но потом, уже будучи слепым, он продолжал пить и около 1940 года скончался. Это была еще одна жертва «прогрессивных преобразований» в нашей деревне.

Третий брат, Яков Алексеевич, был старшим из братьев. Его дом стоял на отшибе от наших домов. Он и теперь стоит в переулке, который ныне называется Кооперативным. Во время раскулачивания Якова слегка потрясли, но не раскулачили и не сослали, хотя его дом соответствовал верхушке среднего слоя деревни. Но чужой труд Яков не эксплуатировал. Кроме того, это был человек уважительный, мягкий и умел ладить даже с той полупьяной деревенской комбеднотой, которая решала, кого надо раскулачить, а кого не надо.

Сашка был старше меня года на два, но эта разница долго не чувствовалась. Учились мы всегда в одном классе, вплоть до окончания семилетки, и в физическом развитии он не отличался от всех нас. После окончания седьмого класса Сашка начал работать, а потом подошло время идти в армию. Еще до войны он отслужил срочную и вернулся домой. Мы встретились тогда с ним на квартире у Тольки. Он был еще в военной форме. По случаю его возвращения была организована вечеринка.

Через какое-то время после этого я уехал из деревни, и до войны нам больше уже не приходилось встречаться. Ну а потом война, и еще несколько лет после нее мы ничего не знали друг о друге. Позднее, приезжая в деревню из Серова или Свердловска, я только слышал о нем кое-что, так как жил он тогда на станции Каргаполье и работал директором элеватора, а потом там же директором нефтебазы. Пил изрядно. Однажды, это было уже в 70-е годы, он спросил моего брата Ивана, когда я приеду, и высказал желание встретиться. В это время он уже не пил и жизнь его в материальном и всяком ином отношении начала налаживаться. Жил и работал он в Каргаполье. Услышав о таком желании, во время своего очередного приезда в деревню летом 1977 года я купил бутылку шампанского и решил зайти к нему домой, но никого не застал.

Зимой 1980 года я приехал в деревню на похороны своего отца и встретил Петра, одного из младших братьев моего однокашника и друга. Он рассказал, что Александр Аркадьевич скончался накануне дня своего 65-летия, полгода тому назад. Поехал в Мехонку, чтобы добыть там какие-то продукты для юбилейного торжества, но в автобусе случился сердечный приступ — и все. Это был конец. Так оборвалась жизнь еще одного из моих друзей детства, уцелевших в войну.

Нет ничего более увлекательного, как вновь пройти по всей своей жизни. И друзья былых дней собрались вдруг, словно живые, вокруг меня.

Литературное издание

Сосновских Яков Андреевич

ПО САМОЙ КРОМКЕ БЫТИЯ

Редактор	<i>М. А. Овечкина</i>
Корректор	<i>М. А. Овечкина</i>
Компьютерная верстка	<i>А. Ю. Матвеев</i>
Компьютерный набор	<i>Е. Н. Вержбицкая</i>
	<i>О. М. Осинцева</i>
Ответственная за выпуск	<i>Н. А. Юдина</i>

Подписано в печать 05.09.2019. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Academia.
Уч. изд. л. 20,8. Усл. печ. л. 23,7. Тираж 100 экз. Заказ 280.

Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 358-93-22
Факс +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru
<http://print.urfu.ru>

Для заметок

Для заметок



Гостиница «Энгельгоф» в Базеле. 1944 г.

Раскрыв эти записки, читатель последует за мной по дорогам войны и окажется в концлагере. Темными ночами он будет пробираться по глухим тропам Германии, по задворкам голландских и бельгийских городов, по лесам и горам Франции. Ему не раз придется переходить границы, переплывать реки и каналы, убегать от полиции. И если он проследит мой путь хотя бы до Воркуты, не бросив книгу раньше, это будет мне лучшей наградой за те сотни часов, которые я потратил на ее написание.